

ФРИДРИХ КРАУЗЕ

ПИСЬМА С ПЕРВОЙ МИРОВОЙ



Нестор-История
Санкт-Петербург
2013

УДК 94(470+571)
ББК 63.3(2)5
К78

*Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России (2012–2018 годы)»*

Редакционная коллегия:
д-р ист. наук Б.И. Колоницкий, д-р ист. наук Н.Н. Смирнов,
д-р ист. наук А.Н. Чистиков

Рецензенты: д-р ист. наук Е.М. Балашов и д-р ист. наук Т.М. Китанина

Текст подготовлен к печати О.Ф. Краузе и Л.А. Булгаковой

Краузе Фридрих

К78 Письма с Первой мировой / отв. ред. Л.А. Булгакова. — СПб. : Нестор-История, 2013. — 332 с.

ISBN 978-5-4469-0168-5

В книге опубликованы письма 1914–1917 гг. «лекаря без чина» Ф.О. Краузе к его невесте, а потом и жене, врачу Морозовской городской детской больницы в Москве А.И. Доброхотовой, впоследствии ставшей видным врачом-педиатром, членом-корреспондентом АМН СССР. В письмах, носивших характер дневниковых записей, рассказывается о повседневной жизни автора, старшего врача санитарно-дезинфекционного отряда, проходившего службу в Галиции и на Вольни. Реакция автора на политические и военные события этого времени в значительной мере отражает общественные настроения в стране и в армии. Письма представляют большой интерес как исторический источник и подлинный документ переломной эпохи, написанный очевидцем и непосредственным участником драматических событий в истории нашей страны. Помещённые в книге выдержки из ответных писем Доброхотовой рисуют яркую картину московской жизни в 1917 г. Книга предназначена как для специалистов по истории войны и революции, так и для широкого круга любителей отечественной истории.

**УДК 94(470+571)
ББК 63.3(2)5**

ISBN 978-5-4469-0168-5



© О.Ф. Краузе, 2013
© Л.А. Булгакова, 2013
© Издательство «Нестор-История», 2013

О ФРИДРИХЕ КРАУЗЕ И ЕГО ПИСЬМАХ

«Любовь, война и революция» — так можно было бы озаглавить эту книгу. Перед нами история любви двух молодых людей, создания семьи и её выживания в драматической обстановке крутого поворота в истории нашей страны. Письма дают нам возможность погрузиться во внутренний мир этих людей, посмотреть их глазами на события того времени и увидеть не пафосную и далеко не героическую изнанку войны. Герои этой книги — совсем не те герои, о которых слагают песни и рассказывают легенды, они просто жили и трудились в суровых обстоятельствах своего времени.

Фридрих Оскарович Краузе был человеком сугубо мирной профессии — детским врачом. Родился он в 1887 г. в добропорядочной немецкой семье учителя мужского реального училища при приходе старейшей лютеранско-евангелической церкви Святого Михаила в Москве. Его родители были уроженцами Курляндии, нынешней Латвии. С детства мальчик пристрастился к чтению и впитал в себя немецкие и русские культурные традиции. В доме говорили по-немецки, в гимназии — по-русски, и оба языка стали для него родными. Хотя Фридрих Оскарович не утратил духовной связи с родиной своих предков, он ощущал себя москвичом.

По окончании медицинского факультета Московского университета он был принят врачом-ассистентом в недавно построенную Морозовскую городскую детскую больницу, где в 1912 г. состоялось его знакомство с Александрой Ивановной Доброхотовой, тоже врачом-ассистентом этой больницы, выпускницей Высших женских курсов. Общие интересы сблизили молодых людей, они полюбили друг друга. Летом 1914 г. они впервые отправились вместе отдыхать в Финляндию. Война застигла пару врасплох в один из самых счастливых дней их жизни и разлучила влюблённых.

Призванный по мобилизации на военную службу Краузе сразу же отправился к месту формирования 253-го запасного госпиталя в Воронеж. Ни на один день он не забывает об оставшейся в Москве невесте и шлёт ей свои письма, больше походившие на дневниковые записи. В письмах он делился с ней своими сокровенными мыслями и переживаниями, рассказывал о своих заботах и повседневной жизни. В определённой мере в них отразились общественные настроения военной поры. Значительная часть писем была написана вне зоны боевых действий и не подвергалась военной цензуре.

Он с досадой и негодованием писал о неразберихе военного времени, медленном «свертывании» и «развертывании» медицинской службы, засилье канцелярщины, отсутствии живой, нужной работы, в результате чего «мы всё просрачиваем». Это словечко, позаимствованное им из речи А. Ф. Кони, не раз приходило ему на ум. Лишь 8 октября госпиталь отправился в ближний тыл армии, на западную границу Российской империи — городок Волочиск на реке Збруч, в 150 км восточнее Львова.

Как и многие другие русские немцы, Фридрих Оскарович переживал подлинную душевную драму. Для него «нашими» были и немцы, и русские. Первоначально он отказывался верить сообщениям о зверствах немцев, считал их голословными, преувеличенными, разжигающими низменные националистические страсти. Дальнейшие события — разрушение немецкими войсками соборов, музеев и библиотек — повергли его в шок. Он пытался объяснить этот вандализм безумием отдельных начальников, ошибкой, военной необходимостью, но все эти объяснения не устраивали его самого.

Он искал и не мог найти оправдания немецким учёным и писателям, выступившим в поддержку действий военщины и восторгавшимся её «подвигами». Вновь и вновь он обращался к этой теме, повторяя, что великая страна не могла внезапно превратиться в варварскую. В письмах он размышлял о двойственности немецкого национального характера, о психологии немцев и надеялся, что вновь возродится старая Германия, культурные ценности которой никогда не могут исчезнуть.

Краузе опасался травли русских подданных немецкой национальности, указывал невесте, как много немецких имён и фамилий в списках убитых и раненых, и не мог удержаться от слёз, читая сообщение о погромах немецких магазинов в Москве. Его крайне удручало коренным образом изменившееся представление русских о немцах. Он считал, что русским немцам следует не поддаваться шовинистическому угару, хранить «старые заветы», честно исполнять свой гражданский долг и стремиться к скорейшему окончанию войны. «Врач обязан быть, прежде всего, врачом!..», — писал Краузе. Всю свою последующую, полную тяжелейших испытаний, жизнь он оставался верен этому принципу.

В мае 1915 г. Краузе был назначен старшим врачом летучего санитарно-дезинфекционного отряда и командирован на фронт в распоряжение 8-й «брусиловской» армии в Восточную Галицию, где его служба продолжалась с частыми перемещениями по ходу наступления и отступления армии (Радзивилов, Броды, Радехов, Дубно, ряд местечек и колоний). С сентября 1915 г. часть находилась в местечке Млодава, в 10—12 км от Дубно, где и расположилась на зимние квартиры.

Будничная служба санитарного врача выглядит рутинной и совсем не героической, но она была чрезвычайно важна и необходима. Во время войн смертность в войсках от болезней и эпидемий нередко многократно превышала потери, понесённые в боях. Задача военно-санитарной службы заключалась в обеспечении санитарно-эпидемического благополучия армии, предотвращении и прекращении эпидемий. Санитарные врачи подвергали свою жизнь опасности заражения и переносили все тяготы походной жизни.

Фридрих Оскарович регулярно объезжал вверенный ему участок, осматривал дома, дворы и колодцы, контролировал лазареты, перевязочные пункты и околотки, выявлял случаи заболеваний заразными болезнями местного населения, занимался его лечением и вакцинацией, проводил санитарные мероприятия и дезинфекцию местности, вёл борьбу с холерой, возвратным тифом, оспой, дифтеритом, цингой, отправлял в тыл беженцев и в помощь им телеграфировал в санитарный отдел при штабе армии о срочной присылке эпидемических и питательных отрядов.

Потребовалось много времени, чтобы наладить санитарное дело. Только в ноябре-декабре 1915 г. Краузе увидел, что его работа приносит конкретные результаты, и начал испытывать некоторое удовлетворение. Однако его тревога за будущее страны нарастала. Еще летом 1915 г. он писал невесте о коренной ломке устоев, надломе и потрясении народной психики и ожидании неотвратимых перемен. В письме 29 ноября из Млодавы он замечал: «Тучи надвигаются, атмосфера сгущается... В воздухе чувствуется приближение грозы. Напряжённость усиливается... Даже я, твой спокойный Ёжик, чувствую, как струны натягиваются, нервы звенят... Какие тяжёлые, какие великие времена выпали нам на долю, Шурочка! Не слишком ли много для отдельного человека?».

Весной 1916 г. в жизни Фридриха Оскаровича и Александры Ивановны произошло важное событие. 29 апреля во время отпуска Краузе они обвенчались в Мо-

скве. А уже 1 мая «молодой» отправился обратно в свою часть под Ровно. Летом он становится участником знаменитого Брусиловского прорыва. В октябре началось стремительное отступление, часть переместилась на юг — в западный район современной Румынии возле реки Прут, рядом с современной Молдавией (Унгени, Бырлад, Пуфешти). Здесь прошла зима 1916-1917 годов. Писем за 1916 г. сохранилось совсем немного, а те, что уцелели, написаны скупо, вероятно, по соображениям военной цензуры, да и не до писем было в разгар боевых действий. Краузе намеревался написать об этом времени позднее, но этот замысел так и остался неосуществлённым.

29 января 1917 г. в Москве у молодой семьи родилась дочь, которую нарекли Ириной, по имени греческой богини мира. Фридриху Оскаровичу удалось вырваться на короткое время к жене, чтобы поддержать её в этот момент. Война затягивалась, и военная служба в Румынии всё больше тяготила его. Здесь он встретил известие о Февральской революции, которую восторженно приветствовал. Его письма весны-лета 1917 г. особенно интересны, в них отразилась обстановка и настроения в стране и в армии.

Фридрих Оскарович увлечён происходящими политическими событиями, он нетерпеливо ждал газетных известий, много рассуждал о политике и просил жену сообщать ему последние новости. Муж искал в ней гражданку, а находил лишь жену и мать. После тяжёлых родов кормящая мать долго не могла прийти в себя, все её мысли вращались вокруг маленькой дочери: как найти няню, прислугу, достать продукты, где и на что жить, когда вернется домой муж... Начались взаимные упреки и обиды, росло непонимание между супругами. Ещё недавно счастливый брак стал давать трещину. На грани нервного срыва Александра Ивановна постоянно писала мужу о своих страданиях, как тяжело и «беспросветно тяжело» ей жилось в революционной Москве.

Надежды на скорый мир не оправдались. Летом 1917 г. возобновились активные военные действия на фронте. Фридрих Оскарович стремился подбодрить жену, строил планы на будущее, советовал ей с дочерью уехать на родину, в село Вичугу Костромской губернии, где можно найти пропитание и помощь родных. От его былой восторженности не осталось и следа, он чувствовал себя опустошённым, «никому не нужным паразитом», терзался от собственной беспомощности, проклинал «мировую бойню», которая душит и губит их, и с горькой иронией отзывался об этом «героическом» времени, каким оно может представиться потомкам.

27 августа он написал жене: «Тебе уже говорил: одна у меня мысль — попасть в Москву. Я готов сидеть в Москве в голоде и холоде, работать по 20 часов в сутки, но только при условии быть с тобой и Ириночкой и работать по специальности. Не могу я больше переносить фронт. Я должен, наконец, опять вести осмысленную жизнь. Прозябать так зря мне больше не по силам». В октябре 1917 г. Фридрих Оскарович демобилизовался и вернулся в голодающую и замерзающую Москву.

В следующем году его вновь мобилизовали, на этот раз в Красную армию, где он самоотверженно работал в госпиталях, боролся с «испанкой» — особо тяжёлой формой гриппа, эпидемиями сыпного и возвратного тифа, вместе с Александрой Ивановной налаживал работу первой в Уфе детской больницы. После демобилизации в 1921 г. Краузе целиком посвятил себя любимому делу — педиатрии, занимался организацией загородного санаторного отделения Дома охраны младенца, впоследствии Института педиатрии АМН СССР.

Счастливого конца у этой семейной истории не получилось, в 1828 г. супруги расстались. Их дальнейшая судьба сложилась по-разному. Фридрих Оскарович создал новую семью с Верой Фёдоровной Берсеновой, петербурженкой, человеком высокой культуры и душевных качеств. Их брак был на редкость гармоничен. В 1929 г. у них родилась дочь Елена. В 1931 г. семья перебралась в Магнитогорск, где ударными темпами возводился грандиозный металлургический комбинат. С присущей ему кипучей энергией Фридрих Оскарович взялся за организацию детского здравоохранения в новом уральском городе. Здесь в 1932 г. в семье родился сын, названный в честь деда Оскаром. Семейный быт постепенно налаживался.

Известие о начавшейся войне застало их в Магнитогорске. В марте 1942 г. Фридриха Оскаровича арестовали якобы «за антисоветскую пропаганду» и приговорили к расстрелу, затем заменённому десятью годами лагерей. В декабре по тому же надуманному обвинению арестовали его жену и приговорили к такому же сроку наказания. В 1960-е годы они были полностью реабилитированы. К тому времени уже не было в живых Веры Фёдоровны, она умерла в лагере в 1950 г. Оскар Фридрихович тяжело переживал эту утрату. Освободившись из заключения в 1952 г., он поселился в селе Тарноге Вологодской области и работал районным педиатром. После выхода на пенсию в 1956 г. он перебрался в старинный город Болхов Орловской области, где занимался садоводством, разбирал семейный архив и писал воспоминания до самой своей смерти в 1973 г.

Александра Ивановна, с молодости испытывавшая склонность к научной работе и находившая для неё время даже в самые трудные годы своей жизни, пошла по этой стезе. Эта мужественная, скромная и незаурядная женщина посвятила себя научной работе, стала видным учёным, членом-корреспондентом АМН СССР. В тяжёлое для Фридриха Оскаровича время она помогала ему и его новой семье и всегда бережно хранила письма бывшего мужа. Рядом с ней до последних дней оставалась её дочь Ирина, также пошедшая по стопам родителей и ставшая врачом-педиатром.

После смерти матери в 1958 г. Ирина Фридриховна озаботилась перепечаткой выдержек из писем отца 1914 г. для чтения близким людям. Она ушла из жизни в 1993 г., и тогда письма попали к младшим детям Фридриха Оскаровича. Его сын, продолжатель семейной традиции, педиатр, заслуженный врач Российской Федерации, почётный гражданин города Череповца Оскар Фридрихович Краузе заинтересовался отцовскими письмами, оцифровал их и дал почитать родным и знакомым. Так эти письма попали ко мне в Санкт-Петербургский институт истории РАН.

Мы нашли их заслуживающими публикации и внимания широкой читательской аудитории, началась работа по подготовке писем к печати. Письма сверены с оригиналом и публикуются с небольшими сокращениями маловажных подробностей и повторов. Обращения и заключительные прощальные слова, так же как и пропуски текста в начале и в конце писем, опускаются без отточий. Атрибуция фотографий и расшифровка названий населенных мест, не раскрытых в письмах, выполнены О.Ф. Краузе. Выписки из писем Александры Ивановны, написанных беглым и не всегда разборчивым почерком, сделаны младшей дочерью Ф.О. Краузе Еленой Фридриховной. Примечания составлены О.Ф. Краузе и Л.А. Булгаковой. Все даты в письмах и примечаниях указаны по старому стилю.

Людмила Булгакова

1914 год

Война застала Фридриха Краузе и его невесту Александру Доброхотову в Финляндии, где они проводили свой первый совместный отпуск. Счастливые, беззаботные дни на острове Нагу на всю жизнь запечатлелись в их памяти. 14 июля Фридрих получил телеграмму о срочной мобилизации в армию, и уже 24 июля новоявленный «лекарь без чина» выехал из Москвы в Воронеж, где перед отправкой на фронт формировался его 253-й запасный госпиталь. Началась интенсивная, практически ежедневная переписка молодых людей.

Воронеж, 25 июля 1914 г.

Милая Шурочка! Вот прошёл первый день без тебя, и я начинаю свои письма-дневники.

Когда поезд тронулся, и я остался один, было очень грустно, и я долго сидел в коридоре на скамье и не начинал ни с кем разговора, и только к двенадцати часам ночи был втянут в политический разговор, однако малоинтересный.

В 2 часа ночи мы были в Рязани, где освободилось купе, тотчас же занятое мною и тремя прапорщиками запаса. Я лёг на верхнюю полку, потушил электричество и прекрасно спал до половины 9-го утра, а провалялся наверху до 12-ти, было очень удобно.

В 4 часа подъехали к Воронежу. Всё поля да поля, в большинстве убранные. Местами красивый лиственный лес, который опять на меня производит впечатление. На станции Грязи вижу на платформе гуляющего Никифора Николаевича¹ в смешной военной форме. Он зашёл ко мне. Оказалось, что он тоже не видел меня раньше и не знал, что мы в одном с ним поезде. Значит, наше прощанье им не подмечено и не послужит предметом для шуток!

Хотели мы с ним в Воронеже действовать сообща, но в ужасной давке на станции я его не мог разыскать. Пообедал без него и решил затем для начала обратиться к коменданту станции. Должно быть, со стороны смешно было видеть, как я держался перед военным начальством. Как бы то ни было, он мне указал,

¹ Блажко Никифор Николаевич — врач, из ассистентов Морозовской городской детской больницы.

что мне следует обратиться к воинскому начальнику за дальнейшими указаниями, его-де хата с краю.

Отдал вещи на хранение и поехал на извозчике к воинскому начальнику. Трясся по отчаянной мостовой на отчаянной пролётке. Погода хорошая. Правая рука работает беспрестанно — отдаю честь и отвечаю на приветствия. Понемножку привыкаю, только с генералами не знаю, как держаться.

Приехал к воинскому. Много солдат, все козыряют, я милостиво отвечаю. Насилу разобрал, кто из числа военных, находящихся в кабинете, начальник, и кто писарь. Оказался добродушнейший старичок полковник, покровительственно объяснивший мне, что следует через весь город [*ехать*] по Дворянской улице, через мост к Троицкой Слободе, отыскать дом Гаусмана, и там узнать дальнейшее.

Опять трясусь на извозчике, козыряю направо и налево, понимаю весьма мало, что со мной дальше будет. Подъезжаю, наконец, к дому Гаусмана. Всюду солдатики. Под козырёк докладывают, что тут-де будет госпиталь, но что его нет, а старший врач находится в белом доме ещё немного дальше. Еду дальше. В белом доме оказываются в большом количестве такие же умники, как и я, что меня искренне утешает. Встречаю однокурсника, прибывшего два дня назад, другого госпиталя. Он начинает мне всё объяснять, диктует мне рапорт, который я тут же передаю в контору. Говорит, что, может быть, старшего врача [*госпиталя*] № 253 ещё нет, а если так, то мне самому придётся оборудовать госпиталь и заботиться о людях, лошадях, сёстрах и т. д. Одним словом, напугал, как следует.

Показал мне список домов, в которых следует расквартировать весь состав госпиталя. Говорит о каком-то сене, которое, быть может, мне придётся достать сегодня же, о четырёх томах каких-то уставов, в которых всё объяснено, и в которых мало что можно понять; о 16 000 рублях, которые мне выдадут, если никто ещё не приехал; а я первый! Когда я ему говорю, что ведь я не имею ни малейшего представления обо всём этом, то отвечает, что сам три дня назад ничего не понимал, а сейчас производит всю эту работу. Зато он будет назначен старшим ординатором, а это означает двойной против младшего ординатора оклад.

Случайно мы узнали адрес некоего доктора Левитского¹, также числящегося за 253 госпиталем. Советует поехать к нему, может быть, это мой старший врач, и он уже начал оборудование госпиталя.

Опять на извозчике трясусь по всему городу, козыряю направо и налево. Левитского не застаю дома. Оставляю записку, что завтра зайду. Решил пока устроиться в гостинице «Франция» — все номера заняты; «Коммерческая» — все заняты; «Гранд-отель» — имеется один номер для двоих — 2 р. 75 к. Я его беру, посылаю за вещами, жду.

Неприглядный номер. Перегородка одна — передняя вроде чулана, перегородка вторая — спальня, тоже вроде чулана. Салон с зеленоватыми тёмными обоями с обилием золота. Одним словом, обычная неуютная номерная обстановка с кислым запахом, столь непохожая на то, что мы видели в Финляндии!

Получаю вещи, открываю. Оказывается, что один флакон с одеколоном лопнул и залил все носовые платки. Немного попало и на карандаши и почтовую

¹ Левитский Рафаил Михайлович — врач запасного полевого 253 госпиталя.

бумагу с конвертами. Может быть, ты даже услышишь запах. В общем, удачно — ничего не попорчено.

Заказал самовар: тусклый снаружи, грязный (Гранд-отель!). Пью чай с твоими бутербродами и шоколадом. Товарищ звал на вечер в Общественное собрание, но мне что-то совсем неохота, устал и хочется поболтать со своей Шурочкой. Верно, Шурочка, я пишу чересчур уж подробно? Но ведь тебе от этого не кажется скучней? <...> Пиши мне, Шурочка, в Воронеже просто — запасный полевой № 253 госпиталь, не приданный войскам, ординатору такому-то.

Сейчас, в 10 часов, лягу спать, устал сильно. В дороге сегодня написал открытку матери. С тех пор, как попал в Воронеж, на место своего назначения, сразу стал спокоен, не чувствую уже этого вибрирования всех нервов, как было все эти дни.

Воронеж, 26 июля 1914 г.

Второй день пребывания моего в Воронеже прошёл значительно спокойней. Прежде всего, я весьма недурно выспался с 11 часов вечера до 9 утра. Кровать хорошая, железная, матрас мягкий. Ни блох, ни клопов. Затем, побрившись, и вследствие этого почувствовав себя опять человеком, пошёл к товарищу по госпиталю **Левитскому**, но опять его дома не застал. Поговорил с его женой, общившей мне, что муж её тоже ординатор, и что старший врач ещё не приехал.

Пошёл на сборный пункт, где застал несколько своих однокурсников, а также Алексея Афанасьевича¹ и Никифора Николаевича. Сей последний, оказавшийся приехавшим первым из всего состава своего госпиталя, немедленно получил чек в казначейство на получение 16 000 рублей, и должен был, замещая старшего врача, устроить госпиталь. Обычная для него невозмутимость духа и весёлое настроение.

Алексей Афанасьевич тоже невозмутим, как всегда. Впрочем, ему беспокоиться нечего: у него имеется и приехавший вместе с ним старший врач, и коллега, мой однокурсник, о котором я тебе вчера писал, который почти уже закончил оборудование госпиталя. Ал.Аф., как младший ординатор, пока совершенно не нужен. В том же положении пока нахожусь и я. Мне сообщили на сборном пункте, что 16 000 рублей выданы уже Левитскому. Так как я у него был уже два раза и не застал, а мой адрес ему оставлен, то я думаю с невозмутимым спокойствием ждать дальнейших событий.

Днём Алексей Афанасьевич переехал ко мне. Оказалось, что в том же самом номере он провёл первые сутки вместе с Финкельштейном², с ним вместе сюда приехавшим. Тот теперь устроился на казённой отведённой ему квартире. Мы пока решили выждать здесь. Попадётся более или менее сносная квартира, то переселимся.

Побобовали в номере недурно, но дорого — 60 коп. с персоны. Отдохнули, пошли на вокзал за газетами. Там видели проезжавшего из Ростова в Москву Антошина Ник.Ник.³, тоже призванного. С вокзала вернулись и начали читать

¹ Морозов Алексей Афанасьевич — врач, тоже из ассистентов Морозовской больницы.

² Финкельштейн Лазарь Абрамович — врач.

³ Антошин Николай Николаевич — врач.

газеты, что отняло несколько часов времени. На вокзале я, кстати, купил несколько томиков «Универсальной библиотеки»¹, и это пока весь наш духовный багаж. Только теперь я вспомнил, что хотел ведь заняться изучением французского языка, и забыл купить в Москве самоучитель Toussaint-Langenscheidt² — обидно. Может быть, здесь достану, только едва ли. <...>

Я теперь уж с нетерпением буду ждать твоих писем. Как твоё настроение? Какие у тебя мысли? По поводу войны у меня в голове за последние дни никаких новых мыслей нет. Противная всё-таки газета «Русское слово»³, гадость. Какой подлый стиль: «тевтонский отвратительный спрут»! <...> Твой Ёжик.

Воронеж, 27 июля 1914 г.

Ты, милая Шурочка, в Воронеже не была, но общий характер этих небольших губернских городов тебе, должно быть, хорошо известен. Для меня же, как ты знаешь, всё это ново. Город построен по типу больших сёл. Посередине проходит Большая Дворянская улица⁴, самая шикарная в городе. На ней одно или два трёхэтажных здания, занятых гостиницей «Бристоль»⁵. Затем ряд двухэтажных каменных и много одно- и двухэтажных деревянных строений. В одном конце деревянная каланча Дворянской части, в другом такая же Московской части. Архитектура непритязательная, скверные булыжные мостовые, скверные извозчики и скверная допотопная грязная конка.

Поперёк тянется Большая Московская улица⁶, уже значительно менее презентабельная, а затем ряд совсем уж непрезентабельных улиц и переулков, на которых стоят лужи грязи и на которых встречаются и куры, и поросятки. Впрочем, пасущихся свиней видел и на Дворянской улице. Если сравнить с Таммерфорсом, то, конечно, критики никакой не выдерживает. Вообще, здесь лучше не сравнивать — всё самобытно и красочно. <...>

Сегодня утром на сборном пункте я встретил, наконец, коллегу Левитского. Он мне передал целую кипу официальных бумаг и инструкций, отношений и требований. И вот я несколько часов сидел над ними и старался кое-что в них понять. В конце концов, я осилил этот ворох бумаг и понял, что нам без бумаг здесь не ступить ни шагу.

Затем пришёл ко мне Левитский, и мы с ним вместе выработывали план и образ действий на завтрашний день. Лошадь мы уже имеем. Оказывается, что нам как запасному госпиталю, перевозимому по железной дороге, больше одной рабочей лошади не полагается. Часть команды также имеется, помещения есть. С завтрашнего дня мы заставим нашего зрителя закупить необходимую утварь и посуду, подводу, упряжь, муку, крупу и т. д. Часть этих вещей должны получить в интендантстве. Соберём ли мы завтра хоть малую часть того, что нам следует,

¹ Общедоступная массовая серия книг издательства «Польза».

² Популярный самоучитель французского языка по методу Ш. Туссена (Туссэна) и Г. Лангеншейдта.

³ «Русское слово» — массовая дешёвая московская газета правого толка.

⁴ Ныне проспект Революции.

⁵ Большая воронежская гостиница, существующая и в наши дни.

⁶ Ныне Плехановская.

это, конечно, другой вопрос. В общем, бестолочи и неразберихи хоть отбавляй, хотя в дневнике мобилизационном и указано наперёд, в какой час каждого дня что следует приготовить и совершить. Больше всего работы смотрителю, и почти никакой — младшим ординаторам. Пока нет главного врача, мы с Левитским работу будем делить пополам.

Алексею Афанасьевичу делать здесь абсолютно нечего. Пьёт, ест, спит, газету читает и по вечерам письма пишет. Сегодня к вечеру к нам хотели придти Левитский и ещё какой-то коллега, и вздумали мы сыграть небольшую пулечку. Не огорчайся, милая Шурочка, что таким делом буду заниматься. Ты знаешь, как либерально я смотрю на этот вопрос. Впрочем, даже идея принадлежит не мне, а Левитскому. Играть будем по маленькой, в авантюры пускаться я не стану. Проводить вечер где-нибудь на свежем воздухе нет сил. Постоянное козыряние направо и налево утомляет и отравляет всякое удовольствие. Стремись ограничить пребывание на улице, сколько возможно.

А ведь правда, Шурочка, что я болтушка; сколько я тебе уже наболтал за три дня, да ещё сколько наболтаю. <...> Настроение моё сейчас спокойное, но немножко боюсь, что как бы нам здесь не остаться без дела на долгое время. Хотелось бы скорее ближе к границе, к свежим впечатлениям. <...>

Сегодня я начал читать последний роман Кнута Гамсуна, и снова всецело захожусь под впечатлением и обаянием его стиля. Пишет он всё-таки удивительно. Как он любит и чувствует природу, как он просто живёт и просто воспринимает всё, что его окружает. Как он сводит все людские движения мысли и чувства к простым основным линиям вековой природы. Удивительный писатель!

Воронеж, 28 июля 1914 г.

Теряюсь в догадках, милая Шурочка, почему ты мне не пишешь?! Сегодня объездил все инстанции, но нигде не нашёл ни единого письма на своё имя. В сборном пункте одни официальные письма, а в почтамте «до востребования» ничего нет. В разборочной почтового отделения мне сказали, что все письма, адресованные на госпитали, посылаются воинскому начальнику. Заехал туда. Там мне дали кипу писем, но в ней оказались только официальные, по мобилизации, мне же — ничего! Я огорчён, Шурочка. Как бы письма-то не затерялись? Может быть, пока лучше адресовать на Малую Дворянскую улицу, Гранд-Отель, 33? Попробуй!

Знаешь, Шурочка, какой вчера сюрприз? Только что отослал письмо, как раздаётся громкий стук в дверь, и сейчас же входит в комнату Кутька¹, только что из Москвы приехавший, в полной форме военного врача. Оказывается, их Высочайшим указом произвели в зауряд-врачи², и он откомандирован младшим ординатором сюда в Воронеж в сводный госпиталь. Этот сводный госпиталь останется на всё время в Воронеже и получит, по всей вероятности, либо хроников, либо, вернее, заразных больных. **Кутя** этим весьма недоволен и думает на днях

¹ Кутька, Кутя — Беликов Николай Николаевич, — близкий друг Фр.Оск., тоже из ассистентов Морозовской больницы, позже служил в госпитале в Полтавской губернии.

² Зауряд-врачи — студенты-медики старших курсов, мобилизованные на действительную военную службу ввиду недостатка медицинского персонала; назначались на должности младших врачей и младших ординаторов.

подать рапорт о переводе в какой-нибудь полевой госпиталь. Настроение его прекрасное. Экзамены его всё-таки удручали. Сейчас он весёлый и шумливый, как всегда. Устраивается он с коллегами на казённой квартире, по дешёвому тарифу. Я думаю, если нас через две недели не переведут на какие-нибудь позиции, то и нам с Ал.Аф. придётся познакомиться с более дешёвым устройством. Цены здесь, в Гранд-Отеле, несмотря на всю его мизерность, весьма высокие, и на долго пороха не хватит.

Наш главный врач продолжает блистать своим отсутствием, так же как и наш товарищ, зауряд-врач. Вся работа на **Левитском**. Так как ему приходится всюду расписываться, то ему же и приходится браться за всё; я ему довольно-таки не нужен. Принимали мы сегодня вместе казённое оружие и отправили смотрителя за покупкой кухонной посуды, устройства столовой и канцелярии. Моя роль во всём этом — больше роль зрителя. Мне совестно, но правда, дела мне не находится.

Воронеж, 29 июля 1914 г.

Знаешь, Шурочка, после того, как запечатал и отослал тебе вчера письмо, так как-то хорошо сделалось на душе на целый вечер оттого, что сказал то, что хотелось, не боясь показаться пошлым. Милая моя Шурочка, Господи, как хочется, чтобы ты была здесь со мной. Теперь, вспоминая Финляндию, кажется, что это была сказка или сон, и давно, давно! Ведь кто меня так понимает, как ты? С кем мне всегда, при всяких условиях, бывает так свободно и легко, как не с тобой? Ведь отдельные мрачные моменты остаются моментами и быстро проходят; не они определяют наши отношения! Шурочка, мне хочется тебе хоть сколько-нибудь выразить, как я тебе глубоко благодарен за все, и как я убеждён в том, что ты много, много выше меня. <...>

Верно, что это письмо в сущности даже не письмо, а длинный поцелуй на четырёх страницах? Ты его так и понимай. <...> Поцелуй-письмо кончается! Прощай! А всё-таки я думаю, что сегодняшнее письмо из всех написанных мною тебе — самое понятное. Верно? Твой Ё.

Воронеж, 31 июля 1914 г.

Вчера не мог тебе писать, так как перебирался из Гранд-Отеля в Троицкую Слободу на казённую квартиру. Целый день был занят, и вечером у нас не было никакого освещения. <...> Вчера я наконец нашёл у воинского начальника два твоих письма мне от 24-го и 25-го. С каким волнением прочёл я их! <...>

Последние дни у нас проходят тускло, несмотря на чудесную погоду. Третьего дня безвылазно сидел в Гранд-Отеле, вечером — пулька. Вчера мы с Ал.Аф. с утра начали собираться. Что-то дорого жить на свои средства. Решили перебраться в Слободу, в крестьянский домик, отведённый нашему 253 госпиталю. Я ему предложил переселиться к нам, на что он охотно согласился.

У воинского начальника я достал письма от тебя (от матери до сих пор не слуха, ни духа). В почтамте оставил заявление, куда посылать адресованные мне письма. Уплатили по счетам, наняли извозчиков и поехали опять по всей Дворянской улице и через всю Троицкую Слободу до самого края света, где стоит отведённая нам избушка на курьих ножках. Комната сравнительно большая. Всякие там тюфяки, перинки и подушки мы велели убраться. Разостлали купленные в городе мяг-

кие матрасы на полу, и вот — помещение готово. В тот же вечер мне приходилось нижним чинам выдавать сапоги и шинели; канитель на несколько часов. Ложась спать, окружил себя кольцом Арагацовой пыли¹, чтобы клопы не съедали, и в этом успел: за ночь раздавил только одного клопа. Ал.Аф. утверждает, что будто бы по моей физиономии гуляли тараканы, но я этого не помню, спал богатырским сном. Сегодня Левитский тоже купил себе Арагаца, убедившись в его пользе.

В общем, несмотря на некоторые курьёзы, устроились недурно. Обедать ходим на железнодорожную станцию, как раз к отходу московского поезда, чем я думаю воспользоваться, то есть передавать письма кому-нибудь, внушающему доверие, с просьбой опустить в Москве в ящик. Меньше шансов, что затеряется. Обедает с нами и Кутька, также устроившийся в Слободе.

Мы теперь узнали место нашего назначения. Это — городок Бар в Каменец-Подольской губернии, верстах в 100—150 от австрийской границы. Отправят нас туда, должно быть, около 15-го числа августа. В городке, говорят, около 20 000 жителей, больше евреев. Клопов, наверно, там ещё больше, чем людей. Впрочем, поживём — увидим.

Газеты мы здесь покупаем регулярно на станции. «Русские ведомости»² я прочитываю от доски до доски. Сегодня там прекрасная статья Буквы³ о личности Вильгельма II. Ведь ничего подобного по объективности в других газетах не найдёшь! Или вот статья «Ради достоинства» (кажется, так) в том же номере. Как далеко от крикливого патриотизма «Русского Слова».

Я, когда читаю газеты или Кнута Гамсуна, всё время вспоминаю тебя. Сплошь да рядом хочется что-нибудь прочитать тебе, узнать твоё мнение, рассказать тебе о своём впечатлении... Мне кажется всё-таки, что мы слишком мало читали с тобой немедицинские книги. Давай, Шурочка, в будущем заполним этот пробел. Верно?

Я здесь сегодня купил два тома писем Чехова. Когда прочту, пошлю тебе, и ты будешь читать то же самое, что и я. Хорошо? Может быть, я пройдуся по полям страниц кое-где карандашом, или подчеркну кое-что, и ты догадаешься о том, что на меня произвело какое впечатление. И связь между нами будет ещё более интенсивной!

Воронеж, 2 августа 1914 г.

Дни проходят за днями, а разнообразия нет никакого. Хотелось бы куда-нибудь, наконец, двинуться! Дела мне сейчас нет никакого, если не считать делом то, что я сейчас пробовал обед, приготовленный для команды. Впрочем, вру — вчера было у нас маленькое разнообразие, хотя не развлечение!

Когда мы втроем сидели за обедом на вокзале, мимо нашего стола прошёл какой-то генерал. По совести говоря, честь, которую мы ему отдали, нельзя назвать особенно почтительной, но ведь мы и не знаем, как надо отдавать честь генералам. Одним словом, он обернулся к нам с весьма недвусмысленным сове-

¹ Арагац — «персидский порошок» из дикорастающих цветов, ядовитый для насекомых.

² Изю всех газет автор писем отдавал явное предпочтение «Русским ведомостям» — солидной московской газете либерального направления.

³ Буква, Не-Буква — псевдонимы популярного фельетониста И.М. Василевского.

том, впредь честь отдавать более прилично, «ведь корпусный врач — это большое начальство!» Тут только мы узнали, что он нам до некоторой степени «коллега!» «Если, говорит, вы не желаете нарваться на скверную историю, то будьте более вежливыми. Ведь другой на моём месте этого так не пропустил бы!» Затем ещё вопрос: «вы запасные?»¹, и после утвердительного ответа безнадежный взмах рукой: дескать, от таких и ждать нечего! После чего величественно повернулся и ушёл.

Мы в это время стояли болванами перед публикой и временами прикладывались к козырьку. Глупо, но мне даже не обидно. Всяк учит тому, что он сам понимает, и как понимает; чего с него требовать. Ведь он думает, что он прав!

С сегодняшнего дня мы будем обедать где-то в частном доме, где Кутька отыскал возможность за 50 коп. получить три блюда, причём генералов поблизости не будет. Таким образом, инцидент исчерпан.

Я здесь обовванился, то есть был у парикмахера и остриг свои пышные кудри под машинку № 3 за 20 коп. серебром. <...>

Сегодня с утра начал читать письма Чехова. Мне весьма интересно, потому что вернее, чем в произведениях литературных, обрисовывается личность писателя в его письмах. А личность Чехова, несомненно, и интересная, и привлекательная. Материала, чтобы углубиться в эти личности, в письмах много, жаль только, что не всегда знаешь, что за люди те, которым он пишет.

Закончил я «Последнюю отраду» Кнута Гамсуна. Какая печать тихой грусти и резиньяции лежит на всём романе! И вместе, несмотря на приближающуюся старость, что за вера в жизнь, в молодость, в её силу и вдохновение! Какая вера в необходимость всего того, что творится, чтобы спокойно, хотя и с грустью, поставить над самим собой крест и сказать: «Твоё время ушло, уступай дорогу новым, свежим силам! Даже тогда, когда она тебя уничтожает». Люблю его, несмотря на все странности и неровности стиля. Люблю его, потому что землёй, скалами, морем и соснами веет от его рассказов. Люблю его, потому что нахожу в нём отклик своих чувств и мыслей. Люблю его, потому что и природа, которую он описывает, напоминает мне природу, ставшую и мне (и тебе?) дорогой и милой!

Господи, да я, кажется, даже в лирику ударился. Ну, всё равно. Прощай! Твой Ё.

Воронеж, 4 августа 1914 г.

Дорогая моя солдаточка! Вчера весь день шёл скучный дождик, у меня болела голова; и всё-таки это был очень, очень хороший день. В этот день я, наконец, получил от своей Шуручки целых 3 письма и одно письмо от матери. Утром коллега пошёл по грязи в город, а я остался дома, уверенный, что получу письма. И в Гранд-Отеле, и на почте для меня целых 4 письма. Ура!

<...> Неужели Вильям¹ серьёзно может предполагать, что и к нему отношения изменились? Странно! Я думаю, он скорее удручён самим фактом войны между двумя народами, которые он одинаково уважает и любит, и от дружбы ко-

¹ Вильям Николай Николаевич — старший врач терапевтического отделения. Ал.Ив. восхищалась его образованностью, называла его «обаятельной светлой личностью» и как врача ценила его «больше, чем кого бы то ни было в Морозовской больнице» (письмо 16 января 1916 г.).

торых он ждал большего, чем от вражды их. Нам, находящимся между этими двумя народностями, тяжело думать и говорить об этой войне. Мы знаем одно, — что у нас есть обязанности, которые мы должны исполнять, независимо от того, легко ли они нам достанутся. Но мысли о том, что ко мне мои знакомые и друзья могут теперь хуже относиться только потому, что я немец, этой мысли у меня не было, нет и не может быть. Я, хоть и с трудом, допускаю, что к незнакомым людям враждебной нации можно относиться с подозрением. Но к знакомым, хорошо знакомым?! Нет! Это невозможно!

Но ты права, Шуручка, что самое страшное в войне — это озверение, одичание мыслей и чувств, благодаря чему даже культурные люди начинают говорить то, чего раньше никогда бы не говорили¹. Прочти хотя бы статью Евг. Трубецкого² в «Русских ведомостях» от 2 августа³, где он даже русский воинствующий национализм последних лет приписывает плохому переводу с немецкого! Какая чепуха, и какое затмение критической мысли! И как отрадно читать в том же номере Р.Вед. передовую статью с горячим призывом не разжигать низменные националистические страсти. Получается впечатление, что «Русские ведомости» борются сами с собой!

И какое глубокое нравственное удовлетворение получил я, когда все без исключения сообщения о пребывании русских в Швеции в унисон писали о необычайно приветливом и радушном отношении шведов к русским, которых ведь они считают своими врагами! Вот когда обнаруживается истинная культура, далёкая от всякой кичливой крикливости, как хотя бы в Германии за последние годы. То, что творили немцы в Калише⁴, и то, что мы ещё будем творить в Германии, — это, я думаю, для шведов и финнов, насколько мы их знаем и любим (не так ли?) явится дикой невозможностью, невероятной сказкой. И я с гордостью читал эти сообщения. Недаром, значит, нас поражала эта скромная, не бьющая на внешний эффект культурность! И не ошиблись мы, когда вынесли от пребывания в Финляндии только хорошее впечатление о культурном уровне финнов и их учителей — шведов.

А, правда, тягостно сейчас читать газеты? Сколько мелкой злобы, сколько без критики, на веру принятых непроверенных, явно ложных известий. И даже «Русские ведомости» временами шатаются, сомневаются, не участвовать ли в дикой пляске?! Меня сильно утешает то, что ты, Шуручка, сумеешь отличить

¹ В письме 31 июля 1914 г. Ал.Ив. писала: «Я очень рада, моё солнышко Ёжик, что тебя всё интересует и занимает, и не даёт сосредоточиться только на ужасах развёртывающейся войны. Если бы ты только знал, какой ужас меня охватывает, какую боль испытываю при чтении газет. Не смерть, витающая кругом, Ёжик, страшна, а озверение человечества».

² Трубецкой Евгений Николаевич (1863–1920) — князь, религиозный философ, правовед, известный общественный деятель.

³ Ал.Ив. тоже обратила внимание на эту статью. 2 августа она писала Фр.Оск.: «Газету читаю аккуратно каждый день и всю; не то, что в былые дни: статьи, указанные тобой, читала с интересом, и тоже всё время думала о тебе, мой милый. А сегодня любопытна по своей оторванности и наивности статья Евг. Трубецкого. А как тебе нравится заигрывание с поляками? Ты прав! — внутренняя политика после войны должна круто измениться. Только бы скорее конец этой войне. Иного желания у меня сейчас нет».

⁴ Немецкие войска вошли в польский город Калиш 20 июля, на следующий день после объявления войны, и учинили зверскую расправу над мирными жителями.

истину от лжи, поверишь, что всё-таки далеко не всё, что сейчас взваливается и приписывается немцам, — правда. Ты знаешь, Шуручка, что я никогда не был националистом. И всё-таки больно иной раз читать все эти дикие голословные нападки на немецкую нацию. Неужели так-таки окончательно уж забыты и Гёте, и Шиллер, и Кант, и Ницше, и Бетховен, и Вагнер, и многие, многие другие!..

Фр.Оск. не выдержал и сумел-таки 7–8 августа побывать в Москве...

Воронеж, 10 августа 1914 г.

Пишу тебе наспех несколько строк. Вчера утром благополучно приехал. Ночью спал плохо, тесно, сильно устал.

Узнал, что у нас имеется главный врач, только не числящийся у нас по мобилизации, который не приехал, а вновь назначенный из числа ординаторов формирующихся здесь госпиталей. И знаешь, кто им оказался? Наш известнейший специалист по грудному возрасту — Фёдор Александрович Зайцев!¹ Сюрприз! Но человек он, кажется милый. Вчера днём мы вчетвером возились, затем меня послали с поручениями в город. Вернулся только к трём часам. Спать хотелось адски. Выпили с Ал.Аф. чаю и в 7 часов завалились спать. Спал богатырским сном до 7 часов утра!

Вчера достал в городе твои четыре письма и три письма матери². Пишет, что Вилли вернулся через Торнео ещё 23 июля, о Лени нет никаких известий; хлопчут в Министерстве иностранных дел. Артур лишился места, но сейчас же получил новое, тоже хорошее, при рижском трамвае. Гуго — idem³. Эдит получила прибавку жалованья и много работает; шлёт мне горячий привет. Отец ходит по комнатам и бьёт мух, «объявил им войну»! Мать думает, что это у него первые признаки старческой дряхлости. Мать обо мне, конечно, сильно заботится, горюет, что не успели снабдить меня Бог знает чем; советует по возможности близко к границе не подъезжать и т. д. Я сегодня утром засел, чтобы первым делом ответить ей, ведь я ей давно не писал, и она мне ставит много вопросов. Но я так и не успел окончить. Уже в 9 часов пришли все коллеги, и с тех пор у нас шёл военный совет до 1 часа дня. Чтобы поспеть бросить письмо в поезд, я должен спешить; матери письмо придётся послать уже завтра.

Официально объявлено, что мы выступаем в Бар в среду, 13-го числа, но медицинского имущества у нас у всех ещё нет и, быть может, мы останемся ещё целую неделю. Когда будет точно известно, я дам телеграмму: едем. Тогда пиши до востребования в Бар, Каменец-Подольской губернии.

Левитский не получил отпуска; дела ещё много, а времени нет.

¹ Зайцев Фёдор Александрович — врач.

² После выхода на пенсию в 1913 г. Адольф Оскар Краузе вместе с женой Луизой Элизабет и детьми вернулся на родину, в Ригу. Из семи детей в Москве остался один Фр.Оск., четвёртый ребёнок в семье. Его старшие братья Вилли и Артур были инженерами, третий брат Гуго не имел определённой профессии, сёстры Эдит и Лени — учительницы, самый младший, Карлуша — гимназист. Война застала Лени в Париже, и родные беспокоились, как ей удастся оттуда выбраться.

³ Idem (лат.) — то же самое.

Воронеж, 11 августа 1914 г.

Вчера закончил длинное (8 страниц) письмо матери. Вложил [фото]карточки и посылаю заказным. Объяснил ей всю сущность устройства полевых госпиталей, и как они функционируют. Из её писем ясно, что она имеет довольно смутное представление о том, как мы будем работать. Успокоил её насчёт моей экипировки. Она себя упрекала во всех письмах за то, что так мало обо мне позаботилась при моём внезапном отъезде. <...>

Вчера вечером получена у нас телеграмма, что медицинское имущество выслано из Москвы. Может быть, мы и в самом деле поедem послезавтра в Бар? <...> Зайцев пока производит очень хорошее впечатление. Я думаю, что мы здесь четверо хорошо уживёмся. Нет среди нас чиновников и формалистов. Сегодня еду в город закупать всевозможные хозяйственные принадлежности; думаем жить своим хозяйством. Кроме того, куплю по просьбе Зайцева шашки, шахматы и карты. Как видишь, готовимся бороться с всевозможной скукой. Впрочем, мне она не страшна: у меня есть несколько занятий: писать своей жёнушке письма, заниматься французским языком и читать хорошие книги. <...>

После чая пришёл Зайцев, сидели, занимались немного делом и больше болтали. Нет, он, правда, симпатичный парень. Я очень доволен, что мне, таким образом, удалось с ним ближе познакомиться. К тому же он весёлый, не без юмора! Будет хорошо.

Воронеж, 12 августа 1914 г.

У нас, Шурочка, неразбериха! Зайцев, должно быть, у нас не останется. Он назначен здесь заведующим формированием, а вдруг сегодня предписание из Петербурга: ждать присланных оттуда военных врачей, назначенных в госпиталь. Вот так штука! А мы уже радовались. Получим какого-нибудь бурбона петербургского.

Затем относительно дня нашего отправления тоже ничего не известно. Назначены на завтра. Медицинское имущество, говорят, прислано, но только частью, так как цены в Москве слишком дорогие. Предлагают нам недостающее покупать здесь, в Воронеже. Главные врачи хотят от этой части, конечно, отказаться. В общем, получается полная неразбериха.

Мы очень огорчены, если только оправдается, что мы получим формалиста за главного врача. Пока ещё не теряем надежды, что, может быть, как-нибудь этот вопрос уладится.

Ты, Шурочка, читала статью Ал. Толстого в «Русских ведомостях» от 10-го числа «Макс Вук»? Верно, много правильного, есть желание разобраться в психологических основаниях настоящей войны, как культурный немец понемногу превратился в безличную, управляемую и бездушную машину. Конечно, кое-что односторонне и несправедливо; нельзя так обобщать, как это делает Толстой. Но всё же здесь отношение к трактуемому предмету серьёзное. Напиши, Шурочка, как твоё мнение об этой статье. Мне хочется знать, всегда ли твоё мнение при чтении газет сходится с моим. Ведь я, Шурочка, «Русские ведомости» всегда читаю мысленно с тобой и всегда спрашиваю себя, что тебе может понравиться и против чего ты должна восставать. К этому письму я прилагаю две вырезки из понедельничных газет, статьи, с которыми я более или менее согласен. Толь-

ко, не правда ли, чудно, что надо ещё доказывать интеллигентным людям, что Шиллера можно и должно сейчас ставить на театре, несмотря на то, что он немец. Неужели Художественный театр по таким побуждениям откажется от «Дон Карлоса»!

Другая статья тоже старается понять и разобраться в психологии современного германца. Там много воды, но основное правильно, — что существуют две стороны немецкого национального характера: один тип идеалиста, мечтателя, немножко сентиментального, далёкого от жизни, толерантного, добродушного, непрактичного, — это южно-германский тип первых двух третей прошлого столетия. И тип холодного, грубого, практичного, умного, но чёрствого, малодоступного для восприятия чувства изящного, расчётливого дельца — это пруссак новейшей формации. Пруссак задаёт тон. Он создал государственное могущество Германии, но благодаря гипертрофии одних качеств получилась атрофия других, не менее важных, а, быть может, и более ценных. Расплачивается сейчас за это немецкий народ. Будем надеяться, что появится вновь старая Германия, культурные ценности которой не могут исчезнуть никогда.

Прости мне, Шурочка, мою тебе давно известную философию. Всё-таки задевают ведь эти газетные статьи и заставляют всё снова и снова возвращаться к одной и той же теме.

Воронеж, 15 августа 1914 г.

А у нас всё по-старому. Неразбериха усиливается. Из Петербурга нам врачей не присылают. Может быть, Зайцев и останется; было бы очень хорошо. Он в японскую кампанию был главным врачом санитарного поезда Красного Креста. Немного, значит, знаком с нравами и обычаями этой среды. К тому же он человек энергичный и не даёт себя запутать в скверные истории. У него всё будет без сучка и без задоринки.

Медицинское имущество частью прислано, но ещё не выдано. Другую часть Москва предлагает закупить здесь в Воронеже. Заведующий аптечным складом старается свалить на главных врачей, те отбодряются. Нашёлся еврейчик Муффки, взявшийся достать резиновые изделия. Какого качества, можешь себе представить. Вместо полагающихся 32 пузырей на госпиталь, предлагает выдать по одному (!) и т. д.

Телеграммы в Петербург и Москву, телеграммы из Петербурга и Москвы. Вдруг сегодня приказ: сводным госпиталям, назначенным оставаться в Воронеже, немедленно отправиться в Курск и Харьков (значит, и Кутьке). Они начинают сегодня укладываться, а заведующий формированием советует особенно не спешить, так как ведь завтра, должно быть, будет получена отменяющая распоряжение телеграмма!

Воронеж, 16 августа 1914 г.

Милая моя жена! Дождь, тускло, серо, слякоть. Пишу тебе рано утром. Жду сегодня от тебя письмо. Коллеги ещё спят, в соседней комнате хозяйка-тёща по обыкновению ругается со своим зятем. Тяжёлая, увесистая ругань. Мух видимо-невидимо. Кислый запах в комнате, грязь и пыль на полу и всех предметах. Вот наша обстановка.

Однако Шурочка, не думай, что я это описываю для того, чтобы тебя разжалобить. Если рано утром дождь, то, значит, днём будет солнце. Откроем окна, часть мушиного стада выгоним, зять уйдёт, и ругань прекратится, грязь и пыль заставим Фёдора убрать мокрой тряпкой. Одним словом, всё это поправимо и пройдёт. Временная неприятность. Уныния из-за этого не будет.

Дела госпиталя *in statu quo*. Оказывается, что уже несколько дней тому назад сюда приехал какой-то генерал из Москвы, которому подчинены все наши госпитали. Остановился он в гостинице и ждал, когда к нему явятся подчинённые власти. А те ничего не знали! Общий конфуз. Генерал — старичок, отставной, ничего не понимает. Ему сказали, что здесь ему всё объяснят, а тут только имеются противоречивые телеграммы из Петербурга и Москвы. Неразбериха. А теперь у генерала распоряжением из Москвы отняли его сводные госпитали и перевели в Курск и Харьков. Чтобы не остаться совсем без подвластных, он слово «немедленно» толкует широко и задерживает госпитали до воскресенья, авось к тому времени одумаются и оставят их здесь, в Воронеже.

Главным врачам дали деньги на руки — извольте закупить всякие катетеры, термометры и пузыри. Достанете что-нибудь — хорошо, нет — ваше дело. Путаница увеличивается.

Приехали третьего дня к нам сёстры. Пока три, четвёртой ещё нет. Приехали они из Ташкентской общины. Старшая — вертлявая, болтливая, маленькая, с лошадиной физиономией, неопределённого возраста (35—65?), говорит за троих, во всё съёт свой нос. Другая — крепкая, краснощёкая, громко смеющаяся, зубастая девушка (23 года), нрава, кажется, весёлого, без претензий, провинциалка. Выросла в Верном¹ Семиреченской области, других городов пока не видела. Третья — совсем молоденькая (20 лет) девчонка с томными, кокетливыми глазами, с некоторой претензией на изящество. Выросла в Кронштадте, затем попала в Туркестан. Крест получила только что, в мае.

Со вчерашнего дня зажили своим хозяйством. Обедали вместе, приготовленное нашими поварами. Наелись здорово; страшно надоела ресторанный еда.

Кончил вчера второй том Чехова, начал третий, — письма, написанные во время путешествия на Сахалин. Сколько наблюдательности и сколько непринуждённого (иной раз даже слишком непринуждённого) юмора! Правда, советую читать.

Воронеж, 17 августа 1914 г.

А у нас слухи, слухи, слухи! Вчера стали говорить, что нас в Бар не отправят, что ждут телеграммы с приказанием выступить на Кавказ, к турецкой границе! А сегодня опять утверждают, что в ближайшие дни поедем всё-таки в Бар. Вот и разбери, что будет. Ждём у моря погоды. Часть медицинского имущества (инструментов, фармацевтических средств) вчера выдали, часть (хотя и весьма малая) нами закуплена здесь. Может быть, и в самом деле на этих днях выступим.

Вчера узнал, что Кутька несколько дней тому назад поехал в Москву, и в тот же день ему была послана телеграмма немедленно вернуться, так как сводные

¹ Ныне Алма-Ата.

госпитали сегодня должны отправиться в Харьков. Так что Кутька, только что приехав, в тот же день должен был выехать и сегодня утром быть уже здесь, в Воронеже. Бедный, напрасно проездил; не везёт.

Вчера все мы были в бане: Зайцев, Левитский, Ал.Аф. и я. Здорово парились, мылись. Вспоминал, глядя на свою чистоту, былые дни, с надеждой взирал на будущее — будем и мы рысаками. После бани решили скопом пойти в Общественный сад на оперетку: «Цыганские романсы». Я думал, что будет хуже. Под конец певцы и певицы распелись, и было совсем недурно. Правда, много было наивного и в декорациях, и в костюмах, и в приёмах. Вставные куплеты на злобу дня также были лишены особенного остроумия. Вроде: австрийцев и германцев все лупят; или вздохи на тему, как трудно прожить без водки¹ и т. д. Но, в общем, всё-таки лучше, чем я думал.

Это первый раз, что я вечером не дома, и, должно быть, это будет и последний раз. Всё-таки разве можно сравнить удовольствие, которое получаешь дома, сидя за хорошей книгой, с удовольствием сомнительного качества в неудобной чужой обстановке «Семейного сада»? Это мораль, которую я каждый раз извлекал из набегов в аквариумы, эрмитажи и т.п. <...>

Присылаю тебе имеющиеся фотографии и образчик современного публицистического стиля, извлечённый из фельетона Т. Ардова в «Утре России»². Кажется, в красноречии дальше ехать некуда.

Фактическая поправка: немцы обвиняют в зверствах пока не русских, а только французов и бельгийцев. Моя точка зрения тебе известна: всегда вражеская сторона в последние войны обвинялась в зверствах. Единичные факты всегда возможны и, несомненно, имеют место и с той, и с другой стороны. Такова человеческая природа. В систематические, так сказать, официальные зверства я не верю, сколько бы ни писали об этом. Это, во-первых, бесцельно, а, во-вторых, глупо, так как может заставить противника отплачивать систематически тем же.

¹ Ещё 19 июля 1914 г. в России был введён «сухой закон». Продажа алкогольных напитков разрешалась только в ресторанах. Их потребление по стране снизилось более чем в 10 раз.

² В письмо вложена вырезка: «Опаиваемый пивом, обкармливаемый колбасой и мясом немецкий мопс пухнул и хмелел из года в год, глаза его наливались кровью, и скоро вся Германия стала похожа на одного огромного Бисмарка, на эту отвратительную фигуру, обсыпанную сигарным пеплом, пропахшую прогорклым вчерашним пивом. И гордо выставившую вперёд живот. Вся Германия, — как та статуя Бисмарка, нелепый колосс, глупым пятном испортивший зелёную долину прекрасной реки; точно насосавшийся клоп, уселась она посреди Европы. — В глубоком опошлении, в последнем угашении духа, коллективная немецкая посредственность зачеркнула всё на свете, кроме “богатства” и “силы”, и сделала своим идеалом колониального “плантатора” из Камеруна, расстреливающего своих рабов, **Круппа** из Эссена и его великого кайзера, могущественного кайзера, этого Нибелунга двадцатого века, потомка “кровожадных азав”, едущего в автомобиле, рожок которого играет “шествие богов в Валгаллу”. Всё символично в этой Германии, от Вагнера до Цеппелина, похожего на обширную колбасу, и до открыток со свиным задом!»

Воронеж, 18 августа 1914 г.

Ну вот, Шурочка! А я тебя только что хвалил за спокойствие. А сегодня тон опять совсем пессимистический. Ах, твои быстрые переходы! Ну, ничего, это просто головная боль твоя опять изменила. <...> Ну, а относительно духовных причин твоего плохого настроения я тобой согласен. Что для многих коллег война — это только способ всякими путями урвать от казны лишний кусок, это верно¹.

Здесь у нас, например, большую роль играют так называемые «лошадиные деньги». Дело вот в чём: по мобилизационному плану полагается в каждый подвижный госпиталь по лошади на врача. Выдаются ему деньги на лошадь, на седло и, кроме того, ещё какие-то добавочные на седло, в общей сумме — 395 рублей. Подвижным госпиталям лошади необходимы, запасным же нет — нас будут перевозить по железной дороге. Поэтому в мобилизационном плане и указывается, что запасные госпитали получают только одну лошадь для телеги. Вот это и показалось многим врачам обидным. Отыскали какую-то не отменённую статью закона, по которой и нам следует получить по лошади, то есть *деньги* на лошадь и фуражное на неё довольствие, в размере полутора рублей в сутки. И вот многие старшие врачи запасных госпиталей выдали уже и себе (а им полагается 3 лошади, около 1000 рублей, коляска, упряжь) и своим ординаторам эти пресловутые «лошадиные деньги», и регулярно берут и фуражные деньги. Дескать, по закону полагается, почему не брать. Некоторые деньги пока хранят, до окончательного выяснения вопроса, а некоторые, ничтоже сумняшеся послали их уже домой.

Красиво, верно? А уж разговоров, разговоров сколько было! Во всяком случае, больше, чем о делах госпиталей. В нашем госпитале этот вопрос даже не поднимался. Если окажется, что нам полагаются лошади, я себе куплю, так как

¹ Настроение Ал.Ив. переменчиво. Только недавно, 11 августа, она писала: «Наконец, после двухдневного напряжённого ожидания раненых, сегодня мы их увидели. Привезено их 101 человек в 10 часов вечера. Ещё издали слышались тягучие рожки автомобилей. И какое же особенное волнение при виде многочисленных мчавшихся с огнями и флагами Красного Креста автомобилей. Почувствовали веяние войны. Раны довольно лёгкие, главным образом в области конечностей. Перевязывали все ассистенты и наши хирурги. К 12 часам всё уже было сделано: солдаты перевязаны, накормлены, переодеты и уложены. — И знаешь, Ёжичка, какая сплочённость и солидарность чувствовались в это время. Дедушка [*главврач Морозовской больницы Н.Н. Алексеев*] порхал, и взор его был светел и радостен. Не правы те, кто обвиняет нас в специфичности и узости. Ведь разве можем мы получить такое общественное воспитание, какое даётся вам благодаря гражданским обязанностям?» Но уже 14 августа она испытывает глубокое разочарование и пишет: «Особенно что-то тяжело сегодня. Уж очень приходится разочаровываться в том общественном подъёме, про который так усиленно пишут газеты. Вот, хотя бы взять оборудование госпиталей. Сколько за последнее время было разговору у наших старших врачей относительно массы работы по устройству этих госпиталей. Я сочувствовала им всей душой и готова была предложить свои услуги; думала — всё это святой безвозмездный порыв. А оказывается, эти госпитали просто-напросто лакомый кусочек для всех городских врачей, за который они очень жадно хватаются, забывая свой долг перед обычными своими больными. Ведь 125 рублей что-нибудь да значат. Простым же врачам, желающим только заниматься в госпитале, нечего туда и нос совать. Разве всё это не противно, Ёжичка? Война — это просто рентгеновские лучи для всего скверного в человечестве».

надоело пешком по грязи бегать в город и тратиться на извозчиков. Но получать фуражное довольствие на лошадь, не имея лошади! Бррр!

Вообще, Шуручка, я с тобой согласен, что порядочных людей не так уж много среди коллег; милые товарищи! Но всё же, Шуручка, не следует и разочаровываться во всё. Если нет сейчас, то будут. Дадим же пример, и только! <...>

Знаешь, Шуручка, какой я глупый?

Вот уже три недели сидим в Троицком, на самой его окраине, и только вчера мы втроём догадались пройтись и посмотреть, что за окрестности. И оказалось, что тут близко есть чудесные места. Воронеж стоит на горе, и кругом тоже холмы и долины. Вышли мы из села, подошли к железной дороге. Затем вдоль полотна шли версты две или три: насыпь высокая, а с неё прекрасный вид на обе стороны: долины, леса, справа — река Воронеж, а вдали на другом холме виден Воронеж. И у самого горизонта — уходящий вдаль, на Ростов, поезд. Погода прекрасная.

Затем свернули влево и через поля добрались до рощицы, где под высокими дубами и отдохнули.

Как бесплатное приложение к этому письму прилагаю листочек с одного из этих дубов. Посмотри на него с грустью, с надеждой, с верой в будущее. Придёт опять наше время, когда мы с тобой будем гулять вдвоём, придёт опять наш «остров Нагу».

Кончилось наше сиденье под дубами большим сражением желудями, причём я потерпел поражение и удрал в лес, красивый лиственный лес. Там мы опять соединились и наткнулись на фруктовый сад. Там у старика купили яблок и груш, перебрасывались тыквами и вообще вели себя непринуждённо. На обратном пути попали в красивую долину: по обе стороны холмы, покрытые лесом. Затем прошли мимо тихого пруда при вечернем закате. Было очень красиво и тихо-тихо. Людей почти не было. Попались только четыре семинариста, очень красиво певшие хором «Из страны, страны далёкой», «Стоит на Волге утёс» и т. д. И тенор, и бас были великолепны. И всё, Шуручка, думалось, почему тебя нет. Было так хорошо, а как хорошо было бы с тобой!

Воронеж, 19 августа 1914 г.

Медицинское имущество мы сегодня окончательно получим. Из 18 ящиков имеем 17. Завтра думаем объявить рапортом заведующему формированием, что госпиталь 253 готов. Даже резиновые изделия мы получили здесь, в Воронеже, хотя и не все, и не всегда такого качества, как нужно. Теперь, я думаю, можно уже с большой долей вероятности сказать, что на днях выступаем. Всё-таки, должно быть, в Бар. Главный врач из Петербурга что-то долго едет; пока у нас ещё Зайцев.

Сегодня мы получаем жалованье. На мою долю 131 рубль, но говорят, что Левитский что-то напутал, и что мы должны получать больше. Себе, как старшему ординатору, он высчитал около 300 р. Высчитывать приходилось по всяким законам, и разобраться в них не так уж легко. Как бы то ни было, завтра я отдам Ал.Аф. 35 рублей и тебе пришлю остальные 30 рублей (ведь 25 р. ты получила?). <...> Хочу кстати послать и 20 рублей сестре, чтобы заодно уж отделаться от долгов. Останется портной, которому я 51 р. пришлю по получке следующего

жалованья. Когда мы отсюда тронемся, то нам опять выдадут какие-то прогонные и увеличенные суточные. Так что, я думаю, месяц я проживу.

Неинтересно, верно? Ну, ничего, приходится иной раз и такими скучными вещами заниматься.

Позабыл тебе писать, что книги, купленные мною у Кутьки — это: проф. F. Lejars: «Хирургическая помощь в неотложных случаях» в двух толстых томах издания Карцева. Хвалят, но я ещё не начинал читать, так как увлёкся следующим томом писем Чехова периода поездки на Сахалин. Читай, Шурочка, читай! Удивительно у него правильное (на мой взгляд) мнение о людях, и как он ненавидел всё мелочное и пошлое, не словами только, но всем своим нутром. А если кого полюбит, какое удивительно хорошее отношение, какая вера (например, к Суворину). Нет, положительно большое наслаждение я получаю от этих томов.

Воронеж, 21 августа 1914 г.

Шурочка, я угнетён! Рука моя дрожит, туман застилает мне взор, мороз пробегает по спине! Нет, кроме шуток, случилось нечто весьма неприятное: вчера приехал из Петербурга наш новый главный врач и произвёл на всех нас весьма неприятное впечатление.

Так как большинство госпиталей объявило себя готовыми, а из Москвы нашему заведующему формированием (очень милому человеку) прислали нагоняй за то, что дело плохо налаживается, и приказали нам сейчас же выступить, — мы вечером всем составом пошли на сборный пункт узнать, к какому часу нам комендант станции приготовит эшелон. Пока мы там сидели и болтали, внезапно быстрым шагом вошёл среднего роста и возраста военный врач в походном снаряжении (для ча?), в золотых очках, с маленькой, à la Napoleon III, чёрной бородкой и острыми колющими глазами. Вошёл и быстро стал обходить всех, здороваясь и представляясь Марковым. Мы знали, что к нам должен приехать именно Марков, спросили, к нам ли он приехал, и вот познакомились. Скороговоркой, резким голосом он стал расспрашивать Зайцева о делах госпиталя, постоянно его нетерпеливо перебивая: я знаю, знаю. В общем, такой тон, который мы тут ещё не слыхали ни от кого. Военных врачей здесь много, однако, никто из них здесь начальством себя не держал. Чин у него не выше других главных врачей, но говорят, что он служил в Петербурге у крупного медицинского инспектора или что-то в этом роде. Одним словом, чувствует себя шишкой, с твёрдой почвой под ногами. «Как Ваша фамилия?», «А Ваша?» и т. д. Всё это говорится начальственным отрывистым, не терпящим возражений тоном.

Может быть, первое впечатление хуже, чем окажется на самом деле, но пока мы, словно с рая на землю свалились. Чувствуем себя более поражёнными, чем при прочтении о нашем поражении в Восточной Пруссии¹. Там-то ведь дело поправимо, а здесь? Только ты, Шурочка, не удручайся; может быть, он окажется неплохим. Ведь бывает же у некоторых людей неприятный тон, несмотря на то,

¹ Наступательная операция Северо-Западного фронта в Восточной Пруссии потерпела неудачу. 2-я армия под командованием генерала от кавалерии А.В. Самсонова была окружена и понесла огромные потери, командарм Самсонов застрелился. 17 августа русские войска отошли за р. Нарев.

что они недурны. В крайнем случае, если он формалист и чиновник, то можно себя обставить формально, чтобы придаться было не к чему. Товарищеских отношений с ним не будет, но зато они имеются с другими коллегами <...>

Уедем мы, должно быть, сегодня; извещу тебя телеграммой. Пишу рано утром. В 9 часов к нам придут Марков и Зайцев и сдадут один другому свои обязанности.

Наше поражение меня сильно огорчило. Неужели и теперь у нас там царит халатность? Ведь чтобы уничтожить штаб, надо было обойти корпуса сзади! Они зевали, и их обошли! Неужели мы всё ещё не доросли. Нет, нам превосходством своей культуры ещё рано кичиться. Верно?

Воронеж, 22 августа 1914 г.

Был вчера у нас в канцелярии главный врач и принимал дела от Фёдора Александровича. Был он, хотя и страшен, но и смешон: очевидно, проштудировал перед отъездом из Петербурга все подходящие статьи закона, всё это у него в голове перепуталось, и поэтому, несмотря на сильное желание подать вид, что он всё знает и всё видит, получилось впечатление обратное. Зайцев узнал, что он по окончании сразу же получил место в медицинской канцелярии, и вообще человек с медициной общего весьма мало имеющий — попросту карьерист. Сейчас его начальство посадило на это хорошее местечко, где он может выдвинуться, чтобы после войны занимать уже более высокие должности. Зайцев находит, что так как он в медицине ничего не смыслит (он Зайцеву сам сказал что он «не хирург»), то наше дело выиграно, что мы его при некоторой ловкости будем держать в руках. Зайцев нам советует взяться смело за хирургию и импонировать ему этим. Я после разговора с главным врачом также вынес впечатление, что он не будет мною командовать. Горячо советую товарищам держаться более независимого тона с ним и не давать ему возможности быть слишком о себе высокого мнения (боязнь начальства всё-таки глубоко вкоренилась в русского человека!). Так что, Шурочка, ты не унывай; твой Ёжка не даст себя согнуть в бараний рог и будет достоин своей Шурочки.

А я, Шурочка, должен прочесть тебе маленькую нотацию: неужели ты думаешь, что я могу постепенно писать тебе всё реже и реже?! Ведь мне, Шурочка, обидно это читать! Больше ничего не скажу...

А, может быть, письма плохо доходят? Я как-то раз не писал два дня подряд, затем 5 дней писал, а потом третьего дня опять пропустил день. Шурочка, ведь мы живём здесь втроём в одной тесной комнате, а почта от нас далека! Бывает иной условия, правда, весьма неблагоприятные для писания! Не будь так строга! Знай, Шурочка, что я всегда с тобой, даже если иной раз и пройдёт день без письма! Твой Ёжка.

Погода свежая, но ясная; изредка дождевые тучи. Были опять в фруктовом саду; снимал, но ещё не проявил. Были с Зайцевым.

Вчера мы не уехали, не уедем и сегодня; мы попали в последнюю очередь. Вчера отправились 6 госпиталей, между прочим, и Алексей Афанасьевич. Сегодня отправится ещё 8 госпиталей; а мы, должно быть, завтра или самое позднее послезавтра. В Бар адресуй тоже пока «до востребования». Если не получу, то сообщу. От матери уже две недели нет известий! Письма не доходят?

Воронеж, 23 августа 1914 г.

Сегодня наконец выяснилось, что мы непременно поедем не позже завтрашнего дня, может быть, даже сегодня ночью. Эшелон уже назначен, мы только ещё не справились относительно часа отъезда. Вечером всё будет известно. Пойду на почтаamt, брошу это письмо и пошлю тебе и своим телеграмму: едем Бар. Вчера и сегодня я от тебя писем не получал. Оставляю заявление, чтобы мне письма пересылалась в Бар «до востребования». <...> Если необходимо адресовать «в действующую армию», то тотчас же уведомяю.

Наконец-то! Последние дни стало совсем нудно сидеть здесь без дела. Товарища почти все уже уехали, дождь сегодня с утра, грязь непролазная. Холодно! Одно стекло в раме у нас выбито, и ветер ночью так и гуляет себе по нашим спинам. Некому согреть!

Вчера вечером получил письмо от Эдит. Оказывается, что Лени всё ещё сидит в Париже. Дома получили от неё запоздавшие открытки, в которых она пишет, что madame, у которой она остановилась, очень любезна и предлагает ей жить у неё всё время войны, даже если у неё иссякнут средства; после войны де оплатит. Всё это, конечно, очень хорошо, но ведь германцы уже подходят к Парижу, и мирное население оттуда бежит! Где она останется теперь? Эдит пишет, что мать сильно беспокоится, похудела, волнуется, а вообще чувствует себя очень скверно.

К тому же Карлушка поднёс сюрприз: провалился на переэкзаменовке по математике. Родители потеряли голову и взяли его из гимназии! <...> Три старших брата и сама Эдит продолжают регулярно работать, но общий дух угнетённый. Лени место учительницы французского языка, которое ей было обещано весной, конечно, тоже потеряла. В общем, печально; отрадного в письме Эдит ничего не нашёл.

Господи, как много горя приносит эта война. Если вдуматься, то всё, о чём читаешь в газетах, — не только то, что делается на «театре военных действий», — сплошной ужас! Люди стали говорить совсем другим языком. То, что казалось нерушимым, разлетается в два дня. Все культурные устои — насмарку, повсюду одичание и озверение. Где же наша хвалёная европейская культура? Какое взаимное ожесточение! Какая ненависть друг к другу, к людям, которые тебе никакого зла не сделали, которые случайно принадлежат к другой национальности! Мы, Шурочка, с тобой не поддадимся. Мы найдём в себе достаточно твёрдые устои, верно?

Воронеж, 24 августа 1914 г.

Я тебе вчера послал телеграмму: «едем Бар», чтобы ты сюда больше не писала (как бы цензура не задержала телеграмму?), однако мы ни вчера, ни сегодня не поехали, а тронемся только завтра. Несмотря на отданный приказ, несмотря на то, что сегодня выезжает последняя партия госпиталей, наш главный не торопится. С трудом его сегодня утром уломали ехать завтра вечером. <...>

Пиши мне, пожалуйста, в Бар сначала два письма по разному адресу одновременно: одно «до востребования», а другое «Действующая армия, 253 запасный полевой госпиталь, ординатору такому-то». Посмотрим, какое из них дойдёт, и что скорее.

Вчера были в бане, а потом сидели и пили чай у Зайцева. Много говорили о Морозовской больнице, характере Николая Николаевича, Вл.Ал., Бор. Абр.¹ Мне очень интересно было слышать его мнение. Он сам говорит, что его долго принимали за студента и отказывались верить тому, что он опытный врач. У него неиссякаемая энергия, удивительная простота общения. Он может дурачиться как мальчик, и вместе чувствуется, что он человек много работающий и знающий. Чем больше я его узнаю, тем больше он мне нравится. Его здесь упразднили, послали телеграмму в Москву, и он уже твёрдо рассчитывал, что поедет домой и поступит в Красный Крест. И вот сегодня оттуда телеграмма: Зайцев назначается временным главным врачом предполагаемых формироваться в Воронеже эвакуационных госпиталей. Одним словом, жди здесь у моря погоды. «Временным», «предполагаемых»!! Бедный! А он так надеялся!

Наш главный мне уже совсем не страшен. Это всё потуги казаться страшным. Меня он не съест. Я в нём вижу больше смешного.

Лошадиные деньги мы не получаем, слава Богу! Многие останутся с носом. Ем ежедневно около 20 яблок, пожираю арбузы. <...> Столуемся вместе с сёстрами дома. Холодно! Изредка солнце, радуга.

Воронеж, 25 августа 1914 г.

А я начинаю киснуть, и нервы начинают трепаться. Как видишь, я тебе опять пишу из Воронежа — мы не поедem и сегодня; быть может, и совсем не поедem отсюда... Мы стоим на мёртвой точке. На неё попал Зайцев, попали теперь и мы. Когда мы вечером вчетвером (Зайцев, Левитский, Никольский², — зауряд-врач, и я) пошли в белый дом (сборный пункт) узнать, нет ли к вечеру каких-нибудь новостей, то узнали, что только что получена из Москвы телеграмма: запасные госпитали, ещё не уехавшие, задержать, немедленно развернуть; будут замещены формируемыми в Москве.

Нас как громом поразило, только Зайцев злорадствовал. Заведующий формированием сейчас же ответил в Москву, что только наш госпиталь в состоянии «развернуться», а другие, оставшиеся здесь, ждут медицинского и интендантского имущества. Так что мы ещё не теряем надежды. Может быть, сегодня будет получена телеграмма: свернуться и отправляться! Начинается недостойная комедия: свернуться и развернуться!..

Вы там, в Москве работаете, здесь в Воронеже тоже уже работают частные земские и городские госпитали. А мы: свернуться, развернуться! С тем ли мы приехали сюда? Того ли ждали? Сидеть всё время войны в Воронеже, в жалком (сравнительно с земскими), плохо оборудованном госпитале, далеко от войны! Даже меня начинает разбирать что-то нехорошее.

Главный доволен, смеётся; трусит ехать на войну. Левитский после первого испуга быстро успокоился. Он выпишет жену и детей, будет недурно. Николь-

¹ Речь шла о директоре (главном враче) Морозовской больницы Николае Николаевиче Алексееве и старших врачах заразного отделения этой больницы Владимире Александровиче Колли и Борисе Абрамовиче Эгизе.

² Никольский — зауряд-врач.

ский недоволен: ведь жалование мы здесь будем получать по-мирному, 120 р., а он рассчитывал на все 150 р.

Сплюнуть хочется! Вот уже целый месяц мы живём здесь в грязи, спим на полу, нюхаем противную махорку, зябнем; вещи все раскиданы, нет элементарного приличия. Если всё это где-нибудь хотя бы в тылу армии, на месте живой нужной работы, то с восторгом мирился бы со всеми неудобствами. Но для того, чтобы «свернуться и развернуться», — слуга покорный. Общественные учреждения давно сформировали всё нужное, а мы никак не можем получить ни медицинских предметов, ни ещё чего-нибудь. Позор!

Зато как у нас канцелярия поставлена! Сколько бумаги уже ушло, сколько толстых прошнурованных книг написано! Работа кипит там с утра до вечера. Четыре писца скрипят перьями и пишут, пишут, пишут. Мы просрачиваем, просрачиваем, просрачиваем¹. Всякие события идут мимо нас. Мы запоздалые зрители, через головы других стремящиеся кое-что увидеть из того, что творится там, на «театре» военных действий! Эх!..

Сегодня будем выжидать. Если не будет отмены, то придётся устраиваться здесь. Переедем в Воронеж, где нам отдадут, должно быть, под госпиталь и квартиры гостиницу «Франция». Единственный плюс, что будешь жить в приличной обстановке. Но стоило ли для этого из Москвы переезжать в Воронеж, от неизмеримо лучшего к худшему?!

Французским языком, Шурочка, я последнюю неделю заниматься не мог, не до того было. Нет достаточного спокойствия. Нет ничего более деморализующего, как неизвестность.

А сегодня, после последних дождей, как раз чудесная погода: небо синее, тучки пышные белые, даже как будто теплее стало.

А здесь на вокзале какой-то серый мужик ударил высунувшего голову из окна вагона пленного австрийского офицера! А проезжавшие пленные германские офицера не отдали честь коменданту станции, за что переведены из второго в третий класс! Какое общее огрубение нравов, какая дикость!

Как симпатична сегодняшняя перепечатка из английского журнала (№ 194 «Русских ведомостей») «Цели войны». Насколько выше, всё-таки, культура у англичан! И как недоказательна и бледна статья А. Толстого «Париж!». Почему Макс Вук, немецкий буржуй, должен непременно превратиться в дикого зверя, а французский буржуй, сняв маску, оказывается героем?! Где же тут справедливость, где психология и логика?

А верно, Шурочка, чудно. Ведь ты мне гвоздики прислала, когда ещё не получила моего дубового листка? Какое знаменательное совпадение. Мы думаем об одном и том же.

Воронеж, 26 августа 1914 г.

Не послал я тебе вчера телеграммы, что наш отъезд отменён, потому что мы каждый момент можем получить обратный приказ. Оказывается, что нас здесь осталось не четыре, а шесть госпиталей, причём возможно, что в Москве пред-

¹ Излюбленное словечко Фр.Оск., позаимствованное у А.Ф. Кони («А он всё просрачивает и просрачивает»).

полагали, что нас здесь уже нет. Сегодня из Москвы снова запрос, какие №№ находятся здесь. Очень возможно, что мы завтра всё-таки выступим, только не в Бар, где мы уже не нужны, а к самой австрийской границе или даже в Австрию. Есть указания и на это. А пока мы сегодня у городской управы требуем помещения в городе для госпиталя, и, если не будет отмены, то завтра или послезавтра развернёмся здесь. Как только окончательно выяснится, что мы едем, я тебе pošлю телеграмму: «едем действующую армию». Туда и адресуй. А пока пиши мне сюда, как раньше. Я попрошу Зайцева переслать мне те письма, которые меня здесь не застанут.

Главный мне ликующе сообщил, что имеется приятная новость. Я думал, что нам ехать. Нет, Боже сохрани! Нам прибавили какие-то продовольственные деньги. Около этого вопроса всё вертится, и это больше всего захватывает. На сегодня он мне дал поручение: во-первых, проверить знание ротных фельдшеров, во-вторых, выбрать из команды подходящих санитаров и обучить их, и, в-третьих, вразумить всю команду, чтобы не пила сырой воды и не жрала (pardon) сырых земных фруктов. Сегодня у одного объявился кровавый понос. После обеда мы с Левитским этим и займёмся.

Сегодня тепло, ясно, солнышко даже греет.

Читала официальное сообщение о жестокостях германского населения по отношению к русским? Целый ряд проверенных фактов! Как гнусна везде бывает толпа! Плевки в лицо, удары палками беззащитных людей! Какая гнусность! Впрочем, я убеждён, что не везде толпа бывает таковой. Ни в Швеции, ни в Норвегии, ни в Финляндии это невозможно. И знаешь, Шурочка, почему главным образом там культура более достойная? Потому, что почти совершенно запрещён алкоголь! Нет этого разъедающего и деморализирующего его воздействия. И если, Шурочка, у нас последствием войны будет полное его запрещение, то война для России будет великое благо, с избытком искупающее всё настоящее горе. Как ты думаешь, Шурочка? Ведь и туберкулёз, и сифилис тогда не будут уже так страшны, не будет почвы. Появится бодрость и сила северных народов. Тогда только мы будем истинно великим народом! Для меня всё-таки Скандинавия во многом образец. И наша, и западная культура во многом всё-таки гнила.

Воронеж, 27 августа 1914 г.

Наше положение становится всё глупее и глупее. Вчера наш главный поехал с заведующим формированием в город подыскивать нам помещение. Приехали в городскую управу, а там от городского головы ответ: мы этим теперь не заведует, обратитесь в губернскую управу. Поехали туда. Ответ: мы перестали этим заведовать, обратитесь в земскую управу. Там ответ: обратитесь в эвакуационный комитет, мы ему передали эти функции. А этот пресловутый эвакуационный комитет состоит из одного капитана и одного поручика, которые, кроме своего назначения на эту должность, не получили ни сведений, ни средств, ни полномочий. Они должны были бы направлять раненых в пресловутый «предполагаемый эвакуационный госпиталь», одним из главных врачей которого уже назначен Фёд. Ал. Но его нет, он даже не начал ещё формироваться. Вообще о нём сведений никаких, ведь он только «предполагается»! И вот эти два бедных офицера направляют всех в городской и земский комитеты, которые тоже снабжены всем

недостаточно, а раненым офицерам даётся совет устроиться у родных и знакомых. Беспорядок и неразбериха отчаянные!

Пока всё ещё сидим и будем сидеть в Троицкой Слободе.

Зайцев передаёт со слов раненых офицеров, что отношение полковых врачей на поле битвы безукоризненное, полное самопожертвование, но чем дальше вглубь России, тем хуже отношение. Врачи всюду занимались только флиртом с сёстрами милосердия. Они возмущены до глубины души. А здесь им дают совет ехать домой! В дороге их, раненых и больных, уже в России, иной раз в сутки не кормили, и им приходилось просить у сопровождавших их солдат уделить им шей и хлеба! К станции их не подвозили, а оставляли где-нибудь на стрелке. Зато пленные австрийцы всегда подвозились к станциям, где их щедро наделяли всевозможными припасами. В особенности местные дамы отличались своей любезностью по отношению к пленным, прямо противно, а своих забывали. Даже тут на первом плане видимость, для заграницы! Ну, их!

Гуляли мы вчера за городом в парке садоводства и лесоводства. Чудесные осенние пейзажи, свежий ветер. Жёлтые и красные листья шуршат, когда ходишь. Почему тебя нет со мной? Поднялись выше в большой фруктовый сад. Видели, как добывали яблочный сок, как готовили пастилу и цукаты. Как вкусно пахло! Купили пастилы и заказали яблок и груш. Сегодня послали солдат. Принесли нам громадный мешок — три меры чудесных фруктов. Мера — 80 коп. В комнате, пока пишу, сильно пахнет свежими яблоками и грушами. Осенний бодрый запах!

Шурочка, я хочу к тебе. Почему нельзя? Так глупо, глупо. <...>

Погода чудесная. Стало опять тепло. Сегодня опять начну заниматься французским языком.

Мух у нас видимо-невидимо. Чехов в своих письмах утверждает, что они воздух очищают, но у нас этого что-то не видно. Спать не дают, черти.

Воронеж, 29 августа 1914 г.

Скоро 2 сентября, будет год, как мы с тобой гуляли в Петровском-Разумовском!¹ Как наша кривая? Благополучно поднимается, не правда ли? Лишний вопрос. <...>

А у нас луч надежды, что мы всё-таки отправимся отсюда. И скоро отправимся. Дело в том, что четырём госпиталям здесь прислано всё недостающее интендантское имущество. Мы готовы, и снова сегодня посылаем телеграмму в Москву с извещением об этом. А, так как мы здесь не развернулись, и нового приказа об этом не получали, то мы весьма сильно надеемся, что завтра будет получен ответ с приказанием уехать отсюда на театр военных действий. Здесь кто-то из назначенных по плану в Гомель получил новый приказ поехать прямо к границе Австрии. Мы тоже надеемся, что нас отправят сразу дальше (то есть наш главный этого боится!). А пока всё — *idem*.

Вчера был в городе, проявлял пластинки, сделал несколько закупок. Затем Фёдор Алекс. потащил в баню, а вечером засадили меня за пулюку. Сел я, поверь,

¹ Важная семейная дата: день взаимного признания влюблённых (2 сентября 1913 г.). Этот день стал для них ежегодным семейным праздником.

без всякой охоты; результат обычный. Впрочем, не думай, что мы часто играем, после приезда из Москвы первый раз. <...>

Главного почти не вижу — не хожу в канцелярию. За полторы недели видел раза три. — Масса яблок и груш. 100 помидор — 11 коп.

Воронеж, 30 августа 1914 г.

Всё-таки пока остаёмся в Воронеже. Только что получена телеграмма из Москвы с приказанием немедленно здесь развернуться четырёх запасным госпиталям, в том числе и нашему. Очевидно, нас здесь задержат вплоть до формирования предполагаемых эвакуационных госпиталей. Завтра утром энергично будем себе искать помещение, должно быть, «Францию», а к вечеру начнём перебираться. Если не завтра, то уж непременно послезавтра, на этот раз серьёзно. Итак, суждены нам благие порывы! По крайней мере, хоть мать останется довольна, что я вне опасности; она так надеялась, что я останусь в Воронеже.

Неужели здесь моя работа более нужна, чем была в Морозовской больнице!? Как это всё нелепо. <...>

Что значит твоя таинственная фраза о том, что мы, может быть, скоро увидимся? Шурочка, что мне это очень, очень хочется, в этом ты не сомневаешься, но ради Бога, не предпринимай никаких поспешных шагов, не посоветовавшись со мной, прошу тебя, Шурочка. Не надо ради, может быть, мимолётного настоящего расстроить долгое будущее. <...> Вот как кончим стаж в Морозовской больнице, тогда, Шурочка, нас уж не разлучить так легко, верно? Придёт и наше время.

Пишу тебе вечером. Ждём выяснения нашего положения, телеграммы. А сейчас кругом меня сидят, разговаривают, мешают. Болит голова от жирного обеда (прости натурализм). Вот видишь, как мы здесь живём. Во «Франции», должно быть, дадут отдельную комнату; дай Бог!

Вчера вечером наши от нечего делать опять были в городе, в «Бристоле», ели, пили. Я категорически отказался и в 9 часов лёг спать. Вот какое примерное поведение! Сегодня кончил четвёртый том Чехова, занимался печатаньем фотографий; завтра пришло.

Очень доволен, что в «Русских ведомостях» опять стал печататься Гроссман, живший в Берлине и оттуда писавший¹. Он много лет жил в Германии, знает её хорошо, и будет писать беспристрастно. Но какое и там озлобление! Те факты, на которые указывает Кизеветтер², конечно, нелепы (не переводить вражеских авторов, сложение учёных званий), но всё-таки язык его чересчур резок. Если вдуматься в психологию германцев, привыкших видеть своё отечество великим и видящих неминуемую гибель его не от большей доблести врага, а от его подавляющей численности, от того, что все соединились против двух (даже японцы пользуются!) — становятся немного понятными и эти нелепости. Каково настроение там, в Германии, об этом даёт некоторое понятие последняя телеграмма, хотя

¹ Гроссман Григорий Александрович (Рувим Алтерович) (1863 — после 1917) — публицист, политический деятель, переводчик, сотрудник берлинского корпункта «Русских ведомостей».

² Кизеветтер Александр Александрович (1866—1933) — историк, публицист, видный член кадетской партии.

и краткая, Гроссмана от 29 августа. Много нелепостей и дикостей совершается сейчас со всех сторон, такова уж поганая психология войны. К протесту же врачей, если только он будет обоснован фактами, я присоединюсь горячо! Врач обязан быть, прежде всего, врачом!..

Воронеж, 31 августа 1914 г.

Вчера вечером, Шурочка, когда я писал письмо, я никак не ожидал, что пошлю его с оказией. Только что я запечатал и наклеил марку, как входит Фёд.Алекс. [Зайцев] и сообщает, что сейчас же едет в Москву, не будет ли каких поручений. Вот я ему и отдал письмо вместе с томом Чехова. Завтра всё уже должно быть в твоих руках.

А наш главный — это полное ничтожество. Получил он вместе с другими главными врачами вчера приказ от заведующего формированием подыскать помещение для госпиталя, непременно сегодня утром. Он выразил полное усердие и готовность. А сегодня пришёл сюда в канцелярию в 11 часов. Мы думали, что он нам сообщит, куда ехать. Ничуть не бывало! Здесь он заявляет, что это не его дело искать помещение для госпиталя. Это, дескать, дело заведующего формированием! А между тем другой главный врач утром уже занял лучшее помещение — гостиницу «Франция». За что нас Господь наказал таким болваном! А ведь он считает, что он работает: каждый день он сидит в канцелярии и в двадцатый раз переписывает старые приказы. Перепишет, не понравится что-нибудь, снова зачеркнёт, и так до бесконечности. Даже по канцелярской части он глуп. Левитский говорит, что самых простых счетов он не сразу понимает, соображает плохо. Прямо беда. Я к нему в канцелярию не хожу, вижу его случайно и редко, от греха подальше. А на сборном пункте он кричит назойливо, громче всех, либеральничает, проходится на счёт начальства, острит глупо. Одним словом, полное ничтожество.

Выберемся ли мы когда-нибудь из Троицкого при этом милом человеке? Кто его знает. Перестаёшь верить. Кажется, что вот ещё долго так будет проходить один день за другим без дела, когда дела много, когда работа не ждёт. Эх, Шурочка! Нехорошо! <...>

Борису Абрамовичу я не пишу, потому что хочется ему сообщить что-нибудь положительное о нашей работе. А между тем мы здесь ничего не делаем. Совестно даже писать «с войны». Передай ему, пожалуйста, мой привет и объясни моё молчание: совестно, дескать.

У нас опять лето. Стало тепло, сухо; солнце. Природа ликует, и не вяжется это совсем с теми вестями, которые идут с театра войны. Там разрушения, ужас, смерть... Когда читаешь цифры, то не страшно, но рассказы очевидцев по своей простоте и непосредственности весьма убедительны. И французы, и наши наступают; может быть, к Рождеству конец? Какое бы счастье!

Воронеж, 1 сентября 1914 г.

Я тоже начинаю понимать настроение Вильяма. Я тоже чувствую себя в положении человека, стоящего в грязной луже и обливаемого густой грязью¹.

¹ На это Ал.Ив. отвечала в письме 4 сентября: «Я согласна, милый, что газеты теперь вызывают одну горечь, одно страдание, но ты, — слышишь, Ёжик, — ты не должен чув-

Передо мной лежит воскресный номер «Русских ведомостей». Я его внимательно прочёл. Ряд статей, в которых громко говорится о культуре, прогрессе, человечестве... Первое впечатление как будто бы ничего: в передовице говорится, что мы воюем только с милитаризмом и шовинизмом, и что мы хотим победить только для того, чтобы водворить в Европе прочный мир и обеспечить господство начал права и свободы! Кизеветтер мямлит что-то: вера в человечество есть наша духовная опора при всех разочарованиях в его отдельных представителях. Письмо в редакцию Фатова¹ доказывает (очевидно, необходимо это доказывать!), что нет искусства, нет науки врагов, а есть науки и искусство единого культурного человечества. Плетнёв² тоже доказывает, что немецкие фармацевтические препараты бойкотировать не следует (и это надо доказывать!). Всё как будто обстоит благополучно. А если разобраться подробней?

Это из передовицы [*вклеена вырезка*]: «[герман]ской культуре, — национальное самодовольство, национальную исключительность, узость, стремление к всемирной гегемонии и презрение к праву».

Эти четыре вырезки из статьи Игнатова:

«...все усилия ума, все успехи науки, всю энергию национальной воли Германия в течение многих лет стремилась перелить в чудовищную пушку, в блиндированный автомобиль с пулемётами, рассылающими смерть, в бомбу, могущую разрушить драгоценности искусства, все мирные приобретения цивилизации»

«простая встреча и мирная беседа с немцем казалась изменой родине»

«представить себе опять высокомерного юнкера на улицах Парижа, видеть торжество прусской солдатчины, прусского духа было невыносимо: это было бы новое оскорбление человечества, новый вызов человечности»

«Дух насилия, распространяемый и поддерживаемый Германией, был оскорблением для всего человечества»³

Это из Кизеветтера [*вырезки*]:

«...денткой, в виду разочарования теми передовыми элементами немецкой интеллигенции, которые почитались светочами культуры»

«всеми замечалось. Взрезали нарыв, и вышел гной. И пусть он выходит».

Это Д. Плетнёв [*вырезка*]: «Среди общества появляется вполне законное желание бойкота немецких товаров».

Письмо в редакцию Фатова [*вырезка*]:

«Там совершаются дела, о которых, казалось, человечество давно забыло: там новые гунны разрушили Лувен, там новый Омар уничтожил ценнейшую библиотеку, там сокровища Лувра прячутся в стальные ящики».

ствовать себя как Вильям. Все, кто тебя знает и узнает ещё, будут [*к тебе*] относиться всегда хорошо, и я всегда, всегда душой с тобой».

¹ Фатов Николай Николаевич (1887–1963) — литературовед, впоследствии профессор.

² Плетнёв Дмитрий Дмитриевич (1871/72–1941) — профессор Высших женских курсов в Москве (и позднее — 1-го МГУ), публицист, кадет, выдающийся советский врач-кардиолог, основатель отечественной кардиологии, директор НИИ диагностики и экспериментальной терапии, врач Кремлёвской больницы. В 1937 г. был арестован как троцкист, приговорён к 25 годам заключения, расстрелян.

³ Игнатов Илья Николаевич (1856–1921) — литератор, многолетний сотрудник «Русских ведомостей».

Это из беседы с товарищем министра [*народного просвещения*] Таубе¹ [*вырезки*]:

«над этим возмущением всего цивилизованного мира против германской вакханалии вооруженного насилия»

«надругательством над мирным населением, попранием права частной собственности, разрушением без всякой военной надобности памятников культуры, и другими грубейшими нарушениями общепризнанного права современной войны, — всеми этими варварствами Германия поставила себя вне группы цивилизованных стран. Сравнивая, например, вандализм Германии...»

А вот в просвещённой газете сообщение, рассчитанное на глупейшее невежество [*вырезка*]:

«Лондон, 30-го августа. «Daily News» печатает рассказ сёстры милосердия американского Красного Креста, захваченной в плен германцами в Брюсселе вместе с бельгийским госпиталем и впоследствии отпущенной на свободу. Сестра сообщает, что видела, как в бельгийской деревне пьяные германцы, собрав приблизительно 35 бельгийских детей, развлекались подбрасыванием их на штыки».

Если к этому прибавить вчерашнее сообщение, что германцы отравляли колдцы, то мы не далеко будем от психологии холерных бунтов!

Итак, с одной стороны, красивые слова: культура, прогресс, человечество; с другой стороны, приписывание немцам всего плохого, гнусного, вплоть до явно нелепого; полное нежелание и неумение вдуматься в психологию неприятеля, который знает, что он борется за своё существование против в десять раз более сильного врага; и, в-третьих, у себя дома приходится доказывать, что немецкие пьесы ставить можно, что можно изучать даже немецкую науку и покупать немецкие фармацевтические препараты, и что даже принадлежность к еванг[елическо]-реформ[атскому] вероисповеданию ещё не делает человека неспособным к подаче помощи раненым (см. письмо в редакцию в том же воскресном номере). Не поздоровится от такой защиты! Какое презрение, какая ненависть!

Я начинаю верить, что мы, русские подданные немецкой национальности, скоро в России окажемся в положении затравленных. Ведь писала же жена Зайцева, что она видела в Москве в трамвае: некий тип избил двух немцев за то, что они громко разговаривали на родном языке!²

А читай в списках убитых и раненых, — как много там немецких имён и фамилий! Да, нехорошо, Шурочка! Выходит так, что мы сейчас являемся какими-то париями человеческого рода, от которых надо сторониться, на которых указывают детям: не будьте такими, как они!

В частности, относительно поступка Геккеля и других учёных³. Шурочка, я хорошо знаю биографию Геккеля⁴: нет пятна на жизни его. Он ученик Дарвина, всегда горячо ратовавший в Германии за английскую науку, человек, чуждый вся-

¹ Таубе Михаил Александрович (1868–1962) — барон, юрист.

² В Москве в магазинах по распоряжению городской управы появились объявления: «Просим не говорить по-немецки».

³ Имеется в виду отказ немецких учёных от своих иностранных учёных степеней.

⁴ Геккель, Эрнст (1834–1919) — крупнейший немецкий естествоиспытатель и философ.

кого национального обособления, тем паче шовинизма, всю свою долгую жизнь борющийся с всякой реакцией, всякой рутинной. Непримиимый враг прусско-юнкерства и милитаризма, не раз пострадавший за прямоту своих суждений. И это знал Кизеветтер! И если такой человек отказывается от своих иностранных учёных степеней, то нельзя это назвать просто мелким шовинизмом и выставить его у позорного столба. Надо вдуматься в его психологию, надо стараться разобрать, какой душевный переворот мог его заставить решиться на такой поступок. Но Кизеветтер сознательно этого не сделал. Он просто обрушился с бранью и язвительной иронией на седую голову, такого отношения не заслужившую. <...>

Ты говоришь, что волна человеконенавистничества как будто отхлынула? Нет, Шуручка, наоборот, она медленно захватывает и наши передовые интеллигентские круги, она разливается повсюду, и потому менее резко выделяется на общем фоне. Люди сами не замечают, как они постепенно отравляются этим ядом, который широко разлит по всем газетным столбцам и оттуда проникает в массы. Атмосфера сгущается. И надо быть сильным и бодрым, чтобы не дать себя отравить удушливыми миазмами.

Прости несколько лирические выражения, но, правда, они невольно срываются. Тяжело стало жить, Шуручка. Ты даже не подозреваешь, какая это поддержка, знать, что есть такой человек, который тебя всегда, всегда поймёт.

Воронеж, 2 сентября 1914 г.

С праздником, Шуручка дорогая моя! С первым нашим юбилеем! <...> Я с утра решил праздновать. Надел всё чистое, побрился и стал гладким, как огурчик. Днём чувствовал себя именинником, но никто этого не заметил. А когда в 11 часов утра пришла твоя телеграмма, то я вздрогнул и почувствовал уже полный контакт с тобой. Спасибо тебе, Шуручка, большое спасибо. <...>

После обеда я тотчас же один пошёл гулять, захвативши все написанные моей Шуручкой мне письма. Как хороша сейчас природа: в поле ни души. Виден ясный далёкий горизонт. Свежий бодрящий ветер треплет тебя, воздух чистый, ароматный. А лесочек в лощинке? На тёмном зелёном фоне уже много светло-жёлтых и буро-красных деревьев. Под ногами шуршат сухие листья... Так хорошо!

Прилёг я на травке, вытащил пакет писем и перечитал их все с начала до конца. Какая смена настроений у моей Шуручки! Как она, бедная, мечется, сомневается, страдает! <...> Прочитавши письма, я долго ещё стоял в поле и любовался вечерним небом. Нежные бледные тона тихого осеннего заката. Так напоминало закаты на острове Нагу, те счастливые беззаботные, столь далёкие сейчас дни!

Воронеж, 3 сентября 1914 г.

Третий день нет от тебя письма. <...> Из Риги тоже давно уже нет известий. Что делает Лени в Париже? У нас — idem. Значит, «Францию» мы прозевали, а с тех пор, кроме разговоров, ничего. Послали наши старшие врачи телеграмму в Москву с запросом, как быть. Помещения, дескать, в Воронеже не отводят. Вчера оттуда получен ответ: подождать, пока не будет запрошен Петербург. Вот и ждём. Мы привыкли ждать, это наша обязанность в эту войну. Обязанность не лёгкая.

А во «Францию» вчера уже доставили 250 раненых; там работают. Мы всё просрачиваем... Сказка про белого бычка.

Вернулся вчера вечером Зайцев из Москвы. Вести от него тоже малоутешительные: канцелярщина, бумагопроизводство. С одной стороны, на одного врача приходится 300 раненых (Булашевич), с другой — 100 человек военных врачей не имеют дела в Москве, даром ходят! С одной стороны, призывают явно больных врачей, с другой — быки по здоровью (некие психиатры), побывав в неких кабинетах, освобождаются от призыва. И плохая организация, и явная недобросовестность. С одной стороны, прибывающих раненых богато наделяют всякими там фруктами и газетами, с другой — этих же раненых по многим дням не перевязывают за недостатком перевязочного материала... Повязки, наложенные на поле сражения, снимаются впервые в Москве. В итоге под повязкой гангрена целых конечностей. С одной стороны, санитарный поезд по последнему слову науки, есть и электрическое освещение и вентиляция, с другой — хирургические инструменты в том же поезде — оставшиеся от войны 1878-го года!! В общем, малоотрадная картина.

Беседовал Фёд.Ал. в поезде с одним раненым прапорщиком: он с увлечением рассказывал о том, как он скомандовал «вперёд» и бросился со своей ротой на австрийцев — у него задрожала челюсть, весь он затрясся, слова застредали в горле, — он не мог дальше. Насилу удалось его успокоить. Какое это должно быть нервное потрясение. Сколько психически ненормальных вернутся с войны! — А мы всё просрачиваем.

Шурочка, ты меня счастливей, ты можешь работать. Ты вносишь нечто своё в общее большое дело, а я вынужден бездельничать, я не имею права работать... Я даже не мечтаю теперь о том, чтобы быть ближе к самому театру военных действий. Нет, я буду доволен, когда хоть здесь, в Воронеже, мне дадут работу.

Говорят, пленные германцы на ходу поезда зарезали часового, за что повину их, через одного, расстреляли — ужас! А вот другая картинка: раненый прапорщик в поезде познакомился и подружился с пленным австрийским офицером. При прощании долго и усердно целовались. Да, война проявляет все хорошие и дурные инстинкты. Для психолога богатое поле для наблюдений!..

<...> Насчёт «Практической медицины»¹ просил бы тебя, Шурочка, самой справиться в конторе письменно. Ведь у тебя имеется номер, под которым выслала мне журнал.

Какое хорошее письмо в редакцию «педагога» во вчерашнем номере «Русских ведомостей». Наконец-то истинно гуманное слово.

Воронеж, 4 сентября 1914 г.

Получил целых три твоих письма сразу, а также открытку от матери. Вот праздник! Мать сообщает, что 30 августа они получили телеграмму от Лени из Раумо (Финляндия): «благополучно в России, Лени». Радость, конечно, великая. Тем более что днём раньше от неё же из Парижа было получено весьма пессимистическое письмо. Она там считала, что ей не выбраться. Подробностей, конечно, пока никаких. Пишет мать, что отец уже встал, и нога болит менее. В чём тут дело, я не понимаю. Очевидно, какое-нибудь письмо я не получил.

¹ «Практическая медицина» — петербургский еженедельный журнал.

Захворал внезапно Нуго: температура 39°, кашляет. Пока неясно, бояться, как бы ни оказался снова плеврит.

Карлушке подыскивают какой-то пансион. Опять не понимаю, в чём тут дело. Я писал и матери, и Артуру, просил ради Бога оставить его в гимназии, даже обещал, пока буду на военной службе, высылать ежемесячно 50 рублей. Ничего не понимаю, что хотят с ним делать, что значит пансион? <...>

Ты не представляешь себе, как у нас проходит день? Да очень просто. Встаём в 7 часов утра, моемся, чистимся и т. д. В 8 ч. садимся за самовар, съедаем по три яйца всмятку, чай, хлеб. К 9 часам возвращается вестовой с газетами из города. Чтение их занимает у меня часа два, а то и дольше, от строки до строки. После чтения газеты принимаюсь за письмо тебе. Коллеги уходят обычно, либо в канцелярию, либо ещё куда-нибудь.

Кончу писать, принимаюсь за французский язык, если осталось время. В 2 часа или позже садимся за обед: Левитский, Покровский, я и три сестры. Обедаем у нас в комнате. После обеда коллеги на часок заваливаются спать. Я, грешным делом, вчера тоже завалился, но больше не буду. Я в это время обычно читаю что-нибудь (сейчас Бунина) или кончаю заниматься французским.

Просыпаются коллеги, начинаются разговоры. Приходит Зайцев, мы все вместе уходим гулять по окрестностям, а затем на сборный пункт — нет ли новых телеграмм с распоряжениями из Москвы. Там тоже разговоры. Последнее время я не хожу на сборный пункт, предпочитаю сидеть дома, читать или, если утром не успел, писать письмо. К 8 часам коллеги возвращаются. Садимся за чай, хлеб, колбасу. Ещё немного поговорим и почитаем, а там и спать пора. Ложимся в десятом часу, а то и раньше!

Вот и всё. Как видишь, чисто растительная жизнь; противно. Впрочем, с сегодняшнего дня будет перемена. Мы сегодня внезапно решили выехать из Троицкого и поселиться в городе. Тем более что хозяева здесь частью выезжают сами и берут мебель. Коллеги пошли искать комнаты. Зайцев тоже переезжает. Думает от скуки начать здесь практику.

Вчера получена телеграмма, что здесь мы остаёмся временно, что мы будем замещены эвакуационными госпиталями из Москвы. Когда это будет? Всё же мы попадём в тыл армии. Ты, Шурочка, на желай мне оставаться в Воронеже. Ведь там я ближе к делу, там мы наверно больше принесём пользы. К тому же мне весьма маловероятным кажется, чтобы тебе при настоящих условиях дали отпуск, хотя бы и на 5 дней. Это не может быть; и вы теперь все мобилизованы! Подождём ещё немножко, придёт и наше время. Не теряй бодрости.

Воронеж, 5 сентября 1914 г.

Только что получил твоё благоухающее туберозными лепестками письмо — спасибо, спасибо. <...> И какое спокойное, светлое, даже уверенное основное настроение. Ты у меня делаешь успехи с каждым днём. Поздравляю, как бы не сглазить. <...>

Вчера вечером получена телеграмма из Москвы: немедленно развернуться. Кажется, уже в третий раз. На этот раз наш старший испугался, как будто взялся за ум. Вчера же вечером и сегодня утром они с эвакуационным капитаном искали в городе помещения, но до сих пор их труды не увенчались успехом. Решили, во

что бы то ни стало найти ещё сегодня. В таком случае, мы завтра утром переберёмся всем госпиталем в город. Пора съезжать с дачи. Подходящие комнаты наши коллеги не нашли — дорого. Может быть, удастся устроиться с госпиталем. Уезжаем завтра, а пока сидим всё в той же Троицкой Слободе. Мебель у нас хозяева понемногу отбирают. Стол ещё имеется, есть за чем писать.

Сегодня мы все сели писать письма. Друг над другом шутили, смеялись, однако все пишем! Собираемся в баню после упорных трудов.

Зайцев вчера вечером внезапно опять получил телеграмму: немедленно выезжай Москву. Взял отпуск и тотчас же вчера ещё поехал. Должно быть, его всё-таки устроят в Москве. Жаль, если так: он хороший товарищ и собеседник; есть к кому обратиться за советом.

Читала статью Евг. Трубецкого о «внутреннем немце и внутреннем турке» в 204 № «Русских ведомостей»? Какая смесь хороших мыслей с наивным лепетом! Бог с ним. А немного ниже письмо из Копенгагена Деренталя¹. Какой шовинизм и мелкий национализм и в Германии! Но, с другой стороны, то, что я тебе вчера писал о Геккеле, я повторил бы и относительно Гауптмана². Никогда не поверю, чтобы он был способен на мелкий шовинизм. Такая метаморфоза слишком невероятна, чтобы быть правдоподобной. Да, он любит своё отечество, но знает, что на карту поставлено всё, что вопрос поставлен: быть или не быть самому государству. И он пламенно желает успеха своей родине, ей слагает свои стихи. Но разве это уже значит, что он низко пал, что великий, гуманный, просвещённый писатель, восторгавшийся наши Художественным театром, подружившийся с его руководителями, что этот Гергарт Гауптман превратился в мелкого писаку, восторгающегося в угоду начальству всяким «патриотическим» подвигам прусских юнкеров и иже с ними?.. Нет, не верю.

Воронеж, 7 сентября 1914 г.

Только что получил два письма. Одно от матери и другое твоё, и оба такие печальные... <...> Ради Бога, прежде всего одно: сейчас же садись и напиши мне, что ты даёшь мне слово в случае заражения не отчаиваться, не падать духом, не предпринимать ничего непоправимого, а лечиться, энергично лечиться, верить в лечение!³ Ведь ты, Шурочка, должна же знать, что при энергичном и своевременном лечении *lues [сифилис]* радикально излечим. <...> А затем, Шурочка, обещай, что не будешь интубировать таких детей без роторасширителя. Ведь ты интубировала без него? Верно? Впрочем, я глубоко верю, что всё обойдётся, что это ложная тревога. Не может быть, чтобы моя самоотверженная Шурочка

¹ Дренталь (Дикгоф-Деренталь Александр Аркадьевич) (1885–1939) — эсер, политэмигрант, корреспондент газеты «Русские ведомости».

² Гауптман, Гергарт (1862–1946) — немецкий драматург («Перед заходом солнца», «Потонувший колокол» и др.), лауреат Нобелевской премии по литературе 1912 года. За несколько дней до Лувена была опубликована статья Гауптмана, в которой он оправдывал немецкое вторжение в нейтральную Бельгию и утверждал, что все немцы «с полным сознанием сражаются за блага духовные и земные, которые служат прогрессу и возвышению человечества».

³ При интубации дифтерийного ребёнка, страдавшего врождённым сифилисом, Ал.Ив. поцарапала палец и опасалась, что заразилась сифилисом, чего однако не случилось.

стала бы жертвой своего долга. Это было бы слишком несправедливо, слишком жестоко! <...>

И письмо матери тоже не очень весёлое. Правда, Лени приехала, здорова и невредима. Эта забота отпала. Но зато имеется целый ряд других.

Прежде всего, болезнь Нуго: оказывается, что у него брюшной тиф и в форме нелёгкой. Температура уже достигает 40°, и временами он начинает терять сознание. Ухаживает, конечно, мать. Нет ей отдыха ни днём, ни ночью. Кто знает, как потечёт болезнь?

Затем мать пишет о какой-то болезни ноги отца. Дескать, встал он, стал ходить, и снова стало хуже. В чём тут дело, не знаю. <...>

Наконец, мать подробно описывает судьбу Карлушки. Сначала отец вспылал, когда узнал, что он провалился. Обвинял, конечно, мать, хотел даже предложить Карлушке поступать сейчас же солдатом, простым рядовым, так как права на вольноопределяющегося он не имеет, не кончив шестого класса¹. Впрочем, такое намерение было вряд ли серьёзно. Очевидно, Карлуше нельзя больше оставаться в той же гимназии, потому что оттуда его пришлось взять. Матери с Артуром удалось уговорить отца отправить его в Двинск², в частную гимназию, опять в шестой класс, так как в Риге его нигде не принимали (почему, не знаю). И вот недавно, сильно подавленный, он отправился туда. Для его самолюбия это большой удар. Будем надеяться, что принесёт ему пользу.

Мать надеется, что, может быть, если он там возьмётся за дело серьёзно, его можно будет протащить через все классы гимназии. Сейчас же его отправили только на один год, для получения права служить вольноопределяющимся. Я надеюсь, что в будущем всё это уладится. Хотя мать и пишет, что денежная помощь с моей стороны не нужна, я всё же решил твёрдо отныне регулярно посылать свой пай. Мне хочется, чтобы Карлушка окончил гимназию. Он малый способный, по существу хороший, только очень ленивый. Как только получу его адрес, напишу ему длинное письмо, меня он поймёт.

А бедной моей матери, как видно, из горя не выходить! Ты, Шурочка, не знаешь, какой она хороший человек. Она удивительная! И вот, ей приходится видеть всё горе да горе, и все мы в этом повинны. Очень уж мы все несдержанные.

А у нас перемена. Вчера мы втроём переселились в город. Живём на самой лучшей Дворянской улице, в лучшем отеле «Бристоль». Я с утра заявил, что перееду, тогда и коллеги решились. И вот, к вечеру перебрались. Номер у нас большой, чистый, светлый, воздуха много (4-й этаж). Дверь ведёт на балкон, откуда прелестный вид на Дворянскую улицу и весь город. Подъёмная машина,

¹ Право поступать вольноопределяющимися на воинскую службу имели лица, окончившие не менее 6 классов средних учебных заведений или 2 классов семинарий. Тем, кто не имел соответствующего образования, дозволялось пройти испытания по программе 6 классов средних учебных заведений (без иностранного языка). После сдачи экзаменов по военным дисциплинам, примерно соответствующих курсу юнкерских училищ, вольноопределяющиеся получали офицерский чин. Сроки их службы были значительно короче, чем у тех, кто проходил службу по призыву.

² Двинск, ныне Даугавпилс — город в среднем течении Даугавы, важный опорный пункт Северо-Западного фронта.

электричество. А главное, имеются кровати. Мы так отвыкли от этого невинного комфорта, что почувствовали себя богами. Чистота! <...>

Другие госпитали здесь уже работают. Все теперь развернулись, кроме нашего. Наш главный всё хотел устроиться со своим закадычным другом, главным врачом 254-го, но тот его сегодня оставил, занял помещение в гимназии. Одним словом, нам придётся, должно быть, взять самое плохое. Поговаривают о каких-то казармах в трёх верстах от города! Одно горе и несчастье с нашим главным.

Воронеж, 9 сентября 1914 г.

Пишу тебе спешно и немного, так как я устал смертельно. Сейчас двенадцатый час ночи, а мы работали с семи утра. <...>

Я сегодня, наконец, работал, да ещё как работал!.. Вчера утром как будто бы окончательно было решено, что мы переезжаем в казармы в трёх верстах от города, в грязи. Это после того, как все остальные госпитали уже устроились здесь, в Воронеже! Но в последний момент, вчера вечером нам губернатор внезапно отвёл здешнее женское епархиальное училище. Сегодня в 1 час дня мы должны были получить до 300 раненых. И вот наша команда с трёх часов утра, а мы с семи часов, без перерыва устраиваем помещение. Не было кроватей, не были набиты тюфяки соломой, не было приготовлено помещение, не мыты полы и стены после бывшего ремонта, не было шкапов, ламп и т. д. А в два часа у нас уже были приготовлены 300 кроватей, вполне благоустроенное помещение и стол. И вот мы стали принимать привозимых больных. Почти все легко раненые, ходят. Переделали их, умыли, накормили, напоили, а нуждавшихся в перевязке, около 25 человек, к вечеру перевязали. Кончили в десятом часу. С непривычки устали здорово. И всё-таки впервые ложишься спать с чувством удовлетворения, с чувством, что вот и ты работал, и ты не совсем бесполезен. <...>

Сегодня мы ещё ночуем в «Бристоле», а завтра перебираемся в отводимое нам помещение — лазарет училища. Там будет, я думаю, недурно. Чудесный сад, весь в осенних листьях. А сегодня такая чудная была погода!

Шура! Я теперь тоже буду работать! Ты в Москве, а я в Воронеже, и мы будем всё время чувствовать, что мы не одни, что наша работа совместная.

Воронеж, 11 сентября 1914 г.

Хочется быть с тобой, только с тобой, хоть несколько дорогих минут в день. А времени у меня теперь так мало. Вчера я даже не успел тебе написать хоть несколько строк. Мы за день втроём перевязали 240 человек. С непривычки это что-то да значит. К вечеру повалился спать как сноп, но, к сожалению, и спать-то не удалось как следует. Под тонким тюфячком не было ещё досок, и вот рёбра кровати врезывались в бока, а руки и ноги проваливались в пространство. Сегодня тоже было работы весьма много. Получены были бланки для историй болезни, и пришлось начать их заполнять. Над этим провозились весь вечер, а дело почти что не продвинулось вперёд. Приходится обозначать довольно точно, так как мы здесь занимаем помещение эвакуационного госпиталя и с послезавтрашнего дня будем составлять комиссии, то есть выписывать, возвращать в строй, в слабосильные команды, определять потерю трудоспособности и степень её. Одним словом, наши записи будут иметь значение

юридического документа. Для начала вся эта канцелярия отнимает много времени. Со временем это пойдёт быстро.

Необычно для меня также и то, что пациенты взрослые. Затруднение большое также и в сильной ограниченности наших аптечных средств. Имеются лекарства только весьма примитивные, да и то из них многих нет. Нет даже ипекакушки¹. Больные жалуются на невозможные болезни, объективного основания для которых трудно найти: *ломит, режет, сосёт, колет*, а где и что — остаётся под вопросом. Новы для меня и многие перевязки. Лечение ран для меня terra incognita. Попался мне хороший фельдшер, школьный, служивший много лет в земстве. Так я его очень слушаю и очень ценю его помощь.

Ты, Шурочка, должно быть, думаешь, что такая безалаберная, рассчитанная на быстроту работа должна мало удовлетворять. Но нет, Шура, хотя сейчас на первом плане просто усталость, всё-таки я чувствую, что работаю, не даром получаю жалованье, и что работа эта становится уже осмысленней и будет со временем приносить некоторую, хотя и скромную, пользу.

Сегодня нам дали ещё двух врачей и двух сестёр на помощь, и теперь на каждого из нас приходится по 50 человек. Наш главный врач при более близком знакомстве оказывается, если и не особенно милым, то вполне сносным человеком, товарищем, а не только начальником. Я думаю, что мы с ним работать будем мирно.

Воронж, 12 сентября 1914 г.

Шура! Что это такое? Я беспокоен, я не понимаю. <...> Если завтра не будет от тебя письма, я пошлю тебе телеграмму с запросом. Не верю, чтобы Шурочка могла меня три дня оставить без всяких о себе сообщений в такое время. <...>

Я сегодня дежурный. Когда как-то ко мне подошли и сообщили, что меня кто-то дожидается, я побледнел, ноги задрожали, я сам не знаю, что со мною случилось. Шура, я так беспокоен. Почему ты мне не напишешь? Я больше не могу ни о чём другом писать. Я жду, жду!

Воронж, 13 сентября 1914 г.

Получил, наконец, твоё столь нетерпеливо ожидаемое письмо от 10-го. Всё та же бесконечная грусть и тоска!

Воронж, 14 сентября 1914 г.

Сегодня такая радость. А затем такое разочарование! <...> В 3 часа идём обедать. Мне подадут от тебя письмо. Я тут же за обедом пробегаю его. И что же? Там говорится о радости жизни, о бодрости, говорится о том, как просыпаются тяжело больные после болезни. <...> Затем опять идёт работа, я беру письмо, чтобы перечитать, уже не спеша, разобраться во всех тонкостях. И тут только замечаю, что оно от 7 числа, а вчерашнее твоё письмо было от 10-го! И снова у меня крылья подрезаны, снова ещё большее сомнение и грусть охватывают меня. Значит, после небольшого светлого промежутка грусть и отчаяние ещё сильнее охватили тебя! Шура! Укажи мне, как могу я тебе помочь? <...> Приезжай ты ко мне. Остальное образуется. Ты должна быть

¹ Настой ипекакуаны — популярное отхаркивающее средство.

бодрой, вместе со мной верить в светлые наши совместные дни. Остальное наплевать! Не так ли?

Воронеж, 15 сентября 1914 г.

Работы много. И мы здесь тоже эвакуируем и получаем новые партии, едва успеваем записывать. У меня больные по несколько дней лежат не записанные. Перевязывать приходится редко и по возможности *бережливо*; об этом нам толкуют постоянно. Встаём в 7 часов, начинаем работу в 8. Перевязки и обход отнимают весьма много времени. Собственно, не обход, который я сплошь и рядом не делаю, а записывание историй болезни, хотя и очень кратких. Из интересных случаев у нас только один больной с tetanusом [столбняком], развитие которого мы наблюдали с самого начала. Началось, как полагается с masseteraхв [жевательных мышц]. Тяжёлая картина. Полное сознание. Георгиевский кавалер, участвовавший в китайском и японском походах. Рана обширная, рваная, — кисти правой руки. Удалось мне оттуда извлечь деформированную оболочку разрывной австрийской пули. Затем ещё два раза приходилось вынимать пули, вылушил три фаланги и всё; остальное — перевязки. Так как мы сейчас являемся конечным этапом, то и своих, и других, присылаемых для этого, проводим через комиссию (из нас же состоящую) и отправляем многих в слабосильные команды или увольняем вовсе от службы. Это тоже отнимает весьма много времени.

Сегодня, например, я не успел никого перевязать. Только сортировал. Определял, а затем целый день торчал в комиссии, где опять-таки вносил в книгу со всеми онёрами¹: «одержим отсутствием двух фаланг указательного пальца» и т. д. Сегодня, таким образом, пропустили целый ряд терапевтических с vitium cordis, tbc, gastritis chr. [пороком сердца, туберкулёзом, хроническим гастритом] и т. д., которые несколько дней лежали у нас без лечения, так как мы не имели самых элементарных лекарств.

Например, отсутствуют в нашей аптеке: natr. brom.; magn.silf.; t-га valer. simpl. [бромистый натрий, настойка валерианы простая] (имеется только aether [эфир], и то только 60,0), t-га opii, zin. oxid. [настойка опия, окись цинка] и т. д. Здание госпиталя у нас прямо-таки уныло-мрачное: тёмные коридоры, холодно, всюду сквозняки. Страшно неуютно. Я не хотел бы лежать в таком госпитале.

Команда наша в достаточной мере бестолковая, все мужики, для которых работа эта малоподходяща. Впрочем, говорят, что мы здесь недолго останемся, что через две-три недели нас отравят дальше. Куда?

В 3 часа обедаем, после чего сейчас же на работу. Возвращаемся домой не раньше десяти часов. Как снопы валимся спать. Вот и сейчас раздаётся богатырский храп.

Живём мы во флигеле, как я тебе писал. До сих пор было холодно, но сегодня первый раз протопили, и стало недурно. Только мы здесь почти исключительно спим, сидеть не приходится. Едва успеваем читать газеты; запаздываем

¹ Онёры (honneurs франц.) — почести.

на 2—3 дня. Где уж тут заниматься французским языком. Эту мечту приходится пока оставить.

С существованием нашего главного я совсем примирился. Он, оказывается, парень недурной и вполне приятный в обществе. Привык он только в военном ведомстве ко всяким бумагам. Он сильно оживляет нашу компанию, держится совсем хорошим товарищем.

Воронеж, 17 сентября 1914 г.

Я вчера был лишен возможности писать тебе что-либо, не было сил. Меня к семи часам вечера откомандировали на вокзал принимать транспорт раненых. Поезд прибыл только в половине девятого, а выгрузка производилась чрезвычайно медленно. К тому же путались, в какой госпиталь сколько отправить раненых. Нам обещали было 150 раненых сразу, но затем быстро выяснилось, что на нашу долю не будет их совсем. Однако на мой вопрос, можно ли мне удалиться, мне ответили отрицательно. И вот меня держали без всякого смысла на вокзале до 12 часов ночи. Когда вернули, пришлось за чаем сообщить главному все подробности, а когда вернулся в свою квартиру, то заметил, что ванна была затоплена — мылся Левитский. Я не устоял и тоже влез в неё. Когда же я вылез и взялся было за перо, то почувствовал, что не могу, слишком устал. Было уже 2 часа ночи.

Сейчас тоже уж скоро 1 час ночи, но я сегодня дежурный; только вечером пришлось на несколько часов поменяться с Покровским, чтоб пойти в «Бристоль» приветствовать с днём ангела супругу Левитского, сегодня к нему приехавшую. Он счастливый, сияет, горд! А мне завидно.

Вот видишь, как мы живём. Сегодня было сравнительно тихо в отделении: новых нет, а старых мы последние дни усиленно выписывали. Если бы не именины, то сегодня в первый раз у меня вечер после восьми часов был бы свободный. А спать так хочется! Ты ведь знаешь, какая у меня в этом всегда потребность.

Дежурному у нас необходимо быть в фуражке и при шашке. Спать по закону не полагается, а только немного отдохнуть на кушетке. Оной у нас нет, а стоит кровать, на которой мы и спим несколько скудных часов, не снимая тужурки и сапог. Ждём уже несколько дней внезапного приезда принца Ольденбургского¹. Выучили уже церемониал и форму встречи, рапорт — авось, не в моё дежурство.

Хожу я чуть не по неделе небритым. Вечером не хочется, устаёшь, думаешь, завтра. А утром спешешь, нет времени. Оброс и некрасив.

Вчера, Шуручка, я впервые видел вблизи раненых австрийцев. Производили они чрезвычайно тяжёлое впечатление, охватывает прямо какой-то ужас. Оказались все тяжелоранеными. Приходилось переносить их в госпиталь на носилках. И вот лежали они на платформе на носилках, с перебитыми ногами и руками, без движения, покрытые только шинелью, дрожа от холодного ветра,

¹ Ольденбургский Александр Петрович (1844—1932) — принц, правнук императора Павла I, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, сенатор, член Государственного совета, во время Мировой войны — верховный начальник санитарной и эвакуационной части армии.

молчаливые, с такими грустными и измученными глазами, что прямо сердце щемило. Такие они несчастные, жалкие! Тут впервые вплотную я почувствовал всю дикость и ужас войны.

Один из них всё время жалобно стонал. А на платформе гуляют «сёстры милосердия» из местного общества (как ненавижу я этих глупых пустых барышень, рисующихся Красным Крестом), около них увиваются кавалеры из военных и нашей братии. Подойдут к носилкам, бросят пустой любопытный взгляд на страдающих и, виляя задом, грациозно поплывут дальше, кокетливо улыбаясь. Если бы по мне, то я бы их далеко упрятал. Недаром вспоминал за моей спиной один солдатик: в японскую кампанию много таких было! Неужели такие пустопорожние бабёнки и сейчас нужны, в эту войну? Как противно!

Смешны и «санитары» из гимназистов, единственная работа которых, очевидно, заключается в том, чтобы встать на подножку автомобиля (конечно, после того как с помощью наших санитаров больные будут уже усажены) и прокатиться некоторое расстояние: дескать, автомобиль с санитарями! Глупо.

Порадовало меня отношение к пленным простой серой публики и солдатиков. Сосредоточенно и сочувственно они глядели на них; ни одной глупой шутки я не слышал. Санитары наши и солдаты охотно помогали и укрывали их, видимо входя в их несчастье. Почти все они были славяне — чехи и русины. Я заметил только одного немца, простого парня, очень старавшегося объяснить докторам, что он может и сидеть в автомобиле, что его не стоит таскать на носилках. Наконец, его поняли и внесли в автомобиль на руках.

Каково нашим пленным там у них?! Должно быть, тоже несладко. Поскорей бы кончилась эта война. Ведь это сплошной ужас!

Горестные вести я получаю из Риги! Сегодня мне пишут Лени и Артур, что Нуго весьма тяжело болен. Одно время казалось, что дело уже идёт на поправку, что тиф средней тяжести, как вот появился нефрит, был даже уремический припадок. Решили его отправить в местную городскую больницу, где можно было с большей полнотой производить всё необходимое. Так и сделали. При нём дежурит сестра милосердия, которой он очень доволен. Почти не отходит от него мать (больница платная). Но одним осложнением дело не кончилось: наступил коллапс, внезапно упала t° и появилось обильное кишечное кровотечение. Сердце неважное. Состояние крайне серьёзное. Последние два дня t° всё время субнормальная, полузабытьё.

Ты можешь себе представить, как тяжело матери! Сколько ей за последние годы забот из-за болезней сыновей: нефрит Артура, дифтерит мой, нефрит Вилли, а теперь тиф Нуго! Если прибавить войну, исчезновение с горизонта на некоторое время Вилли и Лени, неудачу на экзамене Карлуши, подагру отца (это нога-то у него болела!), то получится весьма малоутешительный итог. Бедная она, ведь она всё так близко принимает к сердцу. Совсем не так, как я. Мы в отца, она другая. Хочу ей сейчас написать длинное письмо, ведь больше я ничего сейчас не могу сделать.

Как много горя приходится видеть в последнее время! Как мало в настоящем светлого, бодрого. Но всё это будет, я не сомневаюсь. Это временная туча, которая уж скоро уступит место яркому солнцу! Это будет! <...>

Ты меня спрашивала, нравится ли мне статья Кропоткина¹ в Р.В.²? Да, мне она очень понравилась. Многое показалось весьма убедительным. В том, что Германия сознательно вызвала войну, я тоже не сомневаюсь. Не могу я только согласиться с тем, что цели Германии были завоевательные. Нет, не верю. Для целей завоевательных, для приобретения новых территорий государство не пойдёт на такой страшный риск, не поставит на карту своё существование. Нет, именно потому, что существование Германии как государства давно поставлено на карту Тройственным соглашением, не могущим примириться с таким опасным конкурентом на мировом рынке и стремящимся рано или поздно задавить этого конкурента; именно поэтому Германия, зная это, зная, что она окружена врагами, ждущими удобного момента, должна была сама подготовить эту войну, выбрать самый момент для неё благоприятный. Германия сознательно борется за своё существование как национального государства, сознательно начала её: либо теперь, либо никогда! Так я себе объясняю причину войны.

А читала ты, Шурочка, фельетон недавний Елпатьевского «Перед войной»?³ Если нет, то прочти, и тогда поймёшь, почему я советую.

Уже третий час ночи, в надо писать матери. Прощай, моя дорогая, хорошая.

17 сентября

Дорогая Шурочка! Буду краток. Только что сидел и писал матери, как вдруг приносят телеграмму: «Гуго тихо скончался».

Шурочка, я сейчас не буду распространяться, сейчас не могу. Мы часто так несправедливы бывали к нему, а он по существу был хороший человек. Такая золотая, наивная детская душа. Единственный среди нас доверчивый, не стеснявшийся говорить то, что думает, не скрывавший своих симпатий и антипатий. Он не стеснялся говорить матери нежности, если хотелось. А ведь мы никогда не могли перешагнуть какую-то грань, которая нас заставляла молчать, не говорить то, что думаешь.

Милая, дорогая Шурочка, завтра — больше. Твой Ёжа. Хочу к тебе! Хочу вместе с тобой к матери!

Воронеж, 19 сентября 1914 г.

Серый, серый и грустный, грустный день. С утра густые тучи и мелкий дождик. Листья падают, порывы холодного ветра. Насморк, слегка познабливает, а на душе как-то уныло, уныло. Всё время вертятся в мозгу какие-то обрывки воспоминаний, и странно кажется, так странно, что наша семья, искони состоявшая из девяти человек, теперь состоит из восьми — одного уже нет. И так быстро, неожиданно; как-то не верится. Ведь мне ещё ни разу не приходилось испытывать утрату близкого человека. И когда мне **мать** писала, что состояние брата

¹ Кропоткин Пётр Алексеевич (1842–1921) — князь, революционер, теоретик анархизма, географ, в 1886–1917 годах проживал в Англии.

² Р.В. — «Русские ведомости».

³ Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854–1933) — врач, общественный деятель, писатель. В Ялте лечил А.П. Чехова. Арестовывался, ссылался. В конце жизни — врач Кремлёвской больницы.

тяжёлое, что был коллапс, я всё-таки не допускал мысли о близости рокового конца. <...>

Бедная мама, что она теперь переживает? Почему я не могу туда, к ней?! Нам так необходимо собраться всем вместе! Ты меня так хорошо понимаешь, я это чувствую.

Воронез, 20 сентября 1914 г.

Я только что написал письмо матери, грустное, но искреннее и простое. Надо же хоть теперь быть простым и искренним.

А нас скоро отсюда отсылают. Сегодня получено извещение от начальника эвакуационного пункта, что на днях нас отправят на запад, должно быть, во Львов. Нас тут заменят другие. Это и хорошо, и нехорошо. Хорошо потому, что ближе к месту событий, больше нового и разнообразного. Хорошо также потому, что материал хирургический будет более свежий, больше простора деятельности медицинской. А нехорошо потому, что письма от вас всех я буду получать неправильно передавали, может быть, совсем не буду получать.

Нет, этого не должно быть! Мне, что из действующей армии письма получают аккуратно. Только там из России получают с затруднениями, иной раз сразу за целый месяц. Ну, увидим.

А пока, дорогая, продолжай мне писать сюда. Я попрошу Зайцева (он теперь назначен старшим ординатором эвакуационного госпиталя) достать их за меня и отправить сразу по другому адресу. Так верней будет.

А мне писала Лени. Она в восторге от виденного ею. Больше всего ей понравился въезд на пароходе при лунном сиянии в фиорд Кристианин¹ и Стокгольм. Лондон, по её словам, слишком уныл и однообразен. Из Парижа она уезжала, когда германцы были в 60-ти верстах от него!

Воронез, 21 сентября 1914 г.

Как хорошо, что ты мне каждый день пишешь! <...>

Ты меня спрашиваешь, почему я перестал писать о военных событиях. Потому, Шуручка, что приходится повторяться. Основные мысли выяснены, и они остаются. И теперь, как и раньше, мне при чтении газет иной раз кажется, что мы, немцы, в самом деле варвары, недостойные вырожденцы, парии человечества. Я не могу скрывать, что всё то, что приходится читать о разрушении соборов, музеев, библиотек меня глубоко возмущает, что я теряюсь, не знаю, как объяснить себе всё это. Стараюсь, хватаясь за соломинку, объяснить безумием отдельных начальников, ошибкой, военной необходимостью, чем хочешь. Однако всё-таки остаётся прескверный осадок. Не могу не назвать прекрасным письмом Роллана к Гергарту Гауптману² и теряюсь, не знаю, как объяснить себе молчание

¹ Столица Норвегии Осло.

² 2 сентября в женевской газете было опубликовано открытое письмо известного гуманиста, французского писателя и драматурга Ромена Роллана, проживавшего тогда в Швейцарии, к своему немецкому коллеге Герхарду Гауптману. Письмо было написано под впечатлением от сообщения о варварском разрушении немецкими войсками старинного бельгийского города Лувена, богатого произведениями искусства. С чувством глубоко-

Гауптмана. Правда, в столь быстрое превращение Павлов в Савлов, — Гауптмана, Геккеля и других, и я не верю, никогда не поверю, что бы ни случилось, пока не выслушаю их. Но всё же многое остаётся загадкой. Нехорошо, очень нехорошо! <...>

Меня сегодня опять вверх в раздумье протест германских писателей и учёных, помещённый в телеграмме Гроссмана в «Русских ведомостях». Ведь эти люди глубоко убеждены в своей правоте, они с негодованием отвергают сыплющиеся на их обвинения. А ведь это не шовинисты, не люди, привыкшие преклоняться перед Вильгельмом. Их мнение нельзя так просто отбросить как не имеющее цены; их надо выслушать.

Нет, положительно нельзя окончательно выяснить истину в этой кошмарной войне. Только история, быть может, выяснит её. Я всю жизнь буду изучать эту войну по документам и материалам. Ведь это моё личное дело. Ведь мы, немцы в России, здесь вдвойне затронуты: нам больно и обидно и за тех, и за других. Мы любим и ценим и тех, и других... Ох, тяжело, Шурочка! Впрочем, пройдёт и этот угар. Всё это не вечно. А то, что вечно, померкнуть не может.

Когда мы выезжаем отсюда, мы не знаем, но вероятно, скоро. Сегодня опять приходили к нам врачи, которые займут наше место. Они заявляют, что у них уже почти всё имеется, и что они дня через два объявят о своей готовности. А тогда нам сейчас же выйдет приказ свёртываться. Сколько дней нам дадут на свёртывание, тоже неизвестно. Последние дни нам новых транспортов раненых не присылают. Доставляют только небольшие группы для освидетельствования в комиссии. наших пленных я сегодня разобрал, но ни в какие разговоры ещё не входил.

Карлуша пишет, что пленные германцы очень высокомерны и глубоко уверены в своей победе.

[22 сентября (?), листок без начала.]

Что же касается «немецких зверств», то этот вопрос остаётся для меня столь же ясным, как и раньше: тут имеется дело с отдельными преступными лицами, которые имеются в любой армии, любом народе. Как раз мне сегодня пришлось подслушать разговор наших раненых. Один из них удивлялся тому, что в газетах не пишут о зверствах: «Ну, это и у нас бывает, когда наши к ним в плен попадутся, они им говорят, что мы вас за то, что ваши казаки наших мучают, добивают; это есть и у них и у нас отдельные такие».

А другой тут же иллюстрировал: «Взяла наша рота в плен нескольких австрийцев; ну ведут. Сначала молчим, потом там насчёт табаку и всё такое. Одним словом, разговорились. Ничего себе ребята. Тоже и им плохо приходится. Вдруг встречаем патруль казаков: кого там ведёте? — Австрийцев. — Ну, они выхватили шашки и тут же их всех перерубили. Всё равно, и у нас это бывает!»

Характерный разговор; и особенно ценен тем, что пошли рассуждения на тему о том, что вот ведь и они, чай, не по своей воле пошли — погнались. Нешто можно пленных рубить, нешто они нам враги, и т. д.

чайшего негодования Роллан осудил немецкую агрессию против маленькой нейтральной страны и призвал Гауптмана и избранную часть немецкой интеллигенции протестовать против содеянного преступления.

Прочёл я как-то нечаянно в «Русском слове» признание Вл. Немировича-Данченко¹, что из большинства показаний русских, бывших в Германии, явствует, что гонения на них начались лишь после того, как появились сообщения о разгроме Германского посольства в Петербурге...² Вот злонравия достойные плоды!

Милая моя! Только что получил твою телеграмму. Сначала меня что-то кольнуло, я побледнел, испугался. Невольно представилось опять что-нибудь роковое. И вот, Шурочка, ты меня извещаешь, что ты со мной в эти дни! Милая, дорогая! Спасибо тебе, моя родная. <...>

Сегодня наш госпиталь осматривали коллеги, которые нас здесь заменят. Должно быть, скоро.

Воронеж, 23 сентября 1914 г.

Вчера тебе не писал. Весь вечер был занят проявлением накопившихся пластинок, а после этого устал, и очень хотелось спать. <...> Посылаю тебе плоды этого вечера — несколько фотографий, относящихся ещё ко времени пребывания в Троицкой слободе. Кой-какие снимки я сделал и здесь на новом месте; пошлю тебе понемножку. Как видишь, у меня опять появилось время для таких занятий. Надолго ли? <...>

Это не так уж плохо, что твой братишка едет на войну³. Конечно, вы будете за него бояться, но с другой стороны, ведь и он прав, говоря, что совестно сидеть дома, когда другие рискуют. И, в конце концов, ведь только значительное меньшинство солдат, попадающих на войну, в самом деле подвергаются ранениям (15—20%). Впрочем, конечно, не процентами можно тебя успокоить. Но всё же он не так уж неправ. И правильно сделал, что никого не спросил: ответ ему был и так ясен, а внутри что-то протестовало. Он послушался внутреннего голоса. Будем верить и надеяться, что вскоре он вернётся невредимым.

Ты читала ответ Гергадта Гауптмана? Я должен по совести сказать, что он меня весьма мало удовлетворил; убедительного в нём мало. Одно для меня несомненно, что Гауптман глубоко убеждён в правоте своего дела, что он причину войны видит в заговоре всех против одного, в желании конкурентов убить соперника. Моя точка зрения тебе известна: заговора, может быть, и не было, но желание, несомненно, было. Германия, зная это, готовилась к будущей неминуемой войне и провоцировала её тогда, когда это показалось ей удобным. Всё это роковое, неизбежное! Ради озорства и для своего удовольствия теперь войны не ведутся.

Мне нравятся, Шурочка, наши раненые солдатики: народ простой, бесхитростный, искренний и терпеливый. И никакой злобы к врагу. Совсем не то, что мы сейчас видим в широких кругах нашей «интеллигенции».

¹ Немирович-Данченко Василий Иванович (1849—1936) — писатель, военный корреспондент, брат известного театрального деятеля.

² 22 июля в Петербурге было разгромлено Германское посольство. Подобное происходило и в Германии: 4 августа, в день вступления в войну Великобритании, толпа разгромила Британское посольство в Берлине.

³ Василий Иванович Доброхотов, средний из трёх братьев Ал.Ив., тоже врач, служил в 9-й армии (IX перевязочный отряд 10-й ополченской бригады).

Сегодня вечером мне положили первых трёх пленных австрийцев. Все разных национальностей: один немец, один венгр и один русин! Только русин немножко понимает по-немецки, а то все знают только свой родной язык, друг друга не понимают! Завтра начну с ними знакомиться. Интересно всё-таки знать их точку зрения, их отношение к тому, что они видят. Немец, кажется, толковый.

Воронеж, 24 сентября 1914 г.

Писал мне Карлуша из Двинска. Он свой провал в гимназии объясняет только войной. Благодаря закрытию немецких школ в его частную гимназию стали перебираться в большом числе переходившие ученики. Получилось переполнение, во избежание которого на переэкзаменовках всех провалили. Кроме того, он сознаётся, что был весьма ленив. Стечение обстоятельств...

В Двинске главное его занятие — развозка огромного количества раненых (до 2000 в день) по лазаретам и разговоры с пленными, у которых он за бесценок скупает всевозможные редкости: как-то осколки гранат, пули, каски, трубки и т. д. Одним словом, он нашёл себе занятие. Новой школой он тоже доволен. Утверждает, что там можно кой-чему научиться. Его письмо, в общем, произвело на меня хорошее впечатление. Он ещё выберется на истинный путь; и он не глуп.

Писала мне старушка Мазур¹, благодарила за 30 р. Когда она получила деньги, то у неё как раз осталось только несколько копеек... Значит, вовремя. И мать ей тоже послала денег, будто бы от моего имени!

Писал мне ещё Александр Акимович Чахмахсазиянц², которому я послал несколько открыток. Они себе в дом тоже взяли раненого и очень довольны. Он отмечает прекрасное педагогическое влияние этой заботы на своих ребят. Старший его сынок так и носится с солдатом, желая доставить ему наибольшие удобства. Он тоже весьма огорчён тем тоном, который начинает преобладать в газетах, боится усиливающейся волны ненависти ко всему немецкому. Грязь и помои, широко разливающиеся сейчас, глубоко волнуют и задевают его. Ведь и ему одинаково дороги, потому что одинаково известны, культурные ценности того и другого народа. И ему больно, горько...

Я думаю, что много сейчас немцев в России, которые переживают эту душевную драму! Нет, мы не поддадимся, мы останемся хранителями старых заветов, нам останутся чужды этот угар, этот туман, застилающий сейчас столь многие интеллигентные головы... Если наши государства воюют, если мы как сознательные граждане выполняем свой тяжёлый долг, то мы ещё не будем оплёвывать всё, что не наше, не затопчем в грязь те ценности, которые раньше признавали!

Воронеж, 25 сентября 1914 г.

Разговорился я сегодня с нашим пленным австрийцем. Расспрашивал его относительно настроения у них. Он рассказывает, что начата война была с вооду-

¹ Елизавета Карловна Мазур, близкий человек семье Краузе, няня Фр.Оск., в 1915 г. была выселена из Риги в Астраханскую губернию. Фр.Оск регулярно помогал ей деньгами.

² А.А. Чахмахсазиянц, любимый и авторитетный наставник Фр.Оск. в ранней юности, студентом жил в семье Краузе.

шевлением, ненавидели сербов. Когда же война разгорелась, а в особенности, когда их стали теснить в Галиции, то настроение стало подавленным. Единственная надежда у них — Германия! Относительно пресловутых зверств он высказался таким образом, что единичные случаи бывают и с той, и с другой стороны, но, в общем, особенных разговоров у них относительно этого не бывало. Начальство их русскими зверствами не пугало. Он сам был свидетелем такой сцены. Он раненый лежал в кустах, а в некотором отдалении от него их раненый сержант с мольбой простирал руки к наступающему казаку. Тот же, невзирая ни на что, изрубил раненого. Наш пленный, однако, не обобщает этого факта, считает его единичным, редким. Соглашается, что и со стороны австрийцев бывают подобные же случаи.

Был он также свидетелем того, как казаки вырубали целый лазарет, забирая пленными раненых, в том числе и его. Он отмечает, отношение к ним, пленным, в России со стороны наших солдатиков очень хорошее, тёплое, такое, какого они никак не ожидали.

Спросил я его относительно разрывных пуль, и он рассказал мне следующее: в начале войны каждому запасному солдату выдано было по 10 разрывных учебных пуль, причём перед полком прочитывался приказ никоим образом не употреблять их перед неприятелем. В их полку полковник от себя добавил, что если он заметит стрельбу этими патронами в русских, то виновный сейчас же будет расстрелян.

А назначение этих пуль такое: ими производится учебная стрельба, — падая на далёком расстоянии и разрываясь, они поднимают столб пыли и этим указывают перелёт или недолёт. Быть может, это и так, но раздававший эти патроны должен быть очень наивным, чтобы поверить, что они не будут пущены в ход как боевые. Давать солдату страшное оружие в руки и требовать, чтобы он им не пользовался! Мы здесь видели (да, должно быть, и вы) целый ряд ран, характер которых указывает на употребление разрывных пуль. Одному солдату я сам извлёк из кисти руки всю скомканную тонкую пулевую оболочку. К сожалению, это доказательство не сохранилось, затеряли.

Есть у меня в палате очень несимпатичный грубый и капризный солдат. Про него его товарищи говорят, что «вот кто там зверства делает. Вы его спросите, что он там делал с австрийскими женщинами. Истинный зверь!» Надо будет расспросить подробности. Надо знать всё, разбираться во всём, чтобы быть беспристрастным. Ты видишь, Шурочка, как я стараюсь выяснить истину. Ведь это дело — моё личное дело!

Последние дни нам новых раненых не кладут, становится их всё меньше.

Воронж, 26 сентября 1914 г.

Припомни, Шурочка, май и июнь этого года, когда тебе так не верилось в возможность нашей совместной поездки. <...> И что же? После этого мы всё-таки провели две чудных недели вдвоём, и как хорошо провели, как безмятежно. Много бы я сейчас дал за одну какую-нибудь комариную ночь на острове Нагу! <...>

Что касается писем, которые придётся писать, не зная, дойдут ли они по назначению, то и это не так уж страшно. Наши солдатiki говорят, что письма

до них доходили, только поздно и помногу сразу. А мать мне пишет, что письма нашего родственника, прапорщика в Галиции, приходят правильно. К тому же, Шурочка, мы будем ведь не на передовых позициях, которые быстро меняют местоположение, а в тылу, быть может, даже во Львове. Это совсем меняет картину.

Воронез, 27 сентября 1914 г.

Ты никогда больше не должна упоминать какой-то твоей отсталости по сравнению со мной. Это неверно. У тебя, Шурочка, наоборот, куда больше всяких положительных знаний, а у меня только верхи, ведь я никогда серьезно не работал. У меня кругозор немного шире благодаря знанию лишнего языка и другого школьного образования. Но и только. Это тебе только кажется, что я больше знаю. Для меня этот вопрос ясен. Ну не будем больше спорить. <...>

Писала мне ещё Лени, — грустное письмо. <...> И снова меня охватило это чувство, и горько, и обидно стало не душе. Пишет сестра об обилии цветов, об истинной скорби всех знавших брата, о подавленном настроении дома, о чувстве сплочённости и солидарности семьи, которое невольно рождается. Пишет она и о том, что **мать** всё-таки не выдержала сильного напряжения и слегла после смерти брата. Был, очевидно, снова приступ желчной колики. <...>

Милая Шурочка, как мне хочется, чтобы и ты поскорей узнала мою **мать**; ведь она удивительная женщина. Ты ведь знаешь, что я объективен по отношению к своим родным. Это не моё только мнение, а всех её знавших и знающих.

Воронез, 28 сентября 1914 г.

Ты читала 26-го сентября в Р.В. фельетон «На Марне»? Автор категорически отказывается верить в варварство немцев. И я не могу сказать, чтобы его доводы были неубедительными. Наоборот, мне кажется, что он прав; простая логика. Но где теперь и у кого искать способности мыслить логически? Таких людей сейчас почти нет.

Вчера вечером мы получили приказ «немедленно свёртываться». Ещё днём от нас забрали почти всех больных, осталось 12 на весь госпиталь. Понемногу начали складываться, однако не верим в наш быстрый отъезд отсюда. Привыкли разочаровываться! Сегодня говорят, что нас по свёртывании и сдаче госпиталя преемникам отправят пока что опять в Троицкое, ждать дальнейшей судьбы. Там уже сидит снова один из наших госпиталей. В таком случае мы поедем опять в «Бристоль»; только не туда! Улита едет, когда-то будет!.. <...>

Хотел тебе писать относительно главного врача. У него тенденция по возможности превратить госпиталь в канцелярию. Ввиду телеграмм из Петербурга, рекомендующих экономию, выдачу перевязочного материала и лекарств ограничил до *minimum*¹: у нас на перевязках накладывается та же вата и те же бинты!!! Боже сохрани ампутировать палец или извлекать пулю. Ведь тогда нужно больше материала, а этого не должно быть. Ergo [следовательно] — такие больные пересылаются в другие госпитали (земские) или эвакуируются. У нас остаётся история болезни и много разных записей в разных книгах и в канцелярии. Бензин¹, наша-

¹ Бензин применялся для обезжиривания кожи при перевязке.

тырный спирт и т. д. у нас не покупаются. Запасы (100,0 — 150,0) истощены, а пополнить будто бы не из чего.

Но это неправда, суммы имеются. У нас на каждого больного в день полагаются 34 коп., выходит же только 27 коп. Как мне Пётр Петрович сам сознался, у него уже имеется излишек в несколько сот рублей. А из излишка должны быть покрыты стирка и добавочные приобретения в аптеку! Он сам даёт другим врачам совет, где дешевле всего можно закупить запасы перевязочного материала, но сам не покупает. Для чего? — для того, чтобы иметь возможность представить бумажку: я де сэкономил там, где другие тратили. А другие госпитали имеют всё.

У меня уже несколько дней лежит больной с тяжёлым scabies'ом [чесоткой] без всякого лечения: у нас нет даже серного цвета¹! Отправить его нельзя. На мои просьбы купить хоть самое необходимое, ответ: мы не можем выходить из наших узких границ! Тогда я третьего дня купил на свои деньги несколько необходимых средств (с согласия Левитского) и во время обхода предложил ему, если он хочет, принять на счёт госпиталя, мотивируя тем, что с пустыми руками лечить не умею. Он счёт (3 рубля) отверг и резким тоном (в первый раз) просил без его ведома ничего не выписывать и не употреблять ничего, чего нет в нашей аптеке! Мы с Левитским промолчали (при сёстрах!), но отношения коренным образом изменились. С тех пор с ним ни слова! Мы ещё повоюем! Не запугает! <...> Не думаю, чтобы он нас осилил. Он по существу трус и боится скандала. Не мы, а он пардона запросит.

Воронеж, 29 сентября 1914 г.

Так много интересных новостей, касающихся товарищей. Они все работают там, на месте, а мы где-то в самом последнем тылу. Ну и мы, должно быть, в конце концов, двинемся. Ты, Шурочка не должна огорчаться моим желанием быть ближе к делу. Это так естественно, ведь совестно сидеть здесь. <...>

Передать письмо матери своими словами невозможно, его надо читать самому. Скажу только, что оно бесконечно нежное и грустное. Припадок желчной колики у ней прошёл, и она чувствует себя совсем здоровой. <...> Брат погиб от прободного перитонита...

Ты, конечно, читала обращение к обществу наших литераторов, учёных, артистов и художников по поводу немецких жестокостей². Что на это скажешь? Я вот что скажу: да, протестовать против разрушения памятников старины и искусства надо, и должны протестовать именно литераторы и художники. Но я имею дерзость утверждать, несмотря на ряд крупных и всеми уважаемых и ценимых

¹ Очищенная сера, применяется для уничтожения чесоточных клещей.

² 28 сентября в газете «Русские ведомости» было опубликовано обращение 26 деятелей литературы, искусства и науки с призывом обуздать немецкую агрессию, милитаризм и жестокость. Среди подписавших обращение были: А.М. Горький, Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, К.С. Станиславский, Е.Б. Вахтангов, А.А. Кизеветтер, П.Б. Струве, П.Н. Сакулин, В.М. Фриче и др. Поводом для данного обращения послужило воззвание 93-х немецких интеллектуалов «К культурному миру», в котором они отрицали все обвинения в адрес Германии и всецело оправдывали милитаризм, без которого, по их утверждению, немецкая культура была бы стёрта с лица земли. Впоследствии многие из подписавших это воззвание сожалели о своём поступке.

имён подписавшихся, что протестовать так, то есть трафаретными вульгарными напыщенными фразами, столь неубедительными, это значит в корне подрывать то дело, которое защищаешь. Перед пламенным протестом Роллана: он не только искренен, он делен и убедителен. А наши? Они пишут такую безвкусицу как «Германия возвращается к алтарям тех жестоких национальных богов, для победы над которыми воплощался на земле Единый Милосердный Бог»; «низкая обязанность напомнить человечеству, что ещё жив и силён древний зверь в человеке»; «уподобиться своим пращурам, тем полунагим полчищам, что 15 веков тому назад задавили своей тяжкой пятой античные народы»; «кровью текут реки, по грядам трупов шагают одичавшие люди»; «мрак, в который добровольно вступила Германия». А рядом с этим — слезливо-сентиментальные рассуждения и вздохи на тему о том, что «Германия отрекается от всего великого и прекрасного, что было создано гением её на радость и достояние всего человечества».

Если верить всем газетным рассуждениям, то получается такая картина, что Германия внезапно перешагнула какую-то черту и из великой сразу превратилась в низкую кровожадную варварскую страну. Не верю я в такие исторические метаморфозы. Всюду рассеян и мрак, и свет. Бывают времена, когда мы больше внимания обращаем на одну, другой раз — на другую сторону. И я понимаю, если наши литераторы преувеличивают отрицательную сторону, но я не понимаю, как люди искусства и литературы могли дать свою подпись под такую аляповатую, лубочную статью — явный признак дурного вкуса! Я это утверждаю, несмотря на громкие подписи. Удивительно, каким смерчем пронесется война через головы даже людей, которые должны бы стоять выше этого!

Воронеж, 30 сентября 1914 г.

Наши дела здесь дошли до точки замерзания: сегодня мы окончательно свернулись и передали свои обязанности сводному госпиталю. Что будет с нами дальше, не знаем, ждём распоряжений. Мы даже не знаем, куда девать нашу команду. Пока всё сидим на старых местах. Говорят, что нас тут, в Воронеже, продержат ещё 10 дней. Вполне возможно. Мы перестали верить в быстроту наших передвижений.

Отношения с наши начальством остаются такими же. Вернее, отсутствие всяких отношений. Мы друг с другом не говорим ни слова. Левитский отвечает только по вопросам службы. Только Покровский немного иной раз поддерживаёт беседу. В общем, за столом полное молчание.

Вчера у нас капитан, заведующий эвакуационным пунктом, принимал претензии команды. Но этой команде главным врачом уже заранее даны были вполне точные указания, и поэтому допрос для него сошёл благополучно. Когда же капитан обратился к нам с вопросом, не имеем ли мы каких-нибудь претензий, я хотел ему тут же в присутствии главного врача заявить относительно недостатка во всяких материалах и средствах, и поэтому дипломатично спросил его: личные претензии или вообще о недостатках? Но капитан не сообразил и снова сказал: конечно, личные ваши претензии; получили жалованье? На это я уже не мог ответить иначе, как «личных претензий нет». Но Пётр Петрович понял, он так и впился в меня глазами. С товарищами я поговорил до этого, и они хотели меня всецело поддержать. На этот раз не вышло; ну что же, мы ещё повоюем!

Ты меня как-то спрашивала, верю ли я, что война скоро кончится. Я на это могу сказать только: не верю. Если в начинающейся сейчас битве на Висле мы победим и будем победоносны и в дальнейшем, то, может быть, к весне война окончится. Но я вполне допускаю в последние дни возможность нашего поражения. А тогда? Тогда в два месяца будет разгромлена Франция, как и Бельгия, и тогда всё будет зависеть от нашей настойчивости. Во всяком случае, война тогда затянется. До сих пор ведь немцы ведут победоносную войну, несмотря на отдельные наши успехи. Мне даже не верится теперь, что мы попадём во Львов. Я боюсь, что австрийцы не дождутся нашего приезда и вновь возьмут его. — Печально!

Воронеж, 2 октября 1914 г.

Сейчас, в то время, как я тебе пишу, рядом со мной сидит Левитский и с воодушевлением и ожесточением занимается произношением французских слов, громко их повторяя с невозможным акцентом. Он вчера купил себе Туссена-Лангеншейдта на русском языке и теперь с раннего утра до ночи занимается произношением, а я его всё время поправляю и наставляю. Вот видишь, ты и не думала, что я гожусь во французские учителя.

Завтра утром мы уезжаем из епархиального училища, должно быть, в «Бристоль». По одним слухам, мы в Воронеже останемся только ещё 4—5 дней, по другим — не менее десяти. Мне кажется более вероятным последнее, в быстроту я перестал верить. Говорят, что нас отправят не во Львов (австрийцы едва ли дождутся нас), а в Броды, маленький пограничный австрийский городок. Попадём ли мы туда, или Броды у нас выйдут вроде Бара, кто его знает? А пока опять будем ждать...

Очень не нравится мне сейчас расположение армий на Висле. Боюсь разгрома. Я начинаю допускать мысль, которая раньше казалась совершенно невероятной, что германцы в итоге могут победить. Во всяком случае, ничего радужного не вижу. Неужели я вдруг превратился в этом пункте в пессимиста?

Воронеж, 3 октября 1914 г.

Пишу тебе из «Бристоля», куда мы сегодня переехали. Комната небольшая, но уютная. Я тебе пишу, а рядом со мной Левитский долбит: *ен повр анфан*¹, а я его поправляю. Он очень увлёкся французским, и ему изучение доставляет большое удовольствие. Я тоже сегодня опять принялся слегка за то же самое. Но, грешен человек, лень берёт. Нет во мне постоянства или есть? <...>

Очень хорошие отношения у нас с Левитским. Он хороший и неглупый человек, хотя и на провинциальный манер, многого не знает, но желал бы знать многое. Необходимо знание языков, и вот он взялся за изучение французского, не веря в возможность для себя одолеть немецкий. Он бывший семинарист, кончил в Томске. Там же кончила и его жена. Никогда раньше не изучал языков.

Покровский тоже ничего себе парень, он неглупый, необразованный, немножко бурбон, любитель женского пола, но товарищ он хороший. Так жаль, что наш главный портит наш квартал.

¹ un pauvre enfant (франц.) — моё бедное дитя.

Наши отношения остаются молчаливыми. Левитский же и Покровский в особенности не умеют ставить вопрос принципиально: то есть либо хорошие товарищеские отношения, либо сухо формальные, по обязанности. Нет-нет и заговорят о чём-нибудь постороннем. Они как-то не чувствуют обиду, что товарищ, хотя и старший, позволяет себе некорректности, грубости. Они как-то не чувствуют так, что надо бороться с таким чисто формальным отношением к интересам больных, с полным пренебрежением их нужд и требований! Ну да Бог с ними!..

Что ты скажешь по поводу «призыва» германских литераторов и учёных¹? Правда, полного текста ещё нет; может, и не будет, и поэтому трудно судить. <...>

Меня тревожит наше молчание относительно состояния дел у Вислы. Когда мы молчим, дела всегда идут скверно. <...> Относительно нашей ближайшей судьбы ничего неизвестно.

Перед самой отправкой на фронт Фр.Оск. на несколько часов, вновь без разрешения начальства, вырвался в Москву, чтобы попрощаться с любимой женщиной. 7 октября госпиталь выехал из Воронежа в западном направлении.

Ворожба², 8 октября 1914 г.

Вот уж прошёл волшебный, но столь короткий миг, и мы опять далеко друг от друга. <...> Я всё же очень, очень рад, что видел тебя хоть минуточку. Я теперь спокоен.

А я путешествую, и не видно конца путешествию. Всё в вагоне да в вагоне, трясёт и качает. Из Москвы до Воронежа я устроился очень хорошо, взял плацкарт и ехал вдвоём в купе с раненым Сувалками³ подпоручиком. Он мне рассказал много интересного. Так, например, относительно зверств он говорит, что это одинаково с обеих сторон, что во время боя как-то не до гуманности. Он видел примеры жестокости и с той, и с другой стороны. Поляки к русским относятся хорошо, помогают. Евреи — плохо, они за того, кто победит. Их дивизионный генерал собственноручно застрелил пять евреев, которые подавали сигналы неприятелю и у которых были найдены карты и планы. Был в Сувалках и небольшой еврейский погром, устроенный поляками и солдатами; правда, потом отобранное было возвращено.

Есть на позициях иной раз совсем не приходится по 3—4 дня. Подвоз провианта весьма плохой, приходится дорого платить за продукты. Бывает мародёрство. С другой стороны, когда до сведения верховного главнокомандующего дошло, что две роты какого-то полка забрали провизию, не заплатив, то он приказал тут же расстрелять обе роты вместе с офицерами. В общем, мы обыкновенно расплачиваемся деньгами, немцы же явно мародёрствуют, грабят магазины. По крайней мере, так было в Сувалках.

¹ «призыв» германских литераторов и учёных — см. примечание к письму от 29 сентября.

² Станция Ворожба Московско-Киево-Воронежской ж.д., в Сумском уезде Харьковской губернии.

³ Сувалки — город на северо-востоке Царства Польского, в местах ожесточённых боев во время Варшавско-Ивангородской операции.

Немцы берут артиллерией, они буквально засыпают снарядами каждого отдельного человека. От штыка же удирают. У них артиллерия подвижна, на автомобилях. У нас этого нет, но в смысле храбрости наши куда выше. В гибели двух корпусов Ренненкампф¹ не виноват, а виноват Жилинский², с которого Н.Н.³ сорвал погоны и отдал под суд. На месте Жилинского теперь Рузский⁴ на прусском фронте, а на месте Рузского — Радко-Дмитриев⁵. Много мы с ним говорили на военные темы...

В Воронеж приехал в шестом часу утра. Покровский мне рассказал, что П.П. [Марков] узнал про наш отъезд [Москву], говорил с ним по телефону, но предложил ему самому распутаться во всём. Если мы прибудем вовремя, то он сделает вид, что ничего не знает.

Так и вышло. Левитский приехал вместе со мной, и мы успели покончить со всеми делами. Были у Зайцева, разбудили его и потащили его с собой на вокзал.

11 октября

Пишу из Волочиска⁶. Сейчас отходит почтовый поезд. Только что узнал, что сюда можно адресовать «до востребования» гор. Волочиск Волинской губ. Сегодня напишу тебе длинное письмо. Ещё не устроились. Вчера приехали поздно вечером. Послал тебе и матери по телеграмме. Уже третий звонок. Тут совсем, совсем не то, что в России, совсем другой дух. Никто не смеётся.

Волочиск, 12 октября 1914 г.

Пишу тебе рано утром. Кругом все ещё спят. Пишу со скрежетом зубным: холодно адски. Впрочем, расскажу всё по порядку.

Писал я тебе со станции Ворожбы. Всё ближе мы подъезжали к Киеву. Пейзаж тебе знакомый, для меня же отчасти новый. Оригинальны длинные ряды пирамидальных тополей вдоль линии железной дороги. Особенно при скудном освещении на какой-нибудь захолустной станции ночью: кругом всё тихо, в ваго-

¹ Ренненкампф Павел Карлович (1854–1918) — генерал-адъютант, генерал от кавалерии, георгиевский кавалер, командующий 1-й армией Северо-Западного фронта.

² Жилинский Яков Григорьевич (1853–1918) — генерал от кавалерии, главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта. Обвинялся в серьёзных просчётах, неумелом руководстве и несогласованности действий 1-й и 2-й армий фронта, вследствие чего был признан одним из главных виновников поражения русских войск в Восточно-Прусской операции и 3 сентября смещён со своего поста.

³ Н.Н. — Николай Николаевич (Младший) (1856–1929) — великий князь, внук Николая I, дядя Николая II, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, верховный главнокомандующий сухопутными и морскими силами Российской империи (1914–1915).

⁴ Рузский Николай Владимирович (1854–1918) — генерал, командующий 3-й армией Северо-Западного фронта, с 3 сентября 1914 г. — главнокомандующий армиями фронта.

⁵ Радко-Дмитриев Радко Дмитриевич (Радко Русков Димитриев) (1859–1918) — болгарский и русский генерал от инфантерии, с 3 сентября 1914 г. командующий 3-й армией Северо-Западного фронта, смещён с этого поста 20 мая 1915 г., после сокрушительного поражения при Горлице.

⁶ Прежняя западная граница Российской империи.

нах спят, слышен только непрекращающийся шелест сухих листьев, и вырастают два ряда серебристых великанов...

Что меня ещё поразило, так это увядающая природа, осень на полях и в лесах. Какое богатство оттенков в окраске листвы: от светлого, соломенно-жёлтого до тёмно-бурого. Увидишь с высоты насыпи издали леса в осеннем уборе и поймёшь, что значит «золотая осень». А общий ржавый оттенок полей и лугов, перерезанный чёрными полосами свежеспаханного поля! А уныло-бурое пятно одиноко стоящей берёзки на фоне яркой зелени молодых озимых полей! Какая красота! Какое богатство!

Можешь себе представить, Шуручка, как я был восхищён, подъезжая к Киеву. Тебе знакомая картина, я же вижу его впервые. Да, чуден Днепр в ясную погоду и роскошный город Киев! И опять-таки всё это в рамке золотой осени! Остаётся только поставить ряд восклицательных знаков!!!!

К глубокому моему сожалению, нам в Киеве пришлось остаться только два часа. За это время мы вдвоём с Левитским старались посмотреть как можно больше. Проехались по всему Крещатику, поднялись на гору над св. Владимиром и обозревали оттуда роскошные виды на Подол. Проехали мимо университета, были в Десятинной церкви. На Крещатике заходили в ряд магазинов и пополнили запасы, закупили, что нужно. А затем дальше...

В Проскурове¹ мы оставили три госпиталя, а сами в единственном числе поехали дальше, всё ближе к границе. Всё больше и больше менялись картины на станциях, народу всё меньше, почти одни только военные. Да и самый пейзаж менялся. Всё реже и реже становились хутора, всё пустынной местность. То и дело встречались поезда с ранеными и пустые обозные. Долгие остановки на разъездах, в полях. Таким образом, только к 8 часам вечера третьего дня мы приехали в Волочиск. На станции только военные, раненые, сёстры милосердия. Разговоры только о войне. Смеха нет, все серьёзные, даже угрюмые. Здесь уже вполне чувствуется война. На платформе товарной станции трофеи: австрийские пушки, мортиры, обозы.

С самого же начала у нас завязался разговор с одним полковым врачом, получившим отпуск на две недели. У него контужена нога и сильный ревматизм. Он нам рассказал много интересного, чего в письме, к сожалению, не передашь... Одно для меня стало ясно, что борьба ведётся со страшным ожесточением, что условия кампании весьма тяжёлые, даже тяжелее японской кампании, и что мы во всяком случае победим, хотя, вероятно, не раньше, чем через год!.. Кровь течёт широкой рекой, и много ещё крови будет пролито...

Наша работа здесь будет едва ли многим разниться от работы в Воронеже; та же эвакуация... Будем наматывать свежие бинты на старые...

Первую ночь по любезности коменданта станции мы спали в его квартире. Вчера утром П.П. поехал к начальнику эвакуационной части на ту сторону Збруча, в австрийский Подволочиск. <...> Затем мы с Левитским пошли смотреть отведённые нам казармы. Там уже стоял какой-то подвижный госпиталь, но нам он из обстановки ничего не оставил: голые стены и порядочная грязь. Три этажа. Пошли в рядом стоящие казармы того же типа, где уже устроился другой госпиталь. Те

¹ Ныне город Хмельницкий.

устроились хорошо, у них и чисто и уютно. Полтора этажа у них заняты хирургическими и полтора — терапевтическими больными. Работы, говорят, много. Имеется здесь и госпиталь с заразными больными... Аптека в соседнем госпитале пополнена из аптеки, имеющейся в австрийском Подволочиске, отданной в полное распоряжение госпиталей. И мы тоже думаем оттуда попользоваться.

Впрочем, нам П.П. сегодня объявил, что он нас в перевязочных и иных средствах стеснять не будет, так как подписывать придётся не ему, а начальнику эвакуационной части. Хоть это хорошо.

Стали мы смотреть отведённые нам квартиры. Это оставленные офицерские квартиры рядом с казармами. Небольшое здание, одноэтажное. Двери приходится взламывать, так как ключи утеряны. Квартиры грязные, солома, мусор, щепки, несколько поломанных стульев, табуреток, чудом уцелевший небольшой комод, на котором я сейчас тебе пишу. Вот и всё.

Холод страшный, дров нет. Стали мы с денщиками устраиваться, подвычистили, перетаскали вещи, распределили, раздобыли всякие щепки, остатки оконных рам, этажерок, всякий мусор и этим затопили несколько печек. Затем нам прислали наши кровати и тюфяки, прислали ночники. И вот — квартира готова. Поставили самовар, напились чаю и как будто немного согрелись. Было уже поздно, и мы легли спать. Накрылись, чем только можно было. Ну, ничего, выпались хорошо. Надо же привыкать к военной обстановке. В траншеях лежат и совсем без всякого прикрытия...

Вчера же к вечеру стали из вагонов выгружать госпитальное имущество и переносить в казармы. Сегодня мы, должно быть, вчерне устроимся. В настоящее время я сижу без денег, задолжал товарищам 55 р. и тебе 22 р. Впрочем, мы здесь скоро будем с деньгами. Здесь оклады значительно повышены. Всего мы будем получать около 200 р. К тому же и «лошадиные деньги» не оказались мифом. Переезжать здесь не на чем, извозчиков нет. Все удивляются, почему мы без лошадей. Отыскали теперь какой-то приказ 1914 года, по которому и нам полагаются; и нам на днях выдадут. Купим себе лошадку и тележку.

П.П. говорит, что поочерёдно нас будут командировать то обратно в Жмеринку за перевязочным материалом, то во Львов за получением жалованья. Впрочем, идут слухи, что нас здесь оставят не слишком долго, а пошлют во Львов. Поживём — увидим. А пока постараемся здесь устроиться возможно лучше.

Волочиск, 12 октября 1914 г.

Пишу тебе за день второе письмо. Вот видишь, какое усердие!

Утром я имел крупный разговор с П.П. относительно выдачи жалованья. Мы все сидим без денег. Левитскому и Покровскому он отказал выдать вперёд. Тогда пошёл я, как бы тяжёлой артиллерией. Говорили мы громко и резко, попрекнул он нас московской поездкой, но, в конце концов, согласился нам выдать вперёд жалованье за октябрь без походно-порционных (3? р. в день), которые надо особо выписать. Получу, значит, 90 р. Из них отдам Покровскому 40 и Левитскому 15¹. Как видишь, я всё такой же неисправимый.

¹ По-видимому, карточные долги.

Затем, после разговора, пошли все мирно в казармы устраивать наш госпиталь. Зашли ещё раз к соседям, где и П.П. нашёл всё прекрасным. Решили свой госпиталь устроить совсем на такой же манер. Отдали все нужные распоряжения смотрителю, и пошли на вокзал обедать. Обед скверный. Насилу достали «Киевскую мысль», прочли последние известия. Мало интересного. Как тебе нравятся манифестации московских и киевских студентов? Впрочем, ответ ясен...

Во всём районе военного расположения запрещены московские газеты. Говорят, что здесь можно получить «Новое время», «Речь», «День», «Киевскую мысль», «Киевлянин» и «Одесские новости». Вот и всё. От Р.В. придётся волей-неволей отказаться. Но я попрошу тебя сообщать обо всём более или менее интересном, волнующем, что в них встретится. Не хочу порвать связи с московскими газетами.

После обеда мы пошли в местечко (*не город*) Волочиск: население наполовину малороссы, наполовину евреи. Прошлись по главной и единственной улице и пошли дальше, по направлению к границе. Шли мы версты четыре, пока не дошли до самого местечка Волочиск (где мы живём, — это станция). На рыночной площади перед большим и красивым костёлом много народа, бойкая торговля. Для нас всё это очень интересно. (Мы шли втроем с Левицким и Покровским). Затем спустились вниз к реке Збруч, загороженной плотиной, образующей большой пруд. На той стороне плотины — австрийский Подволочиск. В общем, та сторона мало разнится от этой. Дома всё же чище и больше, а публика, несомненно, чище, лучше одета. Но, в общем, разница небольшая. Целый ряд домов представляет груды развалин: это наша артиллерия расстреливала какой-то австрийский поезд. Другие дома покинуты, стёкла выбиты, внутри пусто, двери открыты. Кое-где видны ещё остатки австрийских почтовых ящиков, почти совсем разбитых. Много свежих русских вывесок. Костёльная улица переименована в Николаевскую и т. д. Много солдат-ополченцев. Внутри вокзала на стене мы нашли ещё остатки немецкого объявления о мобилизации. Странное впечатление получается от завоёванного местечка.

Обратно мы поехали с санитарным поездом, вёзшим 750 человек раненых! Железнодорожный мост наполовину разрушен, идёт только одна колея. На нашей стороне сожжены австрийцами дотла 2—3 здания казарм недалеко от границы.

Вот наши первые впечатления от войны.

Когда мы вернулись домой, нас П.П. огорошил сообщением о полученной им телеграмме: отправить немедленно одного из младших ординаторов в распоряжение начальника эвакуационной части в Подволочиск с багажом. Мы все поняли, что одному из нас придётся оставить госпиталь и отправиться неизвестно куда. Но вскоре недоумение разъяснилось. Оказалось, что врач необходим только на несколько дней, чтобы помогать при перевязках на вокзале. Ведь сейчас идут горячие бои. Отправляется завтра Покровский. А я уж было собрался ехать.

Волочиск, 13 октября 1914 г.

Сегодня у нас был тихий день; никаких событий. <...> Читал «Киевскую мысль» и «Одесские новости». Газеты хорошие, мне они по первым прочитанным номерам нравятся; только непривычно. <...>

Понемногу устраиваемся. Наши казармы находятся приблизительно в версте от станции и местечка. Большой плац, на котором высятся красные

угрюмые трёхэтажные казарменные здания. Ветру есть, где разгуляться на воле, просторно! Кое-где в отдалении видны ряды осенних деревьев, в одном углу всей этой площади помещается церковь. Людей почти не видно. Живём совсем одиноко. Вся наша компания разместилась в трёх небольших квартирах по две комнаты. В одной — Левитский, Покровский, аптекарь и я, в другой — сёстры младшие и П.П., в третьей — наша столовая и старшая сестра. Видим друг друга почти только за обедом, который с сегодняшнего дня опять устроили дома. И хорошо так — общего у нас с другими ведь очень мало. Только Покровский дружит с сёстрами или, вернее, с одной сестрой; ну его дело молодое! <...>

Дошли ли до тебя вчерашние лепестки мака? Он был такой красивый, ярко-красный, одинокий в сером поле. Слишком ярок для грустных красок осени! Какой-то живой анахронизм, вестник бывшей красоты, прошедшего лета. Невольно напрашивается мысль о том, что вырос он такой яркий — вспоённый кровью павших здесь первых жертв этой ужасной войны. Это не литературный оборот, нет. Здесь как-то невольно приходят в голову именно такие мысли. Здесь это более понятно, чем где-нибудь в Воронеже. Всё-таки здесь чувствуется уже тяжёлое дыхание войны.

Волочиск, 14 октября 1914 г.

Только что вернулся с совместной с Левитским прогулки по окрестностям Волочиска. На этот раз мы пошли удаляться от границы. Вышли за казарменный плац на большую дорогу. Там так хорошо: виден простор полей, так бодряще веет свежий осенний ветерок. По краям дороги опять ряд высоких тополей. А по дороге тянутся гуськом длинные вереницы пустых телег. Так мирно, так тихо! Пошли мы полями, пока не увидели вдаль всё тот же Збруч, а на берегу его — хохлацкую деревню. Это такая живописная картина! Мы долго любовались белыми и коричневыми мазанками, точно сдвинутыми в кучу. Куда милей и красивей, живописней Малороссия нашей средней полосы. Тебе это всё знакомо, я же видел Хохландию только один раз, когда прожил на даче в Воронежской губернии четыре летних месяца¹. Должно быть, хорошо иметь хутор где-нибудь в Полтавской губернии! И народ такой приветливый, простой! <...>

Осмотрели мы ещё водяную мельницу примитивного устройства. Так наивно-просто стучали колёса, мололи жернова, и так просто сыпалась мука в подставленные мешки. Всё для меня ново, интересно. Зашли мы также в небольшой винокуренный завод, где управляющий-поляк любезно и вежливо нам показал все детали. <...>

Только что зашёл Покровский, привёзший сюда поезд с ранеными из Подволочиска. Он рассказывает, что он там работает без перерыва уже с пяти часов вечера вчерашнего дня, не спал и не обедал. Ежедневно через Подволочиск проходят примерно 2000—3000 раненых, часто в невозможных условиях, прямо с позиций. Сейчас в Галиции идут весьма упорные бои у подножия Карпат, и этим

¹ Малороссы составляли более трети населения Воронежской губернии, в некоторых уездах они значительно преобладали, например, в Острогожском уезде они составляли 90% населения, в Богучарском — 82 %, в Бирюченском — 70 %.

объясняется такое количество. Даже офицеры прибывают сюда в теплушках в страшной грязи, со спешно наложенными на поле битвы повязками. Работают на эвакуационном пункте не покладая рук. Тамошние врачи утверждают, что такое обилие работы чуть ли не с начала войны. Иной раз по три ночи не спят. А мы опять развёртываемся и никак не развернёмся. Сейчас у нас в госпитале белят стены в перевязочной и операционной. Я боюсь, что до нашей полной готовности пройдёт ещё неделя! Увидим.

Вчера успел ещё написать длинное письмо Карлуше. Вообще писать я научился в эту войну. Пишу, по крайней мере, много. Начинаю опять слегка заниматься по-французски.

Волочиск, 15 октября 1914 г.

Мы всё ещё стоим на той же точке замерзания: развёртываемся. <...>

Заехал опять на несколько часов Покровский. Рассказывает, что за последние две недели через Подволочиск проследовало 20 000 раненых, а в то же время через Броды 30 000 человек! Убитых за это время в Галиции насчитывают 10 000!! Эти цифры так красноречивы, что говорят сами за себя, комментарии излишни... Хорошо, по крайней мере, то, что в перевязочных средствах недостатка нет. <...>

Сегодня в «Киевской мысли» прочёл перепечатку из Р.В. о безобразиях в Москве.¹ Что тебе сказать на это? Скажу только одно: мне так больно и так обидно, что даже не удержался от слёз <...> Неужели первоначальному глубокому порыву всех общественных классов суждено выродиться во всё более и более мелкий и пошлый шовинизм?! Неужели и в самом деле слова об освободительной цели войны так и останутся пустыми словами! Неужели только большой, большой минус в культурном отношении будет окончательным итогом всей этой войны?! Всё больше теряется вера, всё больше деятельность здесь становится тяжёлым долгом, обязанностью, и всё пламенней стремишься к скорейшему окончанию войны².

¹ 10—11 октября в Москве были совершены нападения на магазины и конторы, принадлежавшие людям с немецкими фамилиями, в результате погрома пострадало около 30 немецких торговых фирм.

² Ещё до получения этого письма Ал.Ив. предвидела, как отнесётся к московским погромам её Ёжа, и заранее стремилась разделить его душевные муки: «"И больно, и стыдно отмечать такие факты", — пишут «Русские Ведомости» по поводу недавних погромов в Москве. А я, Ёжа, скажу, что противно всему моему существу это подлое фарисейство, негодующее против немецких зверств на войне и устраивающее ещё более позорные погромы здесь, в мирном городе. Неужели можно поверить в невозможность предотвратить всё это? И всё это началось с демонстрации «хранителей идеалов» и поддерживалось торжественными крестными ходами. Можно ли из религии, — красоты жизни, — делать ширму для сплочения тёмных сил?! Газету я начинаю читать с таким чувством, как будто открываю ящик с шевелящимися гадами. Боже, когда всему этому конец! И знаешь, милый, я думаю, что волна человеконенавистничества ещё долго не смолкнет и после войны. Ты прав, мой родной, в своём пессимизме. Я чувствую в этот момент, как ты тоже будешь глубоко страдать при чтении сегодняшнего 235-го номера газеты... Я с тобой, мой милый, в этом состраданье». (Письмо 12 октября).

Ты, конечно, читала о публичном выступлении членов Московского философского общества¹. Какая путаница понятий! Какие взаимные противоречия! Какой-то хаос мыслей. Ведь додумался же Эрн утверждать, что без Канта немислим был бы и Крупп!² Это он утверждает про того Канта, основным моральным учением которого было: никогда не видеть в ближнем своём только средство, а всегда самодовлеющую цель! Это в Канте он отрицает идеализм, у него нашёл восхваление грубой силы!

Хорош и Булгаков, противопоставляющий пангерманизму — панславянизм, славянофильство, вместе с Германией осуждающий и Францию, и Англию! Если так рассуждают наши философы, то чего же ждать от низов?! Тогда и битвь стёкол становится понятным, слишком понятным. Да, грустные мысли невольно приходят на ум.

Вологиск, 18 октября 1914 г.

Третьего дня у нас было лето, вчера ненастная осень, а сегодня с утра инеем покрыта земля — зима. Хотя печи и топятся изрядно, но пол холодный; дрожим. Впрочем, грех жаловаться нам, когда в окопах сейчас лежат миллионы без всякого прикрытия!

Начала воевать с нами Турция!

Ещё дальше отодвинулся момент возвращения домой, к Шурочке, к работе... Так устроен человек, что даже мировые события рассматривает под углом зрения личного своего счастья и несчастья. <...>

Я тебе сегодня послал телеграмму с просьбой выписать нам «Русские ведомости» до востребования с 1 октября до 1 января. <...> Выяснилось, что до востребования здесь можно получить все газеты. <...>

Получил я сегодня впервые открытку от Вилли. Удостоился. По обыкновению, он весьма краток: поздравляет [*с днём рождения*], жмёт руку. Рад в будущем, когда кончится вся эта история, не раньше июня-июля будущего года, увидеться со мной и побеседовать о прошедшем. Я из этих строк только понял, что он желает что-то выяснить, узнать истину. Да, сильно должно затронуть всё, что связано с этой войной, нас, немцев в России.

Сегодня, шутя, немного повозился с коллегами. Началась сильная одышка. Вообще мне кажется, что в последнее время одышка у меня опять начинает усиливаться. Попросил исследовать Левитского. Он нашёл увеличение размеров

¹ Заседание Московского религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьёва проходило 6 октября в Большой аудитории Политехнического музея, которая была переполнена и не смогла вместить всех желающих; толпы людей, не сумевших достать билета, осаждали музей. Вступительное слово произнёс председатель Общества, литератор и философ Г.А. Рачинский, с докладами выступили Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, Вяч. Иванов и В.Ф. Эрн.

² В своём докладе философ и публицист В.Ф. Эрн утверждал, «что внутренняя транскрипция германского духа философии Канта закономерно и фатально сходится с внешней транскрипцией того же самого германского духа в орудиях Круппа». Доклад произвёл эффект разорвавшейся бомбы и вызвал широкое общественное обсуждение. Название доклада «От Канта к Круппу» стало крылатым выражением. (См.: Русская мысль. 1914. № 12. Разд. 2. С. 116–124.)

сердца слева на полпальца за *mammilaris*¹. Затем аритмию и некоторую слабость тонов, без акцента. У основания ему даже послышался небольшой шумок. Да, придётся примириться с мыслью о хроническом миокардите со всеми его прелестями: одышкой, расстройством компенсации, водянкой и т. д. Наложила на меня печать Морозовская больница!²

Наш госпиталь туго продвигается вперёд. Должно быть, и завтра не откроемся. Зашёл к нам сегодня комендант станции, очень симпатичный прапорщик, и рассказывал много интересного о первых боях до Гнилой Липы³, в которых он участвовал, а также о порядках в госпиталях, в которых он лежал.

Волочиск, 19 октября 1914 г.

У нас сейчас довольно нудно. <...> И вот твоё письмо! Это прямо манна небесная после 40 дней, проведённых в пустыне. <...> Вот видишь, и я немного подпал под влияние окружающего. Но думаю, что ненадолго. Это невольная реакция на вынужденное бесполезное сидение. Как только начнётся работа, кончится и уныние.

А работы не будет и завтра. Мы, кажется, закончили оборудование госпиталя. Уже два дня не везут раненых. А завтра П.П. уезжает на несколько дней во Львов за жалованьем (20-е число!). Это, конечно, столь важное дело, что отказываться от него для открытия госпиталя никак невозможно. Так что мы откроемся, должно быть, не раньше четверга.

Ты пишешь так соблазнительно: хочешь прислать мне посылку, готовишь подарки, говоришь даже о возможности своего приезда сюда... Было бы так хорошо! Ты спрашиваешь, где здесь можно остановиться. Здесь есть какие-то «Петроградские номера». Говорят, что там жили и врачи, но насколько там прилично, не знаю. На всякий случай нужно справиться. <...> В Подволочиске более прилично, но оттуда сообщение не всегда правильное. <...>

Ты, Шуручка, укоряешь меня за то, что напомнил о своём долге. Я этого не помню. Во всяком случае, если и напомнил, то не в смысле сознания своих обязательств по отношению к тебе, а просто при арифметических расчётах.

От матери получил сегодня письмо, пересланное из Воронежа. Она пишет, что смерть брата видимо сплотила всю семью, что отношения всех стали более мягки и сердечны. <...> Это всё-таки значительный плюс в нашем большом минусе...

Волочиск, 20 октября 1914 г.

Сегодня почему-то от тебя нет письма. <...> С отчаянья целый день резался в преферанс. Так и знай: если ты пропустишь день, я в наказание буду играть в карты. Придётся тебе из двух зол выбирать меньшее и писать аккуратно. <...>

Зашёл в «Петроградские номера», спросил о ценах. Маленькое каменное двухэтажное зданье: внизу лавки, наверху несколько комнат по полтора рубля. Хозяева, евреи, утверждают, что номера чисты, а там кто его знает. А я на всякий

¹ За сосковую линию. В норме левая граница сердца находится кнутри от неё.

² Работая в Морозовской больнице, Фр.Оск. в 1912 г. заразился и переболел дифтерией в тяжёлой форме с последующими осложнениями, включая миокардит.

³ В сражении на р. Гнилая Липа (левый приток Днестра) 16–18 августа русская армия одержала победу над австро-венгерскими войсками.

случай уже готовлю почву. Сообщаю всем, что женат и громко спрашиваю себя, не выписать ли жену сюда в Волочиск хоть на недельку. <...>

Сегодня приехал сюда один коллега из другого госпиталя, из Львова. Он встречает свою жену, которая завтра утром должна приехать. Он рассказывает, что во Львове совершенно запрещён въезд частных лиц, и что ему пришлось выпросить разрешение у Бобринского¹ на одну неделю. Без особенного разрешения не пропускают даже жён к раненым мужьям-офицерам.

Здесь в Волочиске мы находимся ещё в России, и здесь законы общероссийские. Почта здесь тоже получается исправно, нецензурированная. Письма же из Львова и адресованные туда просматриваются почти все военной цензурой, адресованные в действующую армию получают с опозданием в полтора месяца! Сейчас почти все госпитали в Львове свернулись — нет работы. Всех раненых теперь почти сразу эвакуируют в Россию, это и лучше. Там же условия более благоприятны. <...>

Уехал сегодня П.П., и никто об этом не сожалеет. Мы же продолжаем сидеть в бездействии. Впрочем, львовский коллега рассказывает, что они там тоже работали только одну неделю, что больше 50 человек зараз у них не было. Это за три месяца войны! Мы и то работали в Воронеже целых три недели.

Этот же коллега рассказывает, что ему удалось как-то получить командировку в Москву сопровождать транспорт раненых австрийцев. Благодаря этому он провёл в Москве два дня. Если бы можно было и мне так устроиться!

А в Львове считают, что война теперь, после открытия военных действий Турцией, продлится ещё два года. Я этому не верю. По-моему, она закончится самое позднее будущим летом.

Волочиск, 22 октября 1914 г.

Мне как-то не по себе последние дни. Опять сильно даёт о себе знать сердце, усиливается одышка, при малейшем движении чувство стеснения в груди, постоянная тахикардия. Даже после умывания общая слабость. Всё это так напоминает мне первые два месяца после дифтерита: опять период слабости сердца. Это, конечно, опять всё улучшится, явления опять станут минимальными, как эти два года. Но всё же! Нехорошо всё это. Так это унижительно для человека, если его благосостояние зависит от его тела, что немощное тело может отравлять ему жизнь.

Началось после бани. Я порядочно парился, усердно мылся. Придётся всё-таки привыкнуть к мысли, что я человек уже не нормальный. Придётся избегать по возможности всякой физической работы в более или менее крупном масштабе, лыжи и теннис сдать окончательно в архив. <...>

Погода унылая, делать нечего, люди слишком знакомы, тело немощно, и вот — не то, чтобы дух стал небодрым, но так, временами кислятина какая-то. Хочется поскорее выйти из этого положения, сдвинуться с мёртвой точки. Но вера в будущее есть, бодрость духа не потеряна! <...>

На всякий случай ещё раз повторяю, что очень просят коллеги выписать «Русское слово» с 1 ноября до 1 января до востребования. «Русские ведомости» я надеюсь получать с послезавтрашнего дня.

¹ Бобринский Георгий Александрович (1863–1928) — граф, генерал-лейтенант, генерал-адъютант, генерал-губернатор Галицийского губернского правления.

Волочиск, 23 октября 1914 г.

Я тебе вчера написал нехорошее письмо. Жаловался на сердце и ныл со скуки. Правда, сердце и сейчас мало радуется, всё те же явления. Правда, и сейчас работы нет, всё та же бездеятельность. Но всё-таки общий фон получился слишком мрачный.

Я начну вести правильный образ жизни, то есть не буду больше играть в карты, что всё-таки волнует. Буду избегать лишнего физического напряжения, буду беречь себя, с завтрашнего дня начну даже принимать в небольших дозах строфант. Если бы я не побоялся напугать своих домашних, то я попросил бы даже для себя комиссии, потому что сейчас я работник плохой. Но так, думаю, может быть, как-нибудь, и обойдется. Ведь бывают же периоды ухудшения.

Ну, больше не буду об этом писать, это материя скучная. Всё равно словами ничего не сделаешь. Милая Шурочка, ты тоже не беспокойся. Ведь такая штука тянется много лет. Иной раз эта слабость сердца проходит даже совсем. <...>

Мне немного совестно за то, что я тебе пишу обо всём этом. Ты на моём месте смолчала бы, я знаю. Но ты была бы неправа. И я всегда буду утверждать, что о здоровье своём следует заботиться, что это не совестно делать. <...>

Я не верю больше в то, что эта война даёт что-нибудь положительное, и потому хочется отстраниться от неё. Главное, я теперь нисколько не сомневаюсь в том, что наша работа здесь, если и будет, то бесплодная и никому не нужная, что я в миллион раз больше пользы принёс бы в стенах Морозовской больницы, откуда ты стремишься! <...> Я ещё понимаю работу непосредственно на поле сражения. Там хотя бы кипучая нервная деятельность. А здесь? Толчение воды в ступе, мелкие интриги и больше ничего.

Волочиск, 25 октября 1914 г.

Вчера утром я не получил от тебя писем и уже огорчился. Но вечером я ещё раз сам пошёл на почту и получил. Правда, не письмо, но зато посылку от Шурочки и «Русские ведомости». Я так был рад! Возвращались мы с Левитским полем, большой дорогой, а слева над горизонтом начала подниматься полная луна — так красиво... <...> Левитский усердно помогал носить посылку, рассчитывая, что и на его долю перепадёт, и не ошибся. Я думаю, что, несмотря на обилие посланного, скоро от всего останется одно прекрасное воспоминание. <...>

Значит, ты думаешь в феврале иметь возможность приехать ко мне. Ещё больше трёх месяцев! Как бесконечно долго! Да буду ли я ещё здесь, в Волочиске? Идёт слух, что отсюда два госпиталя будут отправлены на Кавказ. Не мы ли? А хорошо бы, Шурочка. Там всё-таки теплей, и природа замечательней. Да я ещё ни разу не был там, на юге. Как хорошо было бы встретиться там весну! Весна! Когда ещё она будет?

Волочиск, 26 октября 1914 г.

Ну и дела, Шурочка! Не успели мы здесь развернуться окончательно и принять больных или раненых, как получили уже новый приказ: немедленно свернуться и отправиться в Подволочиск, сменить там 130-й госпиталь и принять всех больных этого госпиталя, который отправляется дальше, за Львов в город Самбор у подножья Карпат. Всё бы ничего, но вот какой казус: в этом 130-м го-

спитале до сих пор лежали исключительно только венерические больные, и нам, таким образом, суждено превратиться в венерологов! А я никакого понятия не имею ни о сифилисе, ни о триппере! Ну, ничего, надо и этому поучиться. Левитский кое-что в этом понимает и покажет нам. Даже любопытно для первого раза. Нельзя же так замыкаться в рамках своей узкой специальности. Но каково? Думали, что на Кавказ, а получили такую конфетку!

Не знаю даже, как и домой написать. Ведь если напишешь правду, то придут в ужас! Напишу, что у нас там будут лежать больные с внутренними болезнями, незаразные. Здесь в Волочиске имеется, между прочим, и холерный госпиталь. Сейчас там больных осталось не много. Там по очереди работают по 10 дней младшие ординаторы всех расположенных здесь восьми военных госпиталей. Скоро подходила моя очередь. От этого удовольствия я теперь освобождён.

В Подволочиске холеры нет. Условия жизни, в смысле внешнего комфорта, там, конечно, тоже будут лучше. Даже здесь все остальные госпитали, даже после нас приехавшие, устроились много лучше, чем мы. Ведь наш П.П. прямо Богом обиженный человек в этом отношении. Что ему подsunут, то и берёт с благодарностью. Казарму- так казарму, сарай — так сарай. Жить мы там будем всё-таки как-никак в городе, а не чёрт знает где. Конечно, в идейном отношении наша работа там будет хромать: поехать на войну и лечить сифилитиков! Но что же? Не одними идеями питается человек... Да, к тому же мы, вероятно, там останемся тоже ненадолго. Поработаем с месяц, а там милости просим подальше, куда-нибудь в Самбор. По крайней мере, будет некоторое разнообразие. <...> A la guegге comте à la guegге, нельзя требовать себе только интересное. <...>

Вернулся вчера из Львова П.П., принёс жалованье. Веселей от его приезда не стало. Больная сестра [*милосердия*] поправляется. Покровский мне сообщил по секрету, что намерен после войны сыграть свадьбу! Быстро! Война приносит не одно только горе, кое-кто находит и своё счастье.

Волочиск, 28 октября 1914 г.

Стоим у разбитого корыта, на старом пепелище. Расскажу тебе, Шурочка, по порядку все наши метаморфозы.

Когда я тебе писал третьего дня, то думал, что мы попадём в венерический госпиталь. К вчерашнему дню выяснились подробности, и оказалось всё значительно симпатичней.

В Подволочиске уже два месяце (с конца августа) стоит всего один только госпиталь, крепко там пустивший корни и обжившийся. Он занимает помещение бывшей польской народной школы, и за это время успел приспособить его для госпиталя. Они там даже вырыли колодец и провели водопровод. Ухлопали много денег. И вот они внезапно получают приказ свернуться и немедленно отправиться в Самбор. Мы же должны их заменить. Так как среди их врачей не было специалистов-хирургов, а был венеролог и глазник, то им и старались по возможности посылать таких больных, и у них лежало более ста венерических, около 25 глазных больных, остальные были хирургические и терапевтические, больше с энтеритами, дизентерией и брюшным тифом. Как видишь, целая энциклопедия. П.П. решил число венерических (в отдельном корпусе) сильно сократить, а остаток поручить Покровскому. Левитскому хотел передать всё хирурги-

ческое отделение, а мне поручить терапию и заразу. Так были бы и овцы целы, и волки сыты. Я, по крайней мере, был очень доволен. Думал, что здесь можно будет поучиться кой-чему новому. Тем более что госпиталь далеко не носил характер только эвакуационного, больные лежали и больше месяца...

Вчера днём П.П. вернулся из Подволочиска и заявил, что мы должны завтра же с утра принять больных госпиталя и сегодня же немедленно переехать. В нашем только что здесь развёрнутом госпитале разломали печи, вынули котлы, уложили вещи. Мы тоже быстро собрались и поехали (на лошадях по шоссе). Приехали уже в темноте.

Рядом с училищем, в частных домах — квартиры сестёр и врачей. Прошли мы к коллегам уезжающего госпиталя. Квартира у них уютная, светлая, просторная, хорошо меблированная (светлая мебель, светлая же под обои окраска стен), стоят два пианино, зеркала, шкафы, пружинные просторные кровати... Хозяйева при наступлении русских оставили всё на произвол судьбы, и чудом каким-то всё уцелело. В других домах был настоящий погром, пожары, камня на камне не оставили казаки...

Первым нас встретил священник, который должен был остаться, присоединиться к нам. Он оказался очень симпатичным, весёлым, молодым ещё человеком, обещавшим дать нам хорошего нового собеседника и товарища. Первую ночь мы должны были спать с не уехавшими ещё коллегами. Устроились кое-как. Надеялись на следующую ночь устроиться уже совсем по-домашнему. Но не тут-то было.

С утра выезжал 130-й госпиталь. Тоже разломали печи, вытащили всё имущество. Было тепло, солнечно, приветливо. Подвода за подвоей тянулись к станции. А из Волочиска подъезжали наши подвоей. Мы стояли со священником у ворот, беседовали и наблюдали. Разбирали преимущества нашего положения: во-первых, нет казармы, находящейся далеко от станции; во-вторых, в двух шагах от станции, где постоянно проезжают раненые и пленные и где всегда можно быть *en courant*¹ всех новостей; в-третьих, хорошая благоустроенная квартира; в-четвёртых, вполне прилично оборудованный госпиталь; в-пятых, привилегированное положение как единственного госпиталя, к которому с большой симпатией относился начальник эвакуационного пункта, полковник. В-шестых, всё-таки почта из России получается непосредственно и аккуратно; в-седьмых, Шурочка могла бы у меня устроиться без особого разрешения предержавших властей, что необходимо было бы дальше в Галиции; в-восьмых, наше положение здесь было бы уже прочно, мы заехали бы надолго, может быть, до конца кампании.

Дело в том, что главный врач этого госпиталя недавно был во Львове и там сам себе напортил: хвастался благоустройством своего госпиталя и тем, что его могут оттуда выгнать только по высочайшему повелению. Это не понравилось какому-то его недругу-начальнику, и в результате — распоряжение немедленно выехать в Самбор на холеру! Не говори он, его бы и не трогали. А мы на этой афере должны были выиграть.

Полковник, начальник эвакуационного пункта, подружившийся с врачами госпиталя, немедленно стал хлопотать, чтобы их оставили, но получен был категорический ответ: нельзя. Тогда они и мы стали собираться. Их эшелон был назначен к отправке в 2 часа дня. В 1 час мы должны были у них перенять больных. А в 12 часов

¹ *en courant* (франц.) — в курсе.

спешит с вокзала сам полковник с телеграммой в руке и радостно ещё издали кричит: удалось отстоять, вы остаётесь. Новая телеграмма такого сорта: 130-й госпиталь остаётся в Подволочиске, нас же даже не в Самбор, а обратно в Волочиск, а в Самбор отправляется другой здесь расквартированный госпиталь, очередь которого теперь пришла ломать печи! Так-то. Шурочка, *à la guette comme à la guette!*

И вот мы снова собрали все свои пожитки и длинной вереницей подвод и тарантасов снова потянулись к покинутым вчера только очагам после неудачной заграничной экскурсии. Вернулись в Россию-матушку! И вот мы снова топим печи в нашей квартире и вставляем котлы в казармах!

Что ты на всё это скажешь? Расскажи коллегам. Это военно-бытовая картинка: «У разбитого корыта».

Волочиск, 30 октября 1914 г.

Ты хочешь ко мне приехать! Дорогая, сказать ли тебе, как я буду этому рад. <...> Только выйдет ли это? Дадут ли тебе отпуск? А если не дадут? Ссориться с Морозовской больницей ты не должна, ведь мы хотим же вместе с тобой там ещё работать. Ведь у нас ещё многое впереди. <...>

Мне нужно с тобой посоветоваться: у меня сердце совсем расклеилось. Полное расстройство компенсации, как ни совестно в этом сознаться в мои годы. Скрыть от тебя всё равно не скроешь, лучше уж начистоту посоветоваться. Ты только не беспокойся особенно, Шурочка, со временем всё это опять наладится, и я буду очень осторожен. Можно ещё долго прожить. Но не знаю только, как мне быть сейчас. Хочу скрыть от родных. У них и так много горя в последнее время, к чему их волновать ещё своей особой. Только что закончил весёлое письмо к матери. О здоровье ни полслова. А между тем оно неважно, с каждым днём пока ухудшается. Сегодня пришлось написать рапорт о болезни, не могу завтра дежурить на станции. Попробовал вчера пойти на почту. Шёл медленно-медленно, еле добрался домой, а потом лежал долго, и сильно сжимало грудь. Недостаёт для полноты картины только отёков. <...>

Левитский и Покровский с двумя сёстрами вчера утром поехали во Львов погулять, пока нет больных. Мы тут совсем одиноки: П.П., аптекарь, я, старшая сестра [*милосердия*], примкнувшая к нам в Воронеже. Я читаю газеты и письма. Жду их с нетерпением, читаю с жадностью. Вот и всё моё занятие пока.

Госпиталь опять устроился. К субботе, должно быть, будут больные. Пока госпиталь будет принимать, как нам сообщают, главным образом хирургических больных и немного терапевтических. Будет, будет! Всё нам обещают, а мы всё ничего не делаем. Как всё это безалаберно! Эпизод с нашим назначением в Подволочиск мелькнул, как метеор и опять забывается уже. А счастье было так близко, так возможно...

Волочиск, 31 октября 1914 г.

Как хочется слушать музыку! Знаешь, Шурочка, я серьёзно задумываюсь над мыслью приобрести себе после войны пьянолу. Будут ли только средства?

Коллеги из Львова должны вернуться завтра утром, а послезавтра нам хотят уже подвалить раненых. Поскорей бы. Не знаю, удастся ли к тому сроку выйти на работу. Посмотрим.

Вологиск, 2 ноября 1914 г.

Вчера вернулись коллеги из Львова. Стало опять немного веселей, оживлённей. Привезли с собой много коньяку и т.п., задали пир. Я смотрел; конечно, не принимал участия.

Они остались довольны, что поехали, хотя и истратили массу денег. Я остался доволен, что не поехал. Не тянет меня никуда без моей Шурочки. <...>

Мы сегодня, наконец, начинаем функционировать как госпиталь. Только что к нам привезли из уходящего в Самбор госпиталя 30 человек терапевтических больных. Левитский пошёл их принимать и будет сегодня дежурить. Хороший человек Левитский. Мы только что долго сидели и болтали. Я ему рассказывал про Москву и Морозовскую больницу. Конечно, описывал всё в радужных тонах! Как мы дружно живём, работаем и веселимся. Рассказал про своё и твоё первое выступление в Обществе детских врачей. Слушал он и завидовал. Эх, говорит, надо и мне перебраться в Москву! Но как ему перебраться? Не так-то это легко, тем более семейному человеку. А хороший он, славный товарищ. <...>

Если тебе всё-таки удастся приехать, то, пожалуйста, захвати с собой следующие книги: Осоргин: *Очерки Италии*, Белорусов: *Париж* (а если уже вышло, то и его: *Франция*). Дионео: *Меняющаяся Англия* и Изар: *Современная Бельгия*¹. Жаждем духовной пищи не менее телесной! <...>

Ты меня спрашивала, как мне нравятся статьи Иорданского² из Прибалтийского Края. Я вот что скажу: мне кажется, что это человек, раньше никогда не бывавший там и с тамошними условиями совсем не знакомый, но желающий в этих условиях разобраться по мере сил объективно и беспристрастно. Поэтому он а priori относится скептически ко всяким слухам о каких-то вышках, сигнальных огнях и т.п. нелепостям (глупая и гнусная инсинуация, воспользоваться которой не постеснялся даже кн. Мансырев³ в своём докладе в Москве). Он прислушивается ко всему, что ему рассказывают там, на месте, но хорошо умеет отделить явно партийное от беспартийного. Поэтому я думаю, что ему удастся дать более или менее правильную оценку происходящему в Прибалтийском Крае.

Как тебе нравится приказ закрасить в Риге все немецкие вывески даже на исторических зданиях, причём латышские остаются нетронутыми? Где же тут справедливость? К чему эти гонения на самых лояльных русских подданных? Как всё это некрасиво! И как, к сожалению, оправдывает мой прогноз относительно итогов этой войны!! Вместо одного засилья — другое, вместо германского шовинизма — свой, отечественный. Перемены вывески, ярлыка, — и только. Содержание остаётся. Насколько иначе отнеслись англичане к командиру «Эмдена» после его захвата⁴. Здесь и врага уважают, мы же своих топчем в грязь.

¹ Осоргин М.А. *Очерки современной Италии*. М., 1913; Белорусов А. *Париж*. М., 1914; Его же. *Франция*. М., 1915; Дионео. *Меняющаяся Англия*. М., 1914–1915; Изар Ж. *Современная Бельгия*. Пг., 1914.

² Н.М. Иорданский, сотрудник и один из соиздателей газеты «Русские ведомости».

³ С.П. Мансырев — князь, юрист, кадет, член IV Думы от Риги.

⁴ Немецкий крейсер «Эмден» под командованием капитана Карла Мюллера захватывал, взрывал и топил торговые суда и военные корабли противника, но при этом с пленными обращались гуманно и сохраняли им жизнь. 27 октября в бою у Кокосовых островов в

Меня в Р.В. всегда очень интересует рубрика «Письма читателей». Ты обратила внимание на борьбу мнений в публике, pro и contra. Это весьма любопытно и утешительно. Есть, значит, люди, не поддающиеся общему угару.

Вологиск, 4 ноября 1914 г.

В госпитале всё те же 30 больных, во мне не нуждаются. Когда я заикнулся было о работе, П.П. категорически потребовал ещё некоторое время покоя для меня. Должно быть, с неделю ещё посижу дома.

П.П. вообще усиленно старается быть любезным и предупредительным, но семейный простой тон в нашем обществе как-то не налаживается. Обеды всё ещё проходят довольно тускло. <...>

Для удовлетворения любопытства товарищей можешь им сообщить, что я здесь получаю: жалованья — 60 р., столовых — 8 р., добавочных — 22 р. И полевых порционных (со дня выхода в поход, значит, с 8-го октября) по 3 р. 50 к. в день, значит, 105 р. В общем, значит, я здесь получаю 195 рублей! В Воронеже получал около 125 р. Лошадиных нам не выдают, на отопление, освещение, квартирные и «приварочные» нам здесь не полагаются. Всё это мне только что рассказал Левитский. Я сам до сих пор не интересовался подробностями, подписывался под суммами, которые мне выдавались.

Вологиск, 5 ноября 1914 г.

У нас дни проходят томительно-однообразно, и не видать просвета... Удивляюсь, как это я, несмотря на полное безделье днём, всё-таки к вечеру тянусь к постели и сплю, как убитый, положенные часы и даже сверх того: обыкновенно с десяти часов вечера до восьми утра! Утренние дни посвящаются ожиданию почты. <...> «Русское слово» почему-то мы ещё не получали, хотя вчера ещё должны были получить номер от 1 ноября. Больные у нас всё те же, новых нет. <...>

Ты читала, Шуручка, в субботнем номере Р.В. письмо из Крыма Елпатьяевского и статью «Гунн» Жаботинского¹? Стоит почитать. Ликвидируется немецкое землевладение в России!² Чем всё это кончится? К чему все эти гонения?

Индийском океане «Эмден» был подорван австралийским крейсером «Сидней», потерял боеспособность и капитулировал. Капитан сошёл с корабля последним и был встречен с почестями; для сдавшейся в плен команды приготовили обед, раненых поместили в лазарет. В дальнейшем они содержались в лагерях для военнопленных на Мальте.

¹ Жаботинский Владимир Евгеньевич (Вольф Евнович) (1880–1940) — видный деятель сионистского движения, писатель, поэт, публицист, в 1914 г. — разъездной корреспондент газеты «Русские ведомости».

² Указом 22 сентября 1914 г. подданные неприятельских государств были ограничены в приобретении новых прав на недвижимость. В октябре Совет министров приступил к обсуждению вопроса о ликвидации немецкого землевладения. 2 февраля 1915 г. были приняты законы о прекращении землевладения и землепользования подданных государств, воюющих с Россией, а также выходцев из этих государств в приграничных районах. Их земли не отчуждались, а подлежали добровольной продаже в течение длительного срока (СУ. 1915. Отд. 1. Пг., 1915. С. 564–568, 3545–3541). См. также статью В.С. Дякина (Первая мировая война. 1914–1918. М., 1968).

Очень правильно подметил Жаботинский психологию учёного немца, даже на войне, в плену, думающего прежде всего о своей излюбленной специальности. Это жизненный тип немца-филолога.

Интересно и то, что, по-видимому, много интеллигентов в Германии поступило добровольцами в армию. Так меня поразило сообщение, что Рихард Демель, лучший современный лирик Германии, написавший чудесные стихотворения, сидит добровольцем в передовых окопах¹. Да, для них это тоже национальное дело!

Волочиск, 6 ноября 1914 г.

Как прекрасны простые стихи Мистралья², как трогательно наивен восторг военнопленного, какая культурность во взаимных отношениях «врагов»! Да, как-то не верится после этого в дикость «гуннов». <...>

Сколько культурных ценностей убьёт эта война! Когда же люди научатся уважать друг друга, даже временных врагов? Господи, как я надеюсь, что эта война кончится к весне, что всеобщее одичание, наконец, прекратится. <...> Господи, поскорей бы их побить как следует. <...>

Если хочешь мне прислать интересную посылку, то пришли главным образом книги.

Волочиск, 7 ноября 1914 г.

У меня теперь времени много, целый день свободен, бездельничаю. <...>

Читаю газеты. Впечатления всё те же, отрадного мало. Длинные списки убитых и раненых. Длинные рассказы о сожжённых селениях, разгромленных домах, убийствах и насилиях. Устаёт душа от всего этого ужаса. Притупляется чувство, хочется покоя, покоя!

Решили мы сегодня к Рождеству устроить у себя ёлку. Выпишем украшения из Москвы. Деревцо же мы здесь достанем, хоть ёлок тут что-то не видел совсем. Что же? В крайнем случае, возьмём можжевельник — ёжика. Надо же вносить хоть какой-нибудь уют в нашу жизнь. Как хорошо, что мы — товарищи, живём так дружно, сплочённо.

Могу только опять повторить, что хороший человек Левитский! Как наивно-добро светятся иной раз его глаза! Мы раньше часто с ним спорили ожесточённо, даже немного пикировались. Теперь, чтобы ничем не волновать меня, он старательно избегает всяких спорных вопросов, так предупредительно деликатен. Удивляет меня только, что иногда, получив письмо от своей жены, он целые сутки оставляет его нераспечатанным, и только на другое утро, собираясь отвечать, прочитывает. Я так с твоими письмами не поступаю. У меня они не залёживаются.

Сегодня одна из наших сестёр получила письмо с пометкой «просмотрено военной цензурой». А было оно тоже адресовано «до востребования». Может быть, некоторые письма наугад просматриваются, задерживаются и теряются... <...>

¹ Демель, Рихард (1863—1920) — видный немецкий поэт-символист, близок к нищезанцам, с началом войны поступил добровольцем в немецкую армию, был ранен в 1916 г.

² Мистраль, Фредерик (1830—1914) — французский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1904 года.

Сегодня Раф.Мих. именинник и выглядит именинником. Сияет, угощает публику привезённым из Львова. Он такой чудак, особенно когда бывает в весёлом настроении, так бы и обнял весь мир.

Справляет именины и наш денщик Михаил. Мы ему собрали рубль, подарили табак и конфет. Пускай всё-таки почувствует разницу, что не все дни похожи друг на друга.

Получил сегодня длинное письмо от матери. Всё тоскует, не может примириться с потерей [сына]. <...> Сто рублей, которые я послал недавно, мать не желает принимать, хочет их присоединить к прежде присланным 50-ти рублям и сохранить для меня. Не знаю, как её уговорить, у меня ведь и так сейчас достаточно лишних денег. <...>

Читал я сегодня рассказ Бунина «Суходол», где даётся психологически-бытовая картинка вырождающегося деревенского барства. Да и не только барства, но и всего с ним связанного — челяди, дворовых. Есть какая-то особенная мифическая грусть в повествовании Бунина. Как мягко и нежно, и вместе с тем правдиво очерчены его образы. И какая тонкая психология! Как глубоко он проникает в самое нутро славянской души, «l'âme russe». Недаром он взял эпиграфом своей книги: «Веси, грады выхожу, Русь обдумаю, выгляжу». Да, он и выглядел, и обдумал, и описал.

Вологиск, 10 ноября 1914 г.

Прошу прибавить к посылке ещё книгу Лихтенбержа: *Современная Германия*.¹ А затем хотел я тебя ещё попросить купить для моих коллег три алюминиевых складных стаканчика. Помнишь, мы с тобой покупали у Мейера на Кузнецком за 60 коп.? Им очень понравился мой стаканчик, и они спорят из-за него.

Сегодня я первый раз вышел гулять [*после болезни*]. Пошёл к госпиталю, обошлось совсем хорошо. Чудесная погода: солнце, мороз, белый блестящий снег в поле так и скрипит. Хорошо!

Посмотрел я госпиталь. Он сейчас устроен вполне прилично. Сделаны шкафы для инструментов, для перевязочных материалов, для аптеки. Всё выкрашено, чисто, тепло. Поставлены умывальники, часы. В общем, работать можно. Только бы вместо П.П. поставить Зайцева — всё было бы хорошо. А больных новых всё нет. Говорят, около двух недель нам новых не подложат.

Вологиск, 13 ноября 1914 г.

А сердынько моё — *idem*, во всяком случае, не лучше. В комнате я человек почти нормальный, но пройду — я сегодня пошёл в госпиталь — и еле доплещусь домой. Теснит грудь, слабость. <...>

Сегодня утром П.П. предложил поговорить в эвакуационном пункте относительно отпуска для меня. <...>

Других новостей у нас нет. Левитский продолжает упорно изучать французский язык (увы, я нет!). Покровский постоянно в отлучке, на горизонте с сестрой.

¹ Лихтенберже, Андре (1870—1940) — французский писатель, профессор иностранной литературы в Нанси.

Вчера он опять за меня дежурил на станции. Аптекарь продолжает стремиться ко всему спиртному, не всегда бесплодно. Вот и всё.

В госпитале 43 человека. Хирургических нет, все — больные. <...>

Теперь Румыния собирается воевать. Едва ли безучастна в таком случае останется Италия. Приходится желать их выступления, может быть, хоть тогда война скорее приблизится к развязке. Так хочется верить в возможность скорого окончания!

Волочиск, 14 ноября 1914 г.

У нас новости: П.П. сегодня рассказывал, что из четырёх сводных госпиталей, сформировавшихся в Воронеже, два присланы в Волочиск, а один — в Броды. А только что сообщает ординатор соседнего госпиталя, что видел Кутьку на станции! Он только что приехал, живёт ещё в вагоне. Спрашивал про меня, завтра зайдёт. Как тебе это нравится? Три месяца не виделись. Жаль, что он сюда приехал не раньше, всё-таки живая душа из Москвы. Этак, пожалуй, ещё с кем-нибудь из Морозовской больницы встретимся. Ну, завтра мы с ним поговорим. <...>

П.П. вчера официально запрашивал главного врача эвакуационного пункта относительно отпуска для меня. Ответ будет на днях. Он думает, что мне дадут две недели. А я думаю от себя прибавить неделку, как-нибудь это устроив. Что, хорошо? Только жаль, что причина такая печальная... Ну, я твёрдо верю, что когда буду с тобой, мне станет лучше. Ведь нельзя же отрицать психических факторов в лечении. А пока всё — idem. <...>

Газеты продолжаю изучать всё столь же усердно и не скажу, что они мне надоели. <...> Жаботинский из всех корреспондентов мне нравится больше всего. Наибольшая объективность и талантливое изложение; молодое восходящее светило журналистики.

Волочиск, 17 ноября 1914 г.

Получил от тебя письмо и бандероль с книгами. <...>

Общественное собрание, довольно примитивное, у нас, вероятно, откроется через неделю. Взносы сделаны.

Волочиск, 19 ноября 1914 г.

Левитский купил себе за трёшник балалайку и бренчит на ней без усталости, забывая даже французский язык. Какая ни есть музыка, а всё-таки музыка! <...>

Получил также сегодня открытку от Зайцева из Воронежа. Пишет, что у него сейчас там много работы. Говорят, что их переведут на Кавказ. Кажется так, что все более или менее работают, только мы здесь в Волочиске почием на лаврах. <...>

Всё-таки продолжаю верить, что к весне война закончится.

Волочиск, 20 ноября 1914 г.

Мы сегодня смотрели лошадей, приценивались. Завтра опять будем смотреть, должно быть, и купим. Денег куры не клюют, есть, на что пожить в Москве. И на подарки хватит, только бы доехать.

Вологиск, 21 ноября 1914 г.

Мы сегодня купили пару лошадей и санки. Долго торговались: мы давали 150 р. за пару, а продавец требовал 280 р. Сошлись на 220 р., да санки 25 р., да упряжь тоже 25 р., да на чай. Вот и обошлось нам всё удовольствие в 275 р. Разделить на три: пай 92 рубля! Впервые я являюсь владельцем лошади. А кони добрые, как кажется, в особенности, когда мы их подкормим. И, кажется, что мы не слишком переплатили. Я пока доволен. Только как назло и сегодня тает, дороги портятся, а мы рассчитывали только на зимний путь.

Вологиск, 22 ноября 1914 г.

Я не знаю, куда девать деньги. Послать домой я ещё не хочу, пока не выяснится моя поездка, а сейчас меня смущает количество ассигнаций в портфеле. Так и хочется поехать «в город» и растратить поскорее. А жалованье мы получим, когда вернётся из Львова П.П.! Да ещё 100 р. на покупку тёплых вещей. А я сижу и ничего не делаю. Как тебе это понравится? Совестно получать деньги, а ведь не отказываться! <...>

Осоргина прочёл. Начинаю Diöneo: «Меняющаяся Англия». Читаю вообще сейчас очень много, очень подробно газеты. Ведь я хочу разобраться, докопаться до истины.

Вологиск, 24 ноября 1914 г.

Была сегодня комиссия. Или, вернее, я представился комиссии. Расскажу по порядку. Утром, конечно, волновался порядочно. Лошади наши к 12-ти часам оказались не на месте, и пришлось пройти пешком в соседний госпиталь, да ещё там подняться на третий этаж. Пульс, конечно, жарит во всю, чувство стеснения в груди, одышка, всё как следует быть. Комиссия не показная, а сурьёзная. Исследовали меня весьма тщательно, без пристрастия, но доброжелательно. <...> Впечатление такое, что они налегают больше на невроз сердца, быть может, специфического для Basedow'ой характера¹. <...> Я думаю, что они мне непременно дадут отпуск. Вопрос, думаю, теперь только за утверждением.

Вологиск, 25 ноября 1914 г.

Послал я сегодня Покровского к председателю комиссии узнавать результат. <...> Вернулся он и сообщил, что комиссия решила мне прибавить ещё полмесяца к отпуску. Подумали они даже о полном освобождении от военной службы, но ввиду высказанного мною отрицательного отношения не обсуждали. <...>

Чувствую, что Рождество придётся провести в Риге, но ведь ты, Шурочка, поймёшь, что матери я это обязан. Верно ведь?

Вологиск, 1 декабря 1914 г.

Вчера вечером мы узнали, что из Подволочиска пришла бумага с резолюцией по моей просьбе. Послали и узнали, что отпуск не разрешен по тем сообщениям, что имеется приказ по военному ведомству этого года, по которому

¹ Подозревается Базедова болезнь — тиреотоксикоз с увеличением щитовидной железы.

комиссиям предоставлено право увольнять в отпуск только на сроки не менее 6 месяцев. Если же такой продолжительный отпуск не нужен, то необходимо больных отправлять на лечение в госпитали. Приведен номер циркуляра... Я же предназначен к эвакуации в Киев.

В письмах за следующие несколько дней Фр.Оск. подробно описывает свои хлопоты в Волочиске и Подволочиске, отказы и проволочки по делу о его отпуске. Несмотря на обострившийся миокардит с признаками сердечной недостаточности — вследствие перенесённой в 1912 г. дифтерии в Морозовской детской больнице, получить освобождение от военной службы Фр.Оск. не хотел. Возможно, он не был бы так озабочен своим здоровьем, если бы не любимая женщина, ожидавшая его в Москве. С твёрдым намерением добиться отпуска он отправляется в Черкассы на медицинскую комиссию, которая должна окончательно решить вопрос о его отпуске. В Черкассах служит Ал.Аф. Морозов, его коллега по Морозовской больнице, который уверен в положительном решении комиссии.

Киев, 13 декабря 1914 г.

Ну, Шурочка, я уже в Киеве!

Вчера утром, наконец, все формальности были выполнены, и я поехал в путь далёкий. Попал в вагон *mixte*, места много, но всё-таки почти не спал всю ночь — слишком велико возбуждение. С П.П. мы даже не распрощались, — кажется, окончательно поссорились. Чёрт с ним.

Рано утром приехал в Киев. На вокзале как следует помылся, постригся и побрился. Потом пошёл шляться по улицам, на Крещатик, на Владимирскую горку. Снова любовался чудесным видом на Подол, на этот раз зимний... Делал покупки. Выбрал много ёлочных украшений и т.п. для коллег, послал в Волочиск.

Встретил на улице Лейкина, корреспондента «Врачебной газеты», референта заседаний Общества детских врачей, стоящего с госпиталем здесь в Киеве. Зашёл к нему и у него же и пишу тебе. Он мне страшно мешает, всё время без умолку болтает о совсем неинтересных вещах. Через два часа идёт мой поезд в Черкассы. Буду там завтра утром в 7 часов.

Черкассы, 15 декабря 1914 г.

Выехал я из Киева благополучно третьего дня вечером. В 6 часов утра вчера приехал в Черкассы. Снял номер в гостинице и тотчас же лёг спать.

В двенадцатом часу я поехал в госпиталь к Ал.Аф., узнать как, где и что. Поговорил там с его главным врачом, который меня вполне обнадежил. Сказал, что 15-го будет комиссия, и что с таким освидетельствованием, копию которого я ему показал, меня наверняка отпустят в отпуск на один месяц. Можешь представить себе мою радость, что вот, наконец, все препятствия удалены, что завтра же я буду находиться в пути к тебе, в Москву.

Пообедал я у них, посидел с Ал.Аф. В пятом часу приехал в эвакуационный пункт, чтобы официально донести о своём прибытии и желании подвергнуться освидетельствованию в комиссии.

И тут-то меня как бы обухом по голове ударили... Первое слово, сказанное начальником эв.п., было: «Для врачей никаких отпусков теперь не полагается!» Оказывается, что вчера, в тот самый день, когда я приехал, получено строей-

шее разъяснение, что для врачей в военное время никаких отпусков быть не может. Если же они больны, то должны лечиться в госпиталях, если же комиссия их признает неизлечимыми, то в таком случае они подлежат эвакуации.

Поговорил я с врачами эв.пункта. Между ними оказался один мой товарищ по гимназии. Они мне объяснили, что из Черкасс они имеют право эвакуировать только в Харьков. Черкассы считаются тыловым пунктом. Здесь последняя преграда по пути внутрь империи. Внутри же империи офицерским чинам предоставляется право выбора места лечения. Харьков является таким распределительным центром. Там будто бы без комиссии, по желанию и выбору офицера назначается конечный этап эвакуации.

Сейчас же я обязан непременно лечь в госпиталь и дожидаться офицерской комиссии, которая будет в четверг, 18-го числа. Получил я билет с назначенным мне номером госпиталя. Но предварительно опять заехал к главному врачу госпиталя Ал.Аф. Для него тоже совершенно неожиданным был новый приказ. Согласился, что это коренным образом меняет всё дело, что придётся ему переговорить с двумя чинами комиссии, выяснить их отношение к новым обстоятельствам. Во всяком случае, он готов оказать всё возможное содействие.

В таком минорном настроении я взял в гостинице свои вещи и явился в госпиталь, мне предназначенный. Прежде всего, надо отметить, что коллеги здесь все прекрасные люди, не исключая и милейшего главного врача. В их желании мне посодействовать я не сомневаюсь. <...>

В госпитале Алексея Афанасьевича все четыре врача и аптекарь живут со своими жёнами. Везёт!

1915 год

Всё-таки Фр.Оск. в конце концов получил отпуск по болезни. 22 декабря он прибыл в Москву. Рождество он встречал вместе с родными в Риге, затем вновь вернулся в Москву. По-видимому, лечение затянулось. Весной 1915 г. Фр. Оск. получил новое назначение — в 495-ю пешую Рязанскую дружину государственного ополчения. По пути к своему новому месту службы Фр.Оск. заехал в Винницу, где был развернут 253-й запасный госпиталь, в котором он совсем недавно служил в Воронеже и Волочиске, после чего направился в Житомир.

Житомир, 6 апреля 1915 г.

От Винницы до Бердичева ехал только 1³/₄ часа с остановкой в Казатине. От Бердичева пришлось уже трястись на узкоколейке, причудливыми зигзагами огибая каждый бугорок и каждую рощицу.

Да, Шурочка, много нового для себя я вижу в провинции. Много любопытного для постоянного столичного жителя. Но всё-таки первое, что опять при приближении к центральной России бросается в глаза, — это удивительное убожество внешней обстановки... Как всё серо, убого и некрасиво! И всюду грязь, грязь да грязь. Прямо удивляешься, неужели люди не догадываются, что для чистоты не нужно богатства, что и с очень небольшими средствами можно устроить себе более приглядную и красивую обстановку! Неужели совершенно отсутствует потребность в этом?

Осматривал я с открытой площадки вагона пейзажи — поля, речки, лесочки. Так симпатично и красиво. А в вагоне вонь, грязь и пыль, на вокзалах сор, грязь и пыль и т. д. до бесконечности. Или вот хотя бы «Отель Метрополь», в котором я остановился, так как в лучших гостиницах «Франции» и «Риме» не оказалось свободных номеров. Ведь это же гадость! Вонь, кислая и прогорклая, — всюду. Облезлые грязные обои неопределённого цвета, подбор разношерстной «мебели», загаженная ширма около кровати, «художественные» картины в золотых рамках, а «удобства» — это воплощённая омерзительнейшая гадость! Ни крупицы какого-нибудь, хотя бы мещанского, вкуса. А главное, не видно, чтобы со стороны публики предъявлялись какие-нибудь требования в этом смысле!

Ну, довольно об этом. Тебе это не ново и может надоест.

Завтра утром пойду в канцелярию дружины, представлюсь командиру её и узнаю, что и как.

Митопир, 7 апреля 1915 г.

Шурочка, как мне обидно! Дал я маху на этот раз! <...> Ведь ты только подумай. Оказывается, что старший врач дружины, на место которого я назначен, получил «командировку» в Одессу к своей жене. Срок её ещё не истёк, и все были бы вполне довольны, если бы я приехал с некоторым опозданием. Дали ему телеграмму и ждут его приезда каждый момент...

Но лучше расскажу по порядку: зашёл я в канцелярию дружины в 12-м часу, командира ещё не было. Встретил меня его адъютант, прапорщик с университетским значком, ещё молодой, любопытный и приветливый. Мы с ним поговорили. И у меня получилось впечатление, что я попал в какую-то тихую обитель, где все далеки от мысли о войне, о шумной сутолоке и злобе дня, — дружинники!¹ Тут царит благодущие. Глубоко штатские люди надели военные мундиры и устраивают военные дела на штатский манер... Тихо и смиренно!

Представили меня моему непосредственному начальству — бригадному врачу². Ничего страшного: приветливый старик усадил меня на стул, который сам же и притащил, и стал расспрашивать, кто я и откуда. Сразу же тон взяли семейный. Подписывались под разными бумагами милые и толстые, добродушные и немолодые подпоручики и подпрапорщики. В промежутках читали «Русские ведомости», благодушно беседовали. Мне они все говорили, что «у нас хорошо, тихо и спокойно».

Живут они семьями, но есть и холостые. Мне сразу поставили вопрос, женат ли я. Сообразив, что среди них, вероятно, есть москвичи (Р.В.), я ответил, что неженат. Присмотревшись, всегда можно исправить это утверждение.

Наконец, пришёл и полковник, которому меня представил адъютант. Разговора у меня с ним ещё не было. Здесь ещё заставили меня представиться командиру бригады, старичку-генералу. В конце концов, в канцелярию пришёл мой младший врач, в декабре выпущенный из Киевского университета.

Митопир, 10 апреля 1915 г.

Ты ещё не знаешь, как я провёл эти последние дни. О первом впечатлении я тебе уже писал: я попал в такое болото, где нет сильных страстей, где всё чинно-благородно. Это впечатление остаётся у меня и сейчас. Мой предшественник не приехал до сих пор. До сегодняшнего дня я его ждал, не хотел идти в околоток и принимать дела под эгидой зауряд-врача, который и так уж слишком высокого мнения о себе. Но дольше ждать было неловко, и сегодня я впервые пошёл на место новой службы. Но предварительно расскажу о том, что было раньше.

Третьего дня утром я был опять в канцелярии, говорил с полковником. Он был очень предупредителен и любезен и просил меня всецело рассчитывать на него. Он со своей стороны всегда готов пойти мне навстречу во всех наших нуждах. У меня получилось впечатление, что он это обещает не только на словах. Я думаю, что мы с ним ссориться не будем. Вечером того же дня я зашёл к бри-

¹ Дружины государственного ополчения предназначались преимущественно для несения охранной службы в тылу фронта, но в случае необходимости принимали участие в боевых действиях; по численности были равны полку.

² Хрущёв, бригадный врач

гадному врачу, о котором я тебе уже писал. У него же застал ещё старшего врача соседней Орловской дружины, из ополчения, бывшего земского врача.

Разговорились. Люди они хорошие. Особенно мне понравился коллега из дружины Мокрушин. Достали мадерочки, достали графинчик с настоечкой и премило закусили и выпили.

Старик, бригадный врач Хрущёв дал мне ряд полезных советов, покровительствовал, но всегда прибавлял: это Вы сделаете, как Вы сами захотите, мы в это вмешиваться не станем. У нас старшие врачи совершенно самостоятельны. Советовал мне также немного прибраться к рукам зауряд-врача, который себе позволяет очень много вольностей. И правда, я удивляюсь, как всё это в дружине ему сходит. Нет, положительно, я в какие-то Палестины попал! <...>

Показал мне Хрущёв комнату моего предшественника Петропавловского (надворный советник!), который живёт в той же квартире, что и он. Она большая, но довольно скудно меблированная (нет шкафа) и темноватая. К тому же она дорога (20 р.) и находится на первом этаже (нельзя оставить открытыми окна). За обед хозяйка берёт тоже 20 р. Я думаю, что устроюсь в другом месте, но до сих пор квартиры не искал, — лень. Сижусь ещё в паршивом «Метрополе».

Вчера утром зашёл в канцелярию и взял полевых порционных 105 рублей. Из этих денег я уже отослал сегодня 50 рублей: часть в Винницу (я товарищам задолжал перед Киевом 100 р.), часть старушке Мазур.

Вечером уже получил два раза через вестового официальные бумаги. Я преспокойно спал!..

Тогда я решил сегодня утром взяться, наконец, за свои обязанности и пошёл в околоток. Мой младший товарищ, Борис Владимирович (Барух Вольфович) Равинский уже принимал амбулаторных больных. Он мне показал старшего фельдшера, с которым я затем и обошёл все помещения.

Можешь ли ты себе представить своего Ёжку в роли старшего врача? Мне кажется, что мне удалось выдержать тон ласковой строгости. Побывал я везде. Залез и на чердак, заглядывал во все шкафы, во все ящики. Осмотрел решительно всё. Затем взялся за книги по хозяйственной и статистической, и аптечно-медицинской части. Всё расспрашивал до мельчайших подробностей.

В итоге заставил мне к завтрашнему числу отворить все окна, перемыть их, убрать от мусора чердак и кладовые, вымыть полы, поставить два шкафа и уложить в них все книги, которые сейчас валяются по подоконникам. Привести все книги в порядок (собрать листы), приготовить всё аптечное, медицинское и инвентарное имущество!..

Завтра я проверю по спискам весь инвентарь. Возьмусь затем за аптеку и за отчётность... Заявил, кстати, старшему фельдшеру, что я буду заходить в околоток во всякое время, и что если я застаю в нём женщин (говорят, что это здесь бывало), то смещу его без всяких разговоров. Нагнал страху!

Говорил твёрдо и определённо. Думаю, что без неприятностей, конечно, едва ли обойдётся, но что порядок у меня будет. За товарища примусь попозже, когда урегулирую самое главное. <...>

Здесь я в самом деле маленький, но самостоятельный командир, начальник части. И кому это нужно было меня сюда назначить?! Впрочем, ведь я ещё не утверждён...

Как мне сейчас хотелось бы всё это бросить и гулять с тобой где-нибудь на берегу моря... Такая чудесная погода!

Митомир, 11 апреля 1915 г.

Сегодня я устал, и устал не оттого, что ничего не делал или разъезжал по железной дороге. Нет, сегодня я устал от работы! Можешь ли ты себе это представить, — от работы! Как давно я не работал! Ведь почти всё время войны я лодырничал...

Да и сегодня работа была не ахти какая, и всё-таки я как будто уже немного удовлетворён. Вчера вечером приехал, наконец, Петропавловский, мой предшественник. Встретились мы с ним у адъютанта, где собралась компания. Петропавловский на экране показывал ряд очень интересных диапозитивов с войны. Оказывается, что он с начала войны находился врачом в артиллерийской бригаде, всё время находился (похоже, часто бывал под огнём; затем он заболел и был назначен в резерв, отсюда — сюда).

Адъютант живёт в симпатичной обстановке: много цветов в горшках и срезаемых, в центре стола стоял большой букет красных гвоздик!..

Показывали они портреты своих малышей. На днях едут в Пермь на три недели. Сам полковник предложил ему поехать...

В десятом часу зашёл в околоток, оказалось всё чистым, вымытым и убраным. Всё сделано так, как я накануне распорядился. Пришёл Петропавловский, который мне и сдал всё имущество. То есть мы расписались в сдаче и получении по книгам и написали рапорта. Затем мы с ним обошли помещения, а потом вышли и долго гуляли по улицам: он мне объяснил все особенности старшего врача и дал ряд ценных указаний. Хотя он и в том же чине, что и П.П., но человеком оказался совсем другим. Я ему от души благодарен.

В 1 час дня я пошёл в губернское присутствие, где по приказанию начальника гарнизона (нашего бригадного генерала) должен был присутствовать в комиссии по переосвидетельствованию новобранцев. Вот видишь, какие у меня теперь обязанности!

Заседал я там всё с генералами и превосходительствами, вице-губернатором, предводителем дворянства и т. д. Даже другой коллега оказался старым превосходительством. Первые минуты я чувствовал себя немного неловко, но быстро вошёл в колею, даже два раза имел смелость не соглашаться с уважаемым коллегой, причём первый раз присутствие решило в моём смысле, а второй раз согласилось с его превосходительством.

Сидели мы шесть часов подряд, до семи вечера. Только когда разошлись, пошёл обедать. Ну и натурально устал от непривычки. Буду спать сегодня хорошо, с чувством выполненного долга. Впрочем, и так сплю недурно.

Митомир, 12 апреля 1915 г.

Пишу тебе с новой квартиры, где только что устроился. Наконец-то собрался с духом и пошёл искать комнату. Но не хотелось снимать у хозяек, хотелось большей непринуждённости. У бригадного врача решил не снимать. Петропавловский отсоветовал. Говорит, что темно и неудобно. Меня же больше всего смущает первый этаж.

Стал искать по гостиницам. Они здесь почти все скверны, грязны и недёшевы. Оказалась одна только что отремонтированная, не еврейская, чистая и светлая. И вот я снял комнату на третьем этаже (этажи низки) с балкончиком. Обои новые светлые, мебель, хотя и старая, но чистая, вновь обитая. Тюлевые (кажется, так называется) занавески. Кровать пружинная. А главное, пол и двери с окнами только что выкрашены масляной краской. Значит, чисто. Вот я здесь и устроился по-домашнему. Развесил свои карты, набил комод. Получилось приветливо и уютно. А ты ведь знаешь, как необходимо это мне (да и не только мне!) для душевного спокойствия и равновесия. <...>

Сегодня проверял имущество, осматривал всё. Как всё примитивно! Но лекарств достаточно. Даже больше, чем в нашем госпитале. Ведь тут никто не вычёркивал из списков то, что можно получить бесплатно... Ввожу кой-какие нововведения и изменения — новая метла!..

Вот меня перебили — пришёл вестовой с предписанием от командира явиться завтра к 10 часам в губернское присутствие... Опять комиссия! Но, впрочем, это ненадолго. Ведь сейчас как раз мобилизация ратников¹. <...>

Пиши мне теперь не «до востребования», а так: Житомир, Михайловская улица, д. 9, гостиница «Орион». Ведь я теперь в культурной местности живу. <...> Будь добра, выпиши мне сюда Р.В. за весь апрель и май.

Житомир, 13 апреля 1915 г.

Сегодня с 10 утра и до 5 вечера сидели в губернском присутствии. Был перерыв в полчаса, во время которого был подан кофе и вкусные бутерброды. Был подан и какой-то ликёр, от которого я, впрочем, отказался.

Вот так решаются судьбы людей! Я несколько раз невольно подумал, что, если бы посадить тебя на моё место, как бы ты мучилась и терзалась, не зная, не решаясь высказаться определённо... Ведь с какой мольбой иной раз смотрят на тебя, как трудно бывает иной раз высказаться, да ещё при такой спешке. Мы сегодня пропустили 180 человек. Завтра опять будет заседать комиссия. Не знаю, назначат ли меня завтра, сильно надеюсь, что нет.

Житомир, 14 апреля 1915 г.

Нет, некоторое время пожить в провинции не мешает столичному жителю, это любопытно и поучительно. Жаль только, что попал я в еврейское гнездо. Собственно говоря, это даже не Житомир, а Жидомир. В закоулках и переулках всюду быстро трещат на жаргоне, а в кофейнях и ресторанах интеллигенция говорит по-польски. Через комиссию больше половины проходят евреи, а остальное делится главным образом на немцев-колонистов и малороссов. Этих немцев сплошь да рядом никак не отличишь от русских: и общий *habitus*², и типичная хохлацкая речь, и даже иной раз фамилия. Встречались мне немцы Ивановы и Поповы.

Насколько провинция отстала от текущих событий видно по тому, что до сих пор в полной неприкосновенности все муниципальные вывески: «С.-Петер-

¹ Ратники — ополченцы, солдаты запаса.

² *Habitus* (лат.) — телосложение, свойство.

бургская улица», а на главной, на Киевской, имеется вывеска книжного магазина, на одной половине которой крупным шрифтом написано: «Buch = Kunst u. Musikalienhandlung»! <...>

Митомир, 15 апреля 1915 г.

Вчера я был опять в канцелярии и говорил с полковником. Он мне очень понравился. Обещал во всём меня поддерживать и мне содействовать, чтобы санитарное состояние дружины стояло на высоте. Он лично обходит места расположения рот и строго следит за чистотой в помещениях и на дворах. В чисто медицинскую часть он никогда не будет вмешиваться. Если провизия забракована врачом, то она забракована окончательно, и на этот счёт у него уже имеются распоряжения. Медицинский осмотр нижних чинов и т. д. вполне зависит от осмотра врача, и решение его свято. Любимое выражение полковника: вы в этом деле более компетентны, вам и карты в руки!

Сегодня мы начинаем прививать оспу вновь поступившим. На днях устроил общий телесный осмотр. Как видишь, у меня теперь нашлась работа. Завтра, вероятно, опять буду заседать в комиссии...

Митомир, 16 апреля 1915 г.

Опять я тебя должен огорчить, а так не хочется! После комиссии, которая длилась сегодня с 10 утра до 5 вечера, я зашёл домой и застал на столе визитную карточку одного врача, на которой рукой моего младшего товарища было приписано: испр[авляющий] об[язанности] старш[его] врача 495 пеш[ей] Рязан[ской] дружины. На обороте сообщение, что они вечером ещё раз зайдут. Я сразу понял, что мне опять предстоит перемена климата.

Так и есть. Только что они ушли, и вот что оказалось: призванный из ратников пожилой земский врач-хирург только что впервые прибыл в Киев. Там он ждал около недели, а затем получил назначение старшим врачом в нашу дружину. Тотчас же сел на поезд и сегодня уже здесь.

Относительно меня он ничего не знает. Он думал, что едет на вполне вакантное место... Здесь ещё никаких бумаг не получено. Приехал он как снег на голову!

Вероятно, я не утверждён, и мне снова придётся ехать в Киевский резерв до нового назначения. Сказка про белого бычка!.. Почему я не утверждён? Может быть, они считают, что врач запаса не должен служить в дружине? Всё сие покрыто мраком неизвестности. Нам остаётся только покориться своей участи, мы люди маленькие...

Только ты, Шурочка, пожалуйста, не думай, что я удручён или что-нибудь такое. Нисколько! Меня это неутверждение даже не удивило. Я с самого начала здесь говорил, что, вероятно, останусь ненадолго. Но всё-таки рассчитывал с месяц посидеть, а вышло только 10 дней. <...>

Я думаю, что завтра моё положение выяснится окончательно и что послезавтра мне уже можно будет выехать в Киев. Там я поговорю с младшим делопроизводителем и сильно надеюсь ещё в этот же день выехать в Москву!.. Может быть, когда ты получишь это письмо, я буду уже у тебя. Может быть, твои именины мы справим вместе!..

Фр.Оск. рвётся к своей невесте и при первой возможности едет повидаться с ней. Воспользовавшись тыловой неразберихой, 19–20 апреля он вновь побывал в Москве.

Сухиничи¹, 21 апреля 1915 г.

Только что проснулся, Шурочка моя милая, уже 12-й час дня! Спал прекрасно. Что тебе писать? Что ты у меня хорошая, хорошая, что я тебя люблю. Да всё это тебе известно. Что холодно, и даже падают отдельные хлопья снега... <...> И что в Москве, вероятно, то же самое. Так напишу только, что я взялся за перо только для того, чтобы первое обращение было к тебе, и ты бы видела, что первые мои мысли — о тебе!

Киев, 22 апреля 1915 г.

Приехали мы с небольшим опозданием, в половине восьмого утра. Как только я побрился и вымылся, я отправился к Лейкину. Переговорить с ним пришлось только через дверь, так как у него оказалась жена, и они ещё не встали. Рассказал он, что уже два дня <...> приходил вестовой из управления с приглашением мне пожаловать туда. Лейкин говорил вестовому, что я уже давно уехал в Винницу... Вот какой недогадливый!

От Лейкина я пошёл на почту, но писем мне ниоткуда не было. <...> Тогда я пошёл в управление, где из начальства ещё никого не было. Дежурный писарь подтвердил, что меня уже искали два дня и показал мне моё новое предписание: командируюсь впредь до утверждения для исправления должности старшего врача в парковый дивизион вновь формируемого в Киеве 33-го армейского корпуса.

Через некоторое время появился Стабников (младший делопроизводитель) который мне и сообщил, что Паньковский (старший) вчера приказал составить рапорт о том, что меня не могут найти по указанному мною адресу. Рапорт, однако, ещё не написан.

Я ждал беды, когда появился Паньковский. Однако он довольно приветливо и даже дружелюбно встретил меня и только спросил мельком, не дожидаясь моего ответа: вы куда ездили? Затем он выразил уверенность, что в новой должности я буду непременно утверждён, и поздравил меня с хорошим назначением. Так мы с ним и расстались.

Потом я пошёл рядом в штаб узнать месторасположение моей части, но там они ничего не могли сказать и посоветовали зайти в соседнее артиллерийское управление. Там мне сообщили, что моя новая часть ещё не начата формированием, что это начнётся, вероятно, через 3–4 дня. Тут я поглядел на часы и сообразил, нельзя ли тотчас же сесть на скорый поезд и всё-таки поспеть к твоим именинам!.. Поговорил с дежурным адъютантом, но тот мне сообщил, что меня сегодня же в приказе командируют на время в какой-то 4-й запасный артиллерийский дивизион, за которым я и буду числиться до поры до времени. А явиться туда мне надо ещё завтра. Так вспыхнувшая было надежда тотчас же и погасла. <...>

Долго я бродил по аллеям и дорожкам парка. Людей почти никого, только отдельные парочки военных с дамами встречались изредка. Сильный ветер гудел и шумел, было холодно. А деревья всё-таки уже совсем зелёные!

¹ Сухиничи — город в Калужской губернии.

Затем я пообедал и взял себе комнату на Жилянской улице, меблированный дом Франсуа. Дом этот новый и чистый, устроен на заграничный манер. Комната просторная, с широчайшей кроватью, обширным зеркальным шкафом и умывальником с тазом. Всё чисто и достаточно изящно. Этаж пятый (подъёмная машина). Цена 1.50 в сутки или 30 р. помесечно. <...>

Ты, конечно, не знаешь, что такое парковый дивизион. Мне объяснил адъютант в артиллерийском управлении. Это соединение двух парков артиллерийских, то есть тех частей, которым приходится доставлять снаряды к местам расположения батарей. В парке около 300 человек. Значит, в дивизионе их будет 600, не больше. А в дружине было 3000! Сами парки в бою не участвуют. Они позади боевой линии. Так мне объяснил адъютант. Он считает, что должность очень хорошая. Я тоже очень доволен. Во-первых, это не Кавказ, во-вторых, это, хотя в будущем и действующая армия, но всё-таки не передовой перевязочный пункт — под обстрелом не будешь. И, в-третьих, это должность старшего врача. Разница оклада приблизительно на 100 р. в месяц! Приходится невольно и об этом подумать. Ведь у меня сейчас опять только 35 р. в кармане.

Киев, 23 апреля 1915 г.

Сегодня весь Киев украсился флагами, и солнце светит всюю! Хороший и тёплый весенний день, масса праздничной публики на улицах. У всех такой вид, словно они сами именинники. <...> Что бы тебе пожелать самого лучшего, моя милая именинница? <...> Получила ли ты мои цветы, заказанные ещё из Житомира? Я просил прислать тебе розы, лилии и тюльпаны. Гвоздики сейчас достать нельзя. Я искал в Москве, да не нашёл. <...>

Был я сегодня утром в запасном дивизионе, к которому я на время причислен. Оказывается, что при нём и будет формироваться новая часть. Я первый из приехавших офицеров. Сегодня вечером ждут новую партию. Нижние чины все уже отобраны. Недостаёт командного состава и всей материальной части. Предполагают, что формирование затянется на 2—3 недели, и мы будем готовы только к концу мая. Вероятно, формирование начнётся послезавтра. Во всяком случае, как говорит адъютант, мне далеко удаляться нельзя, чтобы, в крайнем случае, можно было вызвать телеграммой. Поэтому я думаю сегодня ночью поехать опять в Винницу, побыть там завтра и послезавтра и вернуться сюда 26-го рано утром, если только телеграммой меня не вызовут раньше. Пока далеко не уедешь. <...>

Мне придётся быть здесь, потому что я пока буду один. Мне надо будет выписывать и получать все медикаменты, перевязочные материалы и т. д., отбирать и распределять фельдшеров и санитаров, вести денежную отчётность, подписывать бумаги и т. д. и т. д. Если возни будет много, то сейчас же буду просить о присылке мне младшего врача (из зауряд-врачей второй очереди!), — всё-таки легче.

Куда нас двинут? Конечно, неизвестно, но существует возможность отправки нас в южные губернии, где, кажется, формируется армия. Может быть, мы предназначены брать Царьград?!.. Кто знает, кто знает? Всё возможно. <...>

Вообще, с наступлением летного сезона опять всюду сильнее чувствуется война. Тяжелее она ложится на плечи всем... Всё-таки, Шурочка, я всё больше

убеждаюсь, что очень долго она длиться уже не может. Торговаться мы будем долго и упорно, но фактически все стороны выдохнутся много раньше. <...>

Кончил читать сегодня проф. **Крэмб**: «Германия и Англия»¹. Лекции эти немало витиеваты, автор увлекается, но всё-таки <...> книга во многих отношениях интересна и характерна.

Винница, 24 апреля 1915 г.

Пишу при свете парафиновой свечки. Дело в том, что к Раф.Мих. с 19-го числа, наконец, приехала семья: жена, дети, отец и даже тёща. Он их поместил недалеко отсюда в маленьком домике и перевёз туда почти всю обстановку, которая здесь имелаась. Я сегодня почти весь день провёл там, о впечатлениях расскажу завтра, ибо уже поздно, и я устал. После того мы в компании поехали кататься на лодке по Бугу. Было очень хорошо, тепло и звёздно. Вовсю трещали соловьи, пахло черёмухой... Наивно заметила Мария Николаевна: «Хорошо бы сюда ещё Вашу жену!» И я с ней вполне был согласен.

Киев, 26 апреля 1915 г.

Вот я опять вернулся в Киев. Какой я, правда, стал путешественник! Какая подвижность! Я уже смеюсь, что для меня теперь одинаково легко, что переулком найти — что в Москву съездить... <...>

Расскажу о своих впечатлениях. Приехал я в Винницу третьего дня рано, но уже никого не застал, все были на работе. Я немного привёл себя в порядок и пошёл в госпиталь.

Конечно, всеобщее изумление. Выразили все на своих лицах удовольствие... Работы у них сейчас много, около 500 человек больных! И справляются они втроём довольно быстро, к часу работа заканчивается. Своим главным врачом они остались очень довольны. Он оказался именно таким, каким я себе его представлял: очень спокоен и уравновешен (после Петра Петровича-то!), лишних слов не говорит, не в своё дело не вмешивается, весьма деликатен и предупредителен (предлагал заменить дежурного, если тому хочется уходить!). Требуется, чтобы работа была сделана, но кем, в каком порядке и с соблюдением каких формальностей — это ему совершенно безразлично. Одним словом, он оказался прямо-таки идеальным главным врачом. Вдобавок к нему приехала его жена, и они с ней даже не показываются. Столуются отдельно, занимают отдельную квартирку в две комнаты.

Я очень рад за товарищей и от души их поздравил.

Когда Рафаил кончил, я с ним пошёл на его квартиру, где он устроился со своей семьёй. Там я и оставался до семи часов вечера. Присмотрелся я немного к его семейной жизни, сравнивал, мысленно критиковал. И что ты думаешь, Шуручка? Пришёл к очень утешительным для нас с тобой результатам: далеко им до нас! <...>

Спал чутко, боясь проспать. В 3 часа ночи вскочил, быстро собрал свои пожитки и помчался на вокзал. Как нарочно, поезд опоздал на 1 час, и я выехал из

¹ Книга шотландского историка, профессора Лондонского королевского колледжа Джона Крэмба «Германия и Англия» (М., 1915).

Винницы только в 5 утра. Полдесятого был в Киеве. Снова объявился в мебелированном доме Франсуа, только в другом номере (прежний занят).

Узнал, что в эти дни вестовой за мной не заходил. Посему и так как я сильно устал, то решил пойти в казармы только завтра, а сегодня отдохнуть. Днём читал Мечникова, которого закончил.

Киев, 27 апреля 1915 г.

Тем временем, у меня опять перемена, как я тебе уже сегодня телеграфировал. Я к этим превратностям судьбы начинаю относиться вполне хладнокровно — пусть их! <...>

Дело в том, что в канцелярии, куда я сегодня пошёл, мне адъютант объявил, что формирование корпуса, а вместе с ним и паркового дивизиона, отменено, назначения все аннулированы...

Тогда я поехал в окружное военно-санитарное управление. Там мне Паньковский объявил то же самое. «Ну, уж и везёт Вам, как утопленнику! Поздравляю Вас!» — сказал он мне и предложил снова написать рапорт о прибытии. Я пошёл и написал рапорт. Просил Паньковского назначить меня на постоянное место, на что он только плечами пожал: не от меня зависит. Теперь снова буду ждать назначения...

В Москву же я не поеду по нескольким причинам: 1) сегодня было уже поздно, и я потерял целый день, 2) второй раз, если я опоздаю, мне едва ли сойдёт, пока ещё свежо в памяти моё первое отсутствие, и 3) нет денег. У меня сейчас только 10 р. в кармане, даже на билет не хватит. А из Житомира почему-то до сих пор не шлют моего аттестата, без которого я даже 1 мая не могу получить денег. Я сегодня уже написал по этому поводу в Житомир. Я, конечно, мог бы сегодня вечером поехать в Винницу, но мне не хочется. Хочу отдохнуть и сидеть несколько дней (если только дадут) спокойно дома. Буду читать, писать письма. <...>

Как хороши были эти полтора дня в Москве. Чем это не Нагу?.. Написал письмо матери. Они в Риге тоже провели несколько тревожных дней. Решили «во всяком случае» остаться в Риге¹.

Киев, 1 мая 1915 г.

Очень огорчился твоим сообщением, что заказанные цветы так и не попали к тебе. Какое свинство!

У меня имеется почтовая расписка в том, что я из Житомира ещё 10-го апреля отправил деньги (10 р.) в Москву, в магазин Филиппова (бывш. Рабле) на Мясницкой. В переводе же подробно указывал, на что их истратить и когда. 20-го днём я зашёл в магазин и лично говорил со старшим приказчиком, выбирал с ним цветы и заставил его даже записать для памяти мои поручения. «Будьте покойны-с! Плохого не дадим», — такие фразы были его постоянным ответом. Получены ли мои деньги, он сказать не мог, так как кассирша ушла обедать. <...> Был, впрочем, убеждён, что деньги получены, почему же нет? Был Рабле, австриец, и заказы исполнялись добросовестно. Появился Филиппов — и получилось свинство!

¹ Обстановка на Северо-Западном фронте заставляла опасаться захвата Риги немцами. Тогда, между прочим, и были образованы добровольческие отряды латышских стрелков.

Я до поры до времени остаюсь в Киеве. Пошёл я вчера утром в управление. Оказалось, что ещё третьего дня я получил новое назначение, которого, однако, мне ещё не передавали: Вы назначаетесь и т. д. старшим врачом формируемого летучего санитарно-дезинфекционного отряда и т. д. Оказалось, что отряд этот уже две недели формируется одним врачом-евреем (вероятно, потому он и отчислен)¹. Формируется он в Киеве, вероятно, для обслуживания санитарных поездов. Подробностей я ещё не знаю. Сегодня в управлении встречусь с предшественником и приму от него все дела. Имеется ещё младший зауряд-врач, кажется, тоже еврей. Команда состоит из 11 человек, но их ещё нет, они «ошибочно» отправлены в другой город. Отряд находится в непосредственном ведении «санитарного управления». Я думаю, что, вероятно, мы ещё недели 2—3 будем формировать, а затем меня опять почему-нибудь отчислят. Не верю я теперь в постоянство назначений. Правда, в управлении мне говорят, что это место постоянное... Кто знает? Я думаю, что скептицизм всё-таки вполне уместен.

Во всяком случае, мы с тобой встретимся ещё в Киеве! А это для меня сейчас самое главное.

Познакомился я в управлении с ординатором Старо-Екатерининской больницы² Выгодчиковым³. Знаешь ли ты его? Он днём после обеда заехал ко мне, и мы гуляли с ним на Аскольдовой могиле. Было чудесно, роскошная погода. Потом пошли в Купеческое собрание на открытие летних симфонических концертов.

Киев, 2 мая 1915 г.

Выяснились некоторые подробности, и я тебя опять должен огорчить. Оказывается, что наш летучий отряд предназначен не для Киева, а для обслуживания тыла армии. Куда он будет направлен, ещё совсем неизвестно, но, во всяком случае, не на Кавказ, в этом отношении ты можешь быть совершенно спокойна.

Теперь другой вопрос: когда он будет отправлен? Мой младший товарищ, Исаак Абрамович Катович(!), говорил мне, что через полторы-две недели, а мой предшественник, Лазаркевич, говорил, что отправят нас не раньше, чем через месяц, быть может, даже позже. Будто бы так говорили ему в канцелярии управления. Я по прежнему опыту тоже уверен, что улита едет, когда ещё будет!.. Май наш, Шуручка, это несомненно!

Формируется всего пять таких отрядов, я вчера познакомился с другими старшими врачами. Я оказался, конечно, среди них самым несолидным на вид. Есть среди них один в чине полковника (коллежский советник), другой — подполковника (надворный советник, как и П.П.), и вдруг я! Ну мы за себя постоим, лицом в грязь не ударим.

¹ Доля евреев среди военных медиков ограничивалась 5%.

² Ныне Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского

³ Выгодчиков Григорий Васильевич (1899—1982), впоследствии выдающийся микробиолог, академик АМН СССР.

Оказывается, что этот отряд совсем самостоятельная часть, будет подчинён только непосредственно начальнику санитарной части. Придётся брать на себя обязанности Петра Петровича! И вот что скверно — не будет смотрителя, а посему всю хозяйственную и канцелярскую часть придётся вести мне лично. И, конечно, нести за неё ответственность. Я думаю, что многое узнаю от коллег, но всё-таки хотелось бы по душам поговорить на эту тему с опытным Раф.Мих. и нашим смотрителем.

В 10 часов утра у нас сегодня совещание. Посмотрю, если окажется возможным, то поеду на сутки в Винницу, узнавать всё, что мне знать надлежит, застраховать себя от слишком грубых ошибок. Ведь я до сих пор принципиально отстранялся от обсуждения всяких формальных дел, думал, что не понадобится.

Степень формирования отряда пока такая: за две недели успели порыться в законах и приказах и узнать самое существенное из того, что надо знать. Многое ещё покрыто мраком неизвестности. Получили на непосредственные расходы по 200 р. на руки. Из этих сумм истратили около трёх рублей на канцелярские книги и бланки. Узнали, что в интендантстве должно быть известно по списку имущество (будет ли?), а в полевой аптеке медикаменты. Узнали, что гидропульты и термометры придётся покупать. Узнали вчера, что при военном госпитале имеются фельдшера и нижние чины для отрядов. Кое-что уже выписал и даже получил жалованье за половину апреля.

Вот пока всё. В управлении никто ничего не знает, и приходится до всего докапываться, что и делают, не спеша. Куда нам спешить, в самом деле?! <...> Привези, если найдёшь, что-нибудь интересное по санитарной и дезинфекционной части и по прививкам.

Киев, 2 мая 1915 г.

Пишу тебе сегодня второй раз. Собираюсь ночью выехать в Винницу. Надвинулось на меня сегодня так много вопросов, требующих разрешения, что мне никак не обойтись без задушевной беседы с Рафаилом. Тут главным образом вопросы канцелярские, денежные, которые могут меня запутать. А потом ведь после войны придётся отдавать отчёт, расплачиваться!

Поехали мы сегодня в военный госпиталь смотреть назначенных нам нижних чинов. Оказалось, что они все на работе или вне госпиталя. Видеть их не пришлось. Взяты они все из слабосильных команд. По всей вероятности, половина из них окажется негодными к службе. На завтра решили их собрать и сделать среди них выбор. Предоставляю это Катовичу. Фельдшера будто бы тоже уже где-то имеются.

Достал я у Катовича сегодня приказы и инструкции, касающиеся летучих санитарных отрядов. Всё это захвачу с собой, и будем завтра разбираться с Раф. Мих. Один из старших врачей высказал предположение, что через две недели мы уже отсюда выступим. Я же сильно в этом сомневаюсь. Во всяком случае, ты меня ещё застанешь здесь.

Говорил я с Паньковским (делопроизводителем из врачей в управлении). Тот утверждает, что это моё назначение вполне определённое и оспариваемо быть не может. «Хотя ведь Вам как-то особенно везёт», — добавил он...

Как ты относишься к этому назначению? Спокойна ли ты? Работать мы будем, вероятно, главным образом, если даже не исключительно, на холере. Ну а ведь от холеры можно уберечься, ты знаешь. За себя ты не боялась, так не бойся и за меня. <...>

Я очень доволен этим назначением. Хорошо, что не будет непосредственного начальства, будет известная самостоятельность, будет движение, перемена места и условий, не будет однообразия. <...> Со стороны всё кажется страшней, чем оно есть на самом деле. <...>

Днём опять был в Купеческом собрании. Обедал там с Выгодчиковым и другим московским врачом, невропатологом из клиники, армянином (фамилию не расслышал). Было весело, оживлённо. Хорошо встречаться с москвичами! Со всем особый народ..

В мае 1915 г. Александра Ивановна в свой отпуск приезжала в Киев. Здесь, в цветущем весеннем городе, они с Фр.Оск. провели вместе около трёх счастливейших недель (с 8 по 28 мая), о которых потом вспоминали всю жизнь.

Киев, 28 мая 1915 г.

Вот опять я пишу тебе письмо № первый. Как-то странно даже беседовать с тобой не непосредственно, не видеть тебя и не слышать.

А жасмин и фиалки всё так же благоухают, как будто бы и не произошло никакой перемены, словно всё по-старому... Даже мыло Хабибулина не изменилось нисколько: большой кусок розовый и маленький зелёный, всё тот же сильный запах ландыша. <...>

Гораздо легче мне самому уезжать, попадать после прощания в новую обстановку, ждать неведомого будущего.

Номерной по возвращении моём с вокзала встретил меня словами: «Ну, теперь опять одни!» Я только махнул рукой. Взял газету, завалился на кровать и стал читать.

Недолго пришлось мне читать. Появился Катович и просидел у меня до вечера. Сильно боюсь, что он начнёт надоедать мне. Мы с ним сильно поспорили кой о чём. При этом я убедился в том, что он, кроме медицины, решительно ничего не знает и принадлежит к тому довольно распространённому у нас типу людей, считающихся образованными и не имеющих ни малейшего общего образования, в высокой степени неразвитых и всё-таки считающих себя компетентными чуть ли не во всех сферах и вопросах. Впрочем, он малый хороший, и не в умаление его достоинств пишу я тебе это. Жить мы с ним, конечно, будем хорошо.

Нижний чин Бобровник, которому я дал отпуск, до сих пор ещё не явился. Как бы не устроил неприятность!

Разбирался в казённых бумагах, привёл их в некоторый порядок. Написали с Катовичем требования на получение полевых порционных и рапорт с запросом относительно того, кто нам даст средства и повозки для перевозки нашего имущества. Зашли к Шлегелю, выяснили некоторые вопросы, поболтали. В общем, ничего нового не узнали, всё — idem.

Статью Евг. Трубецкого из Р.В. я вырезал. Он психопат, я согласен с Арзумановым.

Киев, 29 мая 1915 г.

Утром всласть почитал газету. Потом получил письма и Р.В., прочёл их, ответил матери на письмо. Не успел кончить, как пришёл Катович. Мы с ним опять немного порылись в бумагах, написали кое-что, затем скверно пообедали, поели мороженого (программа тебе известна). Наконец, Катович распростился, и я начал читать «Державную Германию» Бюлова¹. Прочёл 100 страниц, однако эта книга нравится мне значительно менее. Она очень суха и переведена скверно, многое наврано. Потом пошёл к Арзуманову, с которым и прошлись немного по Крещатику, закупили консервов и ветчины и поужинали у меня в номере. Теперь он ушёл на дежурство, а я вот пишу тебе скучное письмо.

Киев, 31 мая 1915 г.

Вчера весь вечер занимался фотографией, проявлял пластинки с твоими снимками. А сегодня — целая куча новостей.

Прежде всего — пришла телеграмма в управление с приказом нам немедленно отправиться в действующую армию. Шлегелю назначен городок на Нижнем Сане², а четыре других отряда командируются в распоряжение штаба 8-й армии. Эту новость нам принёс сегодня Шлегель, бывший утром в управлении. Знаем мы только, что 8-я армия находится где-то в Восточной Галиции, а где именно — ничего не знаем. Вероятно, тронемся на этих же днях. <...>

Другая наша новость, это — Арзуманов сегодня командирует на Подволочиский эвакуационный пункт и должен выехать уже завтра днём. Так быстро разваливается вся наша здешняя компания!.. Он уже уложил свои вещи. Мы только что пили вдвоём вечерний чай у меня.

Затем для нас сегодняшней новостью явились события в Москве. В здешних газетах ни намёка. На станции глухо говорят о грандиозных пожарах, о разгроме [антек] Кёллера и Феррейна... Какая подкладка? Так мы здесь толком ничего и не узнали. А в Р.В. только одни официальные объявления³. <...>

Получил фотографии. <...> Я прямо-таки не налюбуюсь на тебя в малоросийском костюме! Какая ты там простая, искренняя и хорошая⁴.

Киев, 1 июня 1915 г.

Сегодня я получил твоё первое письмо из Москвы и очень ему обрадовался. Мы как раз с **Катовичем** выходили из гостиницы. Швейцар подал мне письмо. Тотчас **Катович** заявил: «Подождите немного, я только сбегаю к себе, узнаю,

¹ Бюлов, Бернгардт. Державная Германия. Обзор политических и государственных стремлений за последнее десятилетие. Пер. с англ. М.И. Брусяниной. Пг., 1915.

² Сан — правый приток Вислы.

³ 26 мая в Москве начались беспорядки, которые переросли в самый массовый за время войны немецкий погром. 27—28 мая по всему городу и в его окрестностях происходили грабежи и поджоги магазинов, контор, фабрик, частных домов и квартир, чьи владельцы носили немецкие фамилии. В погромах участвовали десятки тысяч людей. При этом более всего пострадали российские подданные и подданные союзнических и нейтральных стран. 29 мая в город были введены войска, для прекращения бесчинств применено оружие. Погром вызвал сильный общественный отклик.

⁴ Этот сильно увеличенный фотопортрет до конца жизни висел у Ал.Ив. над кроватью.

нет ли и мне письма». Но, увы, ему письма не было. Я ему прочёл те места, где ты описываешь то, что видела в Москве¹. Он молчал, не сказал ни слова, но был угрюм. Я тоже не скажу ни слова, ты и так прекрасно знаешь, что я думаю. Впрочем, хочу только сказать, что я не был поражён неожиданностью, нет, ведь к этому всё клонится. Меня уже более не удивишь. И даже слёз у меня на глазах не было и не будет!..

Шлю тебе на днях снимки. Две фотографии, где ты в национальном костюме, мне очень нравятся. Я постоянно буду носить их при себе. <...>

Наши дела вот на какой точке: мы в управление не ходили, а нам предписания не присылали, дескать, сами придут... Там прямо-таки удивительные люди сидят. Нам же необходимо было выгадать день, чтобы привести в порядок все интендантские дела, получить деньги на прокорм нижних чинов, а также, чтобы закупить всё необходимое для нас лично. Всё утро я сегодня сидел в интендантстве. Завтра тоже придётся ещё там сидеть, а также получить деньги в казначействе. После обеда же мы с Катовичем закупаем по магазинам. То есть, вернее, закупали я, а он только смотрел. На себя он истратил только около двух с полтиной, я же... ну да ты сама знаешь. Купил я в Экономическом обществе², прежде всего, походную кровать. Она очень лёгкая и, по-видимому, прочная. Она вся укладывается в небольшой брезентовый чехол с ручкой. Мне очень расхвалил эту систему один полковник. Затем купил фляжку «Термос» на ремне. Реноме этой фляжки известно. Из напрасных трат следует упомянуть о чемоданчике-погребке на две персоны. Катович упорно отказывался войти со мной в пай. Тогда купил целиком на свои деньги (22 р.!!!). Соображение же такого рода: прежде всего — чистота,

¹ В этом письме от 29 мая 1915 г. Ал.Ив. писала: «Нерадостно меня встретила Москва, мой родной Ёжа. Ведь вчера здесь была самая настоящая оргия толпы: громили, грабили и поджигали фирмы с немецкими фамилиями. По словам вёзшего меня извозчика, было около 70 пожаров. Саша лично видела обгоревшие развалины Кёллеровских магазинов; на мостовой груды осколков и вороха бумаги, среди которых копошатся дети. Ужас и скорбь, безграничная скорбь охватывает при виде такой картины. — Можешь ли представить, что делается на Мясницкой, где громадные машины выворочены на мостовую; семена Иммера развезны по ветру, ноты и остатки ценных инструментов валяются повсюду... Безумие и ужас... Рассказывают, что Цинделя [*председателя правления Товарищества ситценабивной мануфактуры*] удушили верёвкой, а какого-то служащего на Прохоровской фабрике утопили в Москве-реке. Нам ли говорить о немецкой жестокости? В толпе слышались возгласы «долой жидов!» — и это в то время, когда без различия национальностей сражаются на войне. И сейчас ещё в некоторых местах Москвы продолжаются пожары... Не могу больше писать обо всём этом». На следующий день Ал.Ив. вновь вернулась к этой теме: «Я всё ещё нахожусь под влиянием кошмарных впечатлений вчерашнего дня. Ты подумай только, нет почти ни одной бойкой улицы, где бы не было следов погрома. Все магазины Бартельса, Жирардовских мануфактур, некоторые еврейские лавочки и даже частные квартиры... Рассказывают, что дня за три началось брожение на Прохоровской фабрике по поводу отравления 30 рабочих водой. В итоге — заключение, что немцы отравили воду. Post factum было расследование. Оказалось, что в бак протекла грязная вода из бани. Может быть, это и не так, не знаю, но похоже на нашу действительность».

² Гвардейское экономическое общество организовало торговлю в прифронтовых районах.

так как весь погребок запирается, и там будет уж всё, несомненно, моё. А, вторых, я взял на две персоны. Пригодится ещё нам с тобой когда-нибудь.

Купил ещё одеколон, электрические батареи, ножички Gillette, английские булавки, спиртовку с таганкой, кастрюлю и т. д. Завтра будем покупать медикаменты, свечи, спички, большой фонарь, сахар, соль, консервы, чай и т. д.

Киев, 3 июня 1915 г.

Вчера я тебе не писал, и вот почему: целый день бегал по магазинам, а когда вернулся домой, то уже застал у себя товарищей. Устроили нечто вроде военного совета. Однако так-таки никакого определённого решения мы не вынесли, да и ничего нельзя предусмотреть, так как многое не в нашей власти. <...>

Московские подробности отвратительны; узнаю почти только из твоих писем. Говорят, что был здесь вчера Выгодчиков и опять не застал меня дома. Он прямо из Москвы. Седлецкий говорил с ним несколько минут. Других источников здесь нет.

У нас всё ещё идут бестолковые приготовления. Никто нам не может или не желает указать маршрут..., и мы не знаем, прежде всего, куда ехать. По закону мы обязаны ехать кратчайшим путём. Если же поедем более длинным, то разницу стоимости проезда всех людей и груза взыщут с того, кто подписал железнодорожное «предложение». В управлении стараются всучить нам, свалить на нас всю ответственность. Этапный комендант ссылается на коменданта станции, тот — на заведующего передвижением войск и на окружной штаб. А в штабе нас направляют в управление, которое от нас отрешивается, хотя обязано бы позаботиться. И в результате — воз и ныне там!

Другие затруднения — в интендантстве. Местный интендант вчера уехал куда-то, и вместо него подписывает и отвечает бухгалтер. Тот же сегодня вдруг отказывается по нашим требованиям отпустить нам совсем, казалось бы, бесспорные суммы. И на каком, ты думаешь, основании? А на том, что мы, дескать, ещё не назначены, а только предназначены! Так, например, Пипериди не может получить денег на седло, хотя остальные давным-давно их получили! Отказывает в следуемых нам добавочных, требуя удостоверения в том, что мы их раньше не получали, хотя в нашем аттестате ни слова о них не говорится. Выходит так, что в аттестате должно быть не только то, что получено, но также обозначено всё то, что *не получено!* Какой абсурд! И где же мы теперь, отчисленные от своих частей, можем доказать, что мы этих сумм не получали?! Из-за этого нелепого вопроса мы сегодня потеряли в интендантстве несколько часов. Придётся валандаться и завтра...

Пишу тебе так подробно, чтобы ты знала, какие силы задерживают нас от выступления... Хочется поскорей уж отряхнуть прах с своих ног и отправиться в Галицию. Говорят, что там значительно меньше этих формальностей, меньше этих сухих и чёрствых чиновников! <...>

Всё-таки думаем, что послезавтра или, в крайнем случае, в субботу удастся выехать... Впрочем, человек предполагает, а Бог располагает!..

Сегодня никаких закупок не делал, а вчера закупил два больших фонаря, приспособленных для керосина и для свечей, большой чайник, заменяющий нам самовар, покупку которого нам все сведущие люди отсоветовали. Заказал

также в аптеке маленькую походную аптечку в особом ящике (ol.saph. in ampull.; coff.p.b.; morph.mur., protargol; zinc. sulfur.; ac. mur. dil. [*камфарное масло в ампулах, кофеин, морфин, протаргол, окись цинка, соляная кислота*]), большую мензурку, щётки для рук. Затем целый ряд фотографических принадлежностей (гипосульфит вместо 10 коп. фунт теперь стоит 70 коп.!), клейкую бумагу (!), нашивки с красным крестом и т. д. Завтра куплю шприц Плевака и термометр, а также всё съедобное. Как хорошо, что пока ты была здесь, было так безмятежно!

Киев, 5 июня 1915 г.

У меня сейчас голова идёт кругом, спокойной минуты себе не нахожу. Ведь завтра мы выступаем из Киева. Маршрут — Львов! Беготни так много, что еле стоишь на ногах. Вот и сейчас уже второй час ночи.

Вчера утром мы, наконец, выяснили маршрут и назначили определённый срок отъезда — 6-го в 3 часа 13 минут дня, через Броды (не Волочиск). После завтра мы должны уже быть во Львове. Там мы узнаем дальнейшее наше направление.

Вчера бегал в интендантство и управление, писал рапорта, отношения и записки, ходил по магазинам. А вечером мы опять совещались у меня в комнате. Ушли в первом часу, и я завалился тотчас же на постель, не писал даже тебе. И сегодня то же самое, даже ещё более интенсивно. Вечером был ещё в казначействе и получал деньги. Завтра отошлю свой долг Рафаилу Михайловичу. Купил термометр (3.50!), шприц «Рекорд» граммовый (6.50!!) и машинку для стрижки волос (6.50!). Цены отчаянные. Вчера купил себе седло за 30 рублей (подержанное), пехотного образца. Вообще же вещей у меня будет уйма. Только что уложил один ящик да бросил, уже поздно.

Киев, 6 июня 1915 г.

Сижу на вокзале и пишу тебе. Должны были выехать в 3.13, но в поезде все места оказались занятыми, а багаж не успели взвесить и приготовить. В таком положении оказались все наши три отряда. 4-й ещё вчера решил сегодня не ехать и отложил на завтрашний день: Солтык ещё не получил седло, которое ему хотели откуда-то прислать по дешёвому тарифу... Так-то!!

С утра сегодня я бегал и ездил как угорелый. <...> Быстро, быстро пришлось упаковывать последние вещи, и что же? — оказалось у меня всего 11 мест! Тем временем Катович получал наше имущество из аптечного склада, но почему-то сам лично не повёз на вокзал, а исчез к врачу. Я этого не знал, и поэтому вышла задержка. Приехал я на вокзал за три четверти часа до отхода поезда, но оказалось уже поздно. Пошли мы опять к коменданту и решили ехать с пересадками с поездом, отходящим в 12 ч. 20 мин. ночи. Комендант обещал постараться достать нам купе.

Я искренно удивляюсь тому, что даже целым отрядам, самостоятельным частям войск приходится передвигаться в зависимости от случая, если публика сообразовит оставить места или самому удастся с бою захватить его. Я наивно думал, что раз мы заявили коменданту, то остальное уж его дело. Но оказалось совсем не так. Как всё это странно...

Значит, сегодня ночью мы выезжаем, но доедем ли? Вот вопрос. Я более склонен думать, что на границе мы остановимся, и нас дальше не пустят. Ну, посмотрим. Всё сюрпризы, вся наша жизнь теперь состоит из сюрпризов. <...>

Здолбуново¹, 7 июня 1915 г.

Вот я уже не в Киеве, а недалеко от границы, в трёх часах езды от Брод. Сейчас 2 часа дня. Мы только что приехали. Заранее приготовили себе купе и устроили нижних чинов. При нас погрузили весь наш багаж (всех трёх отрядов) в отдельный товарный вагон и наложили на него пломбы. Обещали прицепить его к нашему поезду. Однако здесь в Здолбунове его с нами не оказалось. Очевидно, остался в Киеве... Здесь пересадка. В 7 часов вечера идёт пассажирский поезд в Броды. Там опять пересадка. Не знаем и теперь, доедем ли мы до Львова. Возможно, что мы в Бродах будем дожидаться приезда нашего багажа.

Радзивилов², 9 июня 1915 г.

Мы в Здолбунове узнали, что пассажирских поездов в Львов уже не будет³, и что дальнейшая наша ближайшая судьба неизвестна. Стали мы слоняться по станции. Наблюдали оживлённую жизнь её, приход и отъезд воинских поездов и т. д. Поужинали. Но о сне нельзя было и думать: пассажирские помещения были битком набиты, а в городке и гостиницах свободных мест не было. Всё сильнее стал одолевать сон. Тогда у меня появилась блестящая идея, — посмотреть, нельзя ли устроиться где-нибудь на ночь в санитарном поезде. Разузнали, что через полчаса должен был отойти такой поезд в Радзивилов—Броды. Мы пошли и переговорили со смотрителем поезда. Он нам разрешил поместиться вместе с нашей командой. Мы тотчас же все полезли в поезд (к нам присоединились ещё два товарища, отправлявшихся по тому же адресу, что и мы). Команда получила теплушки, а мы санитарный вагон. Сейчас же легли спать. Не успели и раздеться, как поезд тронулся. Вдруг к нам приходит смотритель и сообщает, что в последний момент поезд получил назначение ввиду загруженности пути отправиться на маленькую ветку Дубно--Каменец, переждать, пока освободится путь. Нам было всё равно, остались спать.

Утром проснулись на затерянной в лесах и полях маленькой станции Смыга⁴. Тишина и мир. Ничто не напоминает войну. Не проходили даже поезда по этой захолустной ветке. Мы вышли гулять в лес. Лежали на траве, я сделал даже один групповой снимок. Пообедать нам дали в поезде. Пили чай с сухарями и шоколадом. Газет и вестей никаких, только догадки.

Так прошёл весь день. Всё ждали паровоза, ушедшего с утра. Легли спать. Ночью просыпаемся: вагон тронулся, поезд пошёл. Утром оказались уже за Дубно, на пути в Радзивилов. Бесконечной вереницей тянулись около нас по сосед-

¹ Здолбуново — ж.-д. станция южнее Ровно.

² Радзивилов — город Кременецкого уезда Волынской губернии на границе с Австрией, в 10 км от Брод.

³ Именно в этот день Львов был сдан неприятелю. До осени продолжалось «большое летнее отступление» русской армии. Противнику были сданы Галиция, Польша и Литва.

⁴ Станция Смыга на тупиковой ж.-д. ветке Дубно-Каменец, южнее Дубно.

нему пути встречные поезда из Галиции. Весь путь от Дубно до Радзивилова был забит этими поездами, нагруженными чем попало, а также массами беженцев... Сплошной вереницей стояли они, не могли двинуться.

Так мы, наконец, медленным темпом доехали до Радзивилова. Тут уже всё пахнет войной, её близостью. Всюду масса солдат. Большой транспорт пленных австрийцев. Беспорядочная жизнь на вокзале.

Первое, что мы заметили, это наш товарный вагон, в котором помещается наш груз и наши консервы. Мы запомнили номер. Но теперь он уже опять исчез. Вероятно, попал-таки в Броды. Как бы только не отправили его в Львов, там можно ведь и затерять.

Мы весь день сидели здесь в поезде. Его поставили на запасный путь, ждать очереди. До Броды отсюда 8 вёрст. Будем ждать. Нам спешить некуда. Переночуем ещё одну ночь в вагоне. Здесь симпатично. Нам дали одеяла, подушки и простыни.

Броды, 10 июня 1915 г.

Вот наши приключения: вчера наш санитарный поезд так и не отправился в Броды, и мы снова переночевали в нём. Письма тебе и матери я отправил с другим санитарным поездом, выходящим в Киев. То же самое сделаю и сейчас. <...>

Утром уложили вещи, попили чайку. Подождали немного, но поезд продолжал стоять на одном месте. Тогда мы решили отправиться с пустым товарным. Так и сделали. Быстро нагрузили вещи и поехали. В 12-м часу дня мы попали, наконец, в Броды. Уложили вещи на платформе и пошли обедать в буфет. Всё битком набито солдатами, офицерами, беженцами, вещами, рухлядью и т. д. Каждый отходящий поезд представлял ту же картину полного случайности состава, как и описанные вчера встречные нам поезда. И всё-таки мы вскоре узнали, что Львов уже сдан. Чужих как-то неловко было спрашивать, и ответы были противоречивые и неопределённые. Встретил того прапорщика-дружинника, с которым мы на Пасхе выехали из Москвы. Он здесь сопровождает партии пленных. Вот только от него мы узнали точно, что Львов сдан ещё вчера. Подробности, впрочем, неизвестны были и ему. Оказалось, что штаб нашей армии уже начинает съезжаться в Броды. Дальше ехать нам не придётся. <...>

Мы в полной безопасности, только всякие сообщения сейчас крайне затруднены. Наш груз опять исчез из виду.

11 июня 1915 г., Броды

Пишу тебе быстро несколько строк. <...>

Устроились здесь в двух больших пустых комнатах. Так как у нас с Катовичем походные кровати остались с багажом, нам пришлось спать на полу. Я подложил снизу красное одеяло, а накрылся коричневым. Другие устроились более комфортабельно в своих походных кроватях. Тем не менее, спал хорошо.

Утром не спеша попили чайку и пошли в санитарное управление армии. Там только ещё разбирались, пришлось подождать на бульваре. Затем представились сначала генералу — начальнику санитарного отдела. Принял любезно, но выразил крайнее изумление, почему у нас нет ни лошадей, ни повозок. Мы всей

своей фигурой изобразили вопросительный знак. Любезно отпустил нас, пообещав посоветоваться с главным врачом отдела.

Затем мы пошли к этому последнему, — действительному ст[атскому] сов[етнику] Сахарову. Седенький старик. Принял нас очень вежливо и предупредительно. Выразил недоумение по тому же поводу. Спрашивал нас о наших специальностях, о наших пожеланиях. Выслушал наши сетования на киевские порядки, поскорбел с нами, пообещал по возможности скорее устроить нам лошадей и повозки. Записал номера вагонов с нашими грузами. Обещал принять меры к их разысканию. Отпустил милостиво. Вообще, мы остались очень довольны. Никак не ожидали встретить так много отзывчивости и искренности. Дай Бог и дальше так же!

Теперь будем выжидать. Вероятно, завтра или послезавтра всё разрешится.

Нельзя скрывать, что наша компания, к сожалению, всё больше расклеивается. Очень симпатичен Звездин, коллега, заменивший Смирнова. Он рубаха-парень, дельный, простой, четный и искренний. Малопривычны Солтык и в особенности глупый и чванливый Пипериди, грек. Совсем не лажу я с Катовичем. Всё больше обнаруживаются специфические качества — нахальство и глупое самомнение. А ведь ты знаешь, как я не люблю такого сорта людей. Возмутился я и его отношением к местному населению, когда мы искали квартиру. И это он, который так боится нашествия врага на свою родину!!!

Броды, 14 июня 1915 г.

Новости у нас, вот какие: вчера мы получили приглашение послать по одному солдату в управление для покупки лошадей. Мы их послали, но нам их вернули, сказали, что нашлись свои специалисты по лошадиному делу. Из всего этого мы вывели заключение, что, значит, нам лошадей дадут, и не расформируют. А мы уже серьёзно стали считаться с этой последней возможностью. Ходили вчера со Звездиным (преемником Смирнова) на станцию узнавать, не пришёл ли наш груз. Но, увы, его и след простыл. Установлено одно, что вагон с этим номером через Броды не проходил. Это — вчерашние наши новости.

А сегодня отряду Солтыки пришёл приказ отправляться в Радзивиллов — помогать на станции при перевозке раненых. Это, конечно, только временно, чтобы не сидели без дела. Нам приказов никаких не было. Вот и всё. В остальном наша жизнь здесь не налаживается, как следует.

Квартира у нас такая: передняя, в которой спят солдаты, большая комната, в которой помещаемся мы, то есть Звездин (милый, простой и дельный володимец), Пипериди (глупый и чванливый грек), Звонницкий, младший врач Звездина (из богатых купчиков-еврейчиков), Катович (которого ты знаешь только с одной стороны, лучшей) и я. Затем следует такая же большая комната, где тоже помещается команда, и кухня, выходящая на двор с колодцем и «учреждениями».

Компания у нас очень неровная, разношерстная. Чувствуем мы себя друг с другом нехорошо (за исключением Звездина и меня, когда мы остаёмся одни). Катович молчит или говорит глупые дерзости. Звонницкий сравнительно безобиден, наиболее воспитан. Пипериди либо молчит, либо поучает, читает мораль — нудный и скучный. Остаётся одна светлая личность — Звездин, вдвоём мы отводим душу. Он очень сдержан и спокоен, чего не скажешь про меня. Поэтому

сегодня утром у меня была нелепая сцена с Пиперидами. Дошло до того, что мне пришлось ему сказать, что если он себе позволит одно ругательство, то получит от меня пощёчину. Он сразу стал тише, но всё же мне очень противно, что между «товарищами» возможны такие сцены.

Катович вчера целый день держал себя спокойно, но вечером почему-то без малейшего вызова с моей стороны опять сказал мне дерзость. Я смолчал, только посмотрел на него удивлённо. Сегодня мы опять молчим.

Шурочка, неужели мы, люди средней полосы России, так разнимся от всех этих «южан», что у нас нет общего языка?! Мне они в высокой степени противны. Ну и в компанию же я попал! Впрочем, ты не думай, что я удручён. Нисколько. Уж одно ко мне отношение Звездина доказывает мне, что я прав, что не мной вызваны такие отношения. И мне в высокой степени наплевать на них. Немножко только обидно, что нет уже тех простых хороших отношений, которые у нас установились было в 253-м п.з. [полевом запасном] госпитале. Другие там люди. Там русские, а здесь, кроме Звездина, — «южане»! Противно. Из меня понемножку может выработаться юдофоб, если дело пойдёт дальше в таком же духе.

Погода у нас чудесная: тёплые солнечные дни, временами ливни с грозой. Сидим и валяемся у себя в комнате на походных кроватях или на полу (!), читаем. Наши кровати в багаже, и нам с Катовичем приходится круто. Обедаем в рестораниках. Кормят вкусно и сытно. Несколько раз в день пьём чай с сухарями, монпансье. Смотрим из окна на улицу, где непрерывное движение автомобилей и обозов. <...>

Газет у нас нет. Вчера на вокзале увидели у одного солдата «Киевскую мысль» от 11-го числа. Так и набросились на неё.

Достали много карт генерального штаба, а применить их не можем. Сегодня с утра по дороге проходит много подвод с церковными колоколами — сняты, как говорят, во Львове, чтобы не досталась немцам медь. Ночью проснулись от нескольких ружейных выстрелов. Причина неизвестна. Орудийной пальбы вчера не слышали. Всё здесь стало тихо и мирно. Надолго ли? Ничего не знаем, что делается на белом свете. Даже адреса своего всё ещё не знаем.

Броды, 15 июня 1915 г.

Тихий день без всяких событий. Ни слухов, ни точных известий, ни газет, ни разговоров. Ничего не знаем. Солнце печёт. На улице автомобили поднимают пыль, коллеги спят среди бела дня. Мухи так и окружают, так и лезут за уши, на нос, по волосам. Отбиваешься от них без усталости, но они неутомимы. Клонит ко сну. В соседних комнатах спят все наши солдаты. Кругом стоят чемоданы, корзины, коробки и сапоги...

Назови это идиллией, обломовщиной или ещё как-нибудь, но картина правдива, — именно так мы здесь живём.

Впрочем, мы читаем. По крайней мере, я читаю. Прочёл этюд Айхенвальда¹ о письмах Чехова, прочёл даже брошюрку о немецком засилии в русской медицине. Кончил вчера «Францию» Белоруссова, читаю теперь Чеховский сборник.

¹ Айхенвальд Юлий Исаевич (1872—1928) популярный литературный критик.

Очень тебе рекомендую Белоруссова¹. Особенно ценен его труд тем, что написан до войны, до пристрастного и одностороннего освещения, которым грешит теперь и **Белоруссов**. Интересны его выводы в заключительной статье. Как они отличаются от всего того, что принято писать теперь. Я постараюсь тебе выслать при первой возможности. <...>

Напечатал сегодня на солнце все имевшиеся у меня негативы для будущего альбома².

Радзивиллов, 17 июня 1915 г.

Пишу быстро с вокзала несколько только строк, так как сейчас отходит санитарный поезд. Только что приехали сюда.

Вчера получили предписание отправиться сюда, чтобы следить в санитарном отношении за станцией и окрестностями, так как появились случаи холеры. Раньше сюда уже приехал Солтык, а теперь Звездин и я. Пипериди мы, к счастью, оставили в Бродах. Ещё не устроились.

Придумал такой адрес для писем: ст. Здолбуново, Волынской губ, до востребования. Буду туда посылать солдата.

Радзивиллов, 18 июня 1915 г.

Сейчас у меня есть время тебе писать. Я дежурный. Ночь. Сажу в буфете станции. На скамьях спят и храпят. Буду тебе писать подробно. <...>

Первого из нас потревожили Солтыка, и только через два дня после него двинули и нас сюда. Соображения начальства были такого рода: делать им всё равно нечего, пока у них нет лошадей. Пусть хоть некоторую пользу приносят... Солтык вначале должен был играть роль как бы наблюдателя за санитарным состоянием следующих через Радзивиллов войск. Но уже вскоре задачи были расширены. Стоило ему здесь появиться, как появилась и азиатская гостья [*холера*]: кроме 2—3 заносных случаев, был случай, как говорят, и здесь на вокзале. Тогда нач.сан.части решил принять более энергичные меры и разработал маленькую программу, выполнить которую призваны мы.

Третьего дня, когда мы получили в Бродах назначение сюда, мы имели странную предварительную беседу с нач.сан.части, в которой он развивал нам свои взгляды. Мы записывали по пунктам. Вынесли из этой беседы самое хорошее впечатление, что имеем дело с человеком хорошим и дельным. Мы должны были явиться на подмогу Солтыку и вместе с ним провести следующие меры: следить за чистотой всего района станции Радзивиллов, войти в сношения с властями местечка для проведения санитарных мероприятий. Сговориться с земской больницей относительно устройства холерного барака для гражданского населения. Следить за проходящими эшелонами, для чего установить непрерывное дежурство на станции. Оборудовать один вагон для перевозки холерных солдат в холерный госпиталь в Броды, другой вагон — для тифозных заболеваний, третий

¹ В сборник Белорусова «Франция» (М., 1915) вошли его статьи разных лет.

² При таком «сухом» методе печати стеклянный негатив, плотно прижатый к фотобумаге в специальной рамке, надолго выставлялся на солнце. Это позволяло обходиться без проявителя и фиксажа, но изображение потом следовало оберегать от яркого света.

для амбулатории в случае надобности, а один для дежурного служебного персонала. Производить дезинфекцию тех мест, откуда доставлены холерные больные. Изолировать по мере возможности и надобности соприкасавшихся, для чего отсылать [их] в имеющийся изоляционный пункт в Бродях.

Вот наши задачи. А средства такие: во-первых, из полевой подвижной аптеки в Бродях мы достали всё самое необходимое для дезинфекции, во-вторых, от железной дороги получили вёдра, халаты, полотенца, лопаты, кисти и т. д., в-третьих, вошли в соглашение с имеющимися здесь дезинфекционными отрядами из Москвы (именными¹), в-четвертых, обращаемся за содействием, с одной стороны, коменданта станции, с другой — этапного коменданта и пристава.

Такова была наша программа.

Приехали мы, задержавшись из-за аптеки и отсутствия поездов, только вчера к ночи. Как раз только что перед этим был прислан солдат с холерой и помещён в вагон, уже приготовленный Солтыком. Той же ночью его отправили в госпиталь в Броды.

Комендант станции отвёл нам помещение в квартирах бывших таможенных служащих. Громадные хоромы, но почти пустые. Я на ночь устроился спать на большом письменном столе и спал очень хорошо.

Сегодня утром мы устраивали вагоны для предназначенной им цели. Постельное бельё и т. д. получили. Всё на своём месте.

Затем мы с Звездиным опять стали расспрашивать относительно нашего груза. И что же? Оказался вагон здесь, в Радзивилове! Они его сегодня как раз собирались переправить в Броды, согласно полученной телеграмме. Мы попросили коменданта отцепить этот вагон и подать его на наш тупик, на котором стоят и другие наши вагоны. Он разрешил, и вагон теперь находится там. Груза, однако, мы не получили ещё, так как начальник станции отказывается выдать только двум отрядам (ведь Пипериди остался в Бродях!). Мы же хотели уже не запечатывать вагона, чтобы он нам мог служить складом. Завтра выясним этот вопрос. Так как лошадей всё ещё не имеем, нам очень желательно оставить груз на всякий случай в вагоне, который можно прицепить в любой момент...

Затем я с Солтыком поехал в город, где мы виделись со всеми властями держащими: очень любезным этапным комендантом-полковником и приставом-пьяницей, типичной провинциальной полицейской крысой. Довели их до значительной степени смущения. Кой-какие меры будут приняты, однако.

Сегодня здесь появился ещё один прекрасно оборудованный железнодорожный дезинфекционный отряд в четырёх вагонах, с камерами и т. д. Старший врач его вчера имел разговор с начальником сан.части, из которого надо вывести заключение, что мы тут, во всяком случае, долго не останемся, что нас скоро отправят по корпусам армии, значит, вероятно, скоро дадут лошадей и повозки. Вообще наше положение здесь очень неприятно...

Доставили сегодня и ещё одного холерного. Однако он не дождался отправки в Броды и экзитировал к вечеру. А недавно нам привезли ещё одного с подозрением на *abdominalis* [*брюшной тиф*]. До завтра решили оставить в другом вагоне, если выяснится, то отправим завтра.

¹ Именные дезинфекционные отряды — отряды, носившие имена их устроителей.

Получили мы, между прочим, в полевой аптеке и сыворотки! Даже противодизентерийную! Я думаю привить холеру и тиф всей команде и нам, будем поступать научно! Чем мы хуже немцев? <...> Как хорошо, что ты мне не только жена, но и товарищ по работе. <...> За меня не беспокойся нисколько. Мы осторожны. Я себя считаю гарантированным от всяких неприятностей.

Погода жаркая, солнечная. Настроение, в общем, хорошее, несмотря на неприятности с «товарищами».

Радзивилов, 19 июня 1915 г.

Была возня. Привезли днём несколько энтеритиков [больных с воспалением тонкой кишки] и двух абдоминальных, а вечером принесли на носилках швейцара со станции в предсмертной агонии. Он тут же и скончался. По-моему, это не холера, а естественная смерть. Жена его рассказывает, что давно уже хворает «пороком сердца». За полчаса до смерти поднимал тяжесть. Коллеги со мной не соглашались, считают более осторожным принимать его за холерного. Пойдёт теперь кататься! В неудобное время вздумал помирать.

Багажный вагон стоит рядом с нашими «летучками», однако его не отпирают. Настаивают на том, чтобы мы взяли весь груз, чтобы можно было остальное отправить в Броды для Пипериди. Мы же не хотим, потому что не знаем, куда деть все вещи пока у нас нет ещё ни лошадей, ни повозок. А воз и ныне там...

Телеграммы всем вам не послал, потому что на телеграфе сказали, что они идут теперь медленнее почты.

Газету теперь опять читаем каждый день. Получается «Киевская мысль» за предыдущий день. Когда я получу Р.В.? <...> Обедаем мы здесь в госпитальном пункте бесплатно. Кормят очень хорошо и вкусно, домашний стол из трёх блюд. Там же другие и ужинают. Я же и Звездин вечерами остаёмся дома. Неловко как-то без нужды злоупотреблять бесплатной любезностью.

С «товарищами» отношения остаются скверными. <...> Очень много читаю. Кончил «Чего ждёт Россия от войны»¹. Подчеркнул те статьи, которые стоит читать. Взялся за Елпатьевского «За границей»². Что это за прелесть! Ты непременно должна прочесть всю эту книгу. Написана увлекательно, вдумчиво, остроумно. И хороший человек пишет...

Радзивилов, 21 июня 1915 г.

Вчера приняли в свои вагоны двух холерных и одного энтеритика. Я их даже не видел, приняли без меня. Сегодня я с 8 часов утра и до 4-х дежурил у вагонов, совершенно бесполезно. Только в 3 часа принял одного больного с *resurgens*'ом [возвратным тифом] (не моя диагностика), которого следовало бы не принимать, а отослать дальше в земскую больницу. Как видишь, деятельность малоинтересная и малопродуктивная. В особенности мне досадно, что приходится так бесцельно торчать у вагонов. Я предлагал дежурить здесь, дома, — благо, что мы

¹ В сборник «Чего ждёт Россия от войны» (Пг., 1915) вошли статьи М.И. Туган-Барановского, П.Н. Милюкова, Н.И. Кареева, В.И. Вернадского, З.Н. Гиппиус, В.М. Бехтерева, А.И. Шингарёва и др.

² Елпатьевский С.Я. За границей (СПб., 1910, 1912).

живём в двух шагах от станции, но **Солтык** настоял на своём. Особенно бесцельно дежурство ночью.

Зато я успел там сегодня закончить Елпатьевского «За границей». <...> Получил истинное большое наслаждение от чтения этой книги.

Долго ли мы останемся здесь, не знаем. Думаю, что, вероятно, скоро нас откомандируют по корпусам. Я надеюсь, что тогда продуктивней будет работа, будет больше разнообразия. С другой стороны, и здесь есть преимущества: просторное помещение, газета на другой день и ванна с душем. Ежедневно утром я моюсь в ванне весь тепловатой водой, а вечером принимаю холодный душ, — я чистый!

Вчера наконец распечатали вагон с нашим грузом. Вытащили мы все свои вещи. Казённое имущество оставили под охраной рядом с вагонами, а своё забрали. Спал я на своей походной кровати, оказавшейся чрезвычайно удобной. Перебрал провизию и склад книг, полюбовался и надышался снова Хабибулинским мылом.

Радзивилов, 22 июня 1915 г.

Жизнь вошла в известную колею... Пока нас из этой колеи не вышибут снова...

Сегодня опять приняли в вагон трёх холерных. Опять не местного происхождения. Я не дежурил, а сидел дома. <...>

Сейчас положил в вагон больного солдатика, подобранного на улице. По моему, приступ *malagiae*. Хотел было отправить в земскую больницу, запретил Солтыка. Он ответил, послать в том случае, если я не сомневаюсь в том, что это *malagia*. Ввиду того, что я по первому взгляду не решаюсь ставить безошибочного диагноза, я решил трактовать его как рекуррентика [*больного возвратным тифом*] и положил в вагон. К ночи отправим в Броды.

Радзивилов, 24 июня 1915 г.

Вероятно, завтра мы со Звездиным двинемся обратно. Мы думаем, там нам дадут повозки и лошадей и отправят по корпусам. Наконец-то! Хочется поскорей быть приданным определённой части, да и надоел Солтык, напускает на себя важность.

Хорошо бы попасть младшим врачом к Звездину. Мы бы тогда зажили дружно, ладно. <...>

Я на днях должен получить деньги, и сохранилось у меня ещё около 200 рублей (ведь я получил в Киеве пособие по случаю назначения на новую должность). Как получу, так вышлю тебе около 400 рублей. Ты, однако, не все клади на книжку. Не забыла ли ты подписаться на «Практическую медицину»? Затем хорошо бы ещё кое-что себе приобрести. Я посоветовал бы, например, выписать некоторые издания товарищества «Мир», либо «Русскую историю» или «Историю русской литературы». Выписывай то, что тебе покажется интересней. Затем «Медицинскую микробиологию» Тарасевича¹ (вышел третий том), Даркшеви-

¹ Медицинская микробиология для врачей и студентов. Под ред. Л.А. Тарасевича. Т.1—3. Пг.; Киев, 1912—1915.

ча¹. Попрошу тебя купить непременно: Meyer u. Gottlieb: «Экспериментальная фармакология»². Эту книгу читает Катович. Она очень интересна. Я здесь её тоже прочту, но хочется её иметь и в будущем. Наконец, Шурочка, если у тебя остались какие-нибудь долги или нужны расходы, то, конечно, ты не задумаешься располагать деньгами как угодно, ведь так? На книжку только чистый ненужный остаток! Нам нечего копить, во что бы то ни стало с молодости! <...> Ведь эти деньги мне прямо-таки даром даются...³

Радзивилов, 25 июня 1915 г.

Так и есть: сегодня подтверждён нам приказ отправляться в Броды. Завтра утром мы туда поедем. Пипериди там уже получил приказ отправляться в Злочов⁴. Вероятно, и нас назначат в разные места. Нас, то есть Звездина и меня. Солтык до поры до времени остаётся здесь, но и его предупредили, что скоро потребуют. Дай Бог нам поскорей настоящую работу, хотя какую ни на есть!

С Солтыком у меня сегодня была крупная неприятная сцена из-за исчезнувшего будто бы в моё дежурство халата. Говорили весьма повышенным тоном. Он заявлял о своих будто бы правах, я их отрицал и не признавал его компетентности. Он меня упрекнул неуживчивым характером, дескать, со всеми успел перессориться...

Шурочка, что же это такое? Ведь с коллегами в Москве и госпитале я жил всегда дружно, отношения самые лучшие! С Звездиным здесь у меня тоже наилучшие отношения. Он из средней России, володимерец, а вся эта южная и юго-восточная публика совсем не по мне. Они мелочны, чванливы и неумны... Это моё глубокое убеждение. Я очень, очень буду рад отряхнуть этот прах с своих ног. После этих господ даже прибалтийские немцы мне кажутся, чуть ли не широкой натурой!.. Правда.

Вчера, когда я запечатывал письмо к тебе и писал адрес, я громко выговаривал твоё имя, отчество и фамилию. Ведь я никогда не пропущу случая, чтобы не поговорить о тебе, похвастаться тобой. Звездин, который слушал, тогда обратился ко мне с вопросом, не сестра ли ты доктора Василия Ивановича. Я подтвердил. Оказалось, что они когда-то вместе учились в Юрьеве, а затем встретились в японскую кампанию. У Звездина остались самые лучшие воспоминания. Поговорили вообще о костромичах и владимирцах; он вспоминал, рассказывал. Вообще он хороший человек. Единственная светлая личность на общем тёмном фоне. <...>

¹ Даркшевич Л.О. Курс нервных болезней. Т. 1–3. Казань, 1904, 1914, 1917.

² Мейер Г. и Готтлиб Р. Экспериментальная фармакология как основа лекарственного лечения. СПб., 1913.

³ Несколько позднее, в письме от 8 августа Ал.Ив. высказалась по поводу присылаемых женихом денег: «В том месяце я получила от тебя так много денег, что, я думаю, мне скоро придётся заводить другую книжку. Ведь при почтовом отделении можно делать только небольшие вклады. А у нас уже 500 рублей. <...> Странно всё-таки теперь распределены деньги: одни получают много, а другим есть нечего. Это ужасно... Врачи не должны так много получать».

⁴ Город Злочов (Злочув, Злочев), в 30 км к юго-западу от Брод, входил в состав Австро-Венгерской империи, ныне город Золочев Львовской области Украины.

Б[роды], 26 июня 1915 г.

Теперь в письмах я уже не стану больше обозначать место, из которого пишу, чтобы не подвергать письма опасности быть конфискованными. Говорят, что здесь на этот счёт теперь очень строго. Лишь бы вообще доходили письма до тебя!..

Долго мы сегодня собирались в Р[адзивилове] — не было поезда. Наконец-то тронулись медленно, медленно. Здесь в последнее время было много крушений; по сторонам временами попадались покорёженные вагоны и платформы... В первый раз увидел окопы, сооруженные по дороге в Б[роды], — самые обыкновенные рвы, как оказывается. Кажется странным, что они и ряды колючей проволоки в мирной обстановке всего пейзажа могут послужить для целей войны.

Приехали мы сюда уже к вечеру. Долго ждали в санитарном отделе, но не дождались своего начальства. Зашли в полевую почту. Оказалось там два письма Звездину, от 6-го и 13-го, и одно Катовичу из Киева даже от 23-го! Они ликовали. Других писем никому никаких не было.

Узнали, что эта полевая почтовая контора находится всегда при штабе армии, и что можно адресовать вполне точно так: 8-я действующая армия, 10-я полевая почтовая контора, такому-то отряду и врачу. Письма сохраняются у них до востребования. Я думаю, что лучше бы тебе отныне адресовать сюда. Говорят, что письма доходят довольно быстро и аккуратно. <...>

Пишу тебе, а где-то далеко бухают пушки, доносится раскатистый гул. Пипериди, как оказалось, получил четыре повозки, по две лошади упряжных на повозку, и пару лошадей верховых. Он сегодня до нашего приезда уехал к месту назначения в 12-ти верстах отсюда, в распоряжение этапного коменданта. Вероятно, и мы будем обслуживать тыл корпусов, пути из снабжений, по которым проходят войска.

Как-то я буду сидеть на лошади? Уморительно, — ведь я совсем отвык, с 907-го года не сидел. Вот когда, наконец, начнётся походная жизнь!

Б[роды], 29 июня 1915 г.

Пишу тебе о наших происшествиях за последние три дня. Предварительно сообщу на всякий случай, что из Р[адзивилова] в последний день отправил книжку и 150 рублей денег; надеюсь, что не затеряются. Говорят, что почта теперь совсем наладилась. Как только получу жалованье и порционные, pošлю тебе ещё 250 рублей и такую сумму надеюсь посылать тебе ежемесячно. Буду стараться жить скромно, пора же за ум взяться. <...>

Лошадей и повозки мы получили вчера вечером: 10 лошадей, из них две верховых, и четыре крестьянских повозки. Пока всё оставили там, откуда нам их дают. Думаем, что не сегодня-завтра нам будет назначение, тогда и возьмём. Прикомандировали нам и по пять нижних чинов для ухода за лошадьми. Как видишь, мы теперь уже немалая часть. Когда двинемся в поход, то образуем длинную ленту!.. Вот какая я теперь важная птица.

Вчера в санитарном отделе происходило совещание всех медицинских начальников частей армии для выработки определённого плана санитарных мероприятий. Вероятно, и мы в этих мероприятиях будем играть известную роль, и наша доля участия уже predetermined. Пока, однако, нас ещё не известили ни о чём.

Заказал я сегодня нашему столяру ящик для канцелярии, складной столик и табуретки. Он с рвением взялся за дело — изленились ведь все мои солдаты

от ничего не деланья. Корехов остаётся бравым парнем. Я думаю, что на него я могу положиться. Бобровника же (тот, что получил отпуск и опоздал на сутки с лишним) я ещё в Киеве себе приметил. Да и ты считала его плутоватым. В Р[адзивилове] у доставленного со станции покойника (швейцара станции, помнишь?) пропали часы. Пало подозрение на Бобровника. Солтык метал громы и молнии, он бы всё испортил. Мне же с Кореховым удалось дело покончить миром. Часы нашлись, но Бобровник и в самом деле оказался тут виноватым. Поставь дело официально — и он пошёл бы под расстрел. А так ему вышел хороший урок. Я думаю, он его не забудет <...>

Объявили войну мухам и двинулись на них походом. Вооружились листами клейкой бумаги и ловим, ловим... Тоже занятие. Не жарко, появились тучи, дождь.

Б[роды], 30 июня 1915 г.

Моя милая Шурочка. Уже поздно. Коллеги спят. Только Катович сидит против меня и тоже пишет письма домой. Ведь завтра едет мой младший унтер в Здолбуново, он должен принести мне письмо от тебя и из Риги, московские газеты. Он же отнесёт наши письма елико возможно ближе к России. Дай Бог ему удачи во всех его делах! <...> Только теперь я, наконец, привожу в порядок свою канцелярию. Закончил книгу входящих и книгу исходящих бумаг, собрал все бумаги и рассортировал их по отделам. Написал опись имуществу, собрал и пронумеровал все счета. Завтра возьмусь за денежный журнал и за книгу приказов. Как это скучно! Да, скучно, но ничего не поделаешь — необходимо. И даже приятно сознание, что, наконец, всё устраивается.

Сегодня весь день слышна была далёкая канонада. Сейчас тихо. Слышен только сверчок и далёкий лай собаки в поле...

Стало прохладней. Мух столько же. <...> Обеды в ресторане очень вкусны и сытны.

Б[роды], 2 июля 1915 г.

Уж ты меня простишь, что пишу сейчас быстро и кратко. Уже поздно, а через несколько часов придётся вставать и двинуться в поход. Дело вот в чём: ещё вчера Звездин получил приказ отправиться в 7-й корпус, а сегодня утром я получил приказ отправиться в 8-й корпус. Вчера мы опять вели беседу с начальником санитарного управления Сахаровым и снова вынесли из этой беседы самое отпадное впечатление. Надеемся, что удастся хоть что-то сделать.

Сегодня я целый день был в бегах по делам службы: в санитарном отделе, в интендантстве, в казначействе, на почте. Между прочим, отправил тебе очередные 250 рублей. Надеюсь, что удастся так отправлять каждый месяц. Сделал кой-какие закупки — и для себя, и для отряда. Получил лошадей, доставил груз со станции, выдавал нижним чинам жалованье, говорил им внушительную речь по поводу выстуления. Упаковывал, заканчивал кой-какую отчётность по книгам, писал рапорты. Как видишь, имею полное основание чувствовать себя слегка утомлённым и тянуться к постели. Надо ещё написать матери; вчера не успел.

Хотелось бы тебе поподробней написать, в какое место мы едем, да боюсь, что цензура может задержать из-за этого письмо. Тебе ведь всё равно. Одним словом, приблизительно в десяти верстах за линией фронта.

Придётся ехать кружным путём, так как поперёк, говорят, одни пески и нет порядочных дорог. Таким образом, нам придётся сделать конец в 50 приблизительно вёрст. Выезжаем в 6 часов утра. Встанем в 5 часов.

Не знаю, придётся ли писать тебе завтра, а если придётся, то удастся ли отправить. Мы едем в сторону от магистрали.

Р[адзихов]¹, 4 июля 1915 г.

После того, как я кончил тебе писать прошлое письмо, я написал ещё матери. Стало поздно — 2 часа ночи. Потом ворочался и долго не мог заснуть. Разбудили в 5 часов утра. Стали собираться. На тесном дворике два наших отряда нагружали свои последние пожитки. <...> Потом мы кратко рукопожатием распростились с Звездиным и поехали в разные стороны — он на юг, а я на север! Нам обоим очень жаль, что нас не назначили в соседние части — всё-таки изредка бы виделись. Мы успели уже попривыкнуть друг к другу. Звездин даже уже определённо перешёл на «ты», я же только в особо интимные минуты. Он охарактеризовал наши отношения: «знаешь, главное, что мы друг перед другом можем не стесняться и понимаем друг друга; *эти* — слишком чуждый нам народ»... И я с ним вполне согласен.

Отношения наши с Катовичем, однако, продолжают улучшаться. Роль тут сыграло и твоё приветствие ему. Ты — наш добрый гений. Он со своей стороны просил передать тебе свой привет, что я и выполняю. Другая причина та, что мы теперь остались одни, и нам волей-неволей приходится считаться друг с другом и обмениваться взглядами и мыслями. Тёплых и сердечных отношений, конечно, не будет, но корректные — возможно; дай-то Бог.

Я отклонился от темы. Итак, я сел на лошадь верхом, Катович на одну из наших телег, и наш отряд двинулся в путь. Шли мы, конечно, шагом. Первые часы мы шли по хорошему шоссе, и лошади не уставали. То полями, то лесочками. Пейзаж вроде нашего российского: поля и луга, равнины и небольшие холмики. На многих полях уже убирают хлеб. Крестьянки в типичных малороссийских рубахах, с приветливыми широкими лицами — народ хороший.

Вначале было совсем нежарко, а потом стало припекать. Делали привалы в тени лесочков. На лошади я чувствовал себя только в первые минуты неуверенно, а потом быстро вспомнил времена молодости и убедился, что я ещё не так уж плох... Благо и лошадь попалась хорошая, смиренная. Только автомобилей пугается. И приходится её тогда держать под уздцы.

Временами попадались целые запущенные поля с ярким маком — красота! А васильков, васильков-то! Чувствую я, что это большой минус в моём образовании, что я мало знаю деревню, вообще природу, но восторгаться ею я могу. Быть может, даже особенно сильно потому, что мало её знаю.

В первом часу дня в большом селе сделали продолжительный привал, — на два часа. Там распрягли лошадей, накормили их. Солдаты сделали свои припасы, а мы с Катовичем достали кипятку и пили чай с сухарями. Провизии с собой мы везли много — целый ящик и даже больше.

¹ Радзихов (Радзихув) — ныне город Радехов на северо-востоке Львовской области Украины.

Отдохнув, двинулись дальше. На перепутье нам указали неверный путь. Карта неточна, не всё занесено на неё. Как бы то ни было, одним словом, мы сбились с пути и попали в непролазные пески, где наши лошади быстро замаялись. От встречных узнали о нашей ошибке. Они же нам указали, как через леса выбраться на правильную дорогу. Долго мы шли лесами, густыми и тёмными. Когда стали из них выходить, вдруг поднялся ветер, который скоро превратился в настоящую бурю. По полям носились густые тучи пыли, так что не видно было горизонта. Вообще местность эта вдоль границы очень мало заселена, и мы двигались, чуть ли не целыми часами не видя никого.

Между тем буря всё усиливалась. Со всех сторон на нас быстро шли тёмные тучи. Когда мы, наконец, стали проходить через большое селение, где напоили лошадей, разразился ливень. Можешь себе представить своего Ёжку в такой обстановке: впереди идёт четыре телеги, нагруженные всякими там ящиками и багажом, ничем не прикрытые. На них сидят и около них идут наши солдатики, а сзади верхом еду я в брезентовой накидке. Ветер так и рвёт, как бешеный, лошадка моя волнуется, так и изгибается под порывами его, а сверху так и льёт, и хлещет дождь, как из рога изобилия.

Шли мы так, молча около часу. Тогда только понемножку прекратились и дождь, и ветер. Перед закатом даже выглянуло солнышко. Лошади наши окончательно задохлись по грязи, а мы все устали адски. Больше всех, конечно, устал я: во-первых, почти не спал, во-вторых, почти весь день сидел на лошади, а это без привычки кое-что да значит. Насилу доплелись до одного фольварка, где мы и расположились на ночлег. У управляющего достали хлеба, молока, яиц. Там же расположились и наши люди.

Когда, наконец, мы вошли в комнату, я еле держался на ногах, тем более что страшно болела голова. Успел только выпить стакан чаю с хлебом и съесть два яйца, как и повалился, как сноп, на кровать и тут же заснул мертвецким сном. Писать я тебе не мог, хотя бы по той причине, что пальцы рук, державшие весь день поводья, не повиновались... Таким вышел наш дебют.

Сегодня мы встали в 6 утра, выехали в 7, а в 9 часов уже приехали в Р[адзихов], где узнали, что только что приехал сюда и штаб нашего корпуса. Нам, значит, не нужно было ехать дальше. Корпусной врач после поездки ещё спал, а посему мы занялись отысканием помещения. Таковое нашлось рядом с площадью, достаточно сносное. После я пошёл к корпусному врачу, который меня встретил очень хорошо и любезно, и с которым, мне кажется, тоже можно будет жить и ладить. Он старик, но держится бодро, приветлив и, говорят, добр. Он мне сказал, что нам придётся работать через несколько дней, когда с позиций вернётся санитарно-гигиенический отряд, который будет нам указывать, где нам прикладывать свою энергию.

О дальнейшем, милая Шуручка, завтра. Уж прости, что так сухо-повествовательно: мне всё ещё страшно хочется спать...

Р[адзихов], 5 июля 1915 г.

Не кончил я ещё описания вчерашнего дня. Приехали мы вчера утром в десятом часу. Не знали точно, здесь ли находится штаб, в который мы должны обратиться. Оказалось, что штаб только что приехал и ещё не расположился.

Пришлось нам некоторое время подождать. Затем я разыскал коменданта, который предложил нам самим озаботиться приисканием помещения. Послал своих молодцов на разведки, и скоро мы начали устраиваться в небольшом домике-хате недалеко от центральной площади. Сравнительно чисто, в особенности, когда наш Дмитрук вымыл полы и прибрал. Лошадей мы поставили напротив дороги у изгороди, груз убрали в сарай под одной с нами общей крышей. В общем, получилось недурно.

Потом попили чайку, пообедали яйцами с хлебом, расположили вещи. После этого я пошёл к корпусному врачу, который, как я тебе уже писал, встретил меня хорошо. Однако, когда я заикнулся было о нашей роли «наблюдать в санитарном отношении за путями снабжения армии» (как нам указывал в Б[родах] Сахаров), он достаточно определённо указал мне «не наблюдать, а дезинфицировать по указаниям санитарного врача корпуса» и, таким образом, сразу поставил нас в более узкие рамки. Этим самым, правда, он с нас снимает и некоторую ответственность: ведь наша работа будет чисто исполнительной.

Сказав, что в ближайшие дни, до приезда сан. гигиенического отряда, у нас, вероятно, работы не будет, он меня отпустил. Так как мы все очень устали, мы скоро залегли спать. Но спать нам не пришлось: только что мы стали засыпать, как за нами прислал корпусной врач, предписал провести у него в порядок о[тхожие] места! Пришлось тут же распаковывать все ящики, ведь мы не знали, где что находится. Пришлось приготовить растворы наскоро, разводить сулему, формалин и т. д. Послал туда Катовича, фельдшера и нескольких санитаров, которые там и провозились до вечера. Тем временем я проверил содержимое ящиков. Потом мы оба писали письма и легли спать всё-таки в первом часу. Зато думали выспаться сегодня...

Не тут-то было! В 7 часов утра присылает за мной корпусной врач, велит осматривать местечко. Я вскакиваю, быстро бреюсь (я пять дней не брился!), и бегу к нему. Там застаю санитарного врача корпуса Архипова¹, ещё молодого и симпатичного. <...> Нас познакомили, а потом предложили осматривать вдвоём в санитарном отношении местечко. И вот мы с утра обходили все дворы, осматривали все стоянки частей войск. Оказалось, что там, где стояли части нашего корпуса, было чисто убрано, все приспособления и удобства согласно правилам и предписаниям. Видна была забота Архипова, который здесь (то есть в корпусе) находится уже с месяц. Он деятельный и энергичный. Раньше он был ординатором госпиталя, [который] формировался в Воронеже. В мирное время он — санитарный врач города Орла.

В соседнем корпусе было много грязи и упущений, но там мы оказались бесильны. Теперь улицы подметают, навоз вывозят, дворы чистят, мусор сжигают. Но, Боже, что за грязная страна эта «заграничная» Галиция! Что делается на задворках! Колодцы рядом, совсем рядом с переполненными отх[ожими] местами! А баня! Внутри гадость, грязь, а все воды стекают без всяких даже канав просто так, по дворам, по лужкам!.. Вониче издали! А вот ещё с осени закрытая бойня! Ближе подойти нельзя, смердит отчаянно. Деревянное зданье, стоящее на столбах. Все отбросы просто бросались в люк, а кровь стекала на землю. Не-

¹ Архипов Василий Михайлович — санитарный врач корпуса, прежде санитарный врач Орла.

смотря на обилие неоднократно применённой извёстки, земля насквозь пропитана гниющими массами и зловонием! Хотим сжечь до основания. Вообще здесь санитарному врачу есть дело, по дезинфекционной же части пока ничего... Говорят, что холеры в нашем корпусе теперь почти нет. Попадают только редкие случаи, а было значительно больше.

Ходили мы по жаре до двух часов дня. Потом пошли по домам отдохнуть. Тем временем Катович окончательно проверил содержимое всех ящиков и выбрал всё то, что может понадобиться.

Опять не обедали, а достать здесь нельзя почти ничего. Хотели устроиться в собрании, но там отказали, так как будто бы у них отбирают поваров. Завтра пойду в соседний госпиталь и постараюсь там устроиться. Наши солдаты тоже ещё не пристроены. Выдаём деньгами. Обещали их прикомандировать в желудочном отношении к сан. гигиеническому отряду, но его ещё нет. То же самое с лошадьми. Интендантство в фураже отказало, пришлось купить в деревне воз сена за 7 рублей. Счёт имею, но не знаю, в какую часть его пристроить — не предусмотрено. Придётся из собственного кармана — не голодать же лошадям!.. Завтра утром посылаю Катовича в Б[роды] за кормовыми деньгами. Уже давно выдаю своим солдатам из собственного кармана, потому что в Б[родах] затянули, и мы не успели в интендантстве получить... Теперь же осталось у меня и своих-то только 30 рублей.

Вот видишь, какие у меня заботы. Я нарочно останавливаюсь на всём так подробно, чтобы ты могла получить полную картину нашей жизни здесь и условий, в которых она протекает. Я уверен, что не может не быть тебе интересным всё то, что касается моей деятельности здесь.

Р[адзихов], 6 июля 1915 г.

Всё возня с канцелярией. Ведь привести в порядок все эти книги, да ещё не имея никакого опыта, это штука немалая. <...> Зато, слава Богу, удалось сегодня пристроить людей и лошадей. Даже сам пристроился в отношении продовольствия. Пошёл утром к корпусному врачу и снова спросил его, как быть с людьми и лошадьми. Так как сан.-гигиен. отряд всё ещё не едет, а они голодают (ведь здесь и за деньги трудно, что получить). Тогда он вместе со мной пошёл к начальнику обоза корпуса и пристроил наших солдат и лошадей на довольствие к нему. Спросил меня, где я обедаю. Я ответил, что пока нигде, что в собрании мне отказали, и что я собираюсь сегодня же попросить гостеприимства в соседнем госпитале. «Это не должно быть. Вы причислены к штабу и должны устраиваться вместе со штабом», — и тут же пошёл к хозяину собрания и добился нашего принятия туда. В тот же час я там пообедал очень сытно и вкусно. А вечером поужинал, тоже очень сытно и вкусно. Всё это удовольствие (сюда входит и хлеб, и чай, и сахар, и молоко, и сыр, и колбаса) обходится в 30 р. в месяц! Если мне при таких условиях не удастся хоть кое-что сэкономить, то меня следует повесить.

Во время ужина в парке фольварка, в котором помещается штаб, играла военная музыка!.. Совсем хорошо... Изредка издалека доносится орудийная стрельба, почти так же далеко, как и в Б[родах]. Третьего дня, в вечер приезда, над Р[адзиховом] летали два аэроплана, вероятно, наших, так как не стреляли по ним. Красиво!

Сегодня отправил Катовича в Б[роды] за деньгами. Дело, к сожалению, не обошлось без трений. Мы вчера вечером написали все бумаги и условились, что он поедет в 7 часов утра, чтобы успеть ещё в тот же день в казначейство и иметь возможность завтра же рано утром выехать из Б[род]. Ведь нам кормовые деньги нужны поскорей. Сегодня утром я просыпаюсь в 7 часов утра, а он ещё спит. Я его бужу, он мне в ответ:

— Я сегодня не поеду.

— Почему?

— Очень плохо спал ночь. И сейчас болит голова...

— Всё-таки Вам придётся ехать, так как это необходимо. Это не мой каприз.

— Я думал, что я имею дело с человеком, а не с железом. Хорошо. Я поеду!..

— Поймите, я с удовольствием сам бы поехал, но ведь мне сейчас нельзя.

Молчит, медленно, медленно одевается, заваривает чай, жуёт, не спеша. Потом сидит у окна и выглядывает наружу. А лошади и люди давно готовы, ждут.

— Вы поедете, Катович?

— Поеду, но подожду, пока не перестанет дождь. Можно бы и завтра поехать.

— Нет, я Вас попрошу поехать сейчас же, чтобы успеть сегодня же в казначейство.

— Если Вам нужны деньги, я мог бы Вам дать. Вы не человек, Вы какой-то каменный!

И, демонстративно хлопнув дверью, уезжает. Как на грех, сегодня почти весь день идёт дождь.

Р[адзихов], 7 июля 1915 г.

Вышло так, что придётся ограничиться несколькими словами. И вот почему: ждал до 9 часов Катовича, думал, что он мне из Брод привезёт письма от тебя, и потому не начинал. <...> Но Катович не приехал. Нет его и сейчас.

Вместо него зашёл наш санитарный врач Архипов и принёс мне приказ корпусного врача завтра на рассвете отправиться в одно село (в десяти верстах отсюда) и произвести там тщательную дезинфекцию в четырёх хатах, в которых среди местного населения было на днях четыре случая холеры. Обследовал там сегодня наш санитарный врач. Пришлось спешно отдавать распоряжения, готовить растворы и т. д. Сейчас же я лягу спать, чтобы быть свежим. Очень доволен, что нашлась работа — всё-таки не будешь чувствовать себя слишком уж ненужным. <...>

Не помню, написал ли я тебе новый адрес, по которому ты должна писать. Поэтому повторяю: 8-я действующая армия, 10-я полевая почтовая контора, л.с.д.отр. [летучий санитарно-дезинфекционный отряд], такому-то.

Есть у меня материал для предохранительной противотифозной прививки, а книжку Абрамова¹ я никак не могу нигде найти; осталась каким-то образом в

¹ Абрамов С.С. Предохранительные прививки, их теоретическое обоснование и практическое применение. М., 1915.

Киеве. Был бы очень рад, если бы ты мне снова прислала. Не в Москве ли остались и мои две брошюры о холере (Афанасьева и ещё кого-то¹). <...>

Целый день льёт дождь. Убрал свою комнату. Стало прямо-таки уютно. Развесил карты, да вот газет нет: последнюю читали от 1-го числа. Не знаем, что творится.

Р[адзихов], 8 июля 1915 г.

Я сегодня устал адски. Так и тянет в постель, рука плохо владеет пером. Целый день работал физически, сидел на лошади. Дезинфицировали четыре халупы. Подробности завтра. Сейчас только хочу тебе сообщить, что приехал, наконец, вечером Катович, который привёз мне два письма, и солдат, посланный за презентом, привёзший из Здолбунова три письма... <...>

Боюсь, что с завтрашнего дня придётся объезжать ряд сёл, для осмотра их в санитарном отношении. Завтра у нас будет по этому поводу совещание.

Устал, иду спать. Спасибо, моя милая Шурочка, за сегодняшний праздник. Твоё последнее письмо было с штемпелем: «вскрыто военной цензурой». Все твои письма я получаю, пиши смело.

Р[адзихов], 9 июля 1915 г.

Сегодня ни читать, ни даже спокойно писать нельзя. Завтра в седьмом часу утра я выступаю с несколькими из своих нижних чинов, на одной подводе в поездку для санитарного осмотра местечек, сёл и деревень расположения тыловых частей войск своего корпуса. Мы с санитарным врачом и ещё одним коллегой поделили между собой этот район. На мою долю досталось около 15—20 местечек. Утром занимался отчётностью, рапортами и т. п., днём совещались, выработывали план действий. Потом я бегал устраивать своих людей в отношении продовольствия. Вечером собирал пожитки и т. д., а ночью уже написал одно письмо матери, день рождения которой сегодня. И вот пишу тебе.

Завтра утром выступаем. Вероятно, придётся околачиваться дня три. Едва ли удастся справиться за два дня. <...> Убеждён, что настанет скоро спокойный период. Это вначале новая метла всегда старается.

Всё-таки возьму с собой чернила и почтовую бумагу. Может быть, удастся написать тебе несколько слов, только удастся ли отправить? <...> Мои письма имеют, по крайней мере, одно достоинство: они дают верное изображение условий моей жизни, моих настроений, смены впечатлений.

Р[адзихов], 12 июля 1915 г.

Опять я целых два дня не писал тебе. <...> Я целых два дня скитался по сёлам и деревням самого края северо-восточной Галиции; где уж тут письма писать...

Опять приходится повествовать. Таковыми теперь, вероятно, преимущественно и останутся на некоторое время мои письма. Пока все наши события примут характер повседневности и перестанут интересовать своими подробностями. <...>

¹ Афанасьев М.И., Вакс П.Б. Азиатская холера. СПб., 1907.

Заготовив накануне все необходимые принадлежности, как-то: сулему, едкую известь, зелёное мыло, неочищенную карболовую кислоту и т. д., а потом нашу офицерскую палатку и личные вещи, нагрузив всё это и ещё походную кровать на одну телегу, посадив на неё фельдшера и санитаря и сев сам верхом на лошадь, — мы рано утром третьего дня двинулись в путь. Погода была ясная, тёплая, днём даже жаркая.

Только что мы поехали по большой дороге, как услышали шум мотора аэроплана: высоко над нами он как раз над головами нашими пересекал дорогу, такой изящный и быстрый. Через некоторое время он вернулся, уже довольно низко летая. Тут мы увидели, что это наш, а не австрийский аэроплан.

Потом у нас пошло уже всё, как по ниточке: заезжали в какую-нибудь деревню, спрашивали старосту и расспрашивали его относительно бывших смертных случаев, заболеваемости, о числе дворов и колодцев. Осматривали колодцы, рассматривали воду, обращали внимание на почву, протекающие ручьи и т. д. В каждой деревне я с наслаждением знакомился с ребятами, заводил с ними разговоры, шутил с ними. Одним словом, отвёл душу. Ребятки у них славные. Да, впрочем, разве они могут быть иными? Попадают типичные российские деревенские физиономии, но общий тип всё-таки как бы тоньше, деликатней. Народ мне понравился: видимо, простой и чистосердечный. К русским и всему русскому относятся очень доброжелательно: видимо, искренно и без угодливости. Да это и понятно: наши хохлы болтают с ними совсем свободно. Живут русины, в общем, бедно. Общий вид деревень типичный хохлацкий, с белыми мазанками. И всё же моего санитаря, самарского мужика, поразило обилие зелени и плодовых деревьев около хат. Сравнивал со своей деревней. Вообще многому наши солдатики научаются и у своих, и у чужих.

Вот недавно я подслушал разговор между Кореховым (Архангельская губ.), Рязановым (Самарская губ.) и хохлом Мирко. Любопытно, как они каждый другому про свои домашние обычаи и порядки рассказывали! Все они хлебопашцы, есть чему научиться у других...

Так вот записывал все добытые сведения, садился на коня — и дальше, в следующую деревню с той же программой. К первому вечеру сделали уже больше половины. В девятом часу вечера стали раскладывать палатку на опушке большого леса, на лужайке около маленькой деревни. Вышла луна. Было сначала тихо, тихо... Потом — бах! Издали раздались выстрелы орудий, и потом стреляли без перерыва, как из пулемёта. Вероятно, это и есть нечто близкое к «ураганному» огню... Было жутко при невозмутимой тишине окрестностей слышать эти далёкие непрекращающиеся звуки. Так всю ночь и бахали без перерыва.

Ночью у меня почему-то сделался озноб, а утром вчера я проснулся совсем разбитый. Не привык я ещё к некоторым лишениям. Прежде всего, не наладил ещё свой желудок. Ведь в штабе обедать приходилось всего-то три дня. А потом этот отъезд, целый день верхом на лошади, без основательной пищи, в жару... Так я вчера и ехал всё время с сильной головной болью и весь какой-то слабый. Вернулись в 7 часов вечера. Я сразу, помывшись, завалился в постель, принял 0,6 фенаcetина, выпил горячего чая. Сначала знобило, потом пропотел, затем крепко заснул, а сегодня проснулся уже совсем здоровый. А после обеда стал себя чувствовать даже совсем хорошо. <...> Теперь, вероятно, некоторое время придётся сидеть дома, и я успею опять совсем наладиться.

Сегодня утром написал доклад о своей поездке и пошёл к корпусному врачу. Разговоры у нас с ним наилучшие, ни тени каких-либо недоразумений. Товарищи из санитарно-гигиенического отряда зовут нас переехать к ним. Но я отнюдь не хочу. Мы тут уже устроились и сжились. К тому же у них нет помещений для наших нижних чинов, и им пришлось бы ночевать под небом, а без нужды — к чему же? Впрочем, кажется, у нас возьмут всех наших солдат к 1-му августа, как моложе 35 лет, и пошлют их в строй. Вопрос этот относительно нашего отряда ещё не решён. Было бы очень обидно. Особенно с Кореховым и Рязановым мне не хотелось бы расстаться. Люди они серьёзные, дельные, работают хорошо, и на них можно положиться. Хохлов мне не так жаль. Те как-то ленивы и болтливы. Да, было бы жаль... <...>

Результат моего объезда вполне благоприятный. Только в одной деревне я нашёл один случай дизентерии. В остальных — заразных заболеваний не оказалось. Вода почти везде прекрасная. Колодцев много, почва больше песчаная. <...>

Днём была жара, сейчас благодетельный дождь. Вдали бухают пушки. Катович пошёл дезинфицировать баню, а я воспользовался его отсутствием. Как-то лучше текут мысли, когда никого нет поблизости. Теперь буду писать аккуратно. <...>

И от матери нет ничего с 17 июня! Я даже не знаю, можно ли им ещё туда [в Ригу] писать. Ведь газет у нас никаких, и мы решительно ничего не знаем... Вам там, в Москве хорошо! Вы хоть знаете, что на свете делается. <...> Сегодня опять занимался канцелярией. Больной это у меня вопрос. Книг давно уже не брал в руки, лежат в ящике. Обидно, что куда-то исчез Абрамов.

Р[адзихов], 13 июля 1915 г.

Сегодня я пошёл на почту и там нашёл для себя целых три письма от тебя, от матери одно письмо и от Карлуши две открытки. Я получаю теперь все твои письма без исключения. <...> Ты спрашиваешь, можно ли сюда посылать отдельные номера газет. Конечно, можно, и по совести сказать, когда мне на почте дали твои письма, я очень настойчиво требовал розыска и газет. Я ведь неисправимый газетоман. А здесь, где по целым неделям их не видишь, они особенно дороги. Впрочем, там же на почте мне удалось присмотреть несколько последних номеров чужих газет. Всё-таки начинаю теперь немножко беспокоиться за своих родных... Что с ними будет? <...>

Мне после двух дней передышки завтра опять придётся объезжать новый регион. На этот к западу от Р[адзихова], по направлению к позициям. Всё бы очень хорошо, да вот ещё какое-то нытьё в животе, не совсем ещё наладился он. Никогда раньше я не знавал такой гадости. После объезда этого района нам дадут передышку. Тогда всё будет обследовано.

Не знаю ещё, брать ли мне с собой все средства или поехать сначала одному, чтобы поскорей покончить с собственно санитарным осмотром и опросом. В случае надобности (а такая, вероятно, будет) можно будет потом послать Катовича с багажом в определённое место. Он здесь пока должен заботиться об очистке города и приведении его всех мест в приличный вид. Не мешало бы и ему поездить, он ведь совсем здоров. Оказался он, кроме всего прочего, ещё порядочным лентяем. Делает всякое дело весьма медленно и весьма неохотно, так что прямо

тошно глядеть. Об обязанностях имеет, очевидно, слабое понятие. Отношения наши остаются неважными. Хотя всеми мерами стараюсь всё делать сам, он, кажется, думает, что я прохлаждаюсь и хочу всё свалить на него. Очень скучная и неумная песня!..

Санитарный врач Архипов — парень ничего себе. Хорошие люди в с.-гигиеническом отряде, милые и симпатичные, харьковский бактериолог¹. За обедом и ужином обыкновенно довольно шумно и непринуждённо, играет музыка, подают вкусные блюда, мороженое и т. д., как в ресторане. Если бы тут с неделю посидеть, можно было бы сразу совсем наладиться.

Р[адзихов], 14 июля 1915 г.

Сегодня я получил письмо от матери от 6 числа. <...> Переживают они там сейчас тревожные дни. Не до празднования им дней рождения. Что с ними будет? Всё покрыто пресловутым мраком неизвестности. <...> Старшие братья, вероятно, будут высланы из Риги, так как находятся в призывном возрасте. Карлушке нашли место при городском трамвае. Надолго ли? Все нормы переворачиваются, понятия меняются, всё летит вверх ногами... Ну, уж и время, Шуручка!

Вчера вечером мы с санитарным врачом обсуждали план действий. Открылись широкие перспективы. Будем наблюдать, контролировать, предупреждать и т. д. и т. д. Беда только вот в чём: он — санитарный врач по профессии, я же в этом отношении самый обыкновенный смертный (не пришлётся ли что-нибудь по общесанитарной части и гигиене?). Он имеет известные инструкции и полномочия, я же — неизвестно кто я, на чём лежит ударение, на первой или второй части нашего наименования. Неизвестно, кому я подчинён — не то прямо санитарному отделу армии (Сахарову), не то корпусному врачу (Вышемирскому). Письменных предписаний я не получаю ни оттуда, ни отсюда... Я должен наблюдать за правильностью исполнения инструкций, но я сам их не имею и не знаю... Одновременно с объездом своего района я продолжаю отвечать за то, что происходит в отряде. Я должен вести всё делопроизводство отряда... Ты знаешь, работы я не боюсь, но я должен же иметь известную базу, знать, что с меня могут требовать и что могу и должен требовать я. Вот ещё и канцелярия! Тут целый рад чисто формальных дел, от которых, однако, я не могу отказаться, и которые отнимают много времени. Хотел сегодня я с утра по всем этим вопросам переговорить с корпусным врачом, но уже не застал его. Он уехал в какую-то дивизию и вернётся только вечером. Однако, так как я без удостоверения ехать не могу, то сегодня я ограничился лишь объездом верхом на лошади двух ближайших к Р[адзихову] деревень, в которых частей войск не было.

В первом селе всё оказалось прекрасно, в другом же я наткнулся на свежую холеру! Третьего дня там захворал старик. Вчера утром умер, его уже похоронили. В другой избе вчера вечером заболел мужчина, который сегодня утром уже умер. По рассказам — типичная *asiatica*². Напротив этой избы, через дорогу, сегодня утром захворала женщина, бывшая вчера ещё вполне здоровой. В 12 ча-

¹ Матвеев Сергей Гаврилович — младший врач санитарно-гигиенического отряда, харьковский бактериолог.

² *Cholera asiatica* (лат.) — азиатская холера.

сов дня я её застал со всеми, по-моему, признаками: цианоз губ и конечностей, втянутое лицо, тоскливое выражение, беспокойство и очень сильно обложенный язык. Холодные руки и ноги, судороги в икрах ног. Нитевидный пульс, понос с утра (к сожалению, испражнений не видел), сильно втянутый, но мягкий живот. При мне у неё появилась сильнейшая рвота. Всё это в течение нескольких часов!! По-моему, к вечеру будет exitus¹. <...>

Пила она сырую воду из колодца, который стоит во дворе предыдущих, где сегодня умер мужчина. Колодезь я тотчас же велел заколотить и поскакал сюда. Но корпусного врача всё ещё нет, а производить дезинфекцию, не изолировав больных, я больше не буду. В той деревне, в которой я производил дезинфекцию (тщательно!) неделю назад, было ещё 12 случаев! Ведь нельзя было убрать самую больную, она там и осталась... Это наш больной вопрос. До сих пор у нас нет никаких больниц для местного населения. Военное ведомство не имеет права принимать. А Всероссийский земский союз² и Красный Крест до сих пор не соорудили. Если бы да своя рука владыка! Быстро бы искоренили все очаги. Ведь тут захвачено самое начало.

Р[адзихов], 19 июля 1915 г.

Вот и вчера не пришлось даже за ручку взяться, а сегодня даже чересчур много пришлось писать, так что сейчас как-то ручка даже плохо уже держится в руке...

15-го и 16-го я находился в разъездах. С утра сел на лошадь и поскакал. На лошади я теперь чувствую себя хорошо и уверенно, а главное, нет уже той общей разбитости на следующий день. Конечно, к вечеру сильно утомляешься, но это уже вполне физиологически.

Задача моя была такая: обследовать, во-первых, все сёла и деревни назначенного мне района в санитарном отношении, так же как и в прошлую поездку, затем осматривать места стоянки частей войск, обозов и т. д. и собирать всевозможные сведения о них. В-третьих, по определённой схеме описывать санитарное состояние целых полков, входящих в мой район. Сюда входит целый ряд вопросов о водоснабжении, питании, одежде, устройстве окопов, отхожих мест, изоляционных пунктов и т. д. и т. д.

15-е число прошло малопродуктивно в этом отношении и по моей вине! Дело в том, что попал я в дивизионный лазарет как раз на именины старшего врача, очень милого товарища. <...>

Устроился лазарет хорошо: в покинутом графском фольварке с роскошным старинным парком и фруктовым садом. В самом доме ещё сохранилась кой-какая драгоценная мебель, на стенах висели гравюры, портреты. В шкафу — библиотека польских, английских и французских книг. На чердаке целый ворох их всюду разбросан. Зеркала, диваны, старинные шкафы... Многое поломано, многое исчезло...

¹ Exitus letalis (лат.) — смертельный исход.

² Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам, созданный в августе 1914 г., широко развернул свою деятельность по оказанию медицинской помощи воинам, а затем и беженцам, занимался также снабжением армии.

На следующее утро я двинулся дальше. Попал в околоток одного из двух полков моего района. <...>

Попал в лазарет летучего запасного отряда. Там познакомился с очень симпатичным старшим врачом. Поговорили о заболеваемости местного населения, обошли его лазарет, бивак и т. д. Показывал мне всё, не скрывал недостатки. Я везде и всюду всё виденное записывал в записную книжку для отчёта.

Предложил я ему заняться хоть как-нибудь лечением и изолированием местного населения, так как мы в этом направлении бессильны. Он прямо ухватился за эту идею и предложил отрядить кой-кого из своих фельдшеров и санитаров в соседние деревни для подачи помощи холерным, где таковые окажутся, и телеграфировать в Киев о присылке эпидемического питательного отряда. Решили мы в тот же вечер ещё поехать к корпусному врачу с этими предложениями.

Потом я поехал дальше. Всё ясней становилась ружейная стрельба, всё более грозно бухали пушки. Приехал в Т., где стоял околоток другого полка. Там опять перезнакомился со всеми врачами. Особенно старший врач мне очень понравился, — из идейных земских врачей прежней марки. С ним мы затеяли длинный разговор о дизентерийной и Мозеровской [*скарлатинозной*] сыворотках...

Осмотрел околоток и кухню их полка. Т. в полутора верстах от окопов. Оттуда надо было в К., вдоль фронта. Однако одно открытое место там находилось под обстрелом, поэтому пришлось ехать кружным путём через большой глухой лес. Странная это была поездка: с трёх сторон слышны ружейные выстрелы, время от времени раздаётся орудийный гул. Слышен был и самый вой снаряда, хотя и неясно, ведь до позиций всё же оставалось 1—2 версты. А в лесу тихо. Только изредка увидишь в сторонке прячущихся в чаще леса беженцев-крестьян из соседних деревень с их повозками и коровами. Бедный народ, много страдают они...

Приехал в К. Там до вечера успел только обследовать 2—3 бивака, затем пришлось скакать обратно. По дороге заехал к врачу земского отряда. Там поужинал, а потом вместе с ним поскакали в Р[*адзихов*]. В 11 часов ночи мы были здесь после тоже своеобразной поездки верхом при лунном свете, быстрой рысью по пустынному шоссе при отдалённом гуле орудийной стрельбы.

Корпусный врач с благодарностью принял предложения. Была тут же отслана телеграмма в Киев. В 12 часов ночи я, совсем разбитый, попал в постель. Писать тебе не был в состоянии при всём желании. <...>

Совсем обалделый, я вернулся и в таком состоянии и написал тебе несколько строк. Вчера же я с утра поскакал опять в Т., чтобы собрать некоторые добавочные сведения. Выехал при пасмурной погоде, а вскоре же посыпался мелкий, совсем осенний дождичек, и поднялся ветер. Так и пришлось все эти расстояния преодолевать под дождём, в брезентовой накидке. Как нарочно, лошадь моя в грязи оступилась и стала хромать, так что пришлось обратно ехать чуть ли не всё время шагом.

Приехал я вчера вечером только в 9 часов, проделав около 45—50 вёрст. Прости, Шурочка, и вчера я не устоял, не мог, и сразу завалился на кровать. Сегодня же целый день писал доклады, подробнейшие доклады о виденном — и корпусному врачу, и в санитарный отдел армии... Писал до тошноты, до *mouches volantes*¹.

¹ *mouches volantes* (*франц.*) — мелькающие мушки (в глазах).

И сейчас вот пишу, а голова кружится, не могу больше глядеть на бегущую перед моими глазами ручку. А ведь надо ещё писать и матери! Не знаю, вероятно, не выдержу и напишу завтра. Но сегодня корпусной врач говорил, что завтра надо снова ехать в деревню, где была холера, и производить дезинфекцию..

Ты не думай, что Катович ничего не делает. Нет, его тоже запрягли основательно. Он тут вылавливает холерных и отправляет их в госпиталь (теперь, со вчерашнего дня, разрешено принимать заразных из местного населения в военные госпиталы) и дезинфицирует. У него очень много работы. <...>

Читать ничего не приходится. Всё тянет в кроватку, хочется спать. С тобой бы вместе здесь работать, а не с Катовичем! Какое бы блаженство!

Радзихов¹, 20 июля 1915 г.

Только что я закончил длинное письмо матери в [вымарано: Ригу]. Не знаю, дойдёт ли оно. Сегодня получил от неё ещё одно письмо, от 13-го! Тяжело им там. Неизвестность мучает. В день рождения матери над [вымарано: Ригой] пролетал первый неприятельский аэроплан и бросил бомбу в железнодорожный мост через [вымарано: Даугаву], но не попал. Из [вымарано: Риги] всё вывозится, все учреждения, все фабрики, работающие на государство, машины, служащие и рабочие. Я удивляюсь, что мать ничего не пишет о старшем брате [Вилли]. Очевидно, он ещё остаётся там. На 14-е ждали приезда из деревни Лени, тогда все будут вместе, кроме меня... Бедные они, что будет с ними? Когда мы снова свидимся и в какой обстановке? Вот и к ним война подошла вплотную и заставила их думать только о ней, забыть обо всём повседневном, будничном.

Как счастлива всё-таки Москва, что ей не приходится бояться нашествия, что она может преспокойно слушать концерты, смотреть пьесы в театрах, ужинать в ресторанах... Совсем как в обычное мирное время. А ещё утверждают, что в Москве война чувствуется! Нисколько не чувствуется, и мало москвичей её чувствуют. Иначе не устроили бы безобразия 28-го мая... <...> Сегодня был в деревне, в которой первый раз дезинфицировал из-за холеры. Эпидемия уменьшается естественным образом, без нашего содействия. Приехали сюда земский эпидемический отряд с женщиной-врачом и земский питательный отряд. Вероятно, функционировать будут пока здесь в [вымарано: Радзихове], ведь тут за последние три дня среди еврейского населения было [вымарано 2—3 слова]. Катович энергично дезинфицирует. Отношения у нас с ним сносные, терпимые, — и только. Не горюй, я себя чувствую без него вполне хорошо.

Р[адзихов], 21 июля 1915 г.

Сегодня день прошёл в писании: заносил и систематизировал бумаги, писал приказы. Туго продвигается канцелярская работа. Слишком уж она скучна. Господи, когда я закончу этот труд!

Завтра думаю опять начать объезд своей епархии, то есть района. Начну с близко лежащих сёл. В одном из них была холера, посмотрим его сейчас. Только что мы опять заседали у корпусного врача. Присутствовала и женщина-врач из земского отряда, чрезвычайно массивная, грузная особа. Сидела она со стоиче-

¹ Название города вымарано цензурой.

ским спокойствием. В общем, экзамен выдержала удовлетворительно. Решали, куда направить её эпидемический отряд. В конце концов, решили, что санитарный врач Архипов завтра объездит с ней самые подозрительные сёла. Где окажется наиболее необходимым, там и останется.

Тем временем здесь в Р[адзихове] холера усиливается. Сегодня среди местного населения (бедный еврейский квартал) было уже 8 случаев. Катовичу и другому санитарному врачу Барченкову¹ много работы: изолируют, помещают в госпиталь, чистят, дезинфицируют, регистрируют. Сегодня решили, что с нашими скудными силами не справиться с заразой, и хотят попросить приехать большой земский отряд. Питательный отряд уже начал функционировать. Образован комитет из местного населения, выбраны особые наблюдатели на каждые 10 домов. Вообще, Шурочка, военное санитарное ведомство, наконец, стало творить живое дело. Лучше поздно, чем никогда. Барченков говорит, что прямо узнать нельзя, если сравнивать то, что делалось или, вернее, не делалось пять месяцев назад, с тем, что делается в последнее время.

Меня эта борьба с холерой начинает интересовать. Жалею, что так много времени уходит на разговоры и на канцелярию, предпочёл бы быть сейчас на месте Катовича. Он же жалуется на обилие работы и говорит, что если так дальше пойдёт, то он не выдержит... Я же считаю, что в Морозовке нам приходится временами куда интенсивнее работать... Удивляюсь, ведь этот человек только начинает работать! Помню, с каким наслаждением я работал первое время в дифтеритре. Да и не только в первое время... Да, Шурочка, люди разные бывают. Скучен этот Катович. <...>

Шурочка, я очень буду рад, если ты мирно закончишь свой стаж и по хорошему разойдётся с Николаем Николаевичем [Алексеевым], директором. Подумай, Шурочка, не останешься ли ты всё-таки в Морозовке? Мне так хотелось бы сейчас вместе с тобой работать по дизентерии. Ты бы меня учила, показывала бы... А то ты уж очень будешь учёная! Ты всё копишь новые познания в медицине, а я — что знал, то забываю...

Р[адзихов], 22 июля 1915 г.

Сегодня получил от тебя целых четыре письма! Ты только подумай: целых 4 письма!! Последнее из них шло только неделю. Все, все твои письма доходят. <...> Если бы ты знала, Шурочка, как мне интересны решительно все подробности жизни вашей в Морозовке! Малейший штрих в характеристике знакомых людей, товарищей, малейшая подробность твоих переживаний и забот. Очень прошу тебя, Шурочка, писать подробней о твоих исканиях в области терапии, хотя бы той же дизентерии. Ведь я только две недели работал в этом отделении, но всё-таки или именно потому оно меня заинтересовало. Liquor Uzaeae² у вас сейчас, конечно, не имеется, сыворотка хороших результатов не даёт. Ну, расскажи мне в таком случае хоть кое-что из бактериологической области. Мне не хочется, чтобы ты находила там для себя какие-нибудь новые пути, а я бы

¹ Барченков Александр Авксентьевич — москвич, врач соседнего санитарного отряда, потом врач штаба корпуса.

² Настой корней узары антидиарейного действия.

совсем в этом процессе не участвовал. Помнишь, как одно время мы дружно интересовались и прокладывали себе путь по дифтериту?.. Славные были времена! <...>

Очень интересно всё, что ты рассказываешь о Николае Ивановиче¹ и его жене. Я Ник.Ив. люблю. Я его очень ценю и люблю. Как хорошо, что и ты его оценила. Ведь он по существу, безусловно, хороший человек; мой тёплый привет ему.

Р[адзихов], 24 июля 1915 г.

11-й час ночи. Я только что вернулся с объезда верхом на лошади своей епархии. Пообедал и вот, в ожидании чая и постели, пишу тебе. Вчера тебе не писал — рано утром выехал в одно село в 12 верстах отсюда, где будто бы умерло от холеры сразу 7 человек. На поверку оказалось, что холера была виновата только в четырёх случаях, остальные же безобидные. Выяснял, расспрашивал, распоряжался. Беседовал с местным ксёндзом, с которым сразу стали приятелями. Заехал кстати на обратном пути ещё в два села моего района. В одном из них пил чай у местного сельского учителя. Тоже подружился. Беседовал с полковыми врачами одного из полков. Решили завтра ещё раз встретиться для выяснения некоторых подробностей санитарного состояния этого полка и разных санитарных мероприятий и возможности их осуществления.

У входа в Р[адзихов] встретился с корпусным врачом, которому тут же сделал доклад. Вернулся к четырём часам. Пообедал и лёг на постель отдохнуть. Затем пришёл сюда земский фельдшер из санитарно-гигиенического отряда, с которым мы разбирали мою канцелярию. Мудрёная это штука, я всё больше запутываюсь. Провозились с ужином до 11-ти часов! Я окончательно изнемог и завалился опять в постель. <...>

Так прошёл вчерашний день. А сегодня я тоже встал раненько и поскакал со своими санитарями и фельдшером в то село производить дезинфекцию. Её мы произвели тщательно. Предварительно пришлось из одного из домов отправить в Р[адзихов]ский госпиталь ещё одного заболевшего. Кончили там в час дня.

Оттуда я санитаров с подводой отправил домой, а сам поскакал дальше, по направлению к позициям. Осматривал биваки, выписывал, что видел, давал инструкции. Затем попал в околоток одного из полков. Там посидел с товарищами за чаем и собрал массу сведений. От них только и можно узнать, что осуществимо, что нет. Я всё это записываю и без всяких обиняков сообщаю в своих докладах.

Вообще ведь наша роль здесь сравнительно независимая и самостоятельная. Мы не только должны, но и сами можем писать и говорить правду.

Получили нравственное удовлетворение: в Р[адзихове] вчера не было ни одного холерного случая. Раздали 580 бесплатных обедов, кроме того, чай, хлеб!!! Правда, через земский отряд, но ведь не без нашей инициативы. А чистка местечка! А оздоровление целого квартала! И в деревнях теперь холера не будет распространяться, ведь мы теперь можем отправлять в военные госпитали, изолировать. Тоже наша инициатива.

¹ Скворцов Николай Иванович — тоже врач-ассистент Морозовской больницы. Ал.Ив. написала о своей поездке на дачу Скворцовых.

Вернулся сегодня только к 10 часам вечера. Весьма сильно устал. Ведь опять проделал на лошади около 45 вёрст! Ты только подумай, каков твой Ёжка! Сидит на лошади, будто не человек, а кентавр! <...>

Газету с описанием первого заседания Думы¹ здесь читают с громадным интересом, «Русских ведомостей» всё нет.

Р[адзихов], 25 июля 1915 г.

Уж много раз ты мне писала о Хабибулинском мыле, я это всё понимаю. Какой кусок ни возьми, всё прекрасно: и нежный аромат, и обилие пены, и мягкость действия. Я тоже до сих пор умываюсь с наслаждением и каждый раз снова восхищаюсь. Никогда раньше не думал, что мылом можно так заинтересоваться. Непременно разыщи в Москве магазин на Рождественке. У меня ещё большой запас, хватит надолго.

Мы, то есть наш отряд, наконец, получили номер. Ты теперь можешь писать: л.с.-д. отр. № 22. Это вроде как бы локализации. <...>

Сегодня весь день сидел дома, никуда не ездил. Решил дать отдых себе и лошади. Утром читал твои письма и два номера газеты, писал рапорты, отправлял пакеты. После обеда посидел у санитарного врача Архипова, который сегодня неожиданно получил назначение в другой корпус. А с 6 часов до ужина сидели в санитарии и по распределению районов.

Дело в том, что вернулся из командировки старший врач этого отряда — одессит Щастный² (быть может, ты его знаешь?). Ему корпусным врачом поручено объединить нашу деятельность и систематизировать её. Жаль, что у нас отбирают Архипова. Он всё-таки парень ничего себе.

Канцелярия продолжает меня пугать.

Р[адзихов], 26 июля 1915 г.

Получил письмо от матери из Риги от 18-го и открытку от Лени из деревни от 15-го числа. Можешь ли ты себе представить, каково сейчас им там? Сколько горя в письмах матери! И всё-таки под конец письма высказывает уверенность, что мы ещё увидимся после войны, несмотря ни на что... Вероятно, в последний момент придётся из Риги выехать всем трём братьям, и старики-родители останутся одни с сестрёнками. Матери, конечно, это самое ужасное. Она колеблется, не знает, что делать. А отец, по-видимому, не отдаёт себе уже вполне ясного

¹ 19 июля открылась четвёртая сессия Государственной думы IV созыва, выступившей с острой критикой правительства.

² Щастный Сергей Михайлович (1875—1943) — старший врач санитарно-гигиенического отряда 8-го армейского корпуса, позже санитарный врач армии, затем фронта, начальник санитарной части армии, фронта, автор учебника «Краткий курс микробиологии инфекционных болезней» (1912, 1919), впоследствии видный организатор советского здравоохранения, учёный-эпидемиолог, директор Одесского государственного санитарно-бактериологического института им. И.И. Мечникова и Крымского института эпидемиологии, микробиологии и санитарии, профессор и первый заведующий кафедрой микробиологии Крымского медицинского института в Симферополе, был репрессирован, в ссылке возглавил Иртышскую санэпидстанцию, самоотверженно боролся с эпидемией сыпного тифа и умер, заразившись этой болезнью.

отчёта в серьёзности момента, становится стар... Карлушу снова пристроили в гимназию в Двинске, из которой он было собирался перевестись. Ведь теперь забирают и его год, 1896-й! Конечно, и там учиться ему едва ли придётся. Но ведь сейчас всё равно всё летит вверх тормашками.

<...> Что будет дальше? Что станет с родными? Мать пишет, что во всяком случае она попытается наладить переписку, может быть, как-нибудь через Швецию. <...> Если ещё прибавить, что она описывает поголовную эвакуацию всего из Риги, то станет совсем понятным её смятение. Бедные они! <...>

Я завтра сделаю себе противохолерную прививку, а затем противотифозную. Советую тебе разыскать и прочитать статью Тарасевича, опубликованную в № 5 «Общественного врача» за май месяц: «Новейшие данные по вопросу о предохранительных прививках против брюшного тифа и холеры»¹. Статейка маленькая, но содержит кое-что любопытное. Когда будешь читать, то поймёшь меня.

Хочется работать вместе с тобой, хочу опять заняться медициной.

Р[адзихов], 27 июля 1915 г.

Сегодня получили газету с известиями о взятии Варшавы и Ивангорода... Даже жутко становится, когда помотришь на карту!.. А параллельно речи в Государственной думе и разговоры о ней... Заинтриговало меня окончание речи Керенского². Милюков³ стал немного правдивей обычного — менее цветист и более близок к истине. В общем, много ещё выпренных слов, но всё же чувствуется коренной сдвиг: Россия с этой войной выйдет из тупика. Слишком глубоко она задела всё и всех, слишком всё перевернула. Уже психология народа не та...

Как сильно изменилось при всём беспристрастии представление о целом народе — о немцах. Ты вспомни-ка, что раньше представляли себе под этим словом? — Если это уже не тот булочник, который — по Пушкину — по утрам открывает свой васиздас, то всё-таки это ещё полтора года назад, прежде всего олицетворение мещанской добродетели — аккуратности, порядочности и самодовольной ограниченности. Слово *немец* всё ещё части имело оттенок лёгкого презрения, произносилось часто, хотя и доброжелательно, но с чувством собственного внутреннего превосходства. Признавались их успехи в разных областях, но как бы с оговоркой: берёт усидчивостью; вот если мы только захотим, так любого немца за пояс заткнём!..

А теперь? Что теперь немец, и каким он будет представляться в глазах подрастающего поколения? Это, прежде всего, человек суровый, неумолимо-суровый,

¹ Тарасевич Л.А. Новейшие данные по вопросу о предохранительных прививках против брюшного тифа и холеры // *Общественный врач*. 1915. № 5.

² Керенский Александр Фёдорович (1881–1970) — лидер фракции «трудовиков» в IV Государственной думе, впоследствии эсер, министр юстиции в первом составе Временного правительства, с 5 мая — военный и морской министр, а с 8 июля ещё и министр-председатель Временного правительства.

³ Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — историк, политический деятель, лидер Партии народной свободы (конституционалистов-демократов — кадетов), член Государственной думы всех четырёх созывов, министр иностранных дел во Временном правительстве, приверженец «войны до победного конца», овладения Босфором и Дарданеллами, идеолог Белого движения. В Париже издавал газету «Последние новости».

без колебаний идущий к намеченной цели, заранее всё взвешивающий, непреклонно и правильно, как автомат, работающий, сильный своей сплочённостью и организованностью, всецело подчиняющий своё личное «я» целям общества и государства, бесстрашный и неумолимый железный человек... Человек с гипертрофией воли и рассудка и атрофией чувства.

Именно такое представление вызывает слово немец. Представление жестокое, грозное, вероятно, далеко не правильное, но вполне определённое, — и как далеко оно от столь недавнего ещё образа! Да, — *tempora mutantur et nos mutamur in illis!*¹ Это пример, но ведь одинаковым образом в корне изменилась общественная и народная психология и по многим другим вопросам. Воистину, мы присутствуем при зарождении как бы целой новой геологической эпохи: четвертичный период кончается безвозвратно, — начинается пятеричный!

Расфилософствовался! <...> А что пишут «Русские ведомости»?

Р[адзихов], 28 июля 1915 г.

Шурочка, хорошая, сегодня только несколько слов. Вернулся из поездки в одно село, где опять было три случая холеры. Производил там дезинфекцию. <...> Привили мне сегодня холеру в левое плечо. Для первого раза $\frac{1}{2}$ кубика, через неделю ещё 1 кубик. Реакции почти никакой. Из любопытства измерил t° . Оказалось вечером (привил в 11 ч. дня) $36,9^{\circ}$. Около места впрыскивания лёгкая краснота, припухлость и болезненность. Со стороны кишечника — *nichil*². Вот и всё. Говорят, что после второго впрыскивания реакция более значительная; посмотрим.

Как хорошо, что ты заинтересовалась дизентерией!

Р[адзихов], 29 июля 1915 г.

В нашем местечке холеры всё меньше. Случаи становятся единичными. Питательный отряд работает всюю. В деревнях, где мы (то есть я), теперь всех заболевших тотчас же изолируем — тоже единичные случаи. Там, где изоляция не производилась, там уже трудно вывести заразу. Завтра раненько утром я на своей Росинанте опять двигаюсь в путь. Заезд в «далёкий» отряд (где женщина-врач) и ещё дальше, вёрст за 25 слишком. Завтра вернусь усталый.

Р[адзихов], 30 июля 1915 г.

Как и следовало ожидать, я вернулся из своей поездки поздно и утомлённый. Ведь обратно я сделал 30 вёрст без передышки, не слезая с лошади. С моим-то миокардитом! Сейчас лягу спать, а потому только сообщаю, что писем от тебя сегодня нет, зато я получил длинное письмо от матери от 22-го числа! <...> Впрочем, сегодня узнаю из газеты, что «Проводник» переезжает в Москву³. Мать по

¹ Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними (*лат.*).

² *Nichil* (*лат.*) — ничего.

³ Крупный завод резиновых изделий, объединённый картельным соглашением с петроградским предприятием того же профиля «Треугольник». «Проводник» был переведен из Риги в Москву и подмосковные города. С ним чуть позже переехал в Богородск Вилли, инженер-химик.

этому поводу только пишет, что Вилли упаковывает всё своё отделение, но что они ещё не знают, куда поедут.

Р[адзихов], 31 июля 1915 г.

Ты ведь меня простишь, что и сегодня я тебе напишу только несколько строк. Дело в том, что я опять поздно вернулся из одной деревни, где мы производили дезинфекцию и т. д. Порядком устал. <...>

Выходка Ел.Ник. по отношению к Вильяму возмутительна!¹ Что ещё можно сказать по этому поводу. Ох, это ожесточение сердец и умов! Не скоро оно пройдёт и после войны. Но, Шуручка, поверь: меня этим не оскорбишь. Меня это не заденет, если даже и мне придётся сталкиваться с подобными случаями... Позор ложится только на головы тех, кто произносит такие суждения и осуждения.

Я, правда, многому научился в последнее время и во многом разочаровался. Но всё это не делает меня ни нетерпимым, ни ожесточённым. Будем стараться отличать временное от основного... Ну, опять разболтался.

В.....-С.....², воскресенье, 2 августа 1915 г.

Не случайно я сегодня написал «воскресенье», против обычного. Я, кажется, в первый раз сегодня за всё время войны заметил, что существует ещё и воскресенье. Если не для нас, то для других смертных.

Вот в чём дело: вчера выяснилось, что штаб нашего корпуса немного перемещается. На его место сюда становится другой. Вчера же мы с врачом санитарно-гигиенического отряда поехали сюда выбирать себе подходящее помещение. Наш отряд должен выехать немного раньше, чтобы привести кое-что в порядок, произвести дезинфекцию, где надо, и вообще почистить немного местечко, так как и тут имеется холера. Тут до сих пор находился «дамский отряд» (с женщиной-врачом) Красного Креста, про который я тебе писал. Их выселяют из фольварка, а туда помещается штаб.

Вернулись к вечеру и стали укладывать вещи. Я тебе вчера так и не написал. Сегодня утром я с отрядом выехал из Р[адзихова] в северо-западном направлении. В.—С. находится верстах в 12 от Р[адзихова] и верстах в 10 от позиций. Так что мы теперь приблизились к линии окопов.

¹ В письме от 24 июля Ал.Ив. писала: «Сегодня страшно расстроилась в отделении. На этот раз разогорчила в сомнительной терапии Ел.Ник. [сестра милосердия] Зашёл разговор о сегодняшней злобе дня. Она со злобой заметила, что всё это от того что много людей, которые продают Россию. Затем с неменьшей злобой заявила: “Как рад этому будет Н.Н. [Вильям], ведь в нём тоже германская кровь, недаром он над всеми издевается”. Я поблднела даже от такой гнусности, затем, опомнившись, закричала, что она не смеет оскорблять человека, “который заслуживает только уважения, и которому вряд ли найдётся равный по деликатности и мягкости, ведь он такой же русский подданный, как и Вы!” Она замолчала, но надулась и целый день не разговаривала. На обходе же с Ник. Ник. даже не поздоровалась. Нет, ты подумай, Ёжа, какая гадость! Человек работает с Ник.Ник. давно, никогда не видел ничего плохого и вдруг может так оскорблять. Тяжело, ужасно тяжело».

² В... С... — большое село в 12 км в северо-западном направлении от Радехова.

Утро было хорошее, ясное. Въезжаю я в село (это большое село). Всюду встречаются люди, идущие в церковь или выходящие оттуда с молитвенниками и в праздничных одеждах. Из костёла доносится торжественное пение органа и хора молящихся. Так странно мне показалось, что существует ещё воскресенье для кого-то, в 10 верстах от окопов, при раздающихся звуках оружейной стрельбы!.. Приспосабливаются люди.

Свою команду я пристроил в покинутом винокуренном заводе. Там и лошадям привольно. Сам же я сомневался, где остановиться: в халупе ли, или у костёла, в какой-то пустой комнате рядом с застеклённой верандой. Решился на второе, но теперь раскаиваюсь и, вероятно, завтра перееду в халупу. Во-первых, не оказалось «удобств», если не считать весьма неудобные «удобства». Во-вторых, оказалось, что через веранду ведёт главный вход во внутренние покои, в которых живут какие-то монашенки. И, в-третьих, ксёндз, с которым познакомился уже вечером, оказался очень болтлив и тяготеет, по-видимому, к обществу. Человек он неглупый, но уж очень речист! К тому же комната с затхлым запахом, сырая. Да и сравнительно далеко до команды. Переночуем и переждем. Целый день в комнату доносились из костёла звуки органа!

Вот, Шурочка, мы опять на новом месте. Всё-таки целый месяц прожили в Р[адзихове] (стиль историй болезни!). Уж реже солнышко блистало, пахнет осенью... Опять осень!

В[итков]!, 5 августа 1915 г.

Найди в себе запас бодрости, чтобы серьёзно заняться научной работой в дизентерии. Ты меня так обрадуешь, если твои искания и достижения в этой области выльются в определённую форму. Ведь ты у меня такая талантливая, и я горжусь тобой. Мне так хочется вместе с тобой искать и находить, но если это сейчас невозможно, то хочется видеть результаты твоих работ, учиться у тебя. <...> А всё-таки. Шурочка, что ты там ни говори, но след ты оставишь в Морозовской больнице несомненный. Борьба твоя с её порядками не проходит без пользы: все эти пробирки, трахеотомические наборы и т. д. далеко не мелочи. Тем более что ведь раньше никто на это не обращал внимания, всё шло по раз налаженной колее...

Ещё третьего дня я опять получил длинное письмо от матери от 28-го (!). Пишет она, конечно, удручённая: Эдит без места, Артур, вероятно, скоро потеряет место (из газеты я сегодня узнаю, что трамвай в Риге разбирается; значит, он уже не нужен!). Относительно Вилли вопрос ещё не решён, но, вероятно, его отделение будет опять функционировать под Москвой, в Богородске. Лени, конечно, тоже уроков не найдёт в этом сезоне. <...> Судьба Карлуши всё ещё неизвестна. Он телеграфировал в Двинск, но не получил ещё необходимого удостоверения. Ведь он тоже уже призывается!

Вот печальные вести из Риги. Как видишь, хорошего мало. При всём том, конечно, отчаянные цены на все продукты, растерянность жителей, беженцы, беженцы без конца... Родители и сёстры остаются, и я всё-таки считаю, что они

¹ Ныне село Новый Витков Радеховского района Львовской области Украины. Село Витков находится много восточнее, в Ровненской области.

правы, и в этом духе написал им. Ведь долго не может продлиться эта отрезанность от нас, я верю!..

Шурочка, завтра мне придётся выехать отсюда в командировку, вероятно, дней на шесть. Мне поручили объехать наш тыл вплоть до Дубно, обследовать в санитарном отношении пути, по которым движутся наши резервы. Поеду я на повозке с одним из конюхов, налегке.

Мы тут только одну ночь переночевали около костёла, у ксёндза. На другой же день переехали в халупу, которая оказалась много уютней: белые стены, иконы и даже Франц Иосиф с супругой смотрят на нас. С дороги буду тебе писать ежедневно, но не ручаюсь, что письма будут доходить регулярно.

Миколаев, 6 августа 1915 г.

Миколаев, в котором я сегодня ночую, это деревушка недалеко от нашей границы. нашёл я себе здесь симпатичную хату, разложил свои вещи, расставил свою походную кровать, попил с хозяевами чайку, поболтал с ними, вот пишу теперь тебе (они уже легли спать), потом на боковую, а завтра раненько, в 6 часов, в дальнейший путь. Симпатичны и уютны эти хохлацкие избы. Беленькие и чистенькие, без этого специфического тяжёлого запаха. К тому же сегодня праздник, и все в национальных костюмах, на столах скатерти и т. д. Мне это нравится.

Завтра вечером надеюсь быть уже в Дубно, а послезавтра — в обратный путь. Хорошо бы, если в четыре дня обделать все эти дела. Ведь чем скорей я вернусь, тем скорей получу твои письма.

Дубно, 8 августа 1915 г.

Приехал сегодня днём в Дубно, довольно быстро проделав 55 вёрст. Ехал по шоссе и большой дороге. Всё поля и поля, а под самый конец — холмы, как американские горки. Трясся в своей телеге отчаянно. Лошади у меня неважные, устали они по грязи; частый мелкий дождичек. По дороге останавливался в этапных пунктах, беседовал и собирал сведения у этапных врачей. Здесь в Дубно тоже остановился у этапного врача, молодого ещё товарища. Принял он меня очень радушно и с места в карьер стал мне рассказывать о своей жене, о всех её чудесных качествах. Сейчас он тоже пишет ей письмо; пишет ежедневно. Значит, я далеко не единственный такой усердный писатель в армии. <...>

Завтра утром — в обратный путь. Надеюсь послезавтра быть опять у себя в корпусе.

Здесь опять [*признаки*] культуры: имею газету от вчерашнего числа.

В дороге, 10 августа 1915 г.

Пишу тебе стоя. Столом служит мой погребок. Вчера я не сразу выехал из Дубно, так как одна лошадь захромала, и пришлось повозку с солдатом и лошадыми оставить там. У этапного коменданта достал подводу и доехал до следующего пункта, а оттуда ещё на другой, где и переночевал у товарища. Оттуда я выехал сегодня в 8 часов утра. Сейчас сделал небольшой привал уже в пределах Галиции. Вечером буду опять у себя в штабе. Только что раздавал ребятишкам «цукерки», то есть сахар и присланные тобой леденцы. Сделал снимок. Уже пятый

день в дороге, устал. Сегодня получу почту, письма от тебя. Это письмецо брошу по дороге в полевой почтовой конторе.

Мимо нас тянутся обозы бесконечной чередой...

В[итков], 11 августа 1915 г.

Вчера в грозу и под проливным дождём я, наконец, вернулся в свой отряд. Всё-таки довольно утомительно такое путешествие на телеге без рессор. Выехал я вчера рано утром, а приехал сюда только в десятом часу вечера. С утра не жрамши, если не считать плитки шоколада. Надеялся застать здесь целую гору писем, но оказалось только два от тебя и одно длиннейшее от матери. <...>

Значит, и у вас asiatica!¹ <...> А было бы интереснее изучить её подробнее в условиях хорошей больничной обстановки. У меня такое впечатление, что при хорошем уходе в гигиенической обстановке процент смертности был бы минимальный. Впрочем, это только впечатление².

Да, газеты я читаю с захватывающим интересом. Какое исключительное время мы переживаем! Какая коренная ломка всяких устоев! И какая неуравновешенность людей, метание в разные стороны, перемена взглядов. Боже, как мало мы ещё воспитаны, как недостаёт нам устоев культуры! Снова идёт искание линии наименьшего сопротивления, ищут виновников... Но хаос этот кончится когда-нибудь, и наступит ясность: «в муках рождается новый век»! Всё-таки многого я жду от будущего. Теперь жду, раньше не ждал...

Мать мне пишет от 3-го числа. Как будто немного успокоилась. Надолго ли? <...> Что будет дальше? Только не броситься в общий поток беженцев. Мне это кажется страшнее всего. <...>

Сегодня писал подробный рапорт-доклад о результатах моей командировки. В общем, что нужно было узнать, я узнал. Результатом доволен. Ехать пришлось и под дождём, и под солнцем, и емши, и не емши — целый ряд новых ощущений. Ну, спи хорошо.

В[итков], 12 августа 1915 г.

Сегодня нет от тебя писем, и уже два дня нет «Русских ведомостей». А хотелось бы знать, как ты там справляешься с холерой, заинтересовала ли она тебя. Мне так досадно на неаккуратность почты.

У нас опять установилась хорошая тёплая погода — как на грех, уже после моей поездки. Что ты скажешь по поводу моих служебных разъездов? Это, правда, иной раз занимательно: видишь новых людей, иной раз ярких типов, слышишь новые, любопытные иногда разговоры... Расширяется кругозор, и накапливаются данные для более обоснованных суждений, чем это возможно там, в ваших московских кабинетах...

¹ В начале августа Ал.Ив. сообщила мужу о единичных заболеваниях холерой среди беженцев.

² Догадка исключительно точная! В наше время выяснилось, что своевременное восполнение больному громадных потерь воды и электролитов делает прогноз холеры благоприятным.

Ночевал я в эти дни один раз в крестьянской халупе, один раз в подвижном госпитале и два раза у этапных товарищей. Беседовал подолгу и вдумчиво. Удостоился даже от одного товарища, того самого, что тоже ежедневно пишет своей жене, такой рецензии: знаете, мне кажется, что мы с вами уже давно, давно знакомы, и что я говорю с хорошим и умным русским интеллигентом в лучшем смысле слова. Вы точно определяете и формулируете то, что смутно у каждого из нас созревало, но что мы ясно не учитывали, скорее, только инстинктивно ощущали... Вот видишь, Шурочка, как меня оценивают после двух часов знакомства, гордись!

Сегодня я долго беседовал с Катовичем, читал ему статьи и отрывки из Р.В. со своими комментариями. Очень ему понравилась статья Жаботинского: «Гунн»¹. Ты помнишь её? В общем, я торжествую по всей линии: Катович явно сдался, и я чувствую определённо свою власть над ним. Вредна ему не будет эта власть, она пойдёт ему на пользу... Что ты на это скажешь, Шурочка? Примирение после предварительной сдачи всех позиций — разве это не торжество?

Новые заботы: с завтрашнего дня я решил довольствоваться своих людей собственным котлом. Это прибавит ещё целую лишнюю бухгалтерию, а между тем у меня канцелярия всё ещё находится в почти девственной неприкосновенности (какое красивое выражение!). Тяжки заботы старшего врача отряда.

На днях наш корпусной врач уезжает в продолжительный отпуск и, вероятно, уже не вернётся совсем. Кого нам Бог пошлёт в замену?

Писал ли я тебе, что, наконец, получил письмо от Раф. Мих., очень тёплое и сердечное. Собираюсь ему отвечать, но всё ещё не собрался. Стал тяжёл на подъём. Когда долго не пишешь, труднее бывает браться за перо.

В[и́тков], 13 августа 1915 г.

Завтра мы, вероятно, выезжаем из В[иткова]² немного севернее, вёрст на 20. Да, это тебе не Волочиск и не запасный госпиталь, где можно было устраиваться по-домашнему, жить на одном месте по 5—6 месяцев. Теперь придётся всё время путешествовать, переезжать то туда, то сюда.

Чудесная лунная ночь! Так тихо, мирно! Никаких признаков того, что в каких-нибудь десяти верстах находится та роковая черта, где люди подвергаются риску смерти в любой момент. И как только приспособляется человек к такому ужасу! Правда, удивительно.

Сегодня приехал новый корпусной врач. Внешне он похож на старого, но по качеству «esprit»³, кажется, значительно ему уступает. Боюсь, что он будет упорист без толку. Впрочем, увидим. Ведь это только первое впечатление.

Почему-то страшно хочется спать. Вообще это качество у меня не атрофируется никак, скорей наоборот, так и тянет.

Ц[орохов], 15 августа 1915 г.

Сейчас только несколько строк. На большее я не способен, так как валюсь от усталости и разбитости. Никогда в жизни я ещё не чувствовал себя таким раз-

¹ Жаботинский В.Е. Гунн // РВ. 1914.

² Началось быстрое отступление.

³ Esprit (франц.) — острота ума.

битым. Вчера утром выехали на север, по новому назначению. В лесу попали в болото, провозились лишние два часа. А когда попали, наконец, на место, то оказалось, что вышел приказ немедленно отправиться в другое место, на восток.

Ехали, не останавливаясь, всю ночь. Так как лошади страшно устали, то я ходил пешком (Катович сидел). Пришли к пяти часам утра. Позади нас яркое зарево пожаров, около нас обозы, а впереди — тишина полей, и над ними серебристая луна. И жутко, и красиво. Теперь мы в России. И знаешь, я это сразу почувствовал, — повеяло своим, родным. Мне Галиция надоела. Переночевали или, вернее, переутревали в хате, где нас приняли очень радушно, и потом — немножко дальше на восток.

Здесь в селе мы остановились в строящемся училище, без окон и дверей. Если и завтра придётся тут оставаться, то поищем более подходящее помещение. Писем и газет, конечно, нет ни вчера, ни сегодня. Не знаю, когда отправят это письмо. Отдам в канцелярию штаба. Пишу, а из фольварка доносится музыка оркестра — играют танго!..

Спать, спать!!!

[Сорохов], 16 августа 1915 г.

Сегодня я выспался после всех этих лишений и чувствую себя опять хорошо. <...> В первый раз мне пришлось принимать участие в отступлении. Нехорошее это чувство.

Ещё когда нас из В[иткова] назначили на север, у меня было ощущение, что мы лезем в мешок, который может затянуться. Я это даже высказал Катовичу. Поэтому меня по существу мало удивило, что нам пришлось так быстро уходить от угрожающего обхвата. Переход сделали порядочный. Вот теперь сидим здесь в [Сорохове] уже второй день, отдыхаем. Но, судя по тому, что часто стали появляться неприятельские аэропланы, чего раньше не было, надо полагать, что настойчивое наступление будет противником вестись и впредь. Недалеко от нас на севере и северо-западе беспрерывно бухают пушки, почти не смолкают. Что там делается?

Любопытен обстрел аэропланов шрапнелью, при котором я тоже присутствую впервые. Где-то высоко-высоко парит аэроплан. Почти не виден, а часто и совсем не виден. Слышно только гудение пропеллера в синеве неба. Но наши артиллеристы его заметили, и вот сразу ударяет пушка с соседнего лужка. Слышен вой и свист прорезающего воздух снаряда, как будто гигантский кнут рассекает его. Через несколько секунд около аэроплана появляется маленькое беленькое облачко, а ещё немного спустя слышен отдалённый звук разрыва: «бах!» Так эта картина повторяется несколько раз, пока окончательно не исчезнет вдали удравший воздушный пират! Картина, если смотреть со стороны, совсем невинная, даже забавная. <...>

А пока что мы сидим здесь в своей избушке без окон и дверей. Погода тёплая, спится хорошо. Дела, конечно, сейчас никакого. Читаю рассказы Бунина: «Чаша жизни». Я люблю Бунина. Из всех современных русских писателей его талант самый симпатичный — искренний и серьёзный. Его описание реальное, иной раз даже с оттенком натурализма, и всё-таки его тона, в общем, мягкие, нежные, слегка грустные, немного чеховские.

Другое развлечение у меня — это беседы с младшим врачом сан.-гигиенического отряда Сергеем Гавриловичем Матвеевым¹, очень симпатичным и вдумчивым человеком, интеллигентом в лучшем смысле этого слова. Беседуем о том, о сём... Он сам харьковский, там и работает в лаборатории. Жена его тоже врач. Говорим о своих жёнах...

Р[адомышль?], 18 августа 1915 г.

Вот мы опять на новом месте, и опять я вчера не мог тебе писать. Вчера утром мы ещё вставали, как ни в чём не бывало, а в 12 часов дня уже выступили. Нужно было сделать переход в 40 вёрст. К счастью, лошади отдохнули, и поэтому дело пошло гладко. В самом же начале нашего путешествия в экономии одного села я купил за 25 рублей у спешно отъезжавшего управляющего бричку, очень удобную и поместительную. Запрягли в неё наших «верховых», и дальнейшее путешествие пошло уж совсем удобно. Стали встречаться на пути всё чаще и чаще беженцы, «утикающие» со всем своим жалким крестьянским скарбом. Чрезвычайно тягостное впечатление производят они... Местами они скопляются большими таборами. Чувствуется полная растерянность и беспомощность. Разразилась гроза, и нам приходилось перелезть через два высоких холма по густой грязи. Рядом с нами шли беженцы. Клячки их застревали, телеги наезжали одна на другую, коровы и овцы разбрелись в разные стороны... Печальная картина.

Приехали сюда мы только ночью. Последний отрезок пути уже знакомая мне по недавней поездке дорога. Здесь в Р[адомышле?] устроились опять в крестьянской хате. Множество мух не дают покоя. Тут я сделал одно приобретение: на столе находилась небольшая скатерть, вышитая хозяйкой. Я предложил ей продать мне и уплатил ту цену, которую она назначила. Скатерть малоценная в художественном отношении, но любопытная как воспоминание.

Приходится прервать. Только что получили приказ немедленно же выступить дальше в Д[убно]; а уже 7 часов вечера. Будет опять путешествие!

Д[убно], 19 августа 1915 г.

Да, Шурочка, уж и было путешествие! Никогда его не забуду. Вот теперь я опять валюсь от усталости. Только что поспал и сейчас опять лягу спать.

Выехали мы вчера по шоссе, а тут уж толпились обозы разных частей нашего корпуса вперемешку с телегами и скотом беженцев. Сначала было темно, но скоро уж запылали кругом большие костры сжигаемого на полях хлеба, и стало совсем светло. На севере далёкое зарево на весь горизонт, а кругом близкое зарево бесчисленных костров... За полчаса до отхода я за полкопны овса в селе заплатил два рубля, а теперь всё это горело так, зря... На шоссе стихийное движение. Тут нельзя было ни самовольно останавливаться, ни объехать. Беженцы

¹ Матвеев Сергей Гаврилович — врач, из Лебедина Сумской губ. Дружба с «Гаврилычем» оказалась прочной, а судьбы друзей схожими. Последний раз Фр.Оск. навещил его в 1957 г. Отработав четыре года в лесном Вологодском краю, он при выходе на пенсию заехал на север Кировской области, где Сергей Гаврилович с женой жил после своих лагерей и работал бактериологом в лаборатории местной сельской больницы.

быстро очутились в стороне от дороги, и дальше шли уж исключительно только казённые обозы. Шли бесконечной чередой...

Вначале я со своими четырьмя подводами пытался объезжать. Пришлось бросить. И вот мы шли всю ночь. Временами стояли с полчаса без движения, временами неслись бешено вскачь, временами шли только шагком. Скоро образовался всё-таки второй ряд. Получалась иногда какая-то бешеная скачка, дикая охота. Раз мы долго стояли, я пошёл вперёд согреться. Потом сразу все тронулись вволю, и я потерял своих из виду. Сел в лазаретную линейку до рассвета. А утром, когда все шли шагом, я слез и пошёл пешком вперёд разыскивать. Прошёл так несколько вёрст, но разыскал. Слева от нас, сравнительно недалеко (вёрст 8—10) всё время, всю ночь бухали пушки. Чем дальше, тем чаще встречались таборы беженцев, тем спокойнее становилось их бегство. Воистину великий исход!..

Сюда в город приехали уж только к 9 часам утра. Завтра больше; сейчас не могу.

Д[убно], 20 августа 1915 г.

Пишу тебе сегодня до некоторой степени в праздничном настроении. Ты недоумеваешь, почему? А вот почему: я сегодня далеко отбросил мысли о войне и её ужасах. Говорят, что, вероятно, мы здесь простои́м некоторое время, дела же у меня пока нет никакого. Вот я и занялся устройством своего нового помещения. Обставляю, насколько возможно уютно.

Мы попали удачно. Въезжая в Д[убно], мы завернули в первый попавшийся свободный двор. Тут оказалось всё необходимое для обоза, лошадей и команды. А в нашем распоряжении оказались две больших пустых квартиры и небольшой запущенный фруктовый сад с такими же цветниками! Вчера я не был в состоянии рассмотреть что-либо. Сегодня же утром проснулся от шума и возни. Оказалось, что ночью в верхнее помещение пробрались казаки и к утру перерыли там всё вверх дном. Пошёл я туда посмотреть, что они натворили. К счастью, всё мало-мальски ценное хозяева убрали вовремя, остались только вещи ненужные. Но удивительно, с каким талантом казаки перерыли и этот хлам. Даже шкаф с книгами весь распотрошили. Стал я разбираться в этих книгах: почти сплошь только одни бесплатные приложения к разным семейным журналам, вроде «Рудин»¹ и т.п. — одним словом, книжная макулатура. Но, навозну кучу разгребая, петух нашёл жемчужное зерно: нашёл и я полное собрание сочинений Г. Гауптмана на русском языке в издании «Нивы», конечно, даже не разрезанное. Взял к себе вниз почитать.

Но читать хорошие книги надо в хорошей обстановке, и вот я создал у себя уют. Я пошёл в сад и нарезал там себе цветов, набрал фруктов, душистых и свежих, обставил комнату мягкой мебелью. Пишу вот тебе за настоящим красивым письменным столом. И вот вообразил себе, что я вместе с тобой праздную нашу годовщину! Правда, ещё почти две недели до неё, но удастся ли в этот день создать тот внешний комфорт, который явится рамкой для внутреннего праздника? Будут ли тогда в моём распоряжении цветы? Может быть, нет. Так лови же момент.

И вот у меня в комнате три больших букета: первый высокий из пышных снежно-белых цветов (кажется, флоксы) с одурманивающим медовым запахом.

¹ «Рудин» — литературный журнал, издававшийся в Петрограде в 1915—1918 годах.

Стоит он на стройной изящной этажерке такой праздничный, декоративный. Второй букет стоит на маленьком столике, накрытом малороссийской скатертью. Он без запаха. Состоит он из холодных и гордых цветов осени: эти мохнатые красные и лиловые астры так ярко выделяются на белом фоне стены. И так идёт к ним пузатая ваза из тёмно-вишнёвого стекла! Третий букет скромный. Стоит он передо мной на письменном столе и сливает свой нежный аромат с тем, пышных белых медовых цветов: это душистый горошек наивно заглядывает в моё письмо. Так пусть же лепесток один дойдёт и до тебя!.. [В письмо действительно вложен засушенный жёлтый цветок.] <...>

Вот в этой обстановке, которая мне казалась созданной тобой, и я взялся перечитать «Затонувший колокол» Гауптмана. И снова трогательный образ Раутенделейн встал передо мною и сливался с твоим образом. <...> Это ты мне поставила эти цветы, и с тобой я читал эту чудесную сказку-драму о мастере Генрихе и лесной фее Раутенделейн! Ну, скажи, Шурочка, разве это не праздник? Не достойная годовщина?

Д[удно], 21 августа 1915 г.

Пишу тебе под впечатлением отвратительного зрелища. Может быть, не следовало бы тебе писать об этом, но как же я не должен делиться с тобой. <...> Катович накупил себе сегодня вина и напился. Пьян до последней степени. Я не могу себе представить более омерзительной картины, как интеллигентного человека, который доходит до чёртиков. Самое скверное тут то, что он напился в полном одиночестве, и обнаружилось это для меня совсем неожиданно. И ещё скверно то, что в пьяном виде он стал совсем отвратителен, стал ругаться и третиловать людей, обнаружил весьма невысокого полёта душу. Одним словом, он оказался весьма малокультурным человеком.

Другие люди, подвыпив, впадают в весёлое настроение, хотя обнять весь мир. Иные же становятся мрачны и молчат, пока не уснут. Третьи же просто безобразничают, обнаруживая все свои дурные инстинкты. Он оказался принадлежащим к третьей категории. Я не осуждаю его за то, что он выпил. Этот грех простителен. Быть может, ему и в самом деле было тяжело, и он хотел забыться на мгновение. Но что меня возмущает, это то, что и в пьянстве он выказал так мало благородства, что он просто-напросто уподобился самой последней скотине, что в нём проснулись инстинкты насильника, что он порывался избивать, обругать, уничтожить и подавить чужую личность!.. А этого я ему простить не могу. Ты знаешь, что в моих глазах это единственный грех, который не прощается. Для меня он теперь уж не человек, а скотина, которую и приходится держать за такую. Вот он бессмысленно воет в соседней комнате. Какая гадость! Господи, как мы некультурны! «В штыки его, в штыки его!» Это он бессмысленно повторял в течение получаса. Это бессознательно твердит человек, который принадлежит к расе издревле поработаемой и угнетаемой! Человек, который даже при верховой езде выказывает такую трусость, что становится тошно... Какая тупость и какая низость! <...>

Если ты ещё раз попросишь меня передать привет Катовичу, если ты ему и это простишь..., то, прости, Шурочка, я твоего поручения не исполню, не могу. Он стал мне противен, а это смерть!..

Д[убно], 22 августа 1915 г.

Последняя газета, которую я читал, от 16 августа. С тех пор я только немножко знаю, что творится в нашей непосредственной близости. Совсем не знаю, как положение Риги, что там делается. Так и живём в ожидании газет...

Сегодня мне опять пришлось объехать район в 20 вёрст, обследовать его в санитарном отношении. Ехал почти всё время под дождем. Туда по грязи, обратно по шоссе. Попал в целый ряд чешских колоний. Ближе знакомлюсь с бытом и психологией волынских хохлов. <...> Эти объезды дают мне очень много, и я ими дорожу. Видел опять громадные таборы беженцев, видел бесконечные их вереницы, тянущиеся по шоссе. Идут они и идут, а куда — сами не знают, просто «утикают»... Какое это горе, и какой ужас! Вот, например, большое село П[ереросля]¹, в семи верстах от Д[убно]. Заехал туда третьего дня утром казак и заявил, чтобы все скорей удирали, так как будто бы за ним «идут позиции» и скоро будут здесь. И что же? Через несколько часов всё село опустело, а жители, наскоро нагрузив свои телеги, уже тянулись по шоссе. Слух оказался ложным, однако жители не решаются возвращаться и остановились табором в пяти верстах от своего села. Тем временем в опустевшем селе остановились другие беженцы, шедшие позади, появились новые хозяева. Всё перевернули вверх дном. Остатки имущества расхитили, огороды раскопали, овёс и сено поел скот... Вернулись пятеро из прежних хозяев, стоят в раздумье около бывших своих хат...

По сторонам шоссе местами валяются трупы лошадей и коров. Их (то есть не трупы, а живых) продают за бесценок, только бери... В одном селе какой-то вымогатель в форме солдата (оказавшийся не солдатом) ходил по избам, угрожая спалить по приказу начальства, — и ему давали... Когда он, наконец, случайно наткнулся в избе на солдат, которые его задержали, у него оказалось 550 рублей! И это не единичные случаи, это теперь чуть ли не правило.

Полная растерянность, полная беспомощность населения!..² С этой задачей не справиться и Земскому союзу. Это моё убеждение. Что значат единичные пи-

¹ большое село Переросля, в 7 км от Дубно.

² Колоссальный, невиданный доселе, поток беженцев явился полнейшей неожиданностью для властей, которые, так же как и общественные организации, оказались совершенно не подготовлены к «великому исходу» населения из западных губерний. В своих письмах Ал.Ив. писала: «В деле оказания помощи беженцам царит полнейший хаос. Существует несколько организаций, которые вместо совместной работы, друг с другом конкурируют» (23 августа). «Остановились трамваи. Что будет дальше? Вот вопрос, который постоянно приходится повторять. Настроение напряжённо-выжидательное. Что будем дальше делать с больными? Всё переполнено, девать некуда, а новый поток больных всё прибывает и прибывает. Дежурить — одна пытка. Ведь теперь население Москвы увеличилось на 600 000. Немудрено, что старых больниц не хватает. Так-то, мой милый» (5 сентября). «Наплыв больных не прекращается. Даже сам Ник.Ник. Вильям теряет самообладание, видя всю ожидалку, полную больными. <...> Завтра у нас <...> обсуждение, сколько и каким образом мы можем уделить времени для помощи беженцам. Думаем взять под своё наблюдение Брянский вокзал. Только вот денег нет, а с голыми руками и с одними медицинскими советами далеко не уйдёшь» (14 сентября). «К стыду своему, мы ещё не приступили к участию в помощи беженцам. Наши представители всё заседают, что-то

тательные пункты и т.п. в этом море нужды и горя!.. Великий полупринудительный полустихийный исход!

Д[удно], 23 августа 1915 г.

Сегодня не жди от меня письма. С утра дан приказ приготовиться к передвижению в другое место. Сейчас уже вечер, однако, приказа выступить всё ещё нет. Быть может, и не будет, и мы здесь переночуем. Но это состояние ожидания мешает сконцентрироваться, лишает необходимого спокойствия. Цветы вянут, не хочется срывать новые без уверенности, что ими ещё придётся наслаждаться...

Тепло, но идёт дождь. Перспектива не особенно приятная. Писем и газет всё ещё нет. Возобновила ли ты абонемент в Художественный театр? Как у вас там, в Москве? Какие настроения?..

Д[удно], 24 августа 1915 г.

Почему ты сейчас не можешь быть у меня?! Это так обидно! Вот я сегодня нарезал себе массу цветов в саду, оставил ими всю комнату. У меня теперь целых шесть букетов! Из них два больших букета из астр, таких крупных, лохматых, похожих на хризантемы; они здесь великолепны. А передо мной на столе стоит небольшой скромный букет из наивных анютиных глазок. Ведь ты их тоже так любишь. Есть ещё букет из садовых жёлтых ромашек с резедой. А вместо тех белых пряных я поставил в вазу столь же декоративные цветы, названия которых не знаю: они высокие, на прямых стеблях, к бокам которых как бы прилеплены яркие красные махрово-бархатные подушечки или шишечки цветков. Каждый в отдельности мало красив, палкообразен. А собранные вместе они производят эффект.

У меня сейчас благодаря цветам так уютно и приветливо в комнате, вот только тебя нет...

Шурочка, знаешь, чем я сегодня весь день занимался? Мечтами и грёзами о будущем! Поверишь ли? И мечтал на этот раз не столько о нашей будущей совместной жизни, которая не может быть иной, как только светлой и радостной, а о тех внешних рамках, в которых она будет протекать, о том, какова будет наша работа, где нам удастся воздвигнуть свой «семейный очаг».

Так же, как и ты, я всё больше убеждаюсь, что Морозовская больница не поле нашей будущей деятельности: ты её не хочешь, а мне после войны труден будет доступ в неё... Так что же тогда? Карьера вольнопрактикующего врача без больницы мне ненавистна так же, как и тебе. Но где же взять больницу? Вот тут и начинаются мечты: вот если бы достать необходимое количество тышчонок (8—12 000!), то можно было бы устроить свою собственную лечебницу по собственному вкусу, вот в компании хотя бы с Кутей! Ты заведовала бы лабораторией, а мы с Кутей делились бы в административных функциях. Клиническая часть принадлежала бы всем троим. Если бы в Москве нельзя было бы рассчитывать на успех, то можно было бы где-нибудь в провинции, хотя бы в Екатеринославе. Там и жизнь дешевле. У нас было бы большое помещение, собственное неболь-

разрабатывают, ну и мы ждём общего заседания и сидим...» (22—23 сентября). «Когда же, наконец, кончится эта ужасная по страданию волна беженцев?» (24 сентября).

шое хозяйство, сад фруктовый и цветы, цветы, сколько угодно! Связь с центром, с Москвой мы бы не порывали, часто бы ездили туда на съезды, проветривались бы. Летом за границу, в шхеры, на Кавказ, в Крым! И ребятам лучше вырастать в провинции, чем в большом городе... Вот только бы сначала капиталец приобрести!.. Ну как перспективы, Шурочка?

О[строг]¹, 25 августа 1915 г.

Вот мы опять на новом месте, Шурочка... Ещё вчера вечером я ложился спать с известной уверенностью в прочности нашего стояния в Д[убно], а в 2 часа ночи нас разбудил казак, присланный от корпусного врача (нового) с извещением, что надо сейчас же выступить, и уже в половине третьего мы катили по шоссе всё в том же восточном направлении...

Переход небольшой, всего только 24 версты. Приехали в 7 часов утра. Последние 7 вёрст сделаны не по шоссе, а по столбовой дороге, по непролазной грязи. Теперь я понимаю, что в России приходится воевать с пятой стихией, с грязью... Вот тут-то германская артиллерия застрянет наверняка! Если только они не успели уже придумать какое-нибудь средство от неё.

Сейчас, конечно, мне опять сильно хочется спать. Всё-таки утомился. Это теперь частый припев моих писем. <...> Вероятно, это скоро пройдёт: поговаривают, что здесь мы будем стоять прочно, быть может, даже долго. <...>

Знаешь, Шурочка, а астры твои и сейчас стоят передо мной на столе! Я их всё-таки захватил с собой, жаль было с ними расстаться.

О[строг], 26 августа 1915 г.

Сегодня тут пронёсся слух, что будто бы Рига сдана, а потом отрицали. Ясно для меня одно, что письма мои туда уже не дойдут, что не стоит писать... Связь порвана! <...>

А наша старая Москва, по-видимому, опять хочет доказать, что она в самом деле сердце России, опять на себя берёт почин, инициативу... Что будет дальше? Во что выльются все эти стремления, эти чаяния?!.. Какие знаменательные, какие интересные времена! <...>

Как хорошо быть сейчас в Москве, в центре всего идейного движения! Хочется присмотреться, изучить, наблюдать. Хочется быть в самой гуще жизни, а не на задворках её. Хочется общения с людьми мыслящими, стремящимися. У нас тут провинция, самая захудалая провинция. Правда, у меня есть книги, хорошие книги, но они всё-таки далеки от современности. Они интересуют, даже волнуют, но не дают ответа на то, что нарождается, что только формируется.

Может быть, из нашего далека мы преувеличиваем, может быть, мы грешим аберрацией, но мне кажется, что нарождается в народной психологии нечто в самом деле новое, непохожее на всё то, что мы видели за последний год. Правда, только нарождается, скрытое всё ещё целыми наслоениями ненужного, пережитого, сумбурного. Но переворот чувствуется. Надвигается какой-то новый век, непохожий на все прошедшие. Да и не может эта чудовищная война не всколыхнуть, не потрясти до глубины народной психики. Сначала надлом, а потом перелом неизбежен...

¹ Село Острог — не надо.

Что будет — лучшее или худшее? Думаю и верю, что лучшее, несмотря ни на что. Народная душа очистится от толстого слоя наносной пыли. Не только у нас, нет. Везде, — и у друзей, и у врагов, — и культура, истинная культура, сделает шаг вперёд! — Так ли?

О[с[т]рог], 27 августа 1915 г.

Писем всё нет и нет. Газет тоже. Живём совсем отшельниками, отрезанными от всего милого, близкого. <...> Правда, и тут много любопытного и даже поучительного. Вспоминать буду с интересом, рассказать есть о чём. Но тут я только наблюдатель. От меня тут ничего не зависит, я ничего изменить не могу. Даже работа наша теперь, при частых переходах, сводится больше к очистке и уборке штабных помещений и т.п. Собственно санитарной работы в войсковых частях сейчас нет. Не здесь поле нашей деятельности. <...> Не то, чтобы я утомился ждать и начинаю разочаровываться в жизни. Нисколько. Но ведь уже второй год мы воюем! Дни проходят и лучшие дни, столь драгоценные дни...

О[с[т]рог], 28 августа 1915 г.

Я тебе ещё до сих пор не описывал, где мы тут остановились. О[с[т]рог] — это не то село, не то местечко, битком набитое евреями. Поперёк села — большая столбовая дорога, отличающаяся своей почти абсолютной непроходимостью в последние дождливые дни: ноги вязли, галоши застревали, дух захватывало от тяжёлой физической работы. По бокам — жалкие облезлые лачужки. Вот в этих лачужках нам и пришлось разместиться. Нам завидуют, говорят, что хорошо устроились. И в самом деле — ничего себе: заняли вдвоём целую комнату (корпусной врач помещается в комнате с четырьмя другими!). Стены окрашены в скверный синий цвет. Пол глиняный, несёт от него какой-то неопределённой кислотой. Поставили свои складные стол и три табуретки, развернули походные кровати, загромождали угол багажом, — и получился известный уют! Конечно, относительный, но всё-таки!

У евреев какой-то праздник, кажется, Новый год¹, и вот уже третий день по вечерам (и сейчас) из соседних комнат доносится их молитвенное завывание. Прямо тоска. Станный они народ. Какой-то древностью они пропитаны, совсем к современной жизни неподходящей.

Сегодня я сделал новое приобретение. Только не называй меня транжиркой. Расход необходимый и всецело себя оправдывает. Купил я у крестьянина-беженца пару лошадей со сбруей и телегу. Заплатил ему ту цену, которую он сам запросил — 80 рублей за всё! Это, конечно, дешевле пареной репы. Эту цену я всегда выручу, даже при продаже во время демобилизации, когда всё будет продаваться за бесценок. А необходима была покупка вот почему: груза у нас для четырёх телег много, при больших переходах лошадям тяжело. Когда же приходится для пополнения средств и запасов командировать кого-нибудь с подводой в полевую аптеку или интендантство, — я остаюсь с тремя повозками, которые в случае надобности всего груза поднять не могут. Конечно,

¹ Еврейский Новый год (Рош а-Шана) праздновался в 1915 году с вечера 26 августа до вечера 28 августа.

следовало бы обзавестись казённой повозкой, но для этого требуется особое ходатайство и долгая переписка — когда ещё это будет! Лучше куплю за свой счёт. Так я и сделал.

Вообще эта канцелярия не даёт мне покоя. Не могу я никак её наладить. Всё ещё *in statu nascendi*¹. Вот это уже прямо тоска смертельная. И чем дальше в лес, тем больше дров, тем запущенней становится всё. Прямо горе.

О[с[т]рой], 29 августа 1915 г.

Шурочка, ура! Восстановилась связь, хотя пока ещё неполная: получил сегодня от тебя после большого промежутка первое письмо. Правда, ещё от 14-го числа, но всё-таки! <...> Получил также запоздавшее, очевидно, письмецо от Карлуши. Он дату не проставил, и по штемпелю тоже не разберёшь, но, кажется, что письмо от 6-го приблизительно числа. Пишет, что они с Артуром записались в милицию. Лени даёт уроки, Эдит сидит без дела, мать нервничает, отец читает газеты и занимается стратегией. Вилли пока ещё работает на месте у «Проводника», который частью переехал в Москву. Сам Карлушка получил, наконец, отсрочку по воинской повинности. В общем, как он выражается, живут они все удовлетворительно.

Благодарю покорно за такое удовлетворительное состояние! Вот и я тоже живу, в общем, «удовлетворительно». Научаются люди скромности в своих требованиях, приходится поневоле...

Ты недоумеваешь, почему я не советую родителям переезжать в Москву. Я тебе уже писал о своих доводах и теперь могу только повторить то же самое. Нет хуже состояния, как оторванного от всего своего семейного уклада беженца. Это великое несчастье, с которым не может сравниться ничто другое. И это в значительной мере относится и к более состоятельным беженцам. Я думаю, не следует бросаться в этот общий поток. Суд истории в этом вопросе, я в этом уверен, будет суров!.. Для матери, как я думаю, имеет значение ещё одно обстоятельство: скоро наступит годовщина смерти брата. Трудно ей будет оторваться от места, где протекали его последние дни, оставить одинокой в этот день его могилу...

Говорят, что завтра наш штаб, а значит, и мы, переедем в местечко М[изоч]², в 12 верстах отсюда, где имеется большой сахарный завод и фольварк, другими словами, более удобные помещения. В самом деле, здесь в селе до тошноты убого, серо и грязно. После Д[убно] всё хочется лучшего.

А цветы из Д[убно] всё ещё стоят на столе, кивают головками, шлют тебе привет. Удивительно, как долго они сохраняются.

Газет ещё не получали.

М[изоч], 30 августа 1915 г.

После обеда мы переехали сюда, в М[изоч], в двадцати верстах от родины **Катовича!** Штаб ещё не переехал, но санитарно-гигиенический отряд уже здесь. Тут места много, хоть отбавляй. Мы остановились в одном из зданий сахарного

¹ *in statu nascendi* (лат.) — в состоянии зарождения, в самом начале.

² Примерно в 25 км восточнее Дубно, южнее Ровно.

завода, где заняли две комнаты. Стены белые, имеется приличная мебель, простора много, чисто. Зашёл в фольварк: громадный парк, пруд, белые колонны, ржаво-красная черепичная крыша и ржаво-красный осенний дикий виноград, тесно обвивающий весь господский дом. Красота! Закат над прудом! А на севере гудит артиллерийская стрельба, почти непрерывно. — Вот контраст.

Утром в О[строге] успел ещё получить газету (К.М.¹) с 24 до 28-го числа (!) и письмо от матери от 18-го! Пишет много и обстоятельно. Впечатление такое, что они уже немного привыкли к обстановке. К чему не привыкает человек! В конце письма упоминание, что начинаются для неё тяжёлые дни, дни воспоминаний. Уже с 18 августа брат стал жаловаться на недомогание... Оказывается, что я был прав в своих предположениях.

М[изоч], 31 августа 1915 г.

Штаб сюда ещё не переехал, а потому нет здесь и писем. <...> Сделал благое дело: когда узнал, что штаб не переезжает, я послал Катовичу предписание такого рода: предлагаю отправиться для санитарного осмотра мест расположения беженцев по дороге М[изоч] — О[строг], другими словами, дал ему командировку на свою родину! Велел подать ему бричку. Срок назначил до завтрашнего вечера. Я думал, что он тотчас же сядет и поедет. Но нет, он провозился ещё целых два с половиной часа и даже послал, в конце концов, денщика узнавать, не готов ли обед! Не могу отказать себе в удовольствии упомянуть об этом мелком факте. Какой характерный штрих! Нет, ты только подумай: он дожидается обеда, когда ему дают возможность поехать на один день домой! А ты, Шурочка, ставишь мне в вину излишнее благоразумие и расчётливость. Нет, ты не права, я в этом теперь убедился. Когда я ездил к тебе на один-полтора дня, я об обедах не думал.

Ну, Бог с ним, пускай едет себе мирно. Я ему не враг, но не люблю я такого сорта людей и это не скрываю, не умею и не желаю скрывать.

Сегодня, наконец, опять хорошая погода. Грязь начинает понемногу подсыхать, а это уже большой плюс, о значении которого я в Москве мог только догадываться. Я сегодня даже погулял на лоне природы с товарищем Барченковым (москвичом, врачом штаба корпуса) и двумя сестрицами из Бессарабского земского госпиталя. Ты не ревнуешь? Мы обедали в этом госпитале, а потом пошли гулять. Сколько слив и яблок! И красивая холмистая местность, солнце! <...>

Сегодня же приехал из командировки один из наших санитарных врачей, доктор Алфеевский. Привёз газету от 30-го числа, вчерашнюю газету! Ты только подумай: я читал известия и знал, что это и есть в самом деле свежие новости, а не старый маринад, как обычно. Впрочем, утешительного вычитал мало. Всё это уже было — разговоры, разговоры и только. Самое интересное явление — это Гучков². Милюков только раздражает, как и вся кадетская послушная ему

¹ К.М. — здесь и далее: газета «Киевская мысль».

² Гучков Александр Иванович (1862–1936) — лидер партии 17 Октября, председатель III Государственной думы, член IV Думы, блестящий оратор, военный и морской министр в первом составе Временного правительства, затем председатель Центрального военно-промышленного комитета, один из лидеров Белого движения и антибольшевистской эмиграции.

партия. Страдают они каким-то роковым недомыслием с обильной приправой оппортунизма. Мелкие люди, и мелко они плавают.

А всё-таки любопытное времечко!

М[изор], 1 сентября 1915 г.

Шура, вот опять годовщину мы справляем, опять разделённые и столь близкие. <...> В комнате у меня празднично: я зажег целых 5 свечей (!) вместо обычных двух, стол накрыл только что полученной от прачки малороссийской скатертью, а на стол поставил вазу с душистым горошком и полевым маком, ярко-красные лепестки которого мне всё напоминают прошлогоднее поле близ Волочиска... Ты помнишь? К вазе прислонил твою фотографию: вот пишу и смотрю на тебя, моя милая.

И стены я разукрасил, да ещё как: нарвал в саду много веток спелой рябины. Ещё днём получилось очень красиво, а сейчас прямо эффектная картина: тёмно-зелёными сочными пятнами с прихотливыми очертаниями выделяются ветки на белой стене, а внутри их зелени яркими драгоценными рубинами горят полные грозди тёмно-красных ягод. Это так красиво! <...> Весь день сегодня стояла такая чудесная погода. Ласково грело солнце, и тишина стояла над прудом. <...>

Штаб сегодня переехал сюда. Вероятно, стоять здесь будем порядочно — дай Бог! Завтра возьмусь за будничную работу: канцелярию, объезды и т. д. Организации почти никакой, вернее — никакой! Горе безысходное, неисчерпаемое!

М[изор], 3 сентября 1915 г.

Весь день стояла чудная ясная погода. После обеда гулял с товарищами (Барченковым и Матвеевым) по парку фольварка — старинный барский парк¹. Сколько цветов, и какое разнообразие их!

Глядя на них, я пришёл к заключению, что всё-таки недурно быть богатым. Жаль, что в этом отношении у нас надежды плохи, не дано природой этого таланта.

На берегу пруда полуразвалившийся грот. На камнях его странная полустёртая надпись на польском языке. Какие празднества, какие пиры тут некогда задавались! Вот в этих тёмных аллеях гуляли ясновельможные паны и очаровательные панночки, и сколько раз, вероятно, раздавалось: коханочка милая, люблю тебя!

<...> Вчера, написав тебе письмо, я занялся чтением «Скунталы», поэтической индийской лирической драмы. Наивно, но трогательно она написана; много перлов, поэтических красот. Достойное чтение в такой день! <...>

Кстати, и ещё о книгах: заходил ко мне сегодня Барченков, а уходя, заглянул в чулан. Там он увидел ящик со всяком хламом, между прочим, и с книгами. Вытащили на свет Божий и стали разбирать — оказались все тома «Вестника знания»² за несколько лет и приложения к нему. Среди этих последних немало любопытных, которые мы и отобрали, и из которых решили составить нечто вроде походной библиотеки; любители найдутся. Книжки эти заброшены и для собственника, очевидно, никакой ценности не представляют. Таким образом, мы совершим благое дело на пользу просвещения.

¹ С XVII в. Мизочем владели польские магнаты Карвицкие.

² «Вестник знания» — научно-популярный журнал и издательство.

М[узор], 4 сентября 1915 г.

Сегодня я получил твою посылку и два старых письма. <...> Посылка твоя очень хорошая, страдает только одним вполне исправимым недостатком: мало шоколада! Дело в том, что товарищи, особенно Барченков, любят хороший шоколад, и каждый раз им у меня угощаются. А у меня как раз вышел весь запас Тоберовского шоколада, Абрикосовского тоже скоро не станет. <...> Спасибо тебе большое за книжечки, особенно за Абрамова и Афанасьева. Уже Катович забрал две брошюры, две забрал Барченков. Тарасевича я уже читал здесь у Матвеева в сан.-гигиенич. отряде. <...>

В своём письме ты смеёшься надо мной, что уже перестал посылать тебе денег. Подожди, с Божьей помощью, скоро опять пойдут от меня к тебе золотые или, вернее, бумажные горы. Во время отступления нашего я не успел ещё выписать себе жалованье и в настоящий момент даже не знаю, сколько у меня должно быть собственных денег. Поэтому не высылаю. Вот ужо разберусь... Ты ведь у меня, слава Богу, тоже не очень скопидомная! <...>

Сегодня я ездил с отрядом за 10 вёрст отсюда [*цензурой вымарано 6 строк*]. Ездил верхом на другой, большой лошади. Почему-то сегодня от езды получил большое удовольствие. Хорошо было возвращаться полями и лесом в темноте, при свежем ветерке. И сердце не шалит.

М[узор], 5 сентября 1915 г.

Позвали меня сегодня как специалиста в Бессарабский госпиталь, посмотреть, нельзя ли вынуть трубку у трахеотомированной девочки. Трубка лежит уже неделю. Т° нормальная, общее состояние прекрасно. Я, конечно, решил канюлю [*трубку*] вынуть. Результат получился хороший. Сразу же ребёнок стал дышать нормально, вполне свободно. Как приятно всё-таки иметь дело с хорошо знакомой привычной специальностью. Я сразу почувствовал себя на своём месте.

Сделал ряд снимков в парке фольварка. Ходил там с Барченковым, с которым мы всё больше сходимся. Он человек немного язвительный и саркастический, плешивой своей физиономией напоминает мне несколько летнего фавна, но высокообразованный и хорошо воспитанный. Интересный собеседник. Во многом мы с ним не сходимся, но его суждения — это не банальные фразы толпы, это продуманное, основанное на знаниях мнение. Его сарказм мне не мешает, я отвечаю тем же. Ко всему прочему, он москвич. Кончил Московский университет в 12-м году. Общих точек соприкосновения и воспоминаний достаточно. Он ординатором в нервной клинике у Статкевича¹. Думает после войны бросить всё и уйти в провинцию. Думает, но не решается. Так что и в этой сфере у нас нечто общее.

Сегодня он долго сидел у меня. Мы болтали о том, о сём. Я ему, конечно, рассказал о тебе. Ведь я не могу без того, чтобы не похвастаться своей женой перед новыми, стоящими этого знакомыми.

Матвеев тоже очень интеллигентный и хороший человек. Он мне нравится, и я чувствую себя с ним очень легко и хорошо, в особенности, когда он начинает

¹ Клиника нервных болезней при Московском университете. Статкевич Павел Григорьевич (1870 — после 1917) — экстраординарный профессор кафедры физиологии медицинского факультета Московского университета.

говорить о своей жене, и я могу говорить о своей. Вот Барченков о своей не говорит почему-то, зато говорит о ребёнке, о чём любит говорить и Матвеев. Тут мне пока приходится молчать... Ну что же! Придёт время, и мы будем хвастаться успехами своей Ирины и своего Бори. Ещё немножечко!

Последние дни дела нашего корпуса идут успешно. Поговаривают о скором переходе нашего штаба вперёд, вероятно, опять в [Дубно]. Жаль бросать здешний симпатичный уголок.

Завтра мне придётся поехать в интендантство, 20 вёрст отсюда. Там поблизости и почта. Кстати, справлюсь и у них. Погода портится, дует сильнейший холодный ветер, набегают дождевые тучи. Наступает опять осень. Лето прошло как-то незаметно. Осталась в памяти чудная весна, великолепный наш май... Затем в отношении погоды что-то неопределённое, под поверхностью сознания, а вот теперь осень.

А мы всё воюем, воюем... «А он всё просрачивает и просрачивает»... Помнишь эту цитату из Кони?

М[изот], 6 сентября 1915 г.

Ура, ура, ура!!! Получил от тебя сегодня целых 6 писем!!! Вот когда они понемногу собираются. Так удачно съездил сегодня на почту. Уж и погода была! Насилу доехал: такой сильный холодный ветер, грязь, полосами дождь. Но теперь не обидно; было бы обидно не получить ничего, напрасно мёрзнуть. <...>

По дороге, когда можно было, я читал сегодня «Русские ведомости» от 11 августа. Мне там показалось интересной статья Лурье¹, и я даже думал послать тебе эту статью. И вот я получаю сегодня же твоё письмо, где ты упоминаешь сама об этой же статье... Как это хорошо! Я люблю такие «случайные» совпадения, которые, в сущности, совсем не случайны. Жаль только, что ты раньше пропускала Лурье. Он мне дал для правильной оценки всего того, что совершается больше, чем все прекрасные передовицы вместе взятые. Он даёт факты, а они иной раз очень красноречивы. <...>

Ты пишешь мне, чтобы я продумал хорошенько, что тебе делать по окончании срока². Милая, я думал об этом неоднократно. И вот моё мнение: мне

¹ Лурье Семён Владимирович (род. в 1867) — журналист, сотрудник «Русских ведомостей», «Русской мысли», ряда философских журналов.

² Подходил к концу срок ассистенства Ал.Ив. в Морозовской больнице. Служба в этой больнице не удовлетворяла её. 24 августа 1915 г. она писала: «Сегодня я твёрдо решила служить здесь только до января — так что-то всё это надоело: бесцельная трата времени со старшими врачами, дежурства. Хочется скорее вздохнуть полной грудью, выйти из всей этой ненужной опеки. Вчера в таких симпатичных красках обрисовала деятельность земского врача одна из коллег-гостей. Или, может быть, я опять начинаю уставать. Ведь сейчас приходится мне работать в отделении по 7—8—9 часов. Правда, конечно, много сейчас [такой] необязательной работы, как бактериологические исследования, но ведь без них дизентерия безнадежно однообразна. А главное — отчаянный материал: везут накануне или за два дня до смерти. Ну, скажи, что тут, кроме канцелярии, делать? На меня этот материал действует самым угнетающим образом». Установившиеся в больнице порядки вызывали у неё ассоциации с политической системой государства: «Холодно,

кажется, что тебе надо будет в январе уйти из Морозовки, вероятно, окончательно. Она тебя не удовлетворяет. Ты постоянно будешь с ней воевать, а эта война действует на тебя удручающе. Мира у вас с Алексеевым нет, и не будет. Бывает только перемирие, а этого недостаточно для длительной совместной работы. Лучше разойтись. Если бы мы были вместе, ты бы примирилась со своей работой, с ограниченной своей инициативой. Так же нет. Так тебе всегда будет казаться, что Морозовка тебя давит, что она причина всех зол. Конечно, это правда, это так и есть, но всё-таки не в такой уж степени. Тебе теперь необходима перемена работы и условий её, как воздух. Иначе ты задохнёшься, всё равно не дотерпишь.

Лучше всего тебе взяться за то же, за что взялась Вера Михайловна: уйти в один из союзов и работать на широком поприще общественной помощи¹. И эта работа принесёт тебе немало разочарований, и тут иное не пойдёт так, как тебе хочется, но всё-таки это не то, что сидеть в Москве и заниматься в наше исключительное время обычным будничным делом, хотя и любимым. Настанут дни и для этой работы, сейчас же она тебя удовлетворить не может, пожалуй, даже не должна! <...>

Я думаю, что возможно будет устроиться как-нибудь не только на наш фронт, но даже в нашу или около нашей армии². Правда, и тогда едва ли возможно будет рассчитывать на совместную работу (разве только исключительное счастье), но всё-таки можно надеяться, что удастся увидиться хоть на миг, на маленький миг... Уж и это кое-что да стоит! Тебе же, Шуручка, большой под-

идёт дождь. Осень, слякоть. И такая же слякоть стояла на душе. Хочется сбросить с себя гнёт, хочется вздохнуть свободной грудью и бежать, бежать без оглядки туда, где есть свободный дух и справедливость... Я не знаю, почему, но когда сгущаются тучи на политическом горизонте, мне становится душно и больно в Морозовской больнице. Я отчётливо вижу здесь тоже централизацию власти и давление на личность. Разве с нами считаются, разве выслушивают наше мнение, разве, наконец, дают нам право решить некоторые вопросы чисто товарищеским образом? Нет и нет... Вот не далее как вчера расширили сомнительную терапию на 25 человек и выселили из комнат сестёр и нянь. Почему нельзя поговорить, предупредить? И так хочется, страстно хочется работать в таком учреждении, где всё бы покоилось на свободном сознании долга и взаимности, совести и уважения» (9 сентября).

¹ Вера Михайловна Овчинникова — тоже врач-ассистент Морозовской больницы, в июне перешла работать в Земский союз, заведовала домом подозрительных по холере в Брест-Литовске, затем в Вязьме и др.).

² О том, чтобы «поехать на войну, так как работа там живее и интереснее», подумывала и Ал.Ив. (5 сентября). Место эпидемического врача с высокой по тому времени зарплатой 350 руб. в месяц казалось ей особенно привлекательным. Работа, которую ей часто приходилось выполнять в больнице, была ей не по душе. «А всё-таки я хочу на днях пойти к своим коллегам, имеющим знакомство с деятельностью организаций Земского союза, и поговорить, нельзя ли там устроиться в каком-нибудь эпидемическом отряде. Ты подумай только: вместо интересной работы в отделении я должна идти в амбулаторию и проводить большую часть времени на устройстве больных в разные больницы. Прибавь ещё к этому, что я должна буду искать комнату в это тяжёлое время, и потом... могут тебе отказать в любое время, когда появятся мужчины-врачи. Нет, надо всё разом повать!..» — писала она 11 ноября.

держкой будет и то, что мы с тобой будем работать приблизительно на одном и том же поприще. Теперь, если заглядывать ещё дальше, будущность наша рисуется мне так: после войны мы с тобой накопим малую толику l'argent¹; ведь будет же это когда-нибудь! Я пойду оканчивать стаж в Морозовке (ведь надо же мне хоть немного познакомиться и с детской общей терапией!), а ты снимешь для нас обоих где-нибудь поблизости уютную квартирку, которую мы и оставим по нашему вкусу.

Прежде всего, мы после войны оформим наши отношения. Нельзя больше медлить, слишком тяжело это ожидание будущего, когда можно будет всюду, не только вне Москвы, показываться со своей милой, милой женой, своей гордостью, своим счастьем!.. Я так привык за год с лишним не скрывать, что я женат, что кажется диким снова перед людьми разыгрывать эту комедию. Я знаю, что ты со мной вполне согласна. И тогда, Шурочка, тогда.., ну ты меня понимаешь... Наша светлая мечта тогда может исполниться!.. Ох, как крепко мне сейчас хочется тебя обнять, моя Шурочка!

За этот год после войны ты себе найдёшь какую-нибудь интересную работу либо в лаборатории, либо в приютах или тому подобное. Если нельзя платную, то бесплатную, тогда можно и научно работать. А свободные наши часы мы найдём, чем заполнить!..

После же, по окончании стажа, мы с тобой придумаем что-нибудь самостоятельное, уйдём от опеки, быть может, в провинцию, где мы скорее можем проявить себя, — в Екатеринослав, в Ростов-на-Дону!.. Там видно будет. Если же сложатся как-нибудь благоприятно обстоятельства, то можно и остаться в Москве, только навряд ли.

Вот, Шурочка, целая программа. Остаётся только выполнить её. А наполнить содержанием — тем, что составляет смысл жизни, я думаю, мы сумеем! Наша совместная жизнь не может быть иной, как только богатой внутренним смыслом. За это я не боюсь нисколько!

М[лодава]², 7 сентября 1915 г.

Только несколько коротких слов сегодня. Мы уже опять переехали на новое место, на этот раз вперёд вёрст на 18. Мы теперь находимся в чешской колонии недалеко от Д[убно], верстах в 10—12. Днём переезжали при резком холодном ветре и временами дожде. Совсем уже осенняя погода. При сборах в М[изоце] я под умывальником нашёл своё собственное письмо тебе от 31-го числа, которое вот и пересылаю. Вероятно, его сдуло туда ветром.

Здесь уже все дома к нашему переезду были заранее распределены, а про нас забыли. Пришлось удовлетвориться сравнительно неважным помещением на окраине села. Холодно. Нет печи, комната преобладающая, мебели мало, пустынно, воеет ветер; холодная луна. Будем надеяться, что долго здесь стоять не придётся, что скоро попадём в Д[убно]. Хорошо бы опять туда, в прежнее наше помещение.

¹ L'argent (франц.) — деньги.

² Видимо, нынешняя Млодава Третья, северо-восточнее Дубно.

М[лодава], 8 сентября 1915 г.

У вас опять холера? Не пойму только, отчего она у вас взялась? Неужели какой-нибудь один случай может в больничной обстановке дать такую вспышку?¹ Даже как-то не верится. Зато, вероятно, смертность больничной холеры ничтожная сравнительно. Ведь тут секрет терапии в правильном и своевременном уходе за больным. <...>

Знаешь, чем я сегодня занимался? Я впервые осматривал места недавно ещё занятые неприятелем. После обеда сел на лошадь, заехал к Матвееву, и вместе с ним поехали по направлению к Д[убно]. Сначала шли всё наши окопы. Всюду видны воронки от снарядов, некоторые порядочной величины. Видны были следы перебежек. На опушке небольшого леса впервые увидел наш сторожевой пост на высоком дереве, совсем как изображают на фотографиях. С опушки город — как на ладони. Тут же на опушке свежая могила, просто, но тщательно и с любовью отделанная. Надпись: *Nier ruhen* и т. д. («Здесь покоятся два храбрых героя»). И около окопов попадаются кое-где простые деревянные кресты. Даже на дереве одном в коре его изображен большой крест... Как всё это грустно!..

Заехали в село П[анталія]. Ряд халуп сожжены снарядами. Во всех хатах австрийцы выломали печи. В одном домике видна была рояль, где все струны порваны, а клавиши разбиты... Грустно, очень грустно. Дальше мы поехали до более прочных австрийских окопов, крытых листовым железом. Некоторые — с печами и трубами. Окопы не сплошные, а как бы индивидуальные, занимают весь склон холма. Если смотреть с соседнего холма, то получается впечатление массы ласточкиных гнёзд на отлогом берегу реки. Жалею, что со мной не было аппарата. Следующий раз захвачу.

М[лодава], 10 сентября 1915 г.

Был я сегодня в О[строге], где мы раньше стояли, в 8 верстах отсюда, и где теперь стоит интендантство, почта и т. д. Писем и газет не оказалось. <...> Получил я целую кучу денег. Жаль только, что никак не знаю, сколько из них моих. Придётся серьёзно взяться за подсчёт. Эта канцелярия меня подводит, ненавижу я её всей душой. Вот теперь опять придётся озаботиться о тёплых вещах для нижних чинов. Пиши бумаги, хлопочи! А у меня ещё не закончена даже за июнь отчётность. Прямо горе! Главное, не знаешь, как взяться. Тут и советы мало помогают. Тут нужна рутина, которой, конечно, у меня не может быть. Боюсь, что после войны на меня будет начёт за что-нибудь. Поэтому, если я и хочу откладывать деньги, то всё же ещё не буду считать их окончательно своими.

Вероятно, мне завтра придётся ехать в О[зеряны?], на родину Катовича, производить кое-где по дороге санитарный осмотр. Эта поездка затянется дня на

¹ С конца августа Ал. Ив. сообщала об участившихся случаях холерных заболеваний. Очевидно, холеру в Москву занесли беженцы. 10 сентября 1915 г. Ал. Ив. писала: «Я тоже, как на передовых позициях: целый день за делом и к 11 часам вечера так устаю, что сплю, как убитая. <...> Холера положительно не переводится: только одну партию из сомнительной палаты переведёшь в другие больницы, как появляются новые больные. И все из Гродненской губернии. А прививок до сих пор нет. “Гром не грянет, мужик не перекрестится”. Что делать с нашим разгильдяйством?».

два, не меньше, а при плохой погоде и больше. Тем временем, мы отсюда, вероятно, уж двинемся дальше вперёд. Вот когда меня научили подвижности! Я я-то думал, что я уже никуда не годный в этом отношении, способен только сидеть на одном месте.

О[зерны?], 11 сентября 1915 г.

Вот я опять путешествую и собираюсь сегодня ночевать у товарища — этапного врача, с которым я познакомился ещё в прошлую свою поездку из Виткова в Дубно. Пришлось мне и сегодня тоже проезжать мимо нашей почты. Получил там от тебя два письма. <...>

Попал я здесь в обстановку, от которой уже отвык: у коменданта — жена, дети. Ещё другой офицер, тоже с молодой женой. Сразу получается какой-то семейный уют, обстановка... Необходимо нам всем это, ох, как необходимо!

Коллега средних лет, симпатичный, из Одессы. Когда-то был на одном курсе с Борисом Абрамовичем Эгизом. Ещё товарищи-однокурсники считали его очень самонадеянным и несимпатичным, резким человеком и сторонились его. Вот как давно уже за ним эта слава!

Погода мне, как нарочно, благоприятствовала: чудесный тёплый и ясный день бабьего лета. Ни ветерка, ни грязи, ни пыли — удовольствие ехать.

Беженцы теперь уже возвращаются, многие слишком поспешно. Встретил я десять фур с галичанами из-под Львова, скитавшимися уже четвёртый месяц. На мой вопрос они ответили, что возвращаются домой. Казаки им сказали, что Львов уже занят нашими войсками!.. А позиции от них только в 20 верстах!.. <...>

«Русские ведомости» мне за последние дни что-то перестали доставлять. Не знаю, чем это объяснить. Неужели задерживают?

Когда будешь мне посылать тёплые вещи, то присовокупи книжку: П. Рорбах: «Германия и колониальная политика»¹ (вроде этого). <...> Ложусь спать. Завтра раненько в обратный путь, вероятно, до Дубно.

М[лодава], 12 сентября 1915 г.

Вот я опять вернулся «домой». Поздно, пора спать. <...> Вот несколько сценок из моей поездки.

Полдень, солнышко припекает. Еду по пыльной дороге. Кругом всё поля да поля, кое-где красный полевой мак. На горизонте начинающие окрашиваться леса. По воздуху тянутся серебристые нити... Тихо в поле, людей не видно. Хорошо...

Другая сценка: на краю дороги стоит небольшой табор беженцев-галичан. Я подхожу, меня сразу обступают все. Тут и старики в широкополых шляпах, с дымящимися трубками во рту, и кормящие грудью молодые бабы, и белокурая детвора с светлыми наивными глазёнками, и подростки-хлопцы с преждевременной важностью на лице. Одеты плохо, на многих лохмотья. Голодают, ведь их гонят прочь... Глаза их обращаются на меня с жалобой и надеждой. Но не покидает их природный юмор, и переносят они все лишения и превратности судьбы с каким-то удивительным стоицизмом — они выше своего несчастья... Я их расспрашиваю, обнадеживаю немножко, но я бессилен, ведь даже с деньгами они здесь ничего не могут купить.

¹ *Рорбах, Пауль.* Война и германская политика. М., 1915.

Я ухожу, а они меня благодарят. За что? За ласковое слово? Немного нужно человеку. — Грустно.

Третья сценка: вечер, взошла луна, стало вдруг светло. Позади меня метечко, через которое только что проехали. Там тихо. Переезжаю мост, обрисовывается фигура часового. Дальше большая дорога. Оглядываюсь: яркая луна ярко же отражается в пруду. Молчалив силуэт моста и часового... Гляжу вперед: плывут навстречу какие-то фантастические тени, всё ближе, ближе... Вот подходят — оказывается, просто эшелон пленных австрийцев. Проходят мимо, доносятся обрывки разговоров, исчезают. Опять тихо и безмолвно; опять дорога, моя бричка, полная луна — вот и всё... На душе тихо...

М[лодава], 13 сентября 1915 г.

Быстро пишу тебе несколько строк. Сейчас поедет один человек в Россию, и вот я ему хочу дать письмецо. <...>

Только что вернулся с поездки верхом по направлению к Дубно. Там мы с Барченковым сделали несколько снимков в покинутых окопах. Сняли могилу, сняли внутри блиндажа. Собираемся сейчас заняться проявлением. Наблюдали обстрел нашей артиллерией мостов через Икву, которые наводили австрийцы.

Сейчас получили приказ быть готовыми к отходу. Всё упаковали, и всё-таки решились попробовать предварительно проявить пластинки. Авань, не придётся уходить.

Погода тёплая и ясная. Снова появились аэропланы, которые обстреливаются, но без результата.

Почему нет писем? Где они задерживаются?

Шурочка, когда ты будешь мне готовить посылку, то не забудь вложить несколько пачек (чем больше, тем лучше) фотографической бумаги: Nuptona кремовая, 9 x 12¹. Пишу быстро и сам чувствую, что получается нечто бестолковое, но надо спешить, и хочется послать для разнообразия с марками.

Неужели мы завтра опять будем где-нибудь в Мизоче? А ведь там было хорошо! Один парк чего стоит. А поздней осенью, когда вся листва окрасится, будет ещё лучше. **Катович** решительно ничего не делает. Я-то хоть разъезжаю, но он и не напрашивается на работу. Наши отношения погибли безвозвратно.

Часто вспоминаю уехавшего в отпуск прежнего корпусного врача. Это был живой человек! Теперь же мы имеем дело с бумажной мумией. Прямо горе, беда! Ну, пройдёт, всё кончится. У нас всё будущее, всё впереди!

М[лодава], 15 сентября 1915 г.

От тебя писем нет, и я немножко приуныл. Вот и сегодня здесь почта уже получена, но для меня нет ничего, даже газеты. <...>

Через два часа едет отсюда в Россию Матвеев, получивший командировку в Харьков для закупки автоклава и ещё чего-то. Я ему дам это письмо. <...>

¹ На эту просьбу Ал.Ив. отвечала: «Только что запечатала тебе посылку. Вложила книжку, а фотографической бумаги нигде не смогла достать! По моей просьбе Настя [младшая сестра Ал.Ив.] все фотографические магазины обегала, но неизвестно, когда будет бумага» (21 сентября 1915 г.).

Вчера я занимался с горя канцелярией. Сел за неё и сегодня. Кроме того, я вчера немного печатал. День прошёл бесцветно, даже верхом я вчера никуда не прокатился... Есть же такие счастливицы, которые служат, не ведая никакой канцелярии! Как я им завидую. Дорого бы дал, чтобы отделаться от неё.

У Барченкова появился план устройства какой-то особенной дезинфекционной камеры. Он предлагает мне сообща соорудить её. Стал он мне излагать свои соображения, и я тут снова убедился, какой я невежда по части точных знаний... Я обещал оказать ему всякое содействие и людьми, и материалами, и даже деньгами, но идейную часть предоставляю ему. Не знаю, насколько серьёзно и горячо он возьмётся за это дело, но план его, кажется, оригинальный.

В общем, Шурочка, живём мы тут, получаем деньги, а неизвестно за что. Хотя это вынужденное безделье труднее живого дела... Есть потуги на что-то, но свершить ничего не дано!

Впрочем, на днях начнётся поголовная прививка всем без исключения брюшного тифа. Давно пора! Хотя, к счастью, санитарное состояние в армии вполне удовлетворительное — небо милостиво.

М[лодава], 17 сентября

Старая песня: нет писем, нет даже газет. Насколько правильно мы получали почту в Радзихове, настолько она теперь запаздывает. <...>

Сегодня я хочу тебе просто сообщить одну радостную весть: врачам тоже разрешены кратковременные отпуска домой!!! Хоть только несколько дней, но я буду скоро опять с тобой в Москве! <...> Отпуск будет коротенький — только десять дней, включая сюда и проезд. В Москве удастся побыть в лучшем случае дней 6, не больше. И всё-таки, какое наслаждение, какая необходимость!

Матвеев придет в конце сентября. Затем, вероятно, уедет Барченков, а после него — я. Правда, разговоров с корпусным врачом ещё не было, но мы уже так решили промеж себя. Таким образом, мне пришлось бы поехать во второй половине октября, около 17-го!¹ <...>

Ещё в Радзихове вышел приказ, разрешавший всем строевым офицерам кратковременный отпуск. Сначала отпускали и врачей, но вскоре было получено разъяснение, что к врачам это не относится (почему?). И вот сегодня новое разъяснение, на этот раз вполне авторитетное. Скоро, скоро, Шурочка! <...> А как хорошо было бы поехать не в гостиницу, а в свою собственную квартиру, к своему собственному семейному очагу! Мечта!

А у меня на столе цветы не переводятся.

М[лодава], 19 сентября 1915 г.

Ты пишешь, «кажется, что ты где-то далеко, и нет никакой возможности найти тебя». А когда ты мне пишешь, что Москва как большой муравейник, и улицы запружены народом², то мне тоже кажется, что это где-то далеко, далеко,

¹ 17 октября — день рождения Фр.Оск. (28 лет).

² Оживление на московских улицах было вызвано не празднующей толпой. 6 сентября Ал.Ив писала: «Вот уже третий день, как не ходят трамваи. Вчера добиралась до 4-й Тверской частью пешком, частью на извозике. Последние так дерут, что волей-

во всяком случае, не в этом мире, где есть только воюющие или беженцы, причиняющие страдания и страдающие... Неужели и сейчас в 5 часов дня по Кузнецкому фланирует нарядная публика, у Мерилиза¹ закупают, зевают у витрин Дациаро², а вечером заполняют все кинемо и всю Тверскую!.. Я знаю, что это так, но в настоящий момент как-то не принимает душа.

Удивительно всё-таки человек ко всему привыкает, чудно он создан. А вот, попади я в Москву, и тоже буду находить всё это вполне естественным, нормальным...

Сегодня прочёл в приказе по санитарному отделу армии о назначении А.С. Молодёнкова³ старшим врачом санитарно-гигиенического отряда 12-го корпуса, № 14. На ту же должность, которую здесь занимает Щастный. Я рад за него — это всё-таки подобие медицинской работы: лаборатория, исследования, прививки. Если только у него найдётся толковый фельдшер, который будет вести всю канцелярию, то его дело в шляпе. Надо будет ему написать, поздравить с новым назначением.

Других новостей у нас нет, если не считать, что нам пригнали 8 ратников 2-го разряда⁴ — неграмотных молдаван, которые должны заменить моих теперешних обязанных и трёх санитаров, отправляемых в строй. В обоз конюхами их можно пристроить, но выучить из них годных санитаров никак нельзя надеяться. И вот я хлопочу, пишу рапорта, посылаю телеграммы.

Дни стоят у нас тёплые, солнечные, но после холодов они губельно отразились на деревьях: всюду листья пожелтели, покраснели, начинают осыпаться. Уже наступает настоящая осень со всей своей роскошной гаммой цветов и оттенков, такая красивая!

Завтра утром поеду в О[строг] на почту, в интендантство и казначейство. Я, наконец, подсчитал общую сумму собранных денег — оказалось без сентябрьского жалованья целых 450 р.! Больше, чем я ожидал. Ну, пора, наконец, перестать болтать.

М[лодава], 20 сентября 1915 г.

Ну, Шурка, буду беспощаден, изведу тебя цифрами! Другой раз не будешь называть меня транжиркой, да-с!! Вы, милостивая государыня, желаете знать, куда я трачу деньги. Извольте-с, представляю счётёц. Только уж не отмахивайтесь обеими руками, не закатывайте глаз, не затыкайте ушей, не вопите, что скучно! Нет-с, уж раз напросились, так и слушайте-с!

неволей приходится добираться путём пешего хождения. А какое оживление на улицах! Прямо муравейник. Даже занятно посмотреть. С Тверской поехали <...> на Ярославский вокзал. И там такой же муравейник: едут, едут без конца. Тяжёлое впечатление производят сидящие на платформе беженцы, но ещё тяжелее видеть безногих или с парализованными ногами офицеров на руках у носильщиков».

¹ Роскошный магазин торгового дома «Мюр и Мерилиз» на Петровке.

² Магазин Дациаро на Кузнецком мосту славился высококачественной графической продукцией.

³ Молодёнков Алексей Сергеевич — ординатор Морозовской детской больницы.

⁴ К ратникам 2-го разряда причислялись нижние чины государственного ополчения, физически негодные к службе в постоянных войсках, но способные носить оружие.

<i>Приход:</i>	<i>Расход:</i>
К 1-му июля состояло налицо — около 50 р.	За стол за июль — около 32 р.
Жалованье за июль — 207 р.	Проиграно в карты в июле (1 раз) — около 120 р.
Полевые порционные за август — 124 р.	На мелкие расходы (свечи, печенье и т. д.) — около 10 р.
На варку пищи за август — 5 р.	За стол за август — 36 р.
Жалованье за сентябрь — 207 р.	Хлыст (в Дубно) — 2 р.
На варку пищи за сентябрь — 5 р.	Кофейня (там же) — 1 р.
	Баня (там же) — 1 р.
	Пара лошадей с повозкой — 80 р.
	Бричка — 25 р.
	Печенье и конфеты (в Остроге) — 6 р.
	На беженцев всего только — 25 р.
Итого 934 р.	Итого 338 р.

Следовательно, всего у меня в настоящий момент должно быть 934—338=596 р. На самом же деле у меня сейчас имеется в кармане собственных денег больше, а именно целых 660 рублей. Каким образом? Не знаю. Вероятно, где-нибудь ошибся в расчёте: проиграл меньше, чем думал; было больше к 1 июля; может быть, где-нибудь да как-нибудь и выиграл (хотя и не играл). Долго ли такому фрукту как я ошибиться! На этот раз ошибся в свою пользу, и слава Богу! Казённые деньги в целости, по ним ведётся отчётность, тут ошибки быть не может.

30 сентября я получу полевые порционные в количестве 120 р. Таким образом, я к 1-му октябрю гарантирую тебе (за вычетом близких расходов: стол и т. д.) чистое сбережение в 700 рублей, 1 бричку, 1 повозку и пару лошадей! Не считая ту ценность, которую я сам представляю как рабочая сила. Да-с!!!

Ну что? Уморил? Досталось? Так и надо тебе за малое доверие, за сомнения!

М[лодава], 22 сентября 1915 г.

Целый день сидел и мучился над своей канцелярией. Говорят, что скоро у нас будет проверка отчётности, надо поспешить с приведением в порядок. Катовичу пришлось вчера и сегодня поработать, дезинфицировать. И хорошо. А то совестно даром жалованье получать. Сидим всё на том же месте.

Млодава, 23 сентября 1915 г.

Завтра утром командирруется мой мл.у.-о. [*младший унтер-офицер*] в Бердичев за уральскими банями (ты знаешь, что это такое?), и вот я для разнообразия посылаю тебе письмо с маркой. Как на грех, сегодня не могу тебе писать, как хотелось бы. Целый день до одурения сидел за своей канцелярией. Помогал мне один тип (канцелярская крыса) из соседнего сан.-гигиенического отряда. Дело, наконец, подвигается, и с завтрашнего дня я начинаю переписывать начисто в книгу приказов. <...> Ко всему прочему от тебя нет писем, и погода тоскливая, — идёт мелкий осенний дождичек.

Дух же у меня бодрый: ведь я скоро буду в Москве!!!!!! <...> Получил Р.В. за 10-е и 11-е, понемножку собираются номера.

[Млодава]¹, 25 сентября 1915 г.

Сегодня какой-то бенефис: три письма от тебя, открытка от Эдит от 17 сентября и 4 номера Р.В.!!! Из Риги я не имел известий уже более трёх недель. <...> Я теперь знаю, что у них всё идёт по-старому, что они сидят на одном и том же месте. Вилли без работы в Риге. Сомневается, переехать ли ему в Москву или нет. Скучно без работы. Я тут только не понимаю, почему он без работы. Потерял ли место, сам ли ушёл? Вероятно, мне об этом писали раньше, но я не получал писем.

Артур тоже ещё в Риге. Трамвай почти весь эвакуирован, но он ещё при работе. Эдит нашла себе уроки стенографии, однако, плохо оплачиваемые. Лени даёт много уроков в частных школах, некоторые из которых ещё функционируют.

Не знают, что делать с Карлушкой, так как ему в Риге ни в Двинске нельзя пристроиться в гимназии за полной их эвакуацией. Думают его отправить в Москву, но там дорого.

Об отце и матери Эдит не распространяется. Говорит только, что все здоровы. <...>

Милая Шурочка, давай поможем своим родным! <...> Если я из наших общих денег смело хочу помогать своим, то и ты так же смело можешь помочь и своим. Ведь так? Мне, кроме радости, ты этим ничего не доставишь. А маленькие сбережения у нас всё равно будут. Если у нас останутся к окончанию войны полторы тысячи, то больше нам и не надо. А капиталистами мы с тобой не сделаемся, уж на меня не рассчитывай².

М[лодава], 27 сентября 1915 г.

Занялся чтением. Я всё-таки и сейчас довольно много читаю: рано утром Marfan'a³, вечером в постели — старые номера «Русских ведомостей». И старые номера бывают иногда очень любопытны. Прежде всего, статьи Лурье. Некоторые из них чрезвычайно поучительны. Даже там, где он отрицает, где он желает, как бы выставить в неприглядном свете... Впрочем, редко у него встречающийся пафос — явно деланный, надо! <...>

¹ Прописная буква «М», означающая место, вымарана цензурой.

² Ал.Ив. всегда одобряла предложения Фр.Оск. помочь родным и сама предлагала им помощь, но её отношение к материальным благам было иным, чем у него. Выросшая в большой нужде, она придавала большое значение «материальному вопросу». «Я хочу после войны окружить тебя комфортом, и ради этого хочется хоть немного приобрести и скопить. <...> Хочу много денег, а то тяжело смотреть на постоянные нехватки [у] своих [родных]» (11 сентября 1915 г.). Позднее она писала мужу: «Ты меня сегодня насмешил [тем], что из-за материальной стороны ты органически не способен волноваться. Это очень хорошо теоретически, но практически материальный вопрос очень и очень может угнетать, если и духовная сторона-то весьма и весьма страдает» (16 октября 1916 г.).

³ *Марфан, Антонио Бернард* (1858—1942) — французский педиатр, профессор клиники детских болезней в Париже.

Слякоть, сырость. Каждый день с часок сижу на лошади, скачу по лугам и полям. Никуда не хожу, не вижусь с товарищами. Обед мне приносят сюда. Хочу сначала покончить с канцелярией, чтоб ей пусто было! Сидим всё на том же месте.

М[лодава], 28 сентября 1915 г.

Уморился, целый день сидел над бумагами и скрипел пером. В приказах по отряду дошёл, наконец, до 1 августа, осталось переработать ещё два месяца. Хочу закончить в ближайшие 2—3 дня во что бы то ни стало. Отвязаться бы поскорей.

А что потом? Какую я себе найду работу после? Не знаю, так как свыше нам ничего не поручают. Мои же намёки и разговоры остались без внимания... И о дальнейшей возможной для нас деятельности хотел бы я поговорить с тобой. Ведь я круглый невежда по вопросам санитарии и гигиены. Ты могла бы мне дать кой-какие полезные идеи, советы. Ну, впрочем, мы с тобой обо всём поговорим. <...>

Неужели мы здесь будем стоять всю зиму? Не то, чтобы это меня страшило, в конце концов, не всё ли равно? Но странно очутиться неожиданно на более продолжительное время в маленьком селе, в колонии, среди полей. Опять будет завывать ветер. Вот так, как в прошлом году в Волочишке.

Знаешь, Шурочка, я бы сейчас даже не прочь в картишки перекинуться. Это иной раз как-то служит как бы громоотводом. Вот только, к счастью, нет партнёров, не с кем. Ты не сердись на меня за это моё пожелание. Ведь это всё-таки более умственное развлечение, чем сидение за канцелярией, сгинь она на этом самом месте!

Ещё у нас развлечение — это баня. Это вечная заслуга Барченкова. Пользуемся ей изрядно.

Сердце, одно время меня опять начинавшее тревожить, снова наладилось. Верховая езда действует успокоительно для него.

М[лодава], 29 сентября 1915 г.

Сегодня немножко больше событий, чем вчера. Утром был первый мороз. Было ясно. Появился аэроплан, который и обстреливали. <...>

При штабе корпуса числятся 10 врачей. Таким образом, отпуска будут у нас каждые 5 месяцев. Давно пора! Как это ни кажется мало, всё хочется большего, но ведь есть тут врачи, не бывшие дома с самой мобилизации! У того же Щастного я сегодня встретился с таким типом. Ты только подумай!

Теперь вопрос в том, когда наступит моя очередь. Конечно, почти все просятся поскорей, поэтому трудно сказать определённо, что мне удастся поехать в октябре, но я надеюсь. Во всяком случае, впереди как маяк светит эта надежда.

От корпусного врача я получил сегодня предписание объехать все учреждения № дивизии с широкой программой. Завтра с утра поеду. Вероятно, придётся разъезжать несколько дней. Однако я думаю по вечерам возвращаться «домой», писать тебе писульки.

Жаль, что я возрастом и внешней солидностью мало гожусь для роли санитарного врача, не говоря уж о специальной подготовке. Ведь мне приходится до

некоторой степени контролировать лазареты, перевязочные пункты, околотки, а там сидят всё больше люди солидные, опытные. К тому же всякие там генералы встречают санитарных врачей очень предупредительно, даже очень... Неловко как-то. Ну, посмотрим.

М[лодава], 1 октября 1915 г.

Я уверен, что ты не будешь сердиться, что я тебе вчера не писал. Хотя я никуда и не ездил и сидел дома, обстоятельства так сложились. С утра занялся канцелярией. Решил, что надо сначала хоть денежный журнал довести до августа. Он у меня не был начат. зашёл к типу, который всё знает. Всё утро мы с ним провозились, давал он мне объяснения. После обеда я начал писать. Писал, писал...

Пришла почта, а для меня опять — nihil!! Что это значит?

Я опять за канцелярию и писал до одурения, до тошноты. Когда же я вечером (ночью) хотел взяться за письмо тебе, то оказался не в состоянии: голова трещала, глаза слипались, весь разбитый, никуда не годный. Как подкошенный свалился в постель.

Сегодня я не намного свежее: утром отправился в своё кругосветное путешествие, вернулся только в темноте с горячей головой (дело в том, что от этих «умственных» занятий я стал плохо спать по ночам и встаю не выспавшийся, с тяжёлой головой).

После ужина позвал меня к себе Матвеев, только что вернувшийся. Он меня попросил перевести на немецкий язык письмо брату, военнопленному. Провозился я у него до 12-ти часов и вот пишу тебе. <...>

Дивизионного врача, которому я должен был представиться, я не застал. Поэтому поехал со старшим врачом артиллерийской бригады, с которым встретился, прямо к нему, начиная с него. Впервые был на артиллерийских позициях, видел батарею, получил первое боевое крещение. Когда мы подъезжали к селу, в котором они стоят, изредка над ним рвались шрапнели. Как нарочно, при нашем въезде стрельбы прекратилась. Во время обеда за общим столом с офицерами тоже раздавались отдельные разрывы, скоро прекратившиеся. Товарищ повёл меня на переднюю окраину деревни у реки, где на чердаке одного дома находился наблюдательный пост. Там я в бинокль видел австрийцев в окопах. Сделал снимок этого поста. Потом сделал два снимка батареи. Пока я возился, вдруг слышен выстрел и характерный вой снаряда; однако, шрапнель разорвалась далеко от нас, так же и второй снаряд.

На обратном пути, уже в темноте, я видел с горки, как рвались наши снаряды над *Дубно*. С вражеской стороны работали прожекторы.

М[лодава], 2 октября 1915 г.

Сегодня я опять никуда не ездил. Нужно было заняться рядом хозяйственных вопросов, а, кроме того, очень хотелось поскорей получить посылку, тем более что я был твёрдо убеждён, что сегодня будет много писем от тебя. И вот, вместо того, чтобы поехать в дивизию, я поехал в обратную сторону, на почту и в интендантство. И что же? Опять нет от тебя ни письма, ни газеты. Уже шестой день! <...> На почте высказали предположение, что, может быть, корреспонденция попадает в другие отряды других корпусов, и

советовали адресовать просто: 10 полевая почтовая контора, штаб 8-го корпуса, доктору К. <...>

Я же, Шурочка, могу тебе сообщить радостное, праздничное! Дело в том, что Барченков получил разрешение выехать в отпуск, а сегодня уже уехал на две недели. Вторым же кандидатом числюсь я! Я об этом уже говорил с корпусным врачом, и он дал согласие. Препятствий сейчас никаких не предвидится, и едва ли они окажутся. Значит, если мне не удастся быть у тебя 17-го, то почти наверняка я буду в Москве 18-го октября! Шурочка, ликуй, как ликую я! <...>

Сейчас опять сяду за канцелярию. Сегодня выбрал обратный порядок, чтобы не оказаться опять в невменяемом состоянии. Затем пойдут несколько дней разъезды. Решил я ехать верхом, так как на бричке не всегда можно быстро проехать, да к тому же верхом и теплей. Купил у Катовича второе седло. Ведь ему ни к чему, а я на второе седло посажу ординарца. Так и видней, и представительней, и просто необходимо кому-нибудь на остановке смотреть за лошадью.

М[лодава], 3 октября 1915 г.

Сегодня я очень сильно утомился и сейчас совсем разбит. С утра скакал верхом в части. Пришлось одолеть порядочные расстояния. Был я сегодня впервые в окопах. Правда, не в самой передней линии, но всё же во второй. Одно время даже стоял в открытом поле во весь рост, в одной версте расстояния от австрийских окопов с биноклем, рассматривая их. Почему-то не стреляли. Я мишень для прицела прекрасная. Впрочем, не бойся, вышло это нечаянно и больше не повторится. Зря рисковать я, конечно, не буду, хотя по совести, особенного страха не испытывал.

М[лодава], 4 октября 1915 г.

Я получил открытку от Карлушки от 15-го и письмо от Лени от 24-го! <...> Общее настроение, по-видимому, удручённое, особенно у матери. Удручает то, что, вероятно, скоро придётся расстаться с братьями. По крайней мере, уже составляются списки всех мужчин от 18 до 43 лет. Карлушу они отправили уже в гимназию в Юрьев. Мне очень жаль, что они не дождались предварительно моего письма. Быть может, они его тогда отправили бы в Москву. Мне это кажется более правильным, так как и Юрьев слишком близок к фронту. Не пришлось бы ему и оттуда эвакуироваться. <...> Отец, по выражению Лени, «держится» (она пишет по-русски), мать же сильно грустит и представляет своё будущее в самых мрачных красках...

М[лодава], 5 октября 1915 г.

Здесь я купаюсь в бумажном море. Грозит оно захлестнуть меня своей мутной волной... <...> Написал письмо матери, старался её утешить, ободрить. Советовал, если не поздно, хотя бы к Рождеству перевести Карлушку в Москву. Там ему будет лучше, спокойней. <...>

На дворе холодно, сегодня шёл дождь. Комната наша мало уютна, особенно вследствие наших скверных отношений. Впрочем, у нас после Д[убно] ни одного столкновения не было: внешне корректны, мы отмалчиваемся друг от друга. Барченкова нет. Вот Матвеев иной раз заходит, скрашивает обстановку. Сюда бы товарищей из 253-го госпиталя! Хорошие были люди, сердечные и простые.

М[лодава], 6 октября 1915 г.

Сегодня я опять разъезжал. Был во 2-м лазарете № дивизии и в передовом перевязочном пункте. Поговорив, посудачил с товарищами. Со сколькими людьми пришлось мне уже познакомиться с тех пор, как я ушёл из госпиталя! Как тихо и внешне бесцветно протекала там жизнь, и всё-таки как трудно было оторваться от неё. Теперь я не жалею — быть может, здесь и больше огорчений, разочарований, быть может, ещё меньше приносишь непосредственной пользы, но тут ближе стоишь к жизни армии, лучше её понимаешь, а через это лучше понимаешь и общий смысл творящегося вокруг. Хочется теперь познакомиться с тылом, с тем, как вы там думаете и чувствуете... <...>

Сколько горя кругом! Вот, проезжал я сегодня через большое село, тянущееся на протяжении полутора вёрст. В этом селе остался только один дом с наполовину уцелевшей крышей и нетронутая церковь. Всё остальное представляет собою груды погоревших развалин. Только трубы торчат ещё кое-где!.. Среди этих обломков бродят вернувшиеся беженцы. Кое-как они укрылись под навесами, в погребах. Земский союз выдаёт им картошку, горячую пищу. И вот они живут! Даже взялись некоторые из них за обычные полевые работы... Не так далеко раздаются орудийные выстрелы, рядом с ними на возвышенностях наши резервные окопы... Кто знает, может быть, снова придётся им «утикать», снова будет разорено уцелевшее, — а пока они пашут и сеют, сажают картошку... Что ещё им остаётся? Земля и погода не ждут. Не обработаешь поля — и в будущем году голодный останешься.

Всё множатся впечатления войны, а вместе множатся и тихие мирные впечатления: дали полей, рельефы холмов, тихие ручьи и речки, осенние дубовые бурые рощи с их крепким здоровым ароматом... Хорошо в полях и лесах! Везде там, где не видно присутствия человека, где можно забыть на время о том, что вот уже второй год длится бойня культурных народов, «европейская война XX столетия»!

Не к новому ли варварству мы возвращаемся в самом деле?!..

М[лодава], 9 октября 1915 г.

Сегодня хотел заняться канцелярией, но вместо неё наблюдал, как наша команда устраивала свою зимнюю квартиру, мазали печь, мастерили нары. У меня много хозяйственных забот, не только заботы о канцелярии. Так проходят дни нашей жизни... Вероятно, это письмо дойдёт вместе со мной или днём-двумя раньше.

М[лодава], 10 октября 1915 г.

Завтра мне опять придётся ехать в село П[ривольное] по дороге в Д[убно], о котором я тебе писал ещё из Д[убно]. Среди вернувшегося населения будто бы эпидемия дифтерита. Захватчу с собой сыворотку и проверю это сообщение.

Сегодня Катович снова позволил себе дикую некультурную выходку. Посоветовавшись с коллегами из сан.-гигиенического отряда, я решил, что нам необходимо расстаться с ним окончательно. Конечно, не официальным путём неприятных рапортов. Я уже написал письмо бывшему нашему санитарному врачу Алфеевскому, назначенному в санитарный отдел армии, и просил его урегулировать этот вопрос к обоюдному удовольствию, без шума устроить нам развод.

Письмо это я прочёл предварительно Катовичу. Это единственный выход из создавшегося невыносимого положения. Я это сначала продумал. Товарищи же всецело одобряют и даже советуют. Не думал я в Киеве, что нам так придётся расходиться...

М[лодава], 11 октября 1915 г.

Как это часто бывает в Морозовке, так оказалось и здесь: дифтерит оказался с мелкоточечностью! Одним словом, в селе — скарлатина. Я обошёл подворно всё село и нашёл 6 случаев в пяти хатах, расположенных в разных районах. Раньше уже умирали дети. В околотке полка мне удалось поймать троих солдат с тяжёлыми флегмонозно-некротическими жабами! Раньше солдаты жабами там не хворали. Двое из них помещались в хате, где уже умер ребёнок и где другой лежит со скарлатиной! Общая картина вполне ясная, как видишь. Много труда стоило убедить старшего врача полка, что речь идёт не о дифтерите, а о скарлатине. Врач — военный! Всё порывался впрыснуть сыворотку. Насилу убедил. Сутил целый день. Вернулся уже в темноте.

Развернул перед корпусным врачом целый план мероприятий. С.М. Щастный всецело на моей стороне. Однако наткнулся на равнодушие. Главный довод — среди взрослых эпидемия не может разгореться, а местное население нас не касается!..

Ушёл довольно удручённый. Изложил ещё раз всю суть и своё мнение в рапорте — тогда хоть останется доказательство моего доброго желания. Однако едва ли из этого выйдет что-нибудь дельное. Вот сегодняшний мой порыв и — холодный душ, которым меня окатили за излишнее старание!..

М[лодава], 12 октября 1915 г.

Не напрасно я подумал, что теперь августовская посылка дойдёт: сегодня я её получил. Она чрезвычайно удачно составлена. Всё такие вкусные вещи! И ничего не испортилось, против ожидания. Теперь у меня такая масса всяких сладостей, что я даже сожалею, что нет Барченкова. Он помог бы мне одолеть все эти горы шоколада и конфет. Между прочим, конфеты мне уже пригодились вчера во время моих поисков скарлатины среди детей. <...>

Писем от тебя, однако, опять нет. Получилось, зато письмо самой матери, но ещё от 27 августа. Хотя и запоздало оно, однако благодаря этому не утратило своих особенных свойств; с нежностью и любовью оно написано, с нежностью и любовью мною прочитано... Опять ведь сейчас идёт натиск германцев на Ригу, опять они рискуют каждый день очутиться по ту сторону черты...

Так и есть: получил четыре номера Р.В. сразу: от 16, 17, 18 и 19-го сентября. Нечего сказать: новости самые свежие. Оказывается, что те же самые Р.В. доходят сюда на четвёртый день, если не посылать их бандеролью, а самым обыкновенным способом подписаться на них. Я думаю, с ноября месяца мы так и сделаем. Согласна?

Сидел опять над канцелярией. Пыхтел и кряхтел. До тошноты скучно вычислять и писать, но приятно смотреть на пройденный уже путь, где всё на своём месте, всё так чинно-благородно! Непременно закончу её на этих днях, ещё до возможного моего отъезда. Хочу передать временному заместителю всё в полном порядке.

М[лодава], 13 октября 1915 г.

Я ещё на днях напомнил корпусному врачу о его обещании, и он подтвердил его, хотя казалось, что о нём уже забыл. 16-го или 17-го должен вернуться Барченков, и только тогда можно будет окончательно определённо выяснить положение, то есть, кто меня будет замещать и т. д. <...>

Сегодня мы всё-таки изолировали всех scarлатинозных больных и произвели дезинфекцию формалином (в селе П.). Не знаем только, как организовать питание, так как земский союз в лице главноуполномоченного отказался прислать эпидемический отряд, ввиду того, что будто бы село П. находится под артиллерийским обстрелом! Это, однако, неправда, хотя, конечно, оно доступно для снарядов, как, впрочем, и наша колония М[лодава]! Ведь стреляли же германцы из Остенде в Дюнкерк!

Обещались устроить какое-то амбулаторное лечение. Это при scarлатине, да ещё при таких условиях! Прямо смешно. Впрочем, пока ещё вообще никого и ничего не видно.

Дни с 19 по 30 октября 1915 года Фр.Оск. провёл в Москве, где состоялась его помолвка с Ал.Ив.

М[лодава], 1 ноября 1915 г.

Ну, Шурочка милая, я опять на старом месте, и отпуск мой окончательно канул в лету. Приехал я в Здолбуново с опозданием, только в 5 часов вечера, а сюда только в полседьмого. Помылся и тотчас же пошёл к корпусному врачу, однако оказалось, что он спал. Я его не стал тревожить, и зашёл к коллегам в сан.-гигиен. отряд. Там, кроме всего прочего, узнал, что меня тут ожидает неприятность: тот товарищ, с которым мы в своё время осматривали окопы [Григорович], теперь официально оспаривает правильность моих утверждений и уверяет, что мои сообщения — сплошная выдумка! <...> Узнал об этом пока только со слов Щастного. Дела, у меня лежащие, ещё не разобрал, оставил до завтра. Говорят, что имеется официальный запрос, ответить по существу предъявленного обвинения. Завтра всё это разберу. Всё же на душе осадок какой-то грязной мути! <...>

Команда моя без перемен, общее положение пока тоже...

Щастный говорит, что меня завтра здорово запрягут, что предстоит много работы по санитарной части, объезды и т.п.

Очень хочется спать, чувствую большую усталость. Хотя мне и прошлую ночь удалось заручиться верхним местом в купе и спать хорошо. Это просто наступила естественная реакция после стольких дней напряжённого состояния.

Хожу с кольцом. Мне всё больше нравится эта эмблема нашей прочной связи, и я так доволен, что мы приобрели их!..

М[лодава], 2 ноября 1915 г.

Серо на душе, не светло. Ярче ощущаешь после встречи, чем являешься ты, что я в тебе теряю, когда расстаюсь с тобой!.. <...>

Был у корпусного врача, которому представился после приезда. Принял он меня радушно, расспрашивал о Москве. Коснулся и доноса на меня Григоровича. Всецело на моей стороне. Сообщил мне, что Григорович как-то ударил хлыстом

своего младшего врача! Из-за этого уже раз было поднято дело, окончившееся для него сравнительно благополучно. «Чего же можно ждать от такого субъекта!» — сказал мне Вышемирский. Какая гадость, и какая грязь! И он оказался моим коллегой по выпуску! <...>

Идёт мелкий дождичек, порядочная слякоть также и на душе...

М[лодава], 3 ноября 1915 г.

С утра разъезжал опять на своей бричке-ковчеге по полям и деревням. И не безрезультатно: в одном селе среди населения нашёл самый настоящий тяжёлый дифтерит с отёком (четыре случая), а в двух других нашёл даже по одному случаю натуральной оспы! Оспа уже не свежая — четвёртая и вторая неделя. Характерно то, что в обоих случаях [больных] в начале болезни показывали врачам, а в одном даже некоему доктору Поспешиллю, чеху. И оба они признавали начало кори! <...>

Отдохнув немного, пошёл к Щастному, которому и рассказал о виденном. <...>

Завтра с утра пошлю Катовича с сывороткой к дифтеритным. Пускай он хоть немного проезжается. Совсем от лени разжирел человек.

Вероятно, на днях переправимся немного (вёрст на 14) севернее. Не хочется оставлять насиженные места: тут близко к железной дороге, мы тут прочно устроились на зиму, построили конюшню и т. д. Придётся устраиваться заново.

М[лодава], 4 ноября 1915 г.

Как скоро проходит время, как быстро умчались московские дни! Внесли они в нашу жизнь нечто новое: впервые мы открыто выступили как принадлежащие друг другу. Впервые ты познакомилась с одним из членов моей семьи [с Карлушей, младшим братом]. Впервые мы в пределах Морозовской больницы могли себя вести достаточно непринуждённо, без постоянной оглядки. Впервые мы внешним символом, кольцами, выразили и подтвердили нашу связь.

Этим кольцам я раньше не придавал большого значения как чему-то внешнему. А теперь меня глубоко радует вид кольца на моей руке: так радостно сознавать, что ты крепко-нерушимо связан с любимым человеком... Не тяжела эта связь!

М[лодава], 5 ноября 1915 г.

Расскажу тебе сегодня про Катовича. Не затыкай ушей, по-моему, стоит послушать.

Послал я его вчера впрыскивать дифтеритную сыворотку. Он тут ещё облачился в халат, сверх которого надел пальто. Так и поехал. Вечером возвращается и сообщает мне, что он выпрыснул всем, кому следует, что у него сломалась одна иголка, причём он уколол себе палец. Эта последняя подробность не показалась мне сколько-нибудь интересной, и я не обратил на неё внимания.

Проходит некоторое время. Подходит Катович и дрожащим голосом обращается ко мне:

— Когда поднимется температура, я впрысну себе сыворотку? — Я изображаю вопросительный знак.

— Ну как же, ведь я уколол себе палец иглой, которая была в мышце дифтеритного больного!

Я его успокоил. Говорю, что дифтеритных бацилл не находится в крови больных. Он начинает полемизировать:

— Ведь отравление получается от токсинов, а не бацилл самих по себе!

Я чувствую, что никак не могу говорить с ним — и смешно, и гадко, — и прекращаю разговор.

Он же за вечер несколько раз мерил себе температуру, усердно почитывал Буйневича¹... (!) Ну как тебе это нравится? <...>

К сожалению, нам пока ещё придётся продолжать с Катовичем совместное житьё. Боже, если бы ты могла занять его место!

М[лодава], 7 ноябрь 1915 г.

Вчера мы получили приказ отправиться с отрядом сегодня вперёд на новое место, чтобы подготовить его в санитарном отношении для перехода штаба. Уложились ещё вчера. Сегодня же с утра двинулись в путь по отчаянной дороге: три дня тому назад шёл обильный снег, температура держится всё время около нуля, все пути превратились в почти непроходимое месиво, густую кашу. Вот по этой каше мы и передвигались медленным темпом. Прошли уже половину расстояния, как нас догоняет казак: отмена приказания, всё остаётся на местах!

И вот опять возвращается в насиженные места... Тут, однако, наши хозяйева старались ликвидировать все следы нашего пребывания: уже наполовину разобрали нашу конюшню, разворотили нары, устроенные для моих солдат, выбелили нашу комнату, мыли полы! Пришлось целый день работать команде над восстановлением разрушенного. Мы же вновь поместились в вымытой, чистенькой и беленькой комнате. Таким образом, мы просто совершили прогулку на свежем воздухе для моциона и приобретения хорошего аппетита!

Вечером по просьбе Барченкова я принёс к ужину Игоря Северянина². Барченков долго и с выражением читал его стихи, и мы покатывались. Впрочем, есть у него и отдельные красивые, неподдельно искренние стихотворения, но с эгофутуризмом они, конечно, ничего общего не имеют.

М[лодава], 8 ноябрь 1915 г.

Мысль об устройстве своей лечебницы, где всё устройство будет зависеть от нас, не даёт мне покоя. Так или иначе, но в будущем она должна осуществиться. Это будет целью моей жизни!

Конечно, не шаблонная лечебница, коммерческое предприятие. Нет, наше предприятие должно явиться культурным фактором, внести свежую струю в эту область. Не коммерция, а кооперация в лучшем смысле этого слова: сотрудничество молодых и свежих сил для общей некорыстной цели! Я знаю, сначала придётся много работать. Но я чувствую, что после войны у меня найдётся и сила, и охота, и энергия. Мы будем вместе работать, моя Шурочка!

¹ Буйневич К.А. Руководство к изучению внутренних болезней. Частная патология и терапия. (М., 1914 и др.)

² По-видимому, речь идёт о сборнике «Ананасы в шампанском (1908–1915)». М., 1915.

М[лодава], 9 ноября 1915 г.

За ночь появился иней на деревьях. Ветра нет. Тихо и морозно. Надел свой тулуп, завернул ноги в тёплую лошадиную попону и поехал в полки. Поехал неудачно, так как оказалось, что один из этих полков ещё передвигается, не дошёл, а другой — только что обосновался, но не успел ещё ничего устроить. Даже врачи ещё не нашли себе помещения. Так я и вернулся ни с чем. Поеду, вероятно, ещё раз через несколько дней.

Зато как хорошо было в поле и в лесу! У нас тут снега немного, но ближе к позициям его почему-то больше. Особенно в лесу, где мы немного блуждали, его оказалось много. Совсем зимний ландшафт. Страшно люблю иней в лесу. Прелестны также и одиноко в поле стоящие деревья, так и просятся на полотно. Нет, правда, хорошо москвичу поближе познакомиться с зимней природой — и поучительно, и увеселительно. Вообще я начинаю совсем терять свой невольный страх перед провинцией. Что вместе с тобой провинция! Только лишняя возможность ближе соприкоснуться с природой, больше ничего! Нет, я теперь не боюсь окончательно «засасывающего» влияния провинции. Всё зависит от человека. От него же зависит и обстановка, а не наоборот! <...>

В селе П., где эпидемия скарлатины среди детей, теперь всё-таки работает отряд Красного Креста. Как результат — прекращение эпидемии! И деятельность санитарных врачей всё-таки приносит результаты, несмотря ни на что — это теперь чувствуется везде. Мы не бесполезны.

М[лодава], 10 ноября 1915 г.

От тебя писем нет. Фактического материала мало. Помечтать разве? Что ж, помечтаю.

Что мы будем делать потом?..

Когда война кончится, я приеду в Москву. Останусь, однако, сначала только несколько дней и потом поеду к матери. Это — *conditio sine qua non*¹. Когда вернусь, — мы с тобой прямо под венец... Чем скорей, тем лучше. Ты переедешь на собственную квартиру, если только её у тебя ещё нет, и мы некоторое время, недельки две, поживём с тобой тихо, будем справлять медовый месяц! Хорошо будет, безмятежно... Потом мы оба берёмся опять за работу. Быть может, тебе даже не придется её прекращать. Клянусь бородой пророка, что заниматься медициной я буду самым интенсивным образом. И ты мне в этом поможешь. Сначала буду кончать стаж, без этого нельзя. Потом займусь специальными отделами: грудным возрастом, *lues*'ом [*сифилисом*] у детей и т. д. Быть может, даже немного заинтересуюсь хирургией. На это придётся ухлопать ещё один год в Москве.

Жить мы будем, во-первых, — на сбережения (!), во-вторых, на твой определённый заработок, если таковой будет (приюты, лаборатория или что-нибудь в этом роде, что тебе больше окажется по душе) и, в-третьих, — на случайные доходы (!). Во всяком случае, мы с тобой не пропадём в Москве.

Ну, а потом?

Потом, даст Бог, мы возьмёмся за осуществление нашей жизненной цели, которая меня всё более и более привлекает. Я глубоко убеждён, что в таком

¹ *conditio sine qua non* (лат.) — необходимое условие.

виде, в каком мне представляется осуществление мечты, она и тебя увлечёт, захватит. В конечном счете, она сводится к учреждению своего рода частной клиники, не находящейся в ведении Министерства народного просвещения, а посему развивающейся органически, без стеснений. Это — в далёком будущем, как итог многолетних работ.

Вначале же — небольшая ячейка, в зародыше своём несущая будущее и развивающаяся по намеченному плану... Предположим так: нашлись средства (они найдутся!), оборудована небольшая больничка для заразных на 10—15 коек, из которых несколько бесплатных. При больнице — известный местный врач-консультант, дающий своё имя. Небольшая реклама среди врачей и публики (без этого нельзя!). Сама больница — на дворе или в саду два флигеля, для дифтерита и для скарлатины. В дифтеритном отделении непременно паровая, интубационный и трахеотомический наборы. Имеется специально оборудованная лаборатория. Вообще всё необходимое имеется. При лаборатории — небольшая сначала специальная библиотечка.

Плата совсем скромная — 100 р. в месяц или 3 р. 50 к. в день. Сюда входит полное содержание и отчасти лечение. Только за сыворотки и сложные рецепты отдельная плата. За присутствие матери — 25 р. в месяц, за меньший срок — всё равно тоже 25 р. Если считать, что в первый год у нас в среднем 5 коек платных будет постоянно занято, то получим в год около 7000 рублей, что нам, во всяком случае, для начала даст полную возможность закончить без дефицита.

Первые три года мы будем сидеть безвылазно при нашей больничке, пока дело не наладится. Понемножку расширим дело: прибавим терапевтическо-тифозно-дизентерийное отделение, откроем бесплатную амбулаторию, в которую привлечём молодых начинающих врачей. Расширим лабораторию, библиотеку, увеличим количество бесплатных коек...

Наша больничка стала уже твёрдо на ноги. Стала известна во всей губернии, а может быть, и дальше. Бескорыстие и добросовестность врачей и вполне современная научная постановка дела создали ей уже определённую хорошую репутацию... В неё кладут детей охотно, доверяют ей. Около неё группируется небольшая просвещённая кучка молодых врачей с серьёзными стремлениями, вносящая свою инициативу в предприятие, открывающая, быть может, для него новые области... Плата не повышается, если возможно — понижается.

Являясь теперь уже центром детской медицины в губернии, учредители её берут на себя инициативу организации Общества детских врачей губернии. Задача этого общества не только научная: оно должно не только теоретизировать — оно должно, прежде всего, действовать. В распоряжении его — наша больница, которая теперь расширяется, превращается в кооператив, с одной стороны, широко обслуживая население, с другой — давая возможность существовать молодым врачам. Уже при больнице открыты новые отделения: кожное, хирургическое. Амбулатория расширена. Заведен ряд улучшений, дополнений. Действует бесплатная дезинфекционная камера. Намечается организация помощи на дому за минимальную плату. Находятся жертвователи на дальнейшее развитие дела, получают субсидии от земства, города...

Ну, письмо моё сегодня разрослось; размечтался!.. А я ведь ещё далеко не закончил. Завтра продолжу свои размышления, пока меня ещё не окатили холодной водой, пока ещё горячо воображение.

Был сегодня чудный солнечный морозный день с богатым инеем, а сейчас прекрасная лунная ночь. Как не размечтаться!

М[лодава], 11 ноября 1915 г.

Ты спрашиваешь, какое я вынес впечатление от Кути? Самое лучшее! Недаром я после свидания с ним опять стал усиленно носиться со своей идеей будущей нашей совместной деятельности. Он удивительно хороший и мягкий человек. Внешняя бравурность его бывает только на людях. При tête-à-tête всё это внешнее исчезает, он становится вполне естественным, простым. Я его всегда очень любил, несмотря на все его яркие недостатки. У него на редкость чистая душа. <...>

В том, что тгю наше будет на редкость удачное, я не сомневаюсь. У нас неладов быть не может. С этой стороны нашему будущему предприятию можно выставлять самый хороший прогноз. И прав он, когда пишет, что «при общих стараниях всё осуществимо». Я думаю так же. Надо только иметь перед собою ясно осознанную цель, в достижении которой видишь свою жизненную задачу. Надо стремиться к цели прямыми путями, браться за дело чистыми руками, работать дружно и интенсивно — и успех будет наш! Практическую же сторону мы разработаем. Мы ведь не беспочвенные фантасты, мы возьмёмся за достижимое. <...>

Я целый день сидел опять над своей ненавистой канцелярией. Отправляю тебе завтра 250 р., а скоро, вероятно, ещё столько же.

М[лодава], 12 ноября 1915 г.

Я берусь за перо только для того, чтобы сообщить тебе, что сегодня я не в состоянии тебе писать. С 9 утра до 9 вечера рыскал по полям, был в передовых окопах одного полка, смотрел, говорил, — и в конце концов, после блужданий среди снежных полей в начинающуюся пургу, вернулся домой усталый до смерти и с сильной головной болью. Сердце жарит вовсю.

14 ноября 1915 г.¹

Как тебе уже известно, я третьего дня был в одном полку, где знакомился с санитарным состоянием его. Был я и в окопах его. Накануне их обстреливали тяжёлыми бризантными снарядами². Было несколько попаданий: мне показывали следы разрушений. Я себе взял на память небольшой осколочек. Пока я был там, стреляли австрийцы только шрапнелью. В блиндажах мы сидели в полной безопасности.

Посмотрел я, как люди живут в окопах и блиндажах под постоянным обстрелом. Пил с офицерами чай, ел конфеты, смеялся с ними. А шрапнель всё рвалась где-то недалеко... Когда мы распростились и вышли, слышим отдалённый свист снаряда. Долго следим, пока не раздаётся взрыв гранаты около шоссе, по которому мы предполагали ехать. Пока мы шли к моей бричке, просвистело ещё

¹ Первая буква названия места и последующие точки тщательно вымараны цензурой.

² Бризантные снаряды (от *франц.* brisant — дробящийся) начинены дробящимся веществом, при разрыве резко усиливающим поражающее воздействие.

несколько снарядов далеко от нас. Однако мы по шоссе не поехали, а взяли курс полем, всё-таки верней...

Я теперь вполне понимаю, что можно совсем привыкнуть ко всему этому. Ведь только незначительная часть снарядов попадает. Это так называемое «затишье». Во время атаки и ураганного огня мне всё же не хотелось бы сидеть на передовой линии...

Сегодня мы с Матвеевым ездили в два полка. На позициях, однако, не были. У нас зима, санный путь — роскошь.

М[лодава], 15 ноября 1915 г.

Сидел целый день дома, писал доклад о санитарном состоянии обсле-дованного полка. А вечером взялся за Мариэтту Шагинян, которая мне в неко-торых своих стихотворениях чрезвычайно понравилась. Нет нужды, что иной раз при чтении вспоминаются и Бальмонт, и Пушкин, и Минский¹, и даже Лермонтов и Гейне. Пусть будет её талант подражательный, но в этих рам-ках ей удалось создать удивительно красивые и звучные стихотворения. Об-работаны они тщательно, стих чёткий, чеканный, мысль продумана, не рас-плывчата. Настроение тихое, немного грустное. Я подчеркнул карандашом те стихи, которые мне наиболее понравились. Около некоторых даже поставил восклицательный знак. <...>

Несмотря на прочтённые стихи, чувствую сегодня какую-то скудность вооб-ражения, какую-то малоподвижность мысли. Очевидно, преобладает впечатле-ние от кропотливого доклада. Тянет ко сну.

Зато как хорошо на дворе! У нас стоит сейчас порядочный мороз, градусов около 12—15. Снег скрипит и хрустит под ногами, кругом всё так бело, так чисто! Вот если бы сейчас потеплей одеться и прокатиться с тобой на быстрых санях куда-нибудь за поля, в лес! Вспоминается мне, как мы провели с тобой прошлый Новый год. Какое чудное воспоминание!

М[лодава], 17 ноября 1915 г.

Пишу тебе с нового места, после того, как вчера вечером совсем не писал. Дело вот в чём: вчера утром, — я как раз заканчивал воспоминания историка Соловьёва², — входит к нам комендант штаба и объявляет, что нашему отряду по распоряжению командира корпуса придётся перебраться в какое-либо дру-гое помещение, а в занятое теперь нами разместят нижних чинов, охрану шта-ба. Таким образом, наша близость к квартире командира корпуса устроила нам эту неприятность. Новое помещение нам комендант отвёл ещё вчера, недалеко от сан.-гигиен. отряда. Так как оттуда, однако, пришлось кой-кого выселить, а также вообще привести в порядок, мы временно воспользовались любезностью Матвеева и переночевали у него. Сегодня мы перебрались, и пока я остаюсь очень доволен переменой: наша комната меньше, но чище и уютней, имеется бо-лее обширное помещение для людей. Для лошадей мы тоже устроим конюшню получше. Так, по-видимому, всё к лучшему. <...>

¹ Минский (Виленкин) Николай Максимович (1855—1937) — народник, позднее тео-ретик и практик модернизма в искусстве. Увлекался учением Ницше.

² Соловьёв С.М. Мои записки для друзей моих, а если можно, и для других. Пг., 1915.

Воспоминания Соловьёва я прочёл с удовольствием, хотя и поразился некоторой поверхностности его суждений и наблюдений в иных местах книги. Всё то, на что тебе следует обратить внимание, я отметил карандашом, хотя далеко не со всем написанным согласен.

М[лодава], 18 ноября 1915 г.

Не могу я тебе сегодня писать — нахожусь в напряжённо-выжидательном настроении, ничего не клеится. Вот в полк я не поехал, канцелярией своей не занялся, почитать ничего не читал. День прошёл как-то так... Сидели у меня на новоселье Барченков и Матвеев. Поболтали. Толку мало. Чтобы попасть опять в колею, я должен получить твои письма! <...>

Шурочка, у меня скоро не останется почтовой бумаги и конвертов. Предупреждаю!!!

М[лодава], 19 ноября 1915 г.

Месяц тому назад я приезжал в Москву, и ты ждала меня на вокзале! Как давно это было!.. <...> Следующая наша встреча, вероятно, будут теперь весной — хорошее время!

Был я утром в одном из полков в селе П. Я предпочитаю возиться с местным населением, а полки не люблю: никак не могу привыкнуть к роли ревизора-экзаменатора. Несмотря на всю тактичность, неловкое чувство остаётся. Катович абсолютно ничего не делает и инициативы тоже не проявляет никакой. Мы друг от друга продолжаем отмалчиваться. Печальные «товарищеские» отношения! Завтра буду в О[строге] в интендантстве и на почте. Там узнаю, отправят ли они скоро наши письма. <...>

20 ноября 1915 г. Получил твоё отчаянное письмо от 6-го <...> Тебя гнетут мрачные предчувствия. Милая, крепись. Сейчас вообще расстройство всех путей сообщения в нашем тылу, и объяснить отсутствие писем легко. <...> Хотел тебе отправить ещё 200 р., но сейчас не принимают. Вероятно, куплю на них облигаций нового займа, буду стричь купоны!

Утром до обеда опять ездил в полк, в разные места, закончил обследование. Получил новое предписание, которое мне очень по душе: систематически обследовать в районе нашего корпуса все сёла и деревни, определять вовремя очаги возможной заразы, степень снабжения населения продовольствием и т. д. В зависимости от донесений, которые я обязан представлять каждую субботу, будут приниматься меры. В случае обнаружения заразного заболевания я телеграфирую. Это хорошо. Я доволен.

М[лодава], 21 ноября 1915 г.

Ты говоришь о своём будущем положении в Морозовской больнице. <...> Как бы ты не решила, я с тобой заранее согласен, в этом можешь не сомневаться. <...> А всё-таки хорошо бы, если бы ты могла на таких условиях остаться в Москве. Боюсь я за тебя в других, несомненно, худших условиях. Каково-то тебе будет?!

Тебя возмущает донос Григоровича. А я уже дано забыл. Подал я тогда свой ответный рапорт, на том дело и кончилось. Бог с ним! Не стоит мараться!

М[лодава] 22 ноября 1915 г.

Почта от нас не отправляется совсем, но почему-то всё-таки ещё приходят сюда отдельные письма и номера газет. <...> Очень мне нравится, что ты собираешься в будущем работать в клинике. В материальную необеспеченность я не верю. Ведь мы сейчас с тобой вместе зарабатываем около 465 р. в месяц. Неужели от этого ничего не останется? Да и в будущем у нас известный заработок обеспечен: у тебя 50 р. с приютов¹, и у меня 75—85 р. ассистентского жалованья, итого — 135 р. в месяц. Неужели нам придётся устраиваться в комнате? Не думаю. Даже уверен, что снимем маленькую, но страшно уютную квартирку. <...>

Я очень рад, что тебе так нравится Елпатьевский. Я его искренно полюбил. Вот, обратила, вероятно, и ты внимание на его последние статьи в Р.В. о беженцах: «Обиженные». Вероятно, он чудный человек. Я даже подумывал, не поехать ли к нему по окончании стажа советоваться с ним о дальнейшем: где и как. Он, человек провинции, старый врач с громадным опытом. Почему бы и не посоветоваться? Впрочем, это дело будущего. <...>

У нас за последние дни оттепель, а со вчерашнего дня всюду непролазная грязь. Тем не менее, с Матвеевым мы сели после обеда (утром писал длинный доклад) на лошадей и съездили верхом по полям в село М., где на путях в вагоне разместилось отделение московской экономии. Там я немного потратился на печенье и носовые платки (чуть-чуть!).

С Матвеевым мы всё больше сходимся. Он удивительной чистоты человек с определёнными ясными идеалами. Я ему уже много наговорил про тебя, и он тоже любит говорить про свою жену. Это почва нам обоим близкая и понятная. Хотелось бы тебя с ним познакомить. С Барченковым мы всё меньше находим общих точек. Он в значительной степени — фразёр, несмотря на общую талантливость.

М[лодава], 23 ноября 1915 г.

Я только что вернулся с объезда нашего тыла. Уже поздно, и я страшно устал. В колониях нашёл всего 10 случаев оспы, один случай дифтерита и один случай цинги! Среди беженцев страшная нужда, даже форменный голод. Послал телеграмму в санитарный отдел. Прошу прислать эпидемический и питательный отряды. Сейчас иду к корпусному врачу.

Завтра еду опять. Впечатления тяжёлые!

Постараюсь как-нибудь отправить эти два письма, но едва ли они будут отправлены — нет поездов. Неизвестно, когда эта оторванность кончится.

М[лодава], 24 ноября 1915 г.

Хотел сегодня с утра опять разъезжать. Но не пришлось, проснулся с сильной головной болью и лёгким ознобом — началась инфлюэнза! Очень приятно! Попросил Катовича поехать вместо себя. Вот когда ему пришлось немного поработать.

¹ В дополнение к работе врачом-ассистентом в Морозовской больнице Ал.Ив. взяла место врача в двух приютах.

Я же целый день сидел дома и глотал фенацетин. Читал «Боги и люди» Сен-Виктора¹. Читал с большим удовольствием: стиль блестящий и содержание интересное. За канцелярию никак не могу взяться, хоть тресни! Писем, конечно, никаких, отрезаны от всего мира.

На дворе грязь, слякоть, — беда! Из вчерашних картин самые печальные — это группа беженцев-евреев, худых, бледных, жалких до невозможности, голодающих самым форменным образом... И ещё семьи галичан — угро-руссов с Карпат: старуха-мать со всеми признаками цинги, молодой красивый отец семейства, истощённый, с горящими глазами, с начинающимся стоматитом, и его жена, совсем ослабевшая от голода, не в состоянии стоять, лежащая на земле в каком-то пароксизме!.. Уже целую неделю у неё сильные боли в животе и груди, позывы на рвоту, слюнотечение, полное истощение сил... Муж её возил куда-то, показывал какому-то военному доктору. Он мне показал прописанные порошки — салициловой натр! Лечить голодание салицилкой! Нет, Шурочка, до этого я не дойду. У меня совесть есть. <...>

Эта семья уже несколько месяцев кормится одной только картошкой. В последнее время и её трудно достать. Питательных пунктов они не выдали... Кучка бледных, молчаливых, изящных фигурок — детишки уставились на меня большими глазёнками. Они не просят есть, потому что знают, что есть нечего, как объяснил мне отец..

Масса горя кругом, Шурочка, безвыходного горя!.. Не нам роптать на судьбу, милая... Нужна помощь широкая, всенародная. То, что делается, — это капля в море, это едва видно, едва ощутимо. Но на большее нам рассчитывать ведь не приходится.

Да, я остаюсь при прежнем своём мнении: самое мрачное пятно на фоне этой войны — это беженство и всё, что связано с ним.

М[лодава], 25 ноября 1915 г.

Слякоть на дворе продолжается, а в носу у меня усиливается: насморк страшный. Единственное моё утешение, что я его, может быть, схватил из твоих последних писем: ведь и ты хворала им недавно. Быть может, это только продолжение твоего насморка! Памятуя слова фон Штейна², что нос любит, когда в нём гуляет прохладный Борей, я завтра с терапевтической целью опять отправляюсь в путь. Надо клин клином вышибать.

Катович вчера вернулся тоже поздно. К счастью, новых случаев эпидемических заболеваний он не нашёл.

У нас в штабе учреждена библиотека! Функционирует уже с неделю. Участвует около 30 человек. Первоначальный взнос был 3 р., дальнейшие взносы — ежемесячно по рублю. Приобретаются в Р[овно] новейшие издания, почти исключительно беллетристика. Есть и жертвованные книги. Мне пришлось отдать

¹ Сен-Виктор, Поль Жак. Боги и люди. М., 1914. Сен-Виктор, Поль (1825–1881) — французский литератор, театральный критик, автор блестящих статей о живописи и истории театра. Эстет, проповедник теории «искусства для искусства».

² Штейн Сергей Фёдорович (1855–1921) — директор Клиники болезней уха, носа и горла им. Ю.И. Базановой при Московском университете.

своего Игоря Северянина, что я сделал без большого сожаления. Я библиотекой пока не пользовался и вряд ли воспользуюсь. Но ради симпатичной цели охотно участвую во взносах.

Барченков ежедневно после обеда играет в винт. Сначала он принимал вид жертвы, но теперь сам с азартом созывает компанию. Я всё более равнодушно отношусь к нему. И всё милей мне становится Матвеев.

М[лодава], 26 ноября 1915 г.

Сегодня я опять ездил. К счастью, не наталкивался больше на такие картины, как тебе описывал: ни эпидемий, ни прямого голода. Странная погода у нас: светит солнце, снега нет, много грязи и воды. Окидываешь взором поля — всюду пробиваются молодые побеги. Одним словом, если бы не слишком уж матовый блеск солнца и порывы холодного ветра, можно бы думать, что это весна, март месяц в исходе... Зимы как не бывало. Только в самых глубоких канавах кое-где жалкие остатки грязного снега. А ведь уже надвигается декабрь.

Любовался я сегодняшним закатом: ярко-золотые тучки над лесом, за которым скрылось солнце, и тёмно-фиолетовые тяжёлые тучи с другой стороны, над фиолетовыми же полями... <...>

Писем нет, как и следовало ожидать. Есть К.М. от 22-го. Тучи сгущаются!.. Что будет?

Насморк, по-видимому, начинает поддаваться моей терапии «открытых ноздрей», чувствую себя лучше. Кончил «Боги и люди» Сен-Виктора. Прочёл с удовольствием. Теперь взялся за «Италию» Петра Рысса¹. Кажется, довольно скучно написано. <...>

Просыпаюсь обычно уже в седьмом часу. Долго валяюсь в постели, прежде чем вставать, — всё думаю о нашем будущем, и мечтаю, мечтаю... Наше «учреждение» в этих мечтах принимает иной раз грандиозные очертания: тут кроме больницы со всеми её аксессуарами, имеется ещё и целый ряд культурно-просветительских начинаний: тут и лекции для народа, тут и прежде всего широкая издательская деятельность... И над всеми этими учреждениями и начинаниями красуется девиз: *Vince sol!*² Не смейся, Шурочка, ведь это только мечты!

М[лодава], 27 ноября 1915 г.

Вернулся я сегодня из поездки поздно и сильно утомился — дорога ужасная. Утром грязь было подмерзла, и приходилось прыгать по неровностям, а к обеду пошёл опять снег, и стало тепло. В итоге бричка поломалась, и пришлось её долго чинить.

Тут на столе я нашёл от тебя письмо, на которое хочется ответить тебе основательно, на что я сейчас не способен. <...> Подробности завтра. Ведь всё равно это письмо не пойдёт дальше Казатина, где, как мне сказали сегодня на почте, до поры до времени хранятся все письма из армии.

¹ Рысс П.Я. Италия. М., 1916.

² *Vince sol!* (лат.) — Побеждай, солнце!

М[ладава], 29 ноября 1915 г.

Как бы хоть маленькую весточку послать тебе... <...> Я сначала думал, что перерыв продолжится только несколько дней, но вот уже вторая неделя на исходе. Как-то ты перенесёшь всё это? <...>

За ночь у нас опять растаял весь снег, и сегодня совсем тепло и солнечно. Широко открыл я окна своей комнаты, выпускаю тёплый, совсем весенний воздух! Кругом опять зеленеют поля, как будто никакой зимы не было и не будет. А по календарю ведь скоро Никольские морозы! И ведь были уже дни с трескучим морозом, инеем на деревьях и хрустом под ногами...

Вот видишь, Шурочка, как всё сменяется. Наступят ведь и для нашей совместной жизни опять тёплые весенние дни, когда позабудутся трескучие морозы. А пока тяжело! Тучи надвигаются, атмосфера сгущается... В воздухе чувствуется приближение грозы. Напряжённость усиливается... Даже я, твой спокойный Ёжик, чувствую, как струны натягиваются, нервы звенят... Какие тяжёлые, какие великие времена выпали нам на долю, Шурочка! Не слишком ли много для отдельного человека?

3 декабря 1915 г.

Ура, Шурочка! Получил ещё два письма от тебя. <...> Я страшно рад за тебя, что ты сможешь кончить полный стаж, закончить своё специальное образование. <...> Мне совсем придётся перед тобой стушеваться. <...> Значит, признано желательным удержать для больницы Ал.Ив. Доброхотову! Ну а найдут ли желательным удержать А.И. Краузе? Ты подумай, Шурочка, не прогадаешь ли ты со мной? Ведь ещё не поздно. Ну не сердись, ведь я смеюсь. <...>

За ушедшими на войну ассистентами сохраняются их места! Это великолепно. Мы покорнейше благодарим за такое великое сделанное нам снисхождение. И об этом пришлось поднять вопрос на совещании! Да разве это не само собой разумеется, не простой долг тех, кто сидит дома? Ну, Бог с ними!

А когда это будет? Когда, когда мы вернёмся на свои старые места!.. Не мудрено, что нас начинают забывать, что мы уже не свои, ненужные... Ведь устроились без нас. К чему ломать наладившуюся работу, снова перекраивать, примерять?.. Немножко обидно.

Ты, Шурочка, намекаешь на сдержанность своего ответа на моё письмо о планах будущего. Я этого ответа ещё не получил. И хорошо, что он придёт позже, я теперь подготовлен к нему. Шурочка, я больше не буду. Ведь это только так, перо разошлось. Конечно, ничего нельзя сказать, что будет потом. Вероятно, всё будет совсем не так, как думаешь, поэтому лучше не думать. Пройдёт время, там видно будет.

М[ладава], 5 декабря 1915 г.

Сидел над канцелярией. Эта работа сушит мозги. Последние дни у нас была другая работа: производили подворную поголовную противооспенную вакцинацию населения. Катовичу поручил один район, а сам наблюдал за другим. Привили, в общем, около 1200 человек за три дня. В других районах нашего корпуса производится тоже вакцинация под наблюдением врачей ближайших войсковых частей. Надо надеяться, что эпидемия прекратится. Как видишь, у

нас тоже иной раз проводятся санитарные мероприятия в довольно крупном масштабе. <...>

6 декабря 1915 г. <...> Неужели, Шурочка, ты думаешь, что дешевле 250 р. в месяц мы не проживём? Я рассчитывал, что хватит нам и 180 р. для начала. Ну, там увидим. Это — полбеды. <...>

А во мне крепнет уверенность в сравнительно недалёком мире. Быть может, даже весною!.. Мечта! <...>

У нас сегодня праздновался Николин день. Было несколько именинников. Богатый обед со всеми аксессуарами в изобилии, музыка, шум и гам... Одним словом, не поверишь, что в восьми верстах от позиции... А ргорос, «зимний Никола» у нас оказался прекрасным весенним днём с 8-ю градусами тепла, ярким солнцем, зеленью полей!

Сегодня вернулся из отпуска Щастный, с большим опозданием и трудом. Говорит, что в армии ему сказали, что, вероятнее всего, наш отряд останется здесь и не поедет никуда. Официально ещё ничего не известно.

По случаю праздника Катович проделал всё то же, что в своё время в Дубно! Гадость! Некультурность!

Почтовая бумага совсем на исходе. Достать негде.

М[лодава], 7 декабря 1915 г.

Пришло письмо от Раф.Мих. из Ромен. У них там смена главных врачей: назначили им, как им кажется, для начала человека симпатичного, который стремится всё построить на чисто товарищеских началах. Рафаил даже говорит, что он напоминает Фёд.Ал. Зайцева! Дай Бог им не разочароваться. В остальном у них — idem. Только пришлось отдать мои трофеи — три винтовки. Рафаил меня утешает, говорит, что на них выдадут квитанции, по которым после войны можно будет получить такой же системы. Всё может быть, но пока мне очень обидно.

Всё лето у Рафаила в Виннице гостила семья. Когда же пришлось оттуда выбираться, он проводил её к себе в Обловку [*Тамбовской губ.*]. В ноябре опять приезжала к нему жена. Какой счастливый!

М[лодава], 10 декабря 1915 г.

Ты спрашиваешь меня, Шурочка, верю ли, что мы когда-нибудь выберемся из этой трясины, что когда-нибудь этот кошмар кончится. Конечно, верю, Шурочка! И даже уверен, что не так уж долго нам придётся ждать этого. Мне кажется, что так же, как раньше слишком оптимистически верили в быстрое окончание войны, так теперь ударяются в излишний пессимизм. Для меня ясно то, что финансы всех почти воюющих государств напряжены до последней крайности. Сейчас всюду — и у нас, и во Франции, и в Германии, заключены новые грандиозные займы, дающие возможность воевать ещё некоторое время. Всюду, по-видимому, готовятся к решительным операциям; мы, безусловно, накануне крупнейших событий. Это последняя ставка. Если ясно обозначится успех союзников, то поверь, Германия предложит приемлемые условия мира. Ведь и так всё крепнет и приобретает там влияние партия мира. Союзники, мне кажется, упорствовать на «сокрушении германского милитаризма» не станут. Слишком ясно, что сокрушить его при настоящем

положении дел невысказано. Это пускай будет задачей будущего. Сейчас же будет крупным успехом, если удастся остановить дальнейшее продвижение Германии, вытеснить кое-где из занятых областей, вновь угрожать Австрии. Поверь, что если дело дойдёт до этого, то у Германии сразу найдутся вполне подходящие условия для мира.

Если же и в наступающих событиях перевес окажется на стороне Германии, то перед союзниками встанет дилемма: либо готовиться к третьему году войны, в перспективе — к четвёртому, на что никаких финансов хватить не может, либо подумать о мире. Я не думаю, чтобы и в таком даже случае условия мира могли быть суровы. Ведь мир необходим всем воюющим, ведь расстройство народного хозяйства всюду ужасающее. К тому же для Германии как-никак всё более грозно встаёт вопрос о пополнении всяких запасов: несмотря на организаторские способности из ничего не сделаешь нечего! А партия, противостоящая всяким аннексиям, становится всё влиятельней, всё настойчивей. Я искренно думаю, что умеренный дух восторжествует. Быть может, не столько по внутреннему желанию, сколько по необходимости.

Как бы то ни было, ясно для меня одно: что очень ещё долго воевать ни для одного из государств нет никакой возможности. Это означало бы окончательный финансовый крах. Как ни храбрись, а это несомненно. Полное истощение Европы сделает её сговорчивой, а этот срок не может уже быть далёким.

Ты спрашиваешь, когда же? Не знаю, Шурочка, но мне кажется, что интенсивные военные действия продолжатся ещё до середины лета *taughtum*. После этого срока, я думаю, поневоле начнутся мирные переговоры. Осенью же мы будем дома. Следующая зима наша!

11 декабря 1915 г. Прочёл свои вчерашние рассуждения. Окажусь ли я хорошим пророком? Помиришься ли ты с такой перспективой? <...>

От тебя писем опять нет. Зато получил письмо из Питера от [Арлуши]. Пишет, что «переехал на новую квартиру к симпатичной даме». Достаёт бесплатные билеты в Оперу при Народном Доме. Слушал Шаляпина, но разочаровался; [слушал] Собинова. Книжки прочёл и отошлёт тебе на днях. На Рождество, вероятно, поедет в Ригу. Скоро он напишет тебе и попросит выслать первые 60 р. Я думаю, лучше сразу послать за три месяца — 180 р. Спрашивает, останешься ли ты в Морозовке или уедешь на фронт? Питер ему не очень нравится, слишком «шаблонная деловая жизнь». Вот и всё.

У нас — *idem*. Только погода стала хорошей: масса снега, мороз. Почти каждый день проезжаю верхом. Это большое удовольствие, Шурочка. Ездил опять по сёлам, но ничего не нашёл особенного. Кое-где появляется сыпной тиф, но едва ли примет опасные размеры — санитарные мероприятия проводятся неуклонно. Всё население вакцинировано, оспа ослабевает. Беженцев отправляют вглубь России, население разрежается, скученность уменьшается.

М[лодава], 13 декабря 1915 г.

Ура, Шурочка! Я сегодня получил твоё письмо от 5 декабря! Уже на седьмой день! И что ещё более удивительно, так это то, что в нём ты уже отвечаешь на мои письма, отправленные 1-го декабря! Ты их получила уже на четвёртый день! Такой быстроты я уже давно не запомню. <...>

Немного занимался своей канцелярией. Послезавтра опять начну свои скитания по сёлам и деревням. Накопилось у меня много прочитанных книг. Не знаю, как их послать тебе. <...>

Ты спрашиваешь, где я стану встречать Сочельник, и как его станут справлять родные. Да, в Риге едва ли шумно и весело встретят Рождество. А я, — постараюсь не думать о том, что и как было бы, если бы... <...>

Получил коротенькую открыточку от К[арлуши] из Питера. Говорит, что уже писал тебе. 19-го он едет в Ригу на две недели. Самое любопытное то, что В[илли] в конце декабря всё-таки перебирается в Москву к «Проводнику»! Значит, надоело сидеть так без дела.

[Млодава]¹, 16 декабря 1915 г.

Вчера при всём моём желании писать тебе не мог. Дело вот в чём: получаю неожиданно утром предписание от корпусного врача отправиться за тридевять земель, определить и выяснить, в самом ли деле имеется в таком-то селе случай сыпного тифа. Пришлось тут же сесть на лошадь и поскакать. Одновременно послал свою тяжёлую артиллерию — формалиновые аппараты. Долго блуждал, сбившись с пути, в тумане в горах (горы порядочные!), насилу выбрался на дорогу. Грязь, туман, дождь. Ветер! Я верхом на лошади то плетусь шагом по лесу и оврагам, то рысью по полям. Можешь ли ты себе представить эту картину? Твой Ёжка, московский домосед — лихой наездник, по три дня не слезает с лошади, чувствует себя на ней превосходно, чуть ли не обедает на ней, как истый гунн. Одним словом, кентавр!

Добрались мы только к вечеру. А ведь вечера теперь ранние. Пришлось отложить на сегодня. Заехал в соседнее село, где оказался эпидемический отряд Волынского земства. Там и добыл все необходимые мне сведения. Врача случайно не оказалось. Приютил меня земский фельдшер, устроивший меня у одного еврея. Чтобы мне было тепло, этот еврей так натопил комнату, что я проснулся весь в поту и с болью в затылке. Сегодня утром мои ребята продезинфицировали всё что следует. Затем я пустился в обратный путь. На этот раз объехал горы. Вернулся порядочно разбитый.

М[лодава], 17 декабря 1915 г.

Вообще после войны всё будет хорошо. После такого урока мы уже не будем жаловаться на мелкие неприятности и неудачи. Что всё это в сравнении с оторванностью в течение двух лет от всего родного, любимого!..

Послал сегодня с утра Катовича на два дня в одно село, где появилось несколько случаев сыпного тифа. Ему придётся наблюдать за производством дезинфекции хат и одежды. Мы, кроме формалина, применяем теперь окуривание серой и пропитывание раствором насекомояда. Камеры, к сожалению, у нас всё ещё нет.

Сию на своей канцелярией, которая доставляет мне много огорчений. Не могу привыкнуть и примириться с этой работой. <...>

Со вчерашнего дня опять функционирует почта, и вчерашнее письмо я отправил уже обычным путём. Слава Богу, наконец-то! <...>

¹ Буква, обозначающая место, вымарана цензурой.

Осматривал нашу радиостанцию. Нам с Матвеевым давал объяснения её начальник, капитан. Не могу сказать, что очень много понял, но самый принцип я себе уяснил. Во всяком случае, любопытно, когда работает вся эта машина. Перехватили Берлинскую радиотелеграмму с обзором военных событий на всех фронтах. Тут же перевели. Вообще любопытно. <...>

Поскорей бы дошла твоя посылка с почтовой бумагой. А пока я экономлю.

18 декабря 1915 г. Не огорчайся, что я приехал тогда в Москву только на две недели. Я всё-таки хорошо сделал. Дело в том, что с середины ноября отпуска сначала отсрочили до 15 декабря, а сейчас вновь отсрочили уже без назначения срока. Может быть, этот перерыв продлится ещё порядочно, а я, как-никак всё-таки уже использовал раз эту возможность.

Млодава, 19 декабря 1915 г.

Пользуюсь случаем послать тебе быстрое известие о себе. Наш зубной врач¹ (таковой у нас имеется с 1 декабря; между прочим, довольно нудный субъект) едет этой ночью в Киев. Я ему дам письмо и pošлю тебе через него все прочитанные за последнее время книги. <...>

Вот моя просьба к тебе: подпишись для меня на Р.В. на три месяца с января. А затем на «Медицинское обозрение». <...> Дело в том, что мы с Матвеевым и Барченковым решили, что совестно забывать медицину, и следует хоть несколько следить за ней. Поэтому мы решили, чтобы каждый из нас подписался на какой-нибудь общий медицинский журнал. Матвеев выписывает «Русского врача», Барченков — я не знаю ещё что. <...>

У нас опять мороз. Вся грязь застыла, и по кочкам больно ходить — не то, что ехать.

Да, со многим мне за эту войну пришлось познакомиться впервые. И всё-таки мне провинция теперь совсем не кажется страшной. Да разве у меня с тобой где-нибудь может быть провинция, то есть застой? Да ведь для нас с тобой вместе всюду столица!

Млодава], 20 декабря 1915 г.

Был в казначействе и ещё кое-где, возился до вечера, а когда вернулся, то нашёл на столе целое богатство — четыре письма от тебя. <...> На твой вопрос, как мы тут справляемся с морозами, отвечу картиной: ежедневно мы ходим на обед, как мухи по липкой бумаге! Грязь невыразимая! Поля опять зеленеют. Окно у меня полдня остаётся открытым.

Млодава], 22 декабря 1915 г.

Я вчера с утра объезжал целый большой район. Проделал верхом 55 вёрст! Это не шутка. В одном селе нашёл эпидемию скарлатины, больше ничего. Возвращался в темноте. Как-то лошадь оступилась и стала прихрамывать. Тогда пришлось шагом доплестись до ближайшего местечка В., в четырёх верстах от нас, где я остановился в лазарете одной из наших дивизий, пока мой фельдшер не доехал домой и не прислал мне бричку, на которой я,

¹ Зубной врач Штерензон, по прозвищу Зонтик.

наконец, полуживой от усталости, доехал в одиннадцатом часу. Было не до писем.

Сегодня ещё ноют все косточки, но я уже опять в порядке. Лошадь за ночь отдохнула в лазарете, её привели, и она, к счастью, оказалась совсем здоровой.

Писем от тебя за эти два дня не было, но зато я получил от **матери**, от 10 декабря. <...> В[илли] уехал в Москву, прибавилась новая забота... <...> Как ни трудно матери писать, но всё же она не может удержаться от того, чтобы не писать мне лично. Почти каждый раз она извиняется за допущенные, несомненно, ошибки («1000 ошибок!», как она пишет) и просит, поэтому сразу же уничтожать её письма, чего я, конечно, ни за что не сделаю. <...>

Воет ветер, идёт дождь, слякоть и грязь невыразимая. Неужели таково будет и Рождество? Без снега, без мороза? Впрочем, мне всё равно. Ведь Рождество этого года я не стану считать каким-либо праздником и постараюсь поскорей пройти мимо его. Вне своей семьи и своего дома не может быть никакого Рождественского праздника. Может быть шумно,людно, даже как будто весело, даже ёлка... но не Рождество!

М[ладава], 23 декабря 1915 г.

Приходится тебе писать на своей канцелярской бумаге. Почтовая вышла вся, а посылочки твоей всё нет и нет. <...> Уж не сердись на серый вид бумаги. Обстоятельства военного времени! <...>

Узнал, что на нашем телеграфе стали принимать частные телеграммы, и послал тебе и в Ригу. Поздравительные нельзя, пришлось ограничиться более прозаическим содержанием. Думаю однако, что и так они выполнят своё назначение — дать весточку обо мне в праздник, когда особенно хочется восстановить контакт и когда, может быть, как нарочно нет писем. Очень хочется, чтобы они пришли в сочельник... <...>

Вернулся только что с ужина. Резкий ветер воет в проволоке хмельника. Идёт нечто среднее между дождём и снегом. Грязь, грязь, грязь... Ну и Рождество!

М[ладава], 24 декабря 1915 г.

Сегодня сочельник, но я не чувствую его... Рождество нынешнего года я заранее вычеркнул из списка праздников, а поэтому мне сейчас всё равно, что кругом меня делается, что я сам делаю... Я участвую только физически.

Я утром, как всегда, как ни в чём не бывало, поехал в один из наших обозов — предупредить относительно возможности заноса туда сыпного тифа и необходимости принятия мер предупреждения. Осматривал баню, прачечную. Разговаривал с врачом, с командиром... Вернулся ещё днём.

Обед был назначен поздно, к пяти часам. В двух комнатах нашего собрания оказалось по ёлке. Обед был, как и следовало ожидать, роскошным (простых обедов у нас вообще никогда не бывает): масса изысканных яств, напитки и т. д. и т. д. Публика шумела, была по-своему весела и празднично возбуждена. Ели и пили до восьми вечера, а потом пошли играть в карты...

Лучшее впечатление сегодняшнего дня я получил, как всегда, от природы. Когда я проезжал утром по шоссе через дубовую рощу, то восхищённо любовался контрастом красок: на фоне далёких чёрных, вероятно, снежных, туч — бурая

ржавчина не опавшей дубовой листвы. А у подножия дубов ярко блестит на солнышке весёлая нежная зелень молодой пробивающейся травки. Как бы олицетворение зимы, осени и весны. Почему-то припомнилось пушкинское: «и пусть у гробового входа младая будет жизнь играть»...

Вот видишь, какая у нас зима и какое Рождество! Совсем, совсем не то, что так привычно, так освящено традицией, так мило...

М[лодава], 26 декабря 1915 г.

Я упорно держусь за свою идею (она в самом деле моя идея, ещё со второго курса) нашей собственной лечебницы-клиники. Хочу опять побеседовать с тобой на эту тему; не терпится.

Я не перестаю думать о способах её осуществления и, где представляется возможность, советуясь уже с компетентными людьми. Щастный считает эту идею вполне жизнеспособной, даже потребностью провинции, но не увлекается ею. Когда я несколько дней тому назад возвращался с поездки, провёл вечер в лазарете в В. (я писал тебе об этом), я разговорился со старшим ординатором, земским врачом Полтавской губернии. Он горячо подхватил мою мысль и стал мне доказывать, что в южных губерниях она имеет все шансы на большой успех. Рассказывал мне из своей практики много примеров, когда при всём добром желании нельзя было отправлять пациентов — некуда! Даже рядовые незажиточные крестьяне готовы были платить сравнительно большие деньги, особенно в рабочую пору, чтобы только пристроить больного ребёнка. Коллега считает, что лучше даже с самого начала открыть и терапевтическое отделение. Стоимость оборудования койки в их земстве обходится в среднем в 100 р., если очень хорошо, то в 150 р. И только в самых шикарных, показных хирургических — в 200 р. Это оборудование, не считая, конечно, наём помещения или постройку больницы.

Итак, если считать по 200 р. и оборудовать для начала коек 30—40, то это обойдётся в 6000—8000 р.! Не так уж много. Конечно, необходимо найти подходящее помещение, и это будет, вероятно, удовольствие довольно дорогое. Но можно себе представить и такой выход: предварительно мы подаём мотивированное прошение в городскую думу что ли, и просим отвести нам бесплатно под больницу землю или подходящее помещение, обязуясь с своей стороны предоставить в бесплатное пользование города часть коек. Можно войти в соглашение с земством об отпуске субсидии для этой же цели. Всё это далеко не так фантастично, как тебе, может быть, покажется с первого взгляда. И ты не смейся. Если бы я мог тебе не писать, а излагать свои соображения устно, я уверен, ты отнеслась бы совершенно серьёзно и не отрицала бы осуществимость проекта.

Я, конечно, ни на миг не забываю, что совершенно необходимы известные предпосылки: серьёзная, нешуточная научная подготовка. Если мы выступим с лёгким научным багажом, если с самого начала ударим лицом в грязь, то, конечно, наша затея быстро погибнет во цвете лет. Поэтому всё это — дело будущего, хотя и не слишком отдалённого. До тех же пор нам необходимо, и мы будем работать!

Зато какие перспективы открываются для нас лично! Даже голова кружится... Прежде всего, мы — хозяйева дела, и от нас зависит весь внутренний распо-

рядок. Никакой Алексеев нам ничего испортить не может. Даже подбор больных в значительной степени будет зависеть от нас. Для тебя можно оборудовать специальную лабораторию, в которой ты будешь заниматься не только очередной работой, но и для себя научной. Каждый из нас изберёт себе какую-либо специальность. Предположим так: нервные и терапевтические — тебе, заразные — мне, а кожные и грудные (может быть, будут со временем и такие, тут уж у меня фантазия разыгралась) — Куте. Постоянно один из нас дежурит дома, другие свободны. Летом, когда мы с тобой путешествуем, остаётся Кутя, и наоборот. У нас двухэтажный особняк. Мы с тобой и ребятами живём наверху, Кутя с женой — внизу. При терапевтическом отделении у нас будет солидная специальная медицинская библиотека, все журналы... Будет лошадь и коляска, на которой будем возить в лес гулять ребятешек!..

Позади дома — чудный сад, немножко запущенный. Вся наша лечебница (как нехорошо звучит слово лечебница!) вообще-то помещается немного за городом — там, где уже начинаются поля. Но сообщение удобно, близко трамвай. Живём мы все ладно и дружно. Ни ссоры, ни перебранки нет ни у нас с Кутей (это немислимо), ни даже его с женой, которую мы видим мало и которая нас почти не касается. Работа идёт у нас интенсивная, но зато и отдых бывает сладок!

Понемногу наше дело ширится. Привлекаются в него новые люди, но уже по нашему выбору, к кому мы присмотрелись. Открывается хирургическое отделение, куда заведовать приглашается известный московский хирург — Николай Иванович Скворцов. Ему положено хорошее жалование, и он с радостью соглашается и стремительно берётся за дело...

Эх! Рука разошлась!!!

М[лодава], 27 декабря 1915 г.

Я снова пишу тебе на хорошей бумаге. Сегодня вернулся из Киева наш **зубодёр** и привёз мне бумаги, конвертов и отрывной календарь. А твоей посылочки всё нет и нет... <...>

Праздники у нас проходят по той же программе, что и сочельник... 25-го, между прочим, к обеду подали фазанов и мороженое из шампанского. Не говорю уже про всё прочее... В тылу имеют, очевидно, слабое понятие о том, как умеют люди устраиваться «на позициях».

М[лодава], 28 декабря 1915 г.

Серый будничный день. На дворе всё та же грязь и слякоть. Ты, может быть, удивляешься, почему я в своих письмах так часто упоминаю о погоде, словно больше не о чем писать. Но ведь погоду не замечать можно в Москве — там, где «гремят витии, кипит словесная борьба», а у нас «во глубине России» — погода фактор, который никак не обойдешь молчанием. Не будь этой мерзопакостной погоды, я бы сегодня поехал в село П., где появился дифтерит. Туда потребовал сыворотку полковой врач, а значит, терапия налажена. Но хотелось бы самому поехать и посмотреть. Вышел на улицу. Ветер рвёт и мечет, не то снег, не то дождь, на земле какая-то бурда, гадость. Посмотрел и вернулся в свою тёплую комнату. Вот уж несколько дней, как я никуда не ездил. Читаю статьи Зелинско-

го¹ и погружаюсь мысленно в античный мир. Там так много светлой красоты. Там так далёк от переживаний настоящего... Неоднократно при чтении я горько сожалею, что не могу прочесть тебе особенно блестящие страницы. Утешаюсь будущим. <...>

Сговорился со старым писарем казачьей сотни. Он взялся за бакшиш привести в порядок всю мою канцелярию. Я один всё равно никак не выпутаюсь из всей этой сети предписаний, приказов, уведомлений, объявлений и т. д. Обещал взяться за дело после праздников. Я торжествую. Бросил все книжки и документы в сторону и читаю себе на свободе то, что хочется. Дела запущены, но на душе стало легко. Вот видишь, какой я легкомысленный.

М[лодава], 29 декабря 1915 г.

День без писем. Только Р.В. продолжают приходить аккуратно, обычно на 6-й день. <...> Я же тебе вчера послал 300 р. денег. Могу тебе сообщить, что кроме этого у меня здесь имеются две облигации последнего займа по 100 р. каждая. Как видишь, мы с тобой богатеем не по дням, а по часам! Если дело так пойдёт дальше, то скоро нам некуда будет деньги девать. <...>

На что нам подписаться в наступающем году? Не знаю, что даёт «Практическая медицина». Если приложения хорошие и интересные, то ты, конечно, подпишешься. На «Медицинское обозрение» я уже просил тебя подписаться для меня. Может быть, это зря, но хочется хоть какой-нибудь журнальчик медицинский получать и здесь, а то окончательно плесенью покроешься. «Солнце России», кажется, в новом году не даёт никаких приложений. Тогда, конечно, не стоит и подписываться. Этим, если не ошибаюсь, и исчерпывается список возможных абонементов. Ведь на какой-либо из толстых беллетристических журналов ты едва ли захочешь подписаться — нет времени читать и едва ли стоит... «Голос минувшего», к сожалению, приходится отвергнуть по той же причине недостатка времени.

Я, Шурочка, всё-таки подписался ещё на один журнал, который ты и будешь получать в Москве, на «Природу». Я думаю, что ты не останешься недовольна. Найдётся у тебя и достаточно времени, чтобы заглянуть в его коротенькие статьи. Журнал очень симпатичный. Здесь его получает **Матвеев**, у которого я и познакомился с ним. <...> Это мой рождественский подарок тебе. Себе я тоже сделал подарок, который ты тоже должна будешь получить. Он в будущем, когда у нас будет больше времени, заинтересует и тебя. Что это — ты увидишь.

М[лодава], 30 декабря 1915 г.

Поразило меня твоё столкновение с Алексеевым. Ведь он, несомненно, считает тебя добросовестным и полезным работником, иначе на стал бы тебя удерживать в больнице, да и Тимоша² не имел бы в проекте оставлять тебя у себя ас-

¹ Зелинский Фаддей Францевич (1859–1944) — видный филолог-классик, профессор.

² Краснобаев Тимофей Петрович (1865–1952) — один из основоположников отечественной детской хирургии, заведующий хирургическим отделением Морозовской детской больницы на протяжении полувека, с её основания. Ал.Ив. считала, что это отделение в больнице «всего научнее поставлено» (письмо 17 марта 1916 г.).

систенткой. И всё-таки этот человек позволяет себе такие грубые выходки. <...> Неужели это только одно замоскворецкое купеческое самодурство? <...>

Вчера был день свадьбы родителей. Написал им. <...> У нас новость: небольшой мороз! А днём даже валил снег. Мы в сумерках пошли с Матвеевым гулять в ближайший лесок. Вернулись уже при луне. В лесу так дивно хорошо!

Всех своих солдат отпустил на спектакль, который здесь организовался. Исполнители — нижние чины. Режиссёр — Барченков. Кажется, со скрипкой должен выступать и Катович. Боюсь, что не окажется в состоянии. Он исчез с утра — боюсь повторения Дубно...

31 декабря 1915 г. Последний день старого года. Нехороший он, и всё-таки с ним связаны отдельные чудные воспоминания. 1914-й дал нам Нагу, 1915-й — Киев... Что даст нам наступающий 1916-й? Будем верить, что он даст нам, прежде всего, мир. Остальное приложится...

Я только что вернулся из Р[овно]. Поехали мы туда утром на автомобиле с Матвеевым. Он хотел зайти в лабораторию Земского союза, а у меня собственно не было никаких дел. Тридцать вёрст по шоссе проехали в какой-нибудь миг — в 35 минут! Странно чувствуешь себя в городе, хотя бы уездном, после нашей глуши. С любопытством и удовольствием заглядываешь в витрины, рассматриваешь публику, обедаешь в ресторане. Мы, конечно, первым делом шлялись по магазинам. Я ухитрился купить три банки Эйнемовского варенья, один фунт «Золотой ярлык»¹ и Абрикосовский пат.

В двух писчебумажных магазинах было по несколько книг современных авторов. Так и тут я успел забрать целых пять томов! Долго думал, чего бы ещё купить, но так и не додумался. К великому сожалению, оказалось, что мне ничего не нужно, что я всем обеспечен. Матвеев проделал приблизительно ту же программу — он из такой же породы.

Обедали в ресторане, хотя и провинциальном, но всё-таки... Затем перед отъездом пили кофе в варшавской цукерне. Как видишь, удовольствия самого невинного свойства.

Врача земской лаборатории мы не застали, так что с этой стороны наша поездка оказалась безрезультатной. Поехали домой очень довольные. <...> Вот какие мы ещё молодые!

В 8 часов надо будет пойти на спектакль. То есть самый спектакль начнётся только в девять. Предварительно же перед сценой за столиками будет предложен чай. Как тебе это нравится? А вы себе в Москве думаете, что мы чуть ли не в землянках гниём! Нет, у нас умеют устраиваться...

Спектаклем только откроется цикл удовольствий, предстоящих нам вплоть до завтрашнего будущего года. Впрочем, далее программа, вероятно, обычная...

Писем не было никаких. Это и не удивительно, ведь праздники! Небольшой мороз, так градуса в два, всё ещё, к удивлению, держится. Поля и крыши посыпаны свежим сахарным песком. Катович вчера не оправдал моих ожиданий. Впрочем, если не вчера, то, вероятно, сегодня...

¹ Кондитерская фабрика товарищества «Эйнем», основанная Фердинандом Теодором фон Эйнемом, с 1908 г. производила десертный шоколад «Золотой ярлык», с 1922 г. фабрика носит название «Красный Октябрь».

1916 год

Зима, а за ней и ранняя весна 1916 года прошла на зимних квартирах в чешской колонии Млодава, в 30 верстах от уездного города Ровно. На фронте было затишье. Весной штаб 8-го корпуса перебрался в Ровно, а с ним и отряд Фр.Оск. В апреле он получил трёхнедельный отпуск и поспешил в Москву, затем — в Ригу, к родителям. Но даже прощаясь с матерью, он ни словом не обмолвился о своём предстоящем венчании с Ал.Ив. После венчания 29 апреля в Покровской церкви на Малой Ордынке у молодых не было свадьбы в обычном понимании этого слова, как, разумеется, не было и «медового месяца». Договорились, что в свой отпуск в конце мая Ал.Ив. приедет к мужу на фронт. Через день после венчания, 1 мая «молодой» выехал в Ровно.

Киев, 3 мая 1916 г.

Пишу с вокзала. Времени мало, так как поезд опоздал на несколько часов, и я только успел почиститься и побриться. Доехал вполне благополучно, почти не слезая с верхней полки. Нас в купе всё время было 8 человек! Духота невероятная, там более, что окно почти постоянно оставалось закрытым. Все молодые люди, но свежего воздуха боятся: пар костей не ломит...

Сейчас отойдёт поезд в Ровно. <...>

Пишу всё о пустяках. О главном писать не хочется. Нет возможности сосредоточиться. Чувствую только, что за эти три недели в душу вошло много светлого. Вот этот свет я и ощущаю...

Р[овно], 4 мая 1916 г.

Вот я опять в старой обстановке, опять далеко от тебя. И так пусто кажется всё кругом! Так не удовлетворяют люди! Так убого... О, Господи, почему нашему поколению такая тяжесть!?

Приехал ещё вчера к ночи. На станции меня уже поджидали лошади. В комнате всё без перемен, только на столе стоит громадный букет сирени, поставленный моим Дмитруком. Он запомнил, что я люблю цветы. А давно ли я их люблю? И чья в том заслуга?..

Ещё вчера я забежал к Матвееву, узнать, что и как. Одно известие меня в первый момент очень огорчило, но потом я решил, что не так уж это страшно:

запрещён с Фоминой недели въезд в Р[овно] офицерских жён! Доступна только полоса к востоку от меридиана Р. <...>

Утром я проснулся от очередного обстрела очередного аэроплана. Не дали выспаться. Стаканы от снарядов падали в нашем расположении. К счастью, никого не ранили. <...>

Сегодня опять не придётся выспаться: ночью будут произведены кой-какие опыты, на которых любопытно присутствовать. В 3 часа ночи надо быть на месте, а езды больше часа¹. Сразу мне пришлось окунуться в совсем другую атмосферу, но сердцем я ещё целиком в Москве и не приемлю настоящего...

Катович за три недели совершил только две служебных поездки. Всё остальное время абсолютно ничего не делал! Вот жизнь!

Р[овно], 5 мая 1916 г.

Говорил с комендантом. Оказывается, сегодня снова получено разрешение на проезд жён и близких родственников офицеров. Сделано только ограничение: на срок не больше двух недель в каждом отдельном случае. Но ведь на больший срок ты и не собиралась приезжать. Итак, как только получу твоё первое письмо и узнаю, когда ты приедешь, в конце ли мая или в начале июня, я выхлопочу тебе пропуск и pošлю его заказным. Добре? Вот видишь, как всё хорошо складывается. Долой пессимизм, Шуручка! <...>

Ночная поездка была вполне удачной. Выехали туда в чудную лунную ночь, а вернулись при первых лучах солнца. Растительность везде совсем летняя. Рожь в полях выше колен, уже выколосилась, скоро начнёт цвести. Хорошо в поле!

Погоны и пуговицы на шинели потемнели от хлора. Одежда и сейчас ещё воняет слегка. Маски вполне предохраняют. Теперь имею некоторое представление.

Вернулся я в шестом часу утра. Не успел ещё войти в дом, как начался опять обстрел неприятельского аэроплана. Я наблюдал. Затем вдруг раздался ясный взрыв брошенной бомбы, так что сильно зазвенели стёкла. Материального вреда никакого, но убитыми оказались мужчина и женщина, выбежавшие посмотреть. Как всё это не гармонирует с жизнерадостностью расцветающей природы!..

Утро до одиннадцати я проспал. Днём же читал сборник Философовой². Он меня сразу заинтересовал. Я теперь несколько не жалею, что, не дождавшись посылки, снова купил его. Написан он Тырковой живо, прекрасным стилем, с массою цитат из писем, дневников и других источников. Получается очень яркая и интересная картина быта середины прошлого столетия. Есть и психологические страницы, посвящённые мужу, В.Д. Философому, — очень любопытные. О самой А.П. Философовой пока ещё мало, пока рисуется фон, условия.

¹ Речь идёт об учебном применении паров хлора на местности.

² Памяти Анны Павловны Философовой. Т. I. Тыркова А.В. А.П. Философова и её время; Т. II. Статьи и материалы. Пг., 1915. Философова Анна Павловна (1837–1912) — видная общественная деятельница, ярая поборница женского образования в России.

Р[овно], 8 мая 1916 г.

Вчера я тебе не писал. С утра читал, после обеда уехал в полк по службе, а вечером застрял у Матвеева, где вскоре собрались и Барченков, и Щастный, и даже сам В[ышемирский]. Разошлись поздно. <...> А сегодня я наконец получил твоё первое [письмо]. Неужели через две недели мы опять увидимся?! Как будет хорошо... <...>

Зашёл ко мне утром Матвеев, которому я с большим подъёмом прочёл статью Горького. Она на него произвела несомненное впечатление. Номер «Летописи» он захватил с собой. Немножко мы с ним поспорили. Хороший он человек. Приятно будет познакомить вас друг с другом.

Р[овно], 10 мая 1916 г.

Ну, слава Богу, наконец, появилось снова солнце и стало теплей! Эта осенняя погода меня удручала.

Я сильно надеюсь, что ты меня ещё застанешь здесь, а лучших условий, чем здесь, для нас с тобой и быть не может. Только бы это осуществилось! <...>

Обещаю тебе к тому сроку закончить свою канцелярию, чтобы не лежало камня на сердце. Впрочем, ты знаешь, сегодня я прочёл в приказе, что Пипериди предаётся суду за подлог счетов! Я очень рад, что так-таки дошло у него дело до суда. Хотя его, вероятно, и оправдают или ограничатся лёгким наказанием, всё же при его, выражаясь мягко, самоуверенности это послужит ему хорошим уроком. Много таких типов гуляет на свободе, ох, как много!

Р[овно], 11 мая 1916 г.

Вчера поздно вечером я закончил уже «Памяти Философовой». Написано увлекательно, и читал я всё время с напряжённым интересом. <...> Более полно очерчены быт и общественные течения, чем психология личности. Зато как полно и ярко выступает этот быт в связи с деятельностью такого светлого, искреннего, увлекающегося человека, как Анна Павловна Философова, без участия которой, казалось, ничего не делалось за целые 50 лет. Нет, право, хорошая книга. Сегодня я её уже отнёс Барченкову, попросившему её у меня.

С сегодняшнего же дня я твёрдо решил взяться за канцелярию, чтобы окончена она была непременно к твоему приезду. С утра разбираюсь в бумагах. <...> Боже, как это скучно!

Р[овно], 13 мая 1916 г.

А я, вероятно, уже завтра стану тебе писать с новых, других мест. Ты только приезжай, а там видно будет, как мы устроимся. Во всяком случае, я буду в пределах досягаемости. Или, вернее, наоборот, ты будешь находиться не слишком далеко от меня. Конечно, о полной безмятежной идиллии мечтать уже не приходится. Придётся урывать часы, в лучшем случае — день. А как чудно было бы, если бы мы могли провести хоть недельку здесь!

Видишь, как трудно основывать свои расчёты на чём-либо, пока находишься здесь. Даже за завтрашний день поручиться нельзя. Ты выезжаешь только 26-го, а здесь будешь днём 28-го мая. Как долго ещё ждать!

С.¹, 15 мая 1916 г.

Как мне обидно, что я не понял то место твоего письма, где ты пишешь, что подыскала «бонну»². Я думал и думал, но так и осталось мне неясным, что хотела ты сказать. <...> А почему ты не писала яснее?

Уже поздно. С близкого болота доносится кваканье лягушек. Комната громадная. В этой зале, вероятно, батюшка в праздники принимал своих сельских гостей. В соседней комнате — Щастный с Матвеевым. Раньше во время своих разъездов я до этого места не доезжал, оставалось в стороне. Теперь вот пришлось познакомиться. В садике мы сегодня уже раскинули с Матвеевым шатры. Думаем даже совсем туда перебраться. Дело в том, что со вчерашнего дня, наконец, как будто стало тепло. Как бы не взглянуть!

Опять тучи на горизонте. Опять новые препятствия нашему близкому свиданию. Не могу я, к сожалению, тебе писать подробней³. Во всяком случае, в Р[овно] ты попадёшь, а там видно будет.

С., 16 мая 1916 г.

Тучи всё сгущаются, и я не знаю, удастся ли нам увидеться, если рассчитывать только на пропуск. Ты не жди от меня мотивировки. По цензурным соображениям я тебе ничего писать не могу. Говорю только, что имеются серьёзные затруднения. Мой совет после долгого размышления и беседы с товарищами таков: лучше всего, даже если ты получишь присланный мною пропуск, тебе обратиться в Киеве к своим главноуполномоченным и записаться на некоторое время в Земский союз. В том случае как врач ты могла бы получить временную командировку «для ознакомления с эпидемическими отрядами такого-то корпуса». Ты, быть может, потеряешь один-два дня в Киеве, но зато много, много больше шансов нам увидеться более продолжительно.

С., 18 мая 1916 г.

Так хочется иметь от тебя весточку! Почти целый день читал номера «Русских ведомостей», даже канцелярией не занимался. Новых данных сегодня не прибавилось. Вопрос о твоём приезде для меня остаётся всё столь же неопределённым. Только я решил послать тебе пропуск не в Москву, а в Киев, по адресу Николая Михайловича Щастного⁴. <...> Всё-таки имей в виду, что без киевских друзей ты дальше Р[овно] не попадёшь. Уж это наверное. Я же туда попасть теперь могу только случайно. И ещё большой вопрос, окажется ли пропуск действительным ко дню твоего приезда. <...>

Сегодня недалеко от нас со свистом упал стакан от шрапнели, выпущенной по аэроплану. Врезался на полтора аршина в землю. Тоже прелести

¹ Возможно, село Сергеевка в 10—12 км от Ровно.

² Ал Ив. намекала о своей беременности.

³ Армия готовилась к знаменитому большому летнему наступлению, так называемому «Брусилловскому прорыву» (25 мая — 2 июня). Главный удар наносился в центре фронта именно 8-й армией на Луцк, т.е. примерно в районе расположения корпуса, в котором служил .Фр.Оск.

⁴ Николай Михайлович Щастный занимал важный пост в Киеве, в Земском союзе, брат С.М. Щастного.

жизни на войне <...> Адрес Н.М. Щастного: Киев, Никольско-Ботаническая улица, дом 6.

Р[овно], 21 мая 1916 г.

Уж во всяком случае, мы с тобой увидимся, Шура. Это по меньшей мере. Я сегодня достал для тебя пропуск на срок от 28 мая до 11 июня. Две недели. <...> Я надеюсь, что ты коё-чего добьёшься в Киеве. Очень надеюсь. Тебя могли бы, например, командировать на время в 20-й эпидемический отряд В.З.С.¹ Это было бы лучше всего. Или могли бы ещё командировать в 29-й эпидемический отряд Бессарабского земства. Или просто в распоряжение заведующего распределением врачей В.З.С. здесь в армии: районного врача В.З.С. <...>

Пропуск я выслал Н.М. Щастному в Киев, и в письме просил его оказать тебе содействие. Он тебя там может направить к своему начальству (ведь он тоже служит в В.З.С.), посоветовать.

Ну, Шура, я сделал всё, что мог. Дальнейшее зависит не от меня.

В горячее время Брусиловского прорыва Александре Ивановне удалось всё-таки пробиться к мужу. 30 мая Фр.Ок. встречал её на перроне вокзала в Ровно. Война не омрачила радости их встречи. Успела Ал.Ив. в это время поработать в санитарно-эпидемическом отряде, расположенном в 20 км от отряда Фр.Оск. 16 июня она выехала домой, в Москву.

Б[ерезне]², 17 июня 1916 г.

Тоскливый серый день. Первый день без тебя, Шурочка. Холодно, ветер, дождь. <...> Я всё ещё не мирюсь с твоим отсутствием, я ещё не вполне сознаю его. Слишком ещё всё полно тобою! Не хочется верить. <...>

Сергей Михайлович [Щастный] меня упрекнул за то, что я тебя отпустил слишком легко одетой, без шинели. Я оказался виноватым. <...>

Ты должна быть здоровой, милая! И не забудь о том, что мне обещала.

Б[ерезне], 18 июня 1916 г.

Сегодня утром получена телеграмма от Шереметева³, что, к сожалению, он отряд мой не может передать вместе с корпусом... Видно придётся мне всё-таки расстаться с товарищами и знакомыми уже условиями. Что день грядущий мне готовит? <...>

Зонтик [Штерензон] тоже утром получил телеграмму, что Родзянко⁴ вызывает его для переговоров. Он встретился с ним в Луцке, где тот ему опять предложил взять на себя заведование челюстным отделением при хирургическом

¹ В.З.С. — Всероссийский земский союз.

² 64 км севернее Ровно, современное Березно. Вероятно, в разговорной речи звучало и как Березье.

³ Шереметев Сергей Владимирович (1880—1968) — гвардии полковник, военный губернатор Львова.

⁴ Лидер партии октябристов, председатель III и IV Государственной думы М.В. Родзянко (1859—1924) летом 1916 г. ездил на фронт, встречался с Брусиловым, проявлял заботу о солдатах.

госпитале. Кабинет же его также отбирается от корпуса. Пришлось ему волей-неволей согласиться, и завтра он едет в Киев для закупки необходимой обстановки. Где он, в конце концов, останется, он сейчас тоже не знает. Вот так и разваливается наш кружок!..

Б[ерезне], 19 июня 1916 г.

День, посвящённый канцелярской работе. Можешь себе представить, как это интересно. Голова моя кружится от неё. Подсчитал и рассортировал все счета за полгода, писал вчерне приказы. Писарь почему-то не заходил. А следовало бы, так как едва ли я ещё останусь несколько дней при корпусе — надо торопиться.

Р[овно], 26 июня 1916 г.

Только два слова: я остаюсь! Меня переводят с отрядом также в другую армию, и я остаюсь при родном корпусе. Вчера сам Шереметев сообщил мне это. Однако он же в деликатной форме выругал меня за «прострел», которому он, по-видимому, не поверил.

Вчера вечером с Ник.Ал. [Покровским] были в 3-м зубоучебном кабинете. Сегодня же полдня я бегал по улицам в поисках автомобиля. Придётся ехать на грузовике. Надо спешить, извозчик уже дожидается. Вероятно, вернусь в Б[ерезне] только в 2 ночи.

Я очень, очень доволен!

Б[ерезне], 27 июня 1916 г.

Известие о том, что я остаюсь в корпусе, было принято всеми товарищами с большой радостью. Я лишний раз убедился в том, что не только я привык, но и ко мне привыкли. <...>

С завтрашнего дня я снова берусь за свои разъезды. Придётся-таки мне очень усиленно засесть и за канцелярию, чтоб ей пусто было!

В природе какая-то вакханалия! Всё цветёт безумно роскошно. <...> Жаль, что нельзя с тобой хоть ещё разочек пройтись. Уж я бы собрал гвоздики, и лилии, и всякие травы, и мак... Хорошо в деревне летом!

Б[ерезне], 28 июня 1916 г.

Береги себя, лечи себя! Не берись слишком за многое. <...> Отчего у тебя такая одышка, такая слабость? Мне становится страшно за тебя, за себя... Берёт раздумье, правильно ли мы поступили... Только бы быть с тобой к тому времени! <...>

Я ездил сегодня далеко. <...> Растительность распустилась вовсю. Тёплые дни сразу сделали своё дело. Ты, милая, уехала слишком рано. Тебе бы задержаться ещё хотя бы на две недельки...

[Березне]', 29 июня 1916 г.

Только бы ты не захворала серьёзно, милая. Только ещё 2? месяца тебе придётся работать так тяжело, а потом уж я никогда ни за что не допущу, чтобы ты

¹ Обозначение места вымарано цензурой.

работала без охоты, не получая удовлетворения¹. Ты, конечно, не должна бросить медицину, но работать в ней ты должна не для заработка, а только для себя. Я надеюсь, что в будущем нам удастся создать такие условия. В будущем... <...>

Вот когда кончится война, и мы вернёмся, и вы найдёте, что мы огрубели, что мы избалованы бездельем, что мы умеем взяться за дело и работать, тогда не осудите нас и не вините. Мы виноваты, но достойны снисхождения. Ведь условия нашей жизни в течение более двух лет слишком разнятся от вашей мирной и культурной обстановки. Мы ведь не чувствуем под собой твёрдой почвы ни в одном отношении, а без этого не может быть и спокойной плодотворной работы. Не так ли? Вот мы и портимся, и уже порядочно испортились... Вся наша надежда — это вы и будущее с вами!!!

Б[ерезне], 1 июля 1916 г.

Я сегодня опять ездил далеко. Солнце палило, и у меня сейчас слегка разболелась голова. Тоскливо... Шурочка, отчего у меня пропала всякая энергия? Ведь правда, после войны всё это пройдёт? <...> Всё чаще я мечтаю, всё сильнее стремление к концу. Переутомились мы. Не от работы, а наоборот, от безделья неожиданного и вынужденного. Пора нам отдохнуть. Я чувствую, что мои «нервы начинают не выдерживать». Особенно почувствовал это после твоего приезда сюда на фронт.

Б[ерезне], 2 июля 1916 г.

Во всех твоих письмах сквозит невольная тревога по поводу твоего положения. <...> Я пробую себя утешить тем, что ведь лучшие годы уходят, что необходимо же когда-нибудь решиться, что в настоящий момент мы материально обеспечены, а после войны было бы много труднее устроиться в материальном отношении... Но всё-таки. Всё учтено, только невесомое не принято в расчёт... Я не имел права, я был неправ. Я рассуждал по-мужски! Мы, мужчины, жалки и беспомощны, когда вы, женщины, творите своё женское дело. Мы только чувствуем свою вину и тоже мечемся, а помочь фактически не можем.

Б[ерезне], 7 июля 1916 г.

Вот что я придумал, моя милая. Чем нам надо руководствоваться? Конечно, прежде всего, здоровье твоё и нашего будущего ребёнка для нас выше всего. А потому мы совершенно не должны думать о «материальном», и для достижения этой цели деньги не должны играть никакой роли. Несущественным в данный момент следует считать и вопрос о том, останешься ли ты или нет в Морозовской больнице, и когда ты уйдёшь из неё. Это всё второстепенно по сравнению с главной задачей. <...> Во-вторых, для твоего здоровья необходим известный покой, а также удовлетворение в работе. С этим тоже спорить не приходится. А если

¹ По возвращении в Москву Ал.Ив. вновь написала мужу о своей неудовлетворённости работой в Морозовской больнице: «Неприятно здесь поразило опять это бесправное положение ассистента, этот вечный контроль над тобой старших врачей и т. д. Хочется мне вздохнуть свободно и сорвать с себя все эти путы. Самостоятельность и свобода в некоторых случаях — самый лучший учитель» (21 июня).

так, то надо вывести и заключения: во-первых, твоё пребывание в ассистентках надо сократить до минимума и, во-вторых, ты должна себе жизнь обставить насколько возможно удобно, независимо от того, сколько это будет стоить. И ты, Шуручка, если не хочешь меня сильно огорчить, не возражай против последнего пункта. <...>

Значит, в Морозовке ты фактически останешься до 25 августа, не больше¹. До этого срока как-нибудь дотянуть можно. <...> А пока брось всякие там лазареты², столь губительные для здоровья. Почему же ты, слабая и больная, должна выручать товарищей? Ты имеешь право и даже обязана быть немного эгоисткой!

Теперь дальше: как только ты получишь это письмо, ты начнёшь усиленные поиски квартиры. Ты пишешь, что квартир нет, что на них всюду большая запись. Это всё относительно. Ты должна только считаться с удобствами квартиры, независимо от её стоимости. Хорошая удобная квартира — это всё. За деньги тебе всегда уступят, а ты не останавливайся перед ценой, хотя бы даже и 150 р. в месяц за пустую квартиру. Ты этим не смущайся, была бы она светлая, сухая, с центральным отоплением, электрическим освещением и ванной. Денег у нас хватит, как я тебе сейчас докажу. Я получаю около 350 р., из которых 100 р. нужны мне. Значит, я тебе ежемесячно могу высылать (и вышлю, будь покойна!) 250 рублей, никак не меньше. У тебя же будет 50 р. с приютов и ещё около 30 р. квартирных (я на днях в интендантстве улажу это дело). Всего, значит, около 330 р. в месяц. На эти деньги ты даже по теперешним ценам сможешь свободно прожить в Москве вместе с Соней [*сестрой*], а в будущем и с ребёнком...

После войны, когда я вернусь, мы устроимся дешевле, а теперь ты должна думать не о дешёвизне, а только об удобстве. И тебе, и ребёнку это нужно, милая! <...> Если тебе трудно будет даже за хорошие деньги найти квартиру, то помести объявление в «Русском слове»: 75 рублей тому, кто укажет небольш. квартиру (3—4 комн.), с ванной, электр., в районе Ордынки-Серпуховки. Поверь, что квартира найдётся. К 25-му августа ты уже должна переехать на новую квартиру.

Относительно обстановки мы с тобой ещё посоветуемся. Прислугу за деньги тоже можно найти («господа рекомендуют») хорошую; а после и няню. Всё это не так уж страшно. Помогут тебе и Соня, Лиза [*сёстры*].

После 25 августа ты берёшь только такую работу, которая тебя удовлетворяет, или лёгкую: ходишь в Карзинкинское отделение³, а в ординаторы пойдёшь только, если тебе дадут два часа второго амбулаторного приёма. <...>

¹ Так и случилось, 25 августа Ал.Ив. распрощалась с «Морозовкой». Размышляя о своём уходе, она писала: «Моя вина заключается в независимом, а временами и прямо оппозиционном образе мыслей. Алексеев вынести меня мог в ассистентуре, где мы бесправны и безгласны, но в ординатуру, конечно, провести не мог» (9 сентября).

² Работа в Морозовском лазарете, которым заведовал Н.Н. Вильям, очень обременяла Ал.Ив. «Лазарет — это вообще одно недоразумение. Больных около 80 человек, записи в страшно беспорядке, диагностики у многих нет; прямо горе, ведь так или иначе всё это надо сделать. <...> Всё ещё так же себя чувствую задавленной множественной властью и по существу никому не нужной», — жаловалась она мужу в письме 23 июня.

³ Крупным ткацким фабрикантом А.А. Карзинкиным в 1914 г. было открыто отделение для лечения грудных детей при Морозовской детской больнице. Организовал и возглавил отделение врач-ординатор Николай Иванович Ланговой. Уже осенью он предло-

Я вполне сознаю, что всеми этими мероприятиями ты не достигнешь полного покоя, тем более счастья... Всё это паллиатив. Но при данных условиях это лучшее, что ты можешь, а потому и должна сделать! Тебе будет очень, очень тяжело, но всё же легче. А я всё-таки не теряю надежды, что ещё до зимы тебя увижу.

Б[ерезне], 8 июля 1916 г.

На редкость унылый день. Уже третьи сутки льёт дождь. <...> Глубокая осень. Грязь опять до колен, как в своё время в Млодаве. Сижу в своей, в нашей комнате безвылазно. Вот уже 8-й час вечера, но почты всё ещё нет. <...>

Матвеев утром получил телеграмму от жены, здоров ли он. Мы сразу поняли, что она встревожилась по поводу телеграммы от штаба верховного главнокомандующего о том, что «ранен доблестный генерал Драгон». Мы, конечно, ни в какой опасности не были. Ранен он очень легко шрапнелью на наблюдательном пункте. Отделался счастливо и остался здесь. Даже не хромает. Пуля, пробив шинель, только слегка задела кожу. Кровоподтёк и ссадина. Телеграмму о его ранении послали без его ведома. Он не хотел этого и остался недоволен. Слава Богу, что так счастливо обошлось.

У нас лично перемен никаких. По случаю дождя все сидим дома. Мы с Барченковым и ещё одним прапором хотим отделиться от общего собранского стола и основать свой. Не знаю, осуществится ли это. Но Смерть¹ берёт слишком дорого за стол — это несомненно. Лавочка...

Ник.Ал. уже несколько дней в Л[уцке]! Мы ещё со вчерашнего дня опять будем иметь дело с ним. Я, очевидно, автоматически тоже.

Всё по-старому. Зонтика хотела назначить в передовой хирургический отряд Земского союза. В какой, он сам ещё не знал. Уж, не сможет ли он теперь попасть в Бессарабский отряд? Было бы недурно. <...>

Твоё нездоровье продолжает меня тревожить. Когда же это кончится? <...>

Шурочка, относительно обстановки твоей квартиры. Я думаю так: кабинет и гостиную сейчас тебе покупать не стоит. Это мы выберем вместе. Но непременно

жил Ал.Ив. место в этом отделении. Вот как рассказывала она об этом в письме к мужу 15 ноября: «Сегодня опять бы у меня разговор с Ник.Ив. Ланговым: он мне предлагал занять с 1 марта место врача оспопрививания при Карзинкинском отделении за 80 руб. в месяц. Это место на 9 месяцев. При желании я могу участвовать при амбулаторном приёме. Я поблагодарила за внимание, но решительно отказалась: ведь на фабрике даётся 6 недель отпуска при родах, а я свяжу себя местом после 4 недель — это, во-первых. Во-вторых, одно оспопрививание меня не удовлетворит, а при участии в приёме потребуется около 5—6 часов, чего я сделать тоже не могу. Уж лучше подождать до 1 мая и взять замещение в терапевтической амбулатории, там плата почти вдвое, а работы на 2½—3 часа. Николаю Ивановичу я сказала, что в начале марта никоим образом не могу себя связывать обязательством, и он со мной согласился. Был ещё разговор по поводу вообще места в Морозовской больнице. Он высказал предположение, что раньше 4—5 лет вакансии не будет. Я же высказала свои взгляды по поводу себя, что Алексеев имеет что-то против меня. Он мне на это говорит: “Разве Вы думаете, что мне не приходилось слышать обидное от него? Я знаю, что он ценит Вашу работу”».

¹ Вероятно, прозвище заведующего офицерской столовой.

тебе нужно купить без меня спальную и желательно — столовую. Жилые комнаты, в которых ты постоянно находишься, должны быть уютны — это первое условие. Покупать я советую вещи хорошие, постоянные, в хорошем магазине. Например, в «Северной компании» (шведская фирма). Лучше сейчас подороже заплатить, но зато в будущем уже не менять. <...> Спальную я себе представляю такую приблизительно: во-первых, конечно, светлую. С этим ты согласна, я знаю. Кровати металлические, полуторные, без набалдашников по углам, приблизительно такого рисунка: [дан рисунок] (цена около 150 р. пара). Покупать их можно у Замятина¹. Далее идут гардероб с зеркалом или без него, туалетный стол и два ночных столика. Всё это простого рисунка, без всякой резьбы и завитушек, цельного дерева (не фанера) и светлой полировки. К сему ещё 2—3 стула такого же рисунка и комод. обойдётся это недёшево, я знаю. Вероятно, около 250 рублей без кроватей и умывальника (широкого мраморного, с зеркалом и душем), а с ними и со всякой мелочью общая сумма дойдёт и до 500 рублей. Ты, однако, этого не бойся. Зато всё это уже будет вечным. Пускай война даст нам, по крайней мере, возможность обставиться. О будущих затруднениях не думай. Там видно будет.

Хорошо бы тебе заодно обзавестись и столовой. Она, по-моему, может быть и светлой или ещё лучше светло-серой. Простой, но солидный буфет без неизбежных обычно цветных стёкол, такой же раздвижной стол и штук 8—10 стульев, ничем не обитых, ни кожей, ни дерматином, но прочных, прямых. Это обойдётся рублей в 250—300, едва ли больше. Другие комнаты ты заставишь нашей теперешней, временной мебелью.

Остаётся ещё арматура. Опять-таки, чем проще рисунком, тем лучше. Никаких изогнутых линий!

Не оставляй, Шура, все эти покупки до меня. Ещё неизвестно, когда я приеду, а уют тебе необходим. Хотя бы спальную закупи в первую очередь. Умоляю, прошу тебя! Не бойся, что твой выбор не придётся мне по вкусу. Я вполне доверяю ему и одобряю, вне всякого сомнения.

Б[резне], 9 июля 1916 г.

Передал сегодня свою канцелярию снова писарю, у меня она безнадежна! <...> Решил жить в высшей степени скромно и бережливо. И поверь, на этот раз не изменю своему решению до конца войны. Будь покойна. Единственный предстоящий крупный расход, — это писарь (рублей 50, а может, и больше). Буду жить трезво. Буду жить так, что в любой момент ты мною останешься довольна. Буду стараться. Пора остепениться.

Б[резне], 11 июля 1916 г.

Долго сидел у меня Матвеев, вернувшийся с охоты, и мы с ним болтали о том, о сём, всё больше о его дочке Оксанке... Теперь уже поздно, а завтра утром собираюсь в Л[уцк] по делам. Только что перед приходом Сергея Гавриловича пришла почта. Она теперь всегда приходит поздно к вечеру. <...> Сразу стал весёлым и бодрым.

¹ Замятин — магазин? См. Вся Москва.

Б[ерезне], 12 июля 1916 г.

Вернулись мы с Серг.Мих. из Л[уцка?] поздно. Я сильно утомился и валяюсь от усталости. <...> В Л[уцк] вчера опять бросались бомбы. Вообще здесь в наших краях лучше жить, чем там. В остальном — idem. Сергей Гаврилович сегодня утром был на охоте, убил трёх уток. Завидую ему. Я не могу ходить по болоту.

Б[ерезне], 13 июля 1916 г.

В жестокую эпоху мы живём, тяжело приходится нашему поколению. Но не будем же терять веры в то, что настанут опять лучшие времена, что нашим детям, нашему Евгению и Ирине улыбнётся жизнь, что им не придётся быть свидетелями таких событий, как нам, что они увидят больше радости, чем горя... А мало ли мы с тобой радости видели в жизни, милая? А разве нам не улыбалась жизнь? А разве мы уже ничего не ждём от неё?

Н[ива]¹, 9 сентября 1916 г.

Всё больше места в твоих письмах занимает наш будущий ребёнок... Когда я читаю твои строки, мне становится так тепло на душе, словно я уже предчувствую, предвкушаю грядущие семейные радости. <...>

Ты спрашиваешь меня, стоит ли тебе взяться за работу, предложенную Тимофеем Петровичем [Краснобаевым]. Уж раз ты спрашиваешь, то я отвечу: конечно, берись. Работы у тебя будет немного. А такая статистическая работа всё-таки даст возможность не забывать и научную работу, хотя бы и малозначительную². Тебе придётся возиться в журналах. А это всегда даёт некоторый плюс. Важно упражнение. Значит, берись за дело. Я тебя охотно благословляю.

Н[ива], 10 сентября 1916 г.

Отпуска всё ещё не разрешаются. Это наша армия такая счастливая. Барченков хлопочет через высшие инстанции. Кажется, у него семейные неприятности, и ему нужно съездить во что бы то ни стало. Вероятно, ему удастся выбраться. Неужели я не выберусь в Москву до Рождества?! Не может быть!

Н[ива], 20 сентября 1916 г.

Получил письмо от матери. Она очень жалеет, что ты не поехала к ним. Думает, что ты, вероятно, не получила вовремя её письмо. Мне кажется, что ты этого письма и совсем не получила. По крайней мере, ты мне об этом не писала. А письмо Лени застало тебя в Костроме. Надеется теперь мать, что в следующий мой отпуск мы вместе с тобой приедем в Ригу. Я думаю, что из этого ничего не выйдет, так как я твёрдо решил следующий свой отпуск сидеть безвыездно все три недели у тебя. Надо же когда-нибудь и душу отвести! А ведь как надо!..

¹ Чешская колония.

² Ал.Ив. была учёным по призванию, и Фр.Оск., как мог, поддерживал её в этом. Она стыдливо отвечала: «Что ты заставляешь меня краснеть, смущаться и даже... грустить своими словами: “Я горжусь тобой, верю в твой талант и не хочу, чтобы ты зарывала его”? Ты ошибаешься, у меня нет ничего, кроме <...> всепоглощающего чувства к тебе» (5 января).

Мать удивляется, почему мы так редко получаем отпуск. Родственники мои на западном фронте приезжают каждые 3—4 месяца. Уж мы тут такие счастливые... Эх-ма! — О себе писать нечего и не хочется.

Кол[ония] И[лива], 6 октября 1916 г.

Тяжело вам там сейчас приходится в тылу! Но всё-таки я не знаю ещё, вам ли хуже. Ведь и хрен редьки не слаще. Не знаю, но я предпочёл бы все затруднения тыла, если бы только быть с тобой. Так же, как и ты сейчас желала бы находиться на фронте.

Как досадно, что у вас всё ещё нет прислуги, что у вас не налажены обеды. Я боюсь, что питание твоё теперь совсем недостаточно. <...> А ведь ещё весной нельзя было предположить, что будут такие затруднения. Ты права, что нам тут трудно себе представить, как вы там изворачиваетесь. Вот приеду, взгляну. <...>

Ты пишешь, милая, что я, вероятно, совсем забыл всё по акушерству. Хорошая моя, я никогда ничего в этой области и не знал, забывать нечего. А теперь я вполне полагаюсь на тебя. <...> Я глубоко уверен, что всё кончится вполне благополучно. <...> Не разделяю я твоей уверенности в том, что родится непременно мальчик. Почему Евгений, а не Ирина? Пусть «Ирина» нам послужит предвестницей близкого мира...

О[зерный?], 25 октября 1916 г.

Вот я тебе пишу с нового места или, вернее, старого, так как тут мы находились уже несколько дней в конце мая, во время нашего наступления. Мы даже поселились в том же доме, где помещались тогда. Комнаты очень хорошие, просторные, светлые. Только пользоваться-то ими придётся, вероятно, не больше какой-нибудь недели. А там дальше...

Переход нам был назначен третьего дня совсем неожиданно. <...> Конечно, на весь вчерашний день я был разбит. К тому же когда пришёл обоз с Серг. Гавр. [Матвеевым], пришлось устраивать, хлопотать и ругаться. Наконец, и В[ышемирский?] просидел у нас весь вечер. В итоге я как убитый свалился в постель и не писал тебе целых два дня. И сегодня ещё не наладился.

Странно попадать на старые места. Тут в те дни кипела жизнь и витала смерть... Сейчас тут тихо и сонно. Нет уж тех резких контрастов: весеннее поле с красным маком и мёртвые тела на нём... Тут когда-то я ждал твоего скорого приезда... Сейчас кругом осень, и только осень...

Сегодня опять получил два письма от тебя, написанные накануне и в день 17 октября¹. Они такие хорошие. Ты вспоминаешь, как три года назад ты в первый раз одарила меня... Да, Шуручка, я хорошо запомнил этот вечер, несмотря на обычную мою забывчивость. Хорошо было тогда, лучше ещё будет впереди. Надо же в это верить, ведь не вечно же могут длиться наши испытания! Во что же тогда верить?

¹ Ал.Ив. отметила день рождения Фр.Оск. 17 октября она писала: «У меня сегодня праздник. Утром я сбежала в цветочный магазин и купила хризантемы, ведь ты их любишь, а к обеду пришла Лиза <сестра> и тоже подарила цветов. Не хватает только тебя, мой родной...»

Вероятно, Серг.Мих. [Щастный] раньше срока вернётся из отпуска. Тогда, возможно, что и Серг.Гавр. раньше уйдёт. Ведь отпуска не прекращаются. И приеду я тогда к тебе на север с дальнего юга... Боюсь только, что ещё один день уйдёт на проезд...

О., 20 ноября 1916 г.

Славная моя, хорошая. Вот как давно я тебе не писал!

С 12-го числа, целые восемь дней! Такого большого промежутка и не запомню. А от тебя не имею известий уже три недели. Ты где-то далеко-далеко, за тридевять земель. А я заброшен судьбою в унылые, серые и туманом покрытые горы. Кругом промозглая сырость поздней осени, грязь.

Очень надеюсь, что ты получила мои два письма из Я[сс], отправленные с офицером, уехавшим в отпуск. То было ещё 12-го. А 13-го рано утром нас разбудили, и уже в 7 часов утра мы катили по шоссе дальше. В тот же день я должен был снова грузиться в вагоны. Однако грузиться пришлось только в третьем часу ночи. И началось опять нудное утомительное путешествие. Каких-нибудь 100 вёрст мы проехали двое суток с хвостиком! Вагоны скверные, нетопленные, даже без «удобств».

Это последнее в 1916 году письмо не окончено. Шла переброска армии на юго-запад — в Румынию, после долгих колебаний вступившую в войну 14 августа на стороне Антанты и потерпевшую ряд сокрушительных поражений. 3 декабря был образован Румынский фронт из русских и остатков румынских войск. Переписка между молодыми супругами надолго прервалась, что тяжело переживалось обоими. Время от времени Ал.Ив. писала полные любви и горечи письма в никуда, не получая ответа¹. В январе следующего 1917 года Фр.Оск. удалось-таки получить короткий отпуск. Он был в Москве при рождении 16 января своей дочери Ирины, ласково именуемой им Пузыркой.

¹ Вот небольшие выдержки из сохранившихся писем этой одинокой любящей и глубоко страдающей женщины той поры. «9 декабря 1916 г. Сегодня вставала, Ёжик, и вспоминала, как бывало — давно это было — ты будил меня и поднимал с постели. Давно не столько по времени, сколько по пережитому. И чем дальше, тем сильнее я ощущаю печать этой войны, тем глубже проникает печаль во всё моё существо. <...> Ты веришь в будущее, ты стараешься поддержать эту веру и во мне. Я понимаю тебя, ведь ты гораздо сильнее меня. Прости, я не в состоянии больше писать. Ведь стыдно явиться в отделение с красными опухшими веками». «24 декабря 1916 г. [Рождественский сочельник]. Давно, давно я не бралась за письмо тебе. Ведь что я могла тебе написать, кроме одного только вопля отчаяния. От 12 ноября почти полтора месяца я не имею от тебя ни строчки, и это в тот самый момент, когда круто меняется жизнь, когда я блуждала в какой-то полутьме. Но завтра — впрочем, уже начался — праздник, Ёжа, и не для того я взялась за письмо, чтобы писать тебе о своей горечи. Зная, мой дорогой, с какими яркими красивыми воспоминаниями связан у тебя сочельник, я тоже решила устроить и зажечь сегодня ёлку. Правда, зажжённые свечи окружены ещё светлым ореолом от застилающих глаза слёз». «28 декабря 1916 г. Сижу одна, Ёжик, и шью. Готовы уже две кофточки. Перед столом стоит украшенная ёлка, кругом тихо-тихо; ничто не нарушает хода моих мыслей. Думаю о тебе, мой милый, как и где переживаешь ты наше полное разобщение. Милый, что я могу поделывать, чтоб узнать причину такой разобщённости? Нет, лучше опять не писать. Ещё целый месяц сидеть без работы, без связи с тобой и мучиться всякими предположениями, неизвестностью. Какой это ужас! Ну что после этого может страшить?»

1917 год

Брянск, 28 января 1917 г.

Несколько слов с дороги. Приехав на Брянский вокзал, узнал, что идёт ещё несколько скорых поездов до Киева! Что они будут не раньше 12-ти ночи, а уйдут не раньше 2—3 часов. Записался тут же у коменданта на плацкарт (III класса, так как II были разобраны). Подумал, как использовать оставшиеся часы. Решил домой не возвращаться. <...> Я решился не поехать домой, и поехал к Гефтеру¹, где провёл вечер. Между прочим, он обещал достать тебе пуд муки. Говорит, что получить можно будет в конце следующей недели.

В первом часу ночи я вернулся на Брянский вокзал. Пришёл один из скорых поездов. Когда я захотел взять плацкарт, то узнал, что все плацкарты проданы! Оказалось, что продажа их производилась раньше, чем мне указал комендант.

Тогда я решил поехать с почтовым поездом, на который тут же и взял билет. Ведь всё равно и скорые поезда придут ненамного раньше нас в Киев. Почтовый вышел из Москвы только в четвёртом часу утра! Сейчас 10 часов вечера, а мы ещё только в Брянске. Обещают, что завтра к обеду будем в Киеве. Посмотрим.

Спал я хорошо. В моём распоряжении целая скамья в купе. Поезд не слишком переполнен. Уже второй звонок. Стоим недолго, догоняем. Успел поужинать и чайку попить.

Как наша Пузырка? Много о ней думаю... Когда теперь получу письмо от тебя?

Славная моя Шурочка. Будь бодрой и верь в будущее. Во мне не сомневайся, хорошая. Не может быть, чтобы наши испытания долго продолжались.

Входят пассажиры, шумят, мешают писать. Завтра напишу из Киева.

Раздельная², 31 января 1917 г.

По порядку: после того, как написал тебе второе письмо (из Киева), я написал ещё письмо матери. <...> Затем тут же ночью вышел гулять по улицам Киева. Дошёл пешком до Купеческого сада. Вернулся к пяти часам утра на вок-

¹ Гефтер Николай — гимназический друг Фр.Оск.

² Станция на северо-западе от Одессы, вблизи границы Украины с Молдавией.

зал. А в 6? часов утра, давши бакшиш проводнику, пробрался в свой вагон, где и занял верхнюю полку. Сейчас же расположился спать и проспал весь день. Вечером в Виннице выпил чаю и закусил, а затем опять лёг на боковую. В проходах творилось нечто невообразимое. У нас в купе было 9 человек. Спал я хорошо и теперь совсем бодр.

Сюда приехали в 9 часов утра. Я на вокзале помылся, покушал и сижу, пью чай. Вдруг вижу входящего в залу Сергея Михайловича! Оказывается, его внезапно командировали в конце января в Одессу на какое-то военное санитарное совещание. Он там пробыл несколько дней и вот теперь возвращается. Стоянка наша была всё время та же, никуда не перемещались. С 18 января из Р. снова запрещены отпуска вследствие непригодности р. [российских?] дорог, впредь до улучшения движения по ним!!!

Как счастливо я попал, Шурочка! Всё-таки мне, в общем, везёт. Дела у меня, вероятно, теперь будет немало... Многое ещё можно было бы прибавить Тарасевичу!..¹ Впрочем, он многое скоро и сам услышит. С.М. просит передать тебе поздравление и лучшие пожелания. Он всё такой же подвижный и живой.

До 22 января никаких для меня неприятностей там не было. Сергея Гавриловича на моём месте пришлось заменить Катовичем; оказалось много дел.

Сейчас я устроился сравнительно ничего, у меня есть место для сидения. Вероятно, и на ночь удастся устроиться. Тут 1—2 градуса мороза, снег. Вдвоём ехать веселей. <...> Постараюсь написать из Кишинёва.

Унгены², в ночь с 1 на 2 февраля 1917 г.

Пишу тебе последнее письмо из пределов России. Через какие-нибудь один-два часа мы будем по ту сторону границы. Вчера в 3 часа дня мы, наконец, выехали из Раздельной. Я устроился хорошо, опять на верхней полке. Много лучше, чем Сергей Михайлович. И ночь спал хорошо. В 1 час ночи приехали в Кишинёв [от Раздельной до Кишинёва не более 110—120 км] и стояли здесь благополучно до 11 часов сегодняшнего дня. Утром в Кишинёве попил чайку, а затем завалился на целый день на свою полку. Тут очень кстати прились и рижский хлеб, и шоколад. Халву мы съели с С.М. ещё в Раздельной. Читал «Русские ведомости» за ноябрь! Потом поговорил кое с кем на тему о войне и её перспективах. В 11 часов вечера мы приехали сюда в Унгены. Скоро отойдёт поезд на Яссы. Тут мы поужинали, и вот пишу тебе это письмо в переполненном зале под шум и говор толпы. <...>

Ещё, конечно, не могу сосредоточиться и погрузиться в воспоминания о недавнем прошлом. Могу только сказать, что оглядываясь назад, чувствую, как становится светло и тепло на душе. Впервые нам были даны короткие, слишком короткие и неполные дни семейной жизни, семейного счастья... Эти дни залог нашего будущего, полного и не омрачённого ничем счастья... Сейчас мы оба ещё люди ненормальные, и нет ничего страшного и удивительного, что первые дни

¹ По всей видимости в свой приезд в Москву Фр.Оск. встречался и беседовал с Львом Александровичем Тарасевичем (1868—1927), выдающимся эпидемиологом, микробиологом и общественным деятелем.

² Пограничная станция на левом, восточном, берегу Прута, ещё в Молдавии.

нашего свидания были такие грустные. Это временно, это пройдёт, я верю. Мы не можем не понимать друг друга, когда мы вместе, неразлучны. А в нашем ре-бёнке, Иринке, появился для нас обоих такой прочный цемент, что в нём невозможны даже маленькие трещинки, даже по недоразумению. <...>

Я позабыл тебе оставить доверенность на дрова в экономическое общество. Пришлю с места.

Ясса, 2 февраля 1917 г.

Мы тронулись с места только в 3 часа утра, а 18 вёрст до Ясса тащились 7 часов (!). Тут узнали, что наш поезд отправляется только в 1 час ночи. Опять свободен весь день. Мы тотчас же потащили вещи на питательный пункт Пуришкевича¹. Он разместился здесь в просторных палатках на вокзальной площади. В одной из них на носилках устроены койки для офицеров. Нам удалось захватить свободные. Хорошо помылись, зашли в палатку-столовую, где попили чай с хлебом и пошли в город. Товаров уже не осталось никаких. **Сергей Михайлович** искал шёлковые чулки, однако ничего не нашёл — всё распродано. Немного погуляли по городу. Зашли к коменданту, а потом вернулись к обеду. Обед ничего, достаточно приличный, но чай лучше. Легли спать и благополучно проспали до половины седьмого вечера. А тут, к счастью, опять ужин. Он хуже — видно, что в ход пускаются всякие остатки. Экономия! Сейчас тут же, за отдельным столом, пишем письма. Попьём чайку, а потом Сергей Михайлович всё зовёт в город в какое-нибудь кино. Придётся пойти. Вот и вся наша программа. Надеемся ночью выехать в нетопленном вагоне с разбитыми стёклами. Погода прохладная, морозец. Приятная перспектива.

Бырлад², 3 февраля

Пишу тебе шестое письмо, а всё ещё с дороги. Никак уехать не можем. Письма мои малоинтересны, я знаю. Но ты прими во внимание, в какой обстановке они пишутся. Сейчас я пишу, сидя в маленькой комнате на вокзале, отведённой для проезжих офицеров, битком набитой людьми и багажом, в душливой атмосфере, расположившись на примитивной грязной койке, держа лист бумаги на коленях. Где тут сосредоточиться. Уж пускай эти письма будут свидетельствовать только о том, во что нам обходятся наши короткие отпуска!

Долго мы вчера мы с Сергеем Михайловичем находились в нерешительности, по какой из двух параллельных железных дорог нам спуститься на юг, и куда потребовать выслать нам лошадей. Улыбалась нам перспектива (по наведённым справкам) проехать ещё двое суток! Но мы всё-таки устояли. Решили, наконец, поехать по дороге, по которой я выехал в отпуск. Румынский комендант оказался

¹ Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920) — политический деятель крайне правого толка, монархист, один из убийц «старца» Распутина. Отличался экстравагантным поведением и эпатажными выступлениями в Думе. С началом войны организовал ряд образцовых санитарных поездов (сам был командиром одного из них) и сеть отлично налаженных питательных пунктов в прифронтовой полосе.

² Уездный город и станция в среднем течении р. Бырлад, километрах в 120—130 южнее Ясса, недалеко от восточной границы Румынии.

любезным и устроил нас в купе к своим соотечественникам. В этом вагоне все окна оказались целы! Большая редкость. Мы расположились, сидя сравнительно хорошо, укрылись одеялами. Было не слишком холодно. Выехали в двенадцатом часу ночи. На площадке стояли наши солдатики, которым было холодно. Они поэтому усиленно топали ногами и работали локтями. Кончилось это занятие тем, что они выбили стекло в наше купе. И вот мы до утра ехали со скрежетом зубовным.

Здесь нам пересадка. Приехали в 7 утра и узнали, что поезд дальше пойдёт только вечером. Опять сиди весь день на вокзале! Пошёл разыскивать Сергея Николаевича¹, но узнал, что он уже выехал в Одессу, куда получил новое назначение. Кормимся тут на питательном пункте. Как всё это надоело. Надеемся ночью приехать на станцию назначения и сейчас же дальше поехать лошаадьми. В лучшем случае дома будем завтра утром. Мытарства!

Пуфешти², 5 февраля 1917 г.

Вчера вечером в половине девятого мы, наконец, были на месте, на старом месте! Я страшно утомился, меня познабливало, в ушах шумело, я мало что понимал. И сегодня ещё далеко не отдохнул. Всё ещё нездоровится, голос охрип, в носу щекочет, в ушах шумит. Пойду в баню и потом завалюсь, приняв аспирину.

Впрочем, закончу повествование о нашем путешествии.

Только что, сидя в Бырладе в душевой комнатухе, я закончил тебе письмо, как мы узнали, что сейчас отходит случайный состав поезда в Т[екуч].³ Тотчас же мы собрались и сели в вагон 3-го класса, битком набитый, с антрацитовою печкой. Было страшно душно и жарко. Тут я окончательно и простудился. В девятом часу вечера мы, наконец, подъехали к станции, где нас должны были ожидать лошади. На месте узнали от жандарма, что экипаж приехал, но люди, узнав, что пассажирский поезд придёт на раньше двенадцати часов ночи, куда-то уехали. Мы едва держались на ногах. Тогда мы решили воспользоваться гостеприимством смотрителя интендантского магазина нашего корпуса, тут же рядом со станцией. Попили у него чаю и сейчас же завалились спать.

Утром мы увидели наших людей. Отправили подводу с вещами вперёд, а сами предварительно поехали в наше интенданство (за 3 версты), так как узнали, что в его районе много случаев гессигенс'а [возвратного тифа]! Там мы встретились с Екатериной Константиновной⁴, которая на меня произвела впечатление совсем изломанной. Опять во всём сомневается, ни во что не верит, мечется без руля и без ветрил. Что с ней будет, не знаю. Нет в вас, женщинах, своего центра..., почти без исключений.

Из интенданства удалось выехать только в 3 часа дня, ехали мы целых 5? часов. Дорога становилась всё хуже, так как почти всюду ещё держатся сугробы. Днём подтаивает, ночью подмерзает. Во время этого последнего перехода как-то

¹ Розанов Сергей Николаевич — тоже из врачей-ассистентов Морозовской больницы.

² Село Пуфешти в 8 км южнее города Аджуда, на правом (западном) берегу р. Серет.

³ Текуч — городок на р. Бырлад, железнодорожный узел примерно в 50 км южнее гор. Бырлада.

⁴ Екатерина Константиновна — сестра милосердия в Земсоюзе.

особенно почувствовал, как далеки вы там, в тылу от понимания нас. Как бы вам там ни было тяжело, вам всё же несравненно, неизмеримо легче живётся, чем нам! Поверь мне, дорогая. И условия жизни становятся всё тяжелей и тяжелей... Я очень хорошо сделал, что взял с собой хоть немного продуктов. Тут теперь решительно ничего нет и не предвидится...

Ressigens среди жителей делает громадные успехи, и не только среди них. Есть и ex. и ch. [*сыпной тиф и холера*], хотя и немного. Я ещё очень многое мог бы теперь добавить Л.А. [*Тарасевичу*]... Всего не расскажешь и не опишешь. Мне же после тихих дней в Москве так страшно хочется светлого, хорошего, радостного, что не мирится душа моя с окружающим, не приемлет...

Здесь нас встретили Сергей Гаврилович и Алексей Авксентьевич [*Барченков*], которые теперь столуются вместе. Василий Михайлович¹ находится в трёх верстах отсюда, со штабом. Он теперь там заведует собранием. Бойко² Сергей Гаврилович прогнал, в конце концов, в обозные. Даже нам невоготу стало. Готовят нам Барченковский денщик и мой Рязанов. Меня вчера же обступили, стали расспрашивать. Я пил с ними чай, что-то говорил, но мало соображал. Сегодня за обедом зато уж поговорили всласть.

Сегодня утром мы с Сергеем Михайловичем поехали в штаб, явились к корпусному врачу. Возможно, что на этих днях он получит высшее назначение и уедет. Непременно до весны уйти хочет и Сергей Михайлович, уже хлопочет. О переводе в тыл хочет подать рапорт и Барченков. Что из этого выйдет? Все так предельно устали, достигли пределов своих нравственных сил...

Как хорошо у вас, несмотря на все неурядицы, дороговизну и т. д. и т. д.!!!!!!!

Пуфешти, 6 февраля 1917 г.

Кончилась моя бездеятельность. Как я и думал, работа мне нашлась скоро. Получил приказание отправиться с отрядом в район нашего интендантства и там организовать больничку на 10 коек для рекуррентиков, если хворать будут не только жители. Вообще мне придётся взять там в свои руки санитарное дело.

Они стоят далеко от нас, сообщение плохое, так что лучше не вывозить от них гессигенс, а держать там же на месте. Я думаю, что мне придётся главным образом налаживать всё это дело, а потом передать врачу интендантства. Мы считаем, что эта задача может быть выполнена в одну, много — две недели. Людей своих я уже выслав вперёд, а сам выезжаю завтра утром.

Я себя чувствую уже совсем хорошо, особенно после бани. Только голоса ещё нет, и дерёт в носоглотке. Это пустяки. Возни мне в ближайшие дни предстоит немало. Пока же я о ней ещё не хочу и думать.

Отношение ко мне товарищей, Сергея Гавриловича и Ал. Авксентьевича, очень хорошее, сердечное. Вчера по душам беседовали с С.Г. на тему о том, кому лучше живётся: нам здесь или вам в тылу. Пришли к согласному выводу, что вы даже понять нас не можете, так далеки вы от нас! Я ему рассказал, какой я приехал в Москву, и как оцепенение это прошло только после обильных потоков слёз, чего со мной никогда не бывало. Тогда он мне ответил, что сегодня же, чи-

¹ Василий Михайлович (Архипов?)

² Бойко, денщик С.Г. Матвеева.

тая отчёт m-те Тарасевич¹ о наших пленных, он вспомнил своего исчезнувшего без вести брата и вдруг заметил, что катятся слёзы невольные, горькие... Нет, мы стали совсем никуда не годными. Нервная система наша совсем расшатана. А вполне понять нас вы всё-таки не можете.

Вот и Сергей Гаврилович рассказывает, что ему жена говорила, что многое в письмах, его, по-видимому, волнующее, ей чуждо, непонятно и совсем не задевает её. Не можете вы проникнуться сознанием нашей полной культурной оторванности, того, что мы лишены всего чистого, светлого, хорошего, что уходит у нас почва под ногами... Как это горько! Я вернулся из отпуска пока ещё бодрый, но, глядя на товарищей, невольно задаюсь вопросом, — надолго ли?..

Хочу ещё сегодня вечером проявить московские снимки. Не знаю только, придётся ли? Вероятно, зайдёт Василий Михайлович, посидят Сергей Гаврилович и Ал.Авкс., потолкуем о том, о сём. Что же ещё нам остаётся делать?

Хочу скорей получить от тебя письмо, узнать, как ты поправляешься, как растёт наша Иринка. Как мне хочется к вам! У вас так хорошо, тепло, светло...

С[лобозия] – К[орни]², 8 февраля 1917 г.

Устал, как бес, едва держусь на ногах. Вчера верхом проделал около 35 вёрст (с непривычки-то!) и сегодня не меньше 10–12. Возни много. Сейчас тебе писать не буду, так как, ей-богу, не могу. Сейчас же завалюсь.

Вчера ночевал в комнате товарища, а сегодня меня приютили румынские помещики, уступившие мне комнату. Кровать хорошая, мягкая! К ней я тянусь. Завтра напишу подробней.

С[лобозия]-К[орни], 9 февраля 1917 г.

Отпечатал я московские снимки. Долго, долго гляжу на них. Как живая сидишь ты в уютной светлой большой комнате за работой. Так приветливо ласкает взор даже сработанная Лени скатёрка. Тут всё родное, всё мило! <...> Нет, положительно хорошая штука фотографический аппарат. Много наслаждения доставляет он. В случае пожара, Шуручка, первым делом спасай альбомы!

Рассказывать о себе? Как-то не хочется. Верчусь в колесе. В версте отсюда, в соседнем селе, я занял под приёмный покой для инфекционных больных помещение школы. Покупаю всё, что мне нужно и что могу достать. Кое-что, но очень небольшое, мне выдал один из лазаретов. Завтра я ещё раз посылаю в два конца. Если не получу всего, то посылаю в Яссы к Пуришкевичу. Пока привёл в порядок помещение, устроил нары, подвёз солому, купил дров. Временно я выдал свои личные простыни, наволочки и полотенца, пока не достану. Нательное бельё имеется. Больных ещё нет. Хлопот ещё много. Нет керосина, свечей, мыла, нет самых необходимых продуктов. Откуда взять, если нет даже у интенданта? Вот и вертисься. Всё-таки как будто что-то делаю.

¹ Тарасевич А.В. Отчёт по обследованию лагерей и мест водворения русских военнопленных в Австрии и Венгрии. М., 1917. Автор отчёта — Анна Васильевна Тарасевич, урожд. графиня Стенбок-Фермор (1872–1921), камерная певица, жена Л.А. Тарасевича, в годы войны ставшая сестрой милосердия.

² Слобозия Корни в 25 км от Пуфешти.

Зато хорошо сейчас вечером в уютной комнате, с твоими письмами, с московскими снимками.

С[лободзиня]-К[орни], 10 февраля 1917 г.

Сегодня узнал случайно, что идёт Масляная неделя. Вероятно, у вас в Москве, несмотря ни на что, обычный масляный угар. А я так далёк от него.

Всё вожусь со своим приёмным покоем. Сегодня меня уже наградили целой четвёркой больных, по-видимому, рекуррентиков. Придётся немного вспомнить своё врачебное звание. Беда мне с постельным бельём. Нет простынь, наволочек и т. д. Продовольственный вопрос, вероятно, разрешится удовлетворительно. Для кого-кого, а для моих больных интендант обещал выдать последние остатки запасов. Их я завтра и получу. Даже несколько фунтиков мыла!!!

Послал сегодня в город Т[екучи] за разными мелкими вещами: кастрюлями, ложками, туфлями, малярными кистями и т. д. — и ничего не достал, даже самого плохонького! Придётся завтра посылать в Я[ссы], иначе пропадём. С большим трудом выклянчил в соседнем транспорте полподводы подстилочной соломы для коек. Завтра куплю кирпичей и попрошу дать мне мастеров, — буду строить печь. Надо посылать в полевую аптеку. Надо исходатайствовать себе лошадь в отряд взамен павшей и т. д. и т. д.! Не перечить. Всё больше и больше страдает, конечно, моя канцелярия по мере накопления всяких дел. Но, в общем, я стал как-то бодрее: всё-таки что-то делаешь! Как нужна человеку осмысленная работа.

Теперь я — целый госпиталь. В одном лице и главный врач, и старший и младший ординатор, и смотритель, и писарь, и письмоводитель. Целый Мюр и Мерилиз! <...>

Послезавтра у меня будут новые сапоги. Обойдутся они мне рублей в 25—26. Зато очень хорошие.

Слободзиня-Корни, 12 февраля 1917 г.

Я сейчас ещё мало читаю, так как нет времени. Но желание есть — я опять хочу и могу читать. Как оживил меня последний отпуск. Я опять стал похож на человека. Перед сном, лёжа в кровати, почитываю «Грибодовскую Москву»¹ и старые газеты.

Комната моя тихая, уютная. Во всю стену большущий мохнатый ковёр. Огонь в печке так ярко горит, дрова потрескивают. Тепло. А на дворе опять морозы, что-то около 15°! Выезжаешь на своей бричке, а под колёсами снег скрипит. Ветер продувает, уши мёрзнут, щёки горят. Всё ещё зима. Когда же наступит весна, лето, а потом и конец нашим испытаниям?..

С приёмным покоем у меня всё ещё ряд неразрешенных вопросов. Всё ещё нет постельного белья, нет туфель. Не знаю, как мне быть с санитарной отчётностью: ведь мы же всё-таки не лазарет. Неохотно беру на себя ответственность и за диагностику. Вот вчера пришлось диагностировать случай *exanthematicus* 'a [сыпного тифа], а вполне определённой уверенности всё-таки нет. Завтра будет у меня Сергей Михайлович, с ним посоветуюсь.

¹ Гершензон М.О. Грибодовская Москва (М., 1914, 1916).

С[любозия]-К[орни], 13 февраля 1917 г.

Получил от тебя вчера вечером письмо, написанное 31 января! <...> Как медленно теперь идут письма! <...> Пузырка, Пузырка! Видел я тебя первые 11 дней твоей жизни, а когда теперь увижу?.. <...>

Должна война кончиться этим летом, иначе ничто для нас не будет больше свято. У каждого человека только одна человеческая сила, не больше... <...>

Завтра еду в П[уфешти], навестить товарищей, достать постельного белья для своих больных (их уже шесть), поговорить кой о чём с Сергеем Михайловичем (он проезжал и не заехал ко мне). <...>. Вернусь поздно.

С[любозия]-К[орни], 16 февраля 1917 г.

Сегодня нашей Иринке исполнился первый месяц. Первый её юбилей! Шлю вам обеим снимки, в надежде, что останетесь довольны этим подарком. Ну что? Ведь верно хорошо, милая моя мамочка? Одну открытку (с зевающей Иринкой) посылаю отдельно. Лишь бы всё дошло хорошо. Почта, по-видимому, опять шалит, так как я уже три дня не имею от тебя ни малейшей весточки. <...> Последний номер Р.В. был от 30 января! Скорость поразительная! Снова приходится вооружаться терпением. И так до бесконечности. Во сколько томов ещё разрастётся наша переписка?.. <...>

Вот, когда у меня будет опять побольше времени, я хочу написать в обычной форме писем рассказ о том, как в ноябре и декабре мы дряпали по Румынии, и что при этом переживали¹. Ведь обидно, что в нашей переписке имеется такой долгий пробел. Я тебе в Москве начал рассказывать, да так и не кончил. А со временем многое может забыться. Хочу реставрировать в памяти, пока не поздно. А в следующий свой приезд в Москву эту литературу захвачу с собой. <...>

У нас опять глубокая зима. Метёт метель, да ещё как! А я думал, что сюда вернусь уже на весну.

В моей больнице уже 10 человек! Из них два экзантематика, остальные рекуррентики [т.е. двое с сыпным тифом, остальные с возвратным]. Я очень доволен, что занимаюсь всё-таки какой ни на есть клиникой. И болезни эти для меня представляют к тому же интерес новизны. Люблю я инфекционные болезни, где всё протекает так бурно, ярко. И здесь я полный хозяин. Всё устройство зависит от меня. Боюсь только, что скоро придётся закрывать лавочку. Поблизости встанет госпиталь, в который мне, вероятно, и придётся перевести больных. Кое-какое постельное бельё я сегодня, наконец, получил — прислал из лазарета Барченков. Понемногу навели у себя некоторый порядок. А тут как раз и придётся прикрыть. И всегда так. Заражения я не боюсь, и ты не бойся. Я очень осторожен и слежу за персоналом.

А тут теперь нет ни одной деревни без рекурренса. О населении нам и думать не приходится. Оно беспомощно.

С[любозия] – К[орни], 17 февраля 1917 г.

Опять нет писем! Который уже день! <...> А на улице метель. Намело уйму снега. Какая поздняя в этом году зима. А в городах нет дров... Как ты там справляешься? Получила ли посланную мною доверенность? <...>

¹ Этот замысел не был осуществлён.

Всё возня с лазаретом. Теперь у меня 12 больных. Есть тяжёлый пнеймоник. Как бы не помер. А экзантематика как будто начинают поправляться. И тяжёлая это болезнь! Не приведи Господь. И всё-таки интересно. <...>

Читаю «Одиночество» Лозина-Лозинского¹ с большим интересом. Оригинальный он человек. Непременно хочу читать потом ещё раз с тобой. Жаль только, что книга так скверно издана.

С[лободина]-К[апри], 19 февраля 1917 г.

И вчера не было от тебя писем. Вместо этого весь день и ночь выл ветер, и кружилась снежная метель. Я возился со своими больными, а вечером читал Лозина-Лозинского, этого оригинального шатуна по свету. Сегодня же, наконец, получил три письма от тебя! <...>

Тебя, конечно, интересует, каковы наши отношения с Екат.Конст.? Они вошли в нормальное русло. За месяц моего отпуска она много передумала, пережила. Я её застал ещё мятущуюся, не нашедшую твёрдой почвы под ногами. Она меня встретила даже враждебно, как чужого. Но первая же эта встреча закончилась её слезами, а после этой бури наступило успокоение. Я думал, что нескоро мне придётся с ней увидеться вновь, так как она оставалась в интендантстве. Но вот и меня откомандировали в этот район, и нам пока приходится встречаться довольно часто. От неё живу в двух верстах. Она была уже несколько раз у меня. Я ей помогал в первых уроках французского языка, которым она занялась пока с увлечением. В марте она собирается поехать в отпуск, не знает ещё твёрдо, вернётся ли. Характер наших отношений очень простой, непринуждённый, хороший, товарищеский — и больше ничего. И таким, несомненно, и останется.

С[лободина]-К[апри], 20 февраля 1917 г.

Пишу не много и быстро. Устал. Ездил и ездил. Ругался. Всё по поводу развивающейся у нас эпидемии *recurrens*'а и *exatthematicus*'а. Заставляю мыть людей в банях, пропускать их вещи через дезинсектор, чистить помещения и т. д. и т. д. С командирами частей приходится ругаться. Публика они здесь в тылу косная — старички допотопные. <...>

Ты получила только два моих письма, причём не разберу, какие именно. Как плачевно работает почта! Прямо горе.

С[лободина]-К[апри], 21 февраля 1917 г.

Ну, конечно, сегодня опять нет писем. Перечитываю вчерашние. Сразу же наткаюсь на нечто, чего вчера не заметил. Ты пишешь: «не удалось?! тебе писать» и т. д. К чему этот иронический вопросительный знак после «удалось»? Ай, ай! Ты опять! Ставлю тебе на вид. Я тебе писал из Брянска, из Киева (помню, хорошее письмо! Обидно было бы, если затерялось), из Раздельной, кажется, из Кишинёва (не помню сейчас), из Унгени, из Ясс и из Бырлада (из-за письма чуть не прозевал поезд). Писал тебе часто в совсем невозможной обстановке (Унгени, Бырлад), сильно утомлённый. Писал с увлечением, думая о тебе и Иринке... Нет, никак не

¹ Лозина-Лозинский А.К. Одиночество. Капри и Неаполь (Случайные записи шатуна по свету). Пг., 1916.

могу принять на свой счёт это иронический знак вопроса... Не без некоторой иронии сказаны и заключительные твои слова: «высыпайся, а остальное всё к тебе приложится». «К тебе!» Словно я и в самом деле такой счастливчик в жизни, что мне можно и спать — всё само собою делается! Ах ты, ирония! <...>

Ты вот там Масленицы не заметила. А я забыл о её существовании. Нет, не думай теперь, что у нас тут изобилие во всём, а только несчастный тыл во всём обижен и голодает. Вам всё-таки очень и очень недурно живётся, даже несмотря на то, что хлеба мало, что газа нет и что трамвай будет ходить только до 7 часов вечера. Эх вы, избалованные столичные жители! Разве «вы» и «мы» — это две величины сравнимые? Ни в коем случае. Я теперь был в Москве и сам лишний раз убедился. С этой позиции ты меня теперь не сдвинешь.

С[лободина]-К[орни], 22 февраля 1917 г.

Ты так подробно пишешь об Иринке. Спасибо тебе, милая. Ты боишься, что она будет нервной девочкой. Да, наследственность, располагающая к нервности, есть — и папаша, и мамаша люди нервные. Но такая ли уж это беда? Что же, ярче, острее будут переживания, полнее жизнь... Ведь не то цель жизни, чтобы подольше жить в невозмутимом спокойствии, а в том, чтобы изжить её полней, разносторонней, богаче. Путь она хоть быстро сгорит, но горит... Не желаю я ей спокойствия. Ещё мальчику можно пожелать, но девочке — нет, ни за что. <...> Ты пишешь, что нужно дальше держаться от людей и их откровенностей, ведущих на путь компромисса. А я не боюсь этого, не боюсь жизни, не замыкаюсь в свои собственные рамки. Люблю вникать в чужую психологию, приобщиться чужой души. Прикоснуться к чужим ранам... Ведь помнишь у Goethe: und wo ihr's rackt, da ist's interessant...¹ Не могу отказаться от этой точки зрения. Это — моя сущность. Ведь ты меня знаешь. <...>

На большинство вопросов ты ответ уже имеешь. Сапоги у меня теперь новые, крепкие, хорошие. Любо смотреть. Воздушные гости пока совсем не беспокоят. По крайней мере, здесь, вдали от фронта. О настроении товарищей и, в частности, о Сергее Гавриловиче я тебе уже писал подробно из П[уфешти]. Дмитрук вернулся раньше меня и служит мне верой и правдой. <...>

С[лободина]-К[орни], 24 февраля 1917 г.

Вот опять нет писем! И так проходит день за днём. И что же это такое? Получил только номер Р.В. от 15-го, а от предыдущих дней, начиная с 10-го, ещё нет. Полная беспорядочность.

Фельетон Гребенщикова «Синяя Птица»² прочёл, но особенного впечатления на меня он не произвёл. Написан немного слащаво, в духе рождественских рассказов. Хорошо заключительное: стук колёс «никогда, никогда»... <...>

Боюсь, что скоро придётся мне покинуть свою уютную комнату здесь у помещика. Вероятно, на днях меня возьмут обратно в П[уфешти]. А там не толь-

¹ «Запускайте руку внутрь, в глубину человеческой жизни! Всякий живет ею, не многим она знакома — и там, где вы ее схватите, там будет интересно!» («Фауст», перевод И. С. Тургенева).

² Фельетон Гребенщикова «Синяя Птица» — см. Р.В. 15 февр.?

ко нет сейчас приличных помещений, но даже и нет их вовсе. И придётся тогда опять разъезжать и снова забыть о клинической медицине.

Нет, я всё-таки люблю медицину. У меня в крови есть к ней пристрастие. Нет только познаний, нет системы. Нужна работа, и я недурным буду врачом, ей-богу. Но настоящее моё невежество достигает высоких пределов. <...>

Ты высказываешь мнение, что Пузырка кричит потому, что она устаёт лежать в постельке. Какой же вред может быть ей от того, что ты её иной раз возьмёшь на руки? Следует ли так уж придерживаться теории? Судить об этом представляю тебе, но ты напиши о своих соображениях. <...>

Возня у меня с освещением. Керосин, словно дёготь, воняет и не горит. Свежей нет, лампы скверные.

С[лободзиа]-К[орни], 25 февраля 1917 г.

Письма от тебя сегодня нет, и это очень печально. На почте сообщают, что завтра будет много. Ожидают большой транспорт сразу. Но завтра меня не будет, и мне придётся ждать до послезавтра. Дело в том, что завтра я собираюсь в П[уфешти], к товарищам, а также выяснить хочу своё настоящее положение: останусь ли я здесь и буду продолжать свою высокополезную деятельность в том же направлении, или меня возьмут обратно в штаб и снова заставят разъезжать по разным направлениям, выискивая заразу и упущения по борьбе с ней. Эта деятельность меня теперь ещё меньше привлекает после того, как я снова, хотя и в очень скромных размерах, прикоснулся к настоящей медицине.

Еxanthematicus'a я не боюсь, я очень осторожен, принимаю все меры. То же самое заставляю делать моих фельдшеров и санитаров и думаю, что мы гарантированы от неприятностей. Размеры лазарета моего скромны, чистоту в нём поддерживать легко. Больных у меня будет теперь совсем немного, так как я всегда могу избыток переводить в армейский госпиталь. Для выяснения же диагноза, для того, чтобы лихорадящие больные не залёживались в околотках, распространяя заразу, такой лазаретик, по-моему, необходим — изоляционный околоток! Вот завтра поговорю с Сергеем Гавриловичем, посмотрим, что они там решат.

Поеду я верхом, так как дорога стала очень тяжёлой. Последние дни у нас начало таять, хотя и при облачном небе. Так что не очень ещё пахнет весной. Впрочем, кошки и собаки уже совсем в весеннем настроении. <...>

Хочу поскорее получить весточку от Пузырки. Что она папу забывает?

С[лободзиа]-К[орни], 27 февраля 1917 г.

Смерть, как устал! Пишу тебе, поэтому совсем немного, несмотря на то, что получил от тебя 4 письма и открытку от Эдит. <...>

Дорога ужасная. Снег рыхлый, и ноги лошади глубоко уходят. Так я вчера проехал до П[уфешти]. Это около 25—27 вёрст. Товарищи собрались в этот день в 29-й отряд, который теперь опять в распоряжении нашего корпуса. Я не хотел расстроить их планы и поехал с ними верхами. Ещё 10 вёрст туда и столько же обратно! По теперешним временам это не фунт изюма. А сегодня снова 25 вёрст из П[уфешти].

Зато я сейчас совсем разбитый. О 29-м [отряде] завтра. Сейчас только ещё сообщу, что корпусной врач и Сергей Михайлович решили меня с отрядом до

поры до времени оставить здесь, при интендантстве. Здесь необходим санитарный контроль. Когда прекратится эпидемия, меня отсюда возьмут.

Валюсь от усталости, все косточки ноют. Спать хочется смертельно.

На обратном пути один рукав речки С[ерет?] пришлось перейти вброд, так как мост разобрали по случаю начинающегося ледохода. Высоко забравши ноги, я перешёл благополучно. Вода достигала лошади до половины туловища. Течение сильное, плавают льдинки. Смешно! Представляешь ты меня в таком положении? Вероятно, трудно. Всё-таки исписал почти обычное число страниц, но дальше, ей-богу, не могу! Засыпаю и валюсь.

С[лободзья]-К[орни], 28 февраля 1917 г.¹

Ты хочешь не только искать опоры, но и сама служить опорой. Для меня ты и созданный тобой «семейный очаг» уже давно служат опорой и светочем в нынешней тёмной жизни нашей. Ведь там у тебя, у Иринки, «у нас дома» — там моя надежда, моя светлая радость, моя вера в будущее... Это будущее не могу я мыслить без вас обеих. И как это хорошо — думать о вас, как тепло становится на душе! И неужели необходимо утратить свою внутреннюю самостоятельность, чтобы почувствовать так? Конечно, нет. И я от всей души приветствую твоё новое настроение. Только любовь равного к равному есть настоящая, бодряя и красивая любовь. Не нужно ей элемента внутреннего подчинения, хотя бы и добровольного. Оставим это слабым... <...>

Настоящий, красивый и прочный брак не нуждается в какой бы то ни было форме подчинения одного другому, не нуждается даже в абсолютной удовлетворённости, в которой всегда, независимо от идейности её содержания, всё-таки заключается элемент застоя.

Свободная личность, заимствуя, но перерабатывая самостоятельно, идёт своим самобытным путём. Идеальный же брак в моём представлении есть тот брак, когда два свободных человека только друг в друге находят ответ и отклик на самые сокровенные интимные запросы своего духа, когда душа одного чувствует бесконечную близость и родственность души другого. Полной же тождественности всех стремлений и представлений я не жду и даже не желаю. Таким браком соединены мы с тобой, и в этом наше большое, большое счастье!

С[лободзья]-К[орни], 1 марта 1917 г.

Писем, конечно, нет опять. Ох, эта почта!

Новость: всё интендантство переходит на новые места, на другую сторону С[ерета]. А поэтому, вероятно, и мне в ближайшем будущем придётся ликвидировать своё предприятие. Буду, значит, опять разъезжать. Так не люблю это занятие! Впрочем, я ещё не имею никакого распоряжения на этот счёт.

Кругом грязь и грязь. Солнца нет, а потому скорее похоже на осень, чем на весну. Передвигаться сейчас будет не особенно весело, тем более что мосты через С[ерет] сняты и придётся ехать кружным путём. Впрочем, нам не привыкать!

¹ Стоит штамп: «Дозволено военной цензурой».

Как тебе, милая, понравилась речь Керенского, напечатанная в номере от 16 февраля?¹ Или ты теперь бросила совсем читать отчёты о заседаниях? Правда, в них тоже весёлого мало, но есть материал для постановки прогноза на будущее. Я вообще после отпуска отдохнул душой и могу опять читать и интересоваться тем, что делается кругом. <...>

Ты отдала Зелинского курсистке. Спасибо тебе, милая, за это. Я рад пропагандировать Зелинского и его мировоззрение. Это тебе не Мечников с его «40 лет искания научного мировоззрения»², книга, которую я видел у Барченкова. Какое нудное название он дал своей книге! Ты только подумай: сиднем сидит человек целых 40 лет и «ищет» (сколько пота это ему стоило, бедному!) «научное» мировоззрение. Он высчитывает длину толстых кишок у человека и других животных и т.п., — и это он называет «исканием научного мировоззрения»! Это именно не искание, а «выработка» — тоже красивый термин, прямо из толстого марксистского журнала. Как будто человек, имеющий открытые глаза и живой интеллект, не рождается уже с готовым мировоззрением, которое именно и является его индивидуальным способом восприятия мира, только ему свойственным, субъективным. Как это умные люди до сих пор путают эти два понятия: объективная наука и моё субъективное восприятие мира, то есть моё мировоззрение!!!

С[лободина]-К[орни], 2 марта 1917 г.

Опять нет писем. Есть только газета от 19-го.

Получил сегодня телеграмму от корпусного врача с предписанием ликвидировать свой лазарет и отправиться с отрядом в П[уфешти]. Где мы там устроимся? Там все хаты «битками» набиты. Придётся, пожалуй, мне попросить гостеприимства у Барченкова. А отряд как устрою, не знаю. Тут у меня на ликвидацию уйдёт ещё дня 2—3. Едва ли раньше 6-го выберусь.

Перечитываю твои последние письма. <...>

Не кончил письма, так как узнал, что почта уже свернулась и завтра переходит на новое место через реку С[ерет]. Значит, мы несколько дней будем не получать и не отправлять.

8 марта. Всё-таки пересылаю эти строки, написанные ещё в доисторические времена.

П[уфешти], 8 марта 1917 г.

Свершилось! Сподобил Господь! Наша родина без цепей!

Когда я третьего дня ещё в С[лободина]-К[орни] узнал эту новость и читал первые известия и манифесты, у меня голос дрожал, а в глазах стояли слёзы. А потом как-то невольно начал креститься, первый раз в жизни ища внешнего выражения для охватившего меня глубокого чувства.

Шурочка, милая моя, что сказать, что думать, когда в душе всё ликует, когда всецело доминирует чувство?! Как долго мы этого ждали, как напряжённо!

¹ В своей речи в Думе 14 февраля А.Ф. Керенский фактически призвал к свержению самодержавия — «уничтожению средневекового режима».

² Мечников И.И. ...Сорок лет искания рационального мировоззрения (М., 1913, 1914). — см.!

Уезжая из Москвы, я был убеждён, — и высказал это тебе, — в неизбежности случившегося теперь. Слишком расстроены были все стороны тыловой жизни. Здесь же, втянувшись в наши будни, я снова перестал верить. Я изверился... В особенности, когда Милюков обратился накануне открытия сессии Думы с своим горячим призывом к тишине и спокойствию... Только речь Керенского, произнесённая 15 февраля, произвела на меня большое впечатление. И на него одного я возлагал ещё некоторые надежды. И сейчас я его считаю, бесспорно, самой яркой, интересной и надёжной личностью в новом кабинете. Моё мнение о Милюкове ты знаешь. В остальном же, как мне кажется, трудно было бы выбрать более действенных и дельных людей. Тут все на своих местах. Только Терещенко¹ для меня terra incognita.

О последовательности и ходе событий мы тут ещё почти ничего не знаем. Имеем манифесты, которые прочитаны войскам с комментариями начальников частей. Приём они встретили хороший, но в общем сдержанный — гражданин ещё не проснулся, свобода даётся не сразу.

Горячий приём они встретили среди громадного большинства офицеров, особенно среди артиллеристов. Хотя есть единичные экземпляры, которые относятся сдержанно или выжидательно, особенно среди стариков. Я знаю только о двух случаях, когда новый порядок не был признан абсолютно, без оговорок: старый полковник, навзрыд проплакавший всю ночь от горечи, и один из офицеров нашего штаба, заговоривший о баррикадах и неподчинении «всяким там жидам», однако тотчас же сокращённый в своих порывах вескими словами командира корпуса.

«Народ молчит» пока, как всегда, не высказывается определённо. Но общее сочувствие, несомненно, на стороне нового порядка. Как мне сейчас хочется быть в Москве, с тобой, ближе к событиям! Хотя бы газеты получить поскорее!

У меня сейчас только одна мысль, около которой всё вертится. Ни о чём другом думать не могу. И меня оскорбляет и возмущает, когда я вижу сравнительно мало сознательное отношение к происходящему даже среди врачей (конечно, не Серг.Мих., Серг.Гавр. и Ал.Авкс.). Я не понимаю, как сейчас можно говорить и интересоваться будничным, обычным, или говорить о важном, великом легкомысленным тоном или просто детским лепетом. И ещё раз убедился, какое это растяжимое понятие «интеллигенция». Нет ничего удивительного, что столько времени понадобилось, пока люди, наконец, «раскачались». Но и раскачивали же здорово! Мёртвые проснулись.

Умиляет меня больше всего то, что после Щегловитова² и разных там Хвостовых³ министром юстиции сделался Керенский! Хорошая метла! И нужная, ох, как нужная!

¹ Терещенко Михаил Иванович (1886—1956) — богатейший сахарозаводчик и крупный землевладелец, в IV Думе примыкал к прогрессистам, входил в состав Центрального военно-промышленного комитета, Главных комитетов Союза городов и Земского союза, министр финансов и затем министр иностранных дел Временного правительства.

² Щегловитов Иван Григорьевич (1861—1918) — министр юстиции (1906—1915), последний председатель Государственного совета Российской империи.

³ Хвостов Александр Алексеевич (1857—1922) — министр юстиции (1915—1916), министр внутренних дел (1916). Хвостов Алексей Николаевич (1872—1918) — министр

Шурочка, хочется с тобой говорить и говорить... Теперь хоть писать тебе могу свободно. Какое это счастье! Боже мой! Увидели-таки глаза мои! Ты только подумай, Шурочка, война не была напрасна!.. Не напрасны все наши жертвы!..

У меня опять слёзы в глазах...

И[уфешти], 10 марта 1917 г.

Совсем плохо я тебе пишу, милая, последние дни. И это тогда, когда писать хочется о многом. Но не моя в том вина. Сначала я в С[лобозиа]-К[орни] несколько дней сидел без почты. Затем 7-го я сделал верхом переход в 50 вёрст, — из-за ледохода кружным путём через город А[джуд] приехал сюда в П[уфешти]. Можешь себе представить, как я был разбит физически! Я свалился на постель, как убитый. 8-го я верхом должен был проделать ещё около 20 вёрст. Заезжал к Барченкову, которого здесь уже нет. Мне спешно нужна была его подпись под одной бумажкой. Я и 8-го был не менее разбит, но всё-таки написал тебе. Вчера, 9-го, я по железной дороге поехал в город Т[екуч], где должен был явиться с документами в одну комиссию. Несмотря на то, что расстояние туда только 45 вёрст, я приехал только поздно вечером! Переночевал у товарищей одного из лазаретов. Сегодня утром явился в комиссию, но оказалось, что она уже выехала. Я даром проездил. Сейчас же вернулся сюда. Лягу пораньше спать, так как очень утомился за все эти последние дни. Даже, говорят, сильно похудел.

А писать хочется о многом. Ведь третьего дня я получил от тебя целых 8 писем, некоторые из которых задевают очень острые вопросы. Это о своём, личном.

А затем хочется много говорить и писать о великих событиях, о своих мыслях и настроениях по этому поводу. Милая, дай мне сегодня отдохнуть. Я с завтрашнего дня начну опять регулярный образ жизни и систематическое писание писем. Сегодня ограничусь только несколькими фактическими сообщениями.

Поселился я здесь вместе с Сергеем Гавриловичем. Мы, конечно, всё такие же друзья, что и раньше. Разговоры наши сейчас все, конечно, вертятся около одной темы. Как велика наша радость, наше торжество. <...> Люблю я с ним поговорить. Идеальный он человек. Сейчас он просит меня передать тебе по случаю событий особый его привет.

Здесь я буду заниматься тем же, что и в последнее время в Вольни: вести околотов штаба и иметь санитарное наблюдение над командами его и за двумя сёлами, в которых мы все помещаемся. Разъезжать, вероятно, придётся мало. Рессигенс [возвратный тиф] повсюду, exanthematicus'a [сыпного тифа] меньше. Захворал-таки возвратным мой фельдшер Мокриев. Его третьего дня отправил в лазарет. Не обошлось, значит, и у меня без жертв. Барченков со своим полком в 8 верстах отсюда. Там же эпидемический отряд и наше интендантство с казначейством. Штаб в трёх верстах отсюда. Туда буду ездить каждый день. Вот факты.

Я сильно устал и на большее сейчас неспособен.

И[уфешти], 11 марта 1917 г.

Милая Шурочка и милая Ириночка. Я, наконец, опять в своей тарелке, выспался, отдохнул и могу с вами беседовать по-хорошему. Славные вы мои! Что вы скажете по поводу совершающихся событий? Как ваше настроение? Сплошь ли оптимистическое или омрачённое пессимистическими предчувствиями? Знаёте ли вы себя в настоящий момент только гражданками, или всё-таки и сейчас преобладают личные мотивы, и вы рассматриваете события под тем углом зрения, как они отразятся на основном вопросе, каждого из нас задевающим, — вопросе о войне и мире? Много ещё хочется поставить вам вопросов, а пока придётся высказать своё собственное предварительное мнение и рассказать о своих переживаниях.

Эти переживания, прежде всего, безусловно, радостные, и омрачить это основное настроение преждевременным скепсисом я не хочу. Для меня совершенно ясно одно: возврата к старому уже нет и не может быть. В этом громадная разница по сравнению с 1905-м годом. Тогда, что там ни говори, сознание необходимости нового устройства жизни не проникало дальше тонкого сравнительно слоя городской интеллигенции и ещё более тонкого — сознательных рабочих. Громадная масса только подхватывала лозунги, возносила их высоко, и так же быстро бросила их, как только наткнулась на серьёзное противодействие... А весь правительственный аппарат и средства воздействия оставались в руках старой власти. Не было настойчивости, потому что не было ясного понимания момента.

Ты знаешь, какое почётное место при объяснении исторических явлений я отвожу психологическим моментам. Не верю я в абсолютное значение классовой борьбы, всему этому экономическому материализму. Разве обострившиеся с 1905 года классовые противоречия привели ко второй русской революции? Конечно, нет. Изменилась психика людей. Сознание невозможности при старом режиме добиться хотя бы сносного существования, сознание, что при нём неминуемо полное государственное банкротство; это сознание должно было пустить прочные корни во всех слоях и классах населения, чтобы вылиться, наконец, в форму революции быстрой и сравнительно лёгкой, потому что защитников старого строя уже не было, не могло быть. Горемыкины¹ и Щегловитовы вернуться не могут. Их время прошло безвозвратно. И как же не радоваться этому от всей души, не ликовать открыто!

И всё-таки на душе немного тревожно... И вот почему.

Опасность сейчас грозит не справа, хотя я и убеждён, что не обойдётся совсем без попыток с этой стороны восстановить положение. Эти попытки будут обречены на неудачу. Опасность грозит слева! Не левая программа, конечно, нам страшна, но боюсь я немного левой тактики. Я не могу не принимать во внимание того, что наш серый солдат очень мало культурен. Недаром и кличка его «серый». Требуется очень большая сознательность, чтобы сохранить при данных обстоятельствах выдержку и спокойствие. Вот абсолютной веры в это у меня нет. Тут необходима величайшая осторожность и тактичность со стороны руководителей в Питере. К сожалению, как кажется, власть Временного правительства ещё пока не окрепла,

¹ Горемыкин Иван Логгинович (1839–1917) — председатель Совета министров Российской империи в 1906, 1914–1916 годах.

и ему, по-видимому, приходится считаться с Советами рабочих и солдатских депутатов. В этих же советах сидят люди слишком уж прямолинейные, принципиальные. Гучков — человек осторожный, он реальный политик. И если ему приходится отменять основные начала, поддерживающие внешнюю дисциплину в войсках, сознавая всю рискованность таких шагов (он не может не сознавать), то это значит, что он вынужден кому-то делать уступки. Вот это и нехорошо.

Исторический вековой авторитет пал, его нет. Внешние формы дисциплины отменяются. Вся ставка — на самосознание и благоразумие солдатских масс. Такой расчёт требует высокого культурного уровня масс, а его нет. Что годится и необходимо в Англии и Франции, то несвоевременно вводить в только что освобождённой России, в самый разгар европейской войны. Что будет? Не знаю. Но я предвижу возможность осложнений здесь, на фронте... Россия от этого выиграть не может, а потерять может многое. И это было бы очень, очень грустно.

Как я смотрю на вопрос о войне и мире, я тебе напишу завтра. Сразу о всём не напишешь, а хочется пообстоятельнее, чтобы мысли были высказаны ясно и отчётливо. Ведь теперь, наконец, о внутренних делах можно писать открыто! Хочу этим пользоваться широко. <...>

Поцелуй свободную гражданку Иринку. <...>

С переездом казначейства и интендантства я до сих пор не получил денег. Придётся получить уж после 20-го, когда сразу вышлю тебе большую сумму. Прости меня, милая.

И[уфешти], 12 марта 1917 г.

Теперь по вопросу о войне и мире. Как отразятся на нём события? Я думаю, что мы стоим у преддверия мира. И вот почему.

Керенский в своей речи в Думе 15 февраля определённо заявил, что он считает необходимой подготовку общественного мнения в направлении ликвидации европейского конфликта и думает, что такая ликвидация возможна на основах самоопределения национальностей, затронутых войной. Эти принципы не могут не вызвать общего сочувственного к себе отношения, после того, как почва подготовлена и выступлениями Вильсона¹, и общей утомлённостью войной, и, наконец, внутренним переворотом, отвлекающим внимание от внешнего. Керенский представляет собою течения, если не господствующие, то, во всяком случае, сейчас весьма влиятельные. Аннексионистские стремления сейчас едва ли всплывут. Империалистические, представленные Милюковым, хотя и живы ещё, едва ли возьмут верх в настоящий момент. Одно дело лозунг, а другое дело его воплощение в жизнь. Замена на посту министра иностранных дел Милюкова Сазоновым², о которой мы только что узнали по слухам, доказывает, что прак-

¹ Президент США Вудро Вильсон стремился сохранять нейтралитет и даже предлагал воюющим державам своё посредничество. После того, как Германия, получив отказ на своё предложение 12 декабря 1916 г. приступить к мирным переговорам, возобновила в начале 1917 г. «неограниченную подводную войну», Вильсон взял курс на вступление в войну на стороне Антанты, что и произошло 24 марта (6 апреля нов.ст.).

² Сазонов Сергей Дмитриевич (1860—1927) — министр иностранных дел (1910—1916). Слух о замене Милюкова Сазоновым оказался ложным. В апреле П.Н. Милюкова

тическое чутьё взяло верх над теоретической принципиальностью. Ведь Сазонов очень трезво рассуждающий политик. Припомни хотя бы его беседу с журналистами в январе с.г.

С другой стороны, подъём волны демократического движения умерит аппетиты и в другом лагере. Широкие аннексии уже невозможны. Наконец, брожение умов, мало подготовленных к восприятию принципиальных идей здесь в армии, заставит поневоле считаться с возможностью некоторого ослабления строгой дисциплины в войсках, что может отразиться на ходе чисто военных действий... Если я окажусь неправым в этом последнем предположении, тем лучше. Но я всё же с этим считаюсь.

Всё это вместе взятое, все эти психологические моменты заставляют меня предположить, что вскоре будет найден общий язык, общая платформа для мирных переговоров. Не хочу я умалять и значение наших экономических затруднений, но решают вопрос, по-моему, не они. Изменилась психика людей — вот главное. Почва подготовлена. Тяжёлое экономическое положение не помешало Германии с полным напряжением воевать до сегодняшнего дня. Сильная воля всё преодолевает. У нас же теперь нет психологических оснований для напряжения своей воли. Не будет этих оснований вскоре и у Германии, если ей не придётся больше биться за своё существование как великой державы. Аннексиями теперь массы не увлечёшь. А решают, в конце концов, вопрос всё-таки массы, совокупная воля всего народа.

Милюков близорук, дальше носа своего не видит. Ему не место в ответственном Министерстве иностранных дел.

П[уфешти], 14 марта 1917 г.

Вчера мы ездили с Сергеем Михайловичем на санитарное совещание и вернулись оттуда поздно вечером, усталые. Прodelали 40 вёрст по скверной ещё дороге. А погода уже стоит дивная — яркая, солнечная, тёплая. Окна открыты настежь. Гуляем без шинелей. Кое-где в канавах ещё лежат остатки снега. Политическая весна на этот раз совпала с весной в природе. Это не хмурые октябрьские дни 1905 года...

Вчера всюду войска присягали новому строю. Я очень жалею, что не взял фотографический аппарат с собой и не увековечил этот исторический момент. А пока мы с С.М. были на совещании, здесь в П[уфешти], присягали наши команды совместно с командой одного из лазаретов. Присягали без нас, своих начальников. Обставлена присяга была торжественно, со священником, крестом и Евангелием. Священник уже приспособился к новому режиму и произнёс несколько прочувствованных слов. Небольшую, но яркую и выразительную речь сказал Сергей Гаврилович. Все подняли руки, и торжественно был прочитан текст присяги о верности и неизменной преданности Российскому государству как своему Отечеству, и обязательство повиноваться Временному правительству, ныне возглавляющему Российское государство и т. д. По предложению Сергея Гавриловича солдаты затем прокричали громкое ура новому строю. Дожили мы до этого, милая моя Шуручка!

на этом посту сменил М.И. Терещенко.

Здесь в тылу отношение солдат становится всё более и более сознательным. Есть время почитать газеты и обсудить их содержание. Говорят, что в некоторых полках на фронте присяга прошла бледно, без воодушевления, даже при равнодушном отношении. Трудно было ожидать иного. Ведь свободных слов солдат до сих пор не слышал. Не сразу ему может стать понятным происходящее. Но, в общем, с радостью я должен отметить, что здесь пока чувствуется со стороны солдат особое подчёркивание воинской дисциплины. Лица весёлые, честь отдают охотно. Не обижаются, когда по старой привычке вместо нового «вы» обращаешься на «ты». Сами ещё путают и совестятся говорить вместо привычного «ваше высококордие» и «ваше превосходительство» — «господин доктор» и «господин генерал». Всё это так ново, так необычно. Но интерес ко всему там в России растёт с каждым днём, и солдат подтягивается, сознаёт себя гражданином. Не все, конечно, далеко не все. Но число их растёт, и это так отрадно.

Я вчера вечером нашёл на столе твои два письма от 28-го и 1-го — последнее письмо, написанное ещё рабским языком, и первое письмо свободной гражданки. Всё же я вижу не только гражданку, очень и очень видна и просто женщина... Я так и думал.

Как мне обидно, что в старых наших письмах не могли отразиться наши надежды и чаяния, что в них видны только наше горе, пессимизм, наше отчаяние...

П[уфешти], 15 марта 1917 г.

Последние дни почта баловала меня письмами от тебя <...> Получил также и снимки с Иринки. Да, она растёт быстро, она уже не та, что была в первые дни. И личико теперь совсем человеческое, без намёка на наших отдалённых предков, как на первой фотографии, и глазёнки почти осмысленные, — тянутся к свету. <...>

Знаешь, какая у меня мысль явилась ещё в тот самый день, когда я впервые узнал о перевороте? Мне стало немножко обидно, что вот мы так и не дождались возможности легального гражданского брака, и пошли на компромисс с совестью. А ещё больше за то, что за несколько дней до свободы крестили Иринку. Это наследие старого порядка, которое она так-таки и получила... Надо ведь полагать, что не слишком много времени нас теперь отделяет от полной узаконенной свободы совести. Не хочу я верить, что возможен в этом отношении возврат к старому.

Сейчас я перечитал все письма от тебя, полученные за 8 дней пребывания здесь в П[уфешти]. Их всего 13! <...> Ты права, Шурочка: все эти предположения и страхи у тебя от любви к самоковыранию. Конечно, ни у тебя, ни у меня ничего не «оборвалось». Мы остались такими же, какими были, и наши отношения измениться не могут. Если мы находим друг в друге стороны, нами раньше не замечавшиеся, то тем лучше — понимание будет глубже. Я тоже люблю анализировать, ты знаешь, но как-то этот анализ не мешает мне жить. И, слава Богу!

П[уфешти], 16 марта 1917 г.

Сидим без известий. И так уж поздно приходят газеты. Последний номер К.М. от 9-го, а Р.В. всего только от 4-го! Вот видишь, как мы тут отстаём от событий. Вы там счастливые!

Я тут сижу над своей канцелярией, за которую наконец-то решил взяться серьёзно. Пора! Возни с ней будет очень много. Тоже скучно.

И ещё одна неприятность сегодня: пришло известие, что наш бывший корпусной врач В[ышемирский] умер! Всего только три недели как он нас покинул. Не пришлось ему долго пробыть на новой высокой должности. Хорошую по себе он у нас оставил память. Никогда у меня с ним не было ни малейшего недоразумения за все полтора года службы у него. Вспоминать о нём буду всегда с благодарностью. Доброе у него было сердце, незлопамятное. К подчинённым относился справедливо и сердечно, по-товарищески.

Скверно ещё и то, что нет у нас в тылу покровителя надёжного, охотно взявшего бы нас всех к себе. С Сергеем Михайловичем у него уже всё было условлено. Вчера ещё Серг.Мих. послал нарочного с письмом В[ышемирскому], в котором упомянул и обо мне. Теперь С.М. не знает, как ему быть. Вероятно, всё-таки теперь останемся здесь. Не повезло.

Невезучий день. Вот и Сергей Гаврилович вернулся с охоты без ничего. Не помню, писал ли я тебе уже, что с Серг.Гавр. мы перешли на «ты». Он мне сам предложил в порыве радостного чувства, когда читал газету, и мы с ним вместе переживали великие события. Славный он человек! Хотя мы с ним и разные люди.

Барченков со своим полком ушёл из нашего корпуса в тыл. Проезжал, говорят, вчера мимо, был в штабе, но не заехал к нам проститься. Бог с ним! Без сожаления расстаюсь с ним.

П[уфешти], 18 марта 1917 г.

Я вчера тебе не писал, так как товарищи меня уговорили (ей-богу, правда — долго уговаривали) поехать с ними в 59-й эпидемический отряд в город А[джуд], в восьми верстах отсюда. Есть у нас с начала января такой отряд. Там две довольно симпатичные докториссы-евреечки. Вот весь вечер мы там вчера и проболтали. Поехал я верхом. Вернулись к двенадцати часам ночи усталые. В общем, я не жалею, что был, но не чувствую и большой потребности вновь туда поехать. В гостях хорошо, а дома лучше. Старая истина.

П[уфешти], 19 марта 1917 г.

Сегодня наконец получил очередное письмо <...>, но не от свободной гражданки, а от больной жены и матери. <...> Ты опять хворашешь, опять расклеилась. И нет у вас дров, на дворе 15° мороза — вот и празднуй революцию... Какая нынче жестокая зима! Здесь тепло с конца февраля. Уже больше недели, как окна днём не затворяются, на солнце печёт, о шинелях уже забыли. Поля начинают зеленеть, жаворонки давно поют свои гимны солнцу. И как-то странно читать в газете, что под Питером метели, или у тебя в письме, что у вас 15° мороза. Надеюсь, что теперь, когда я пишу это письмо, и у вас, наконец, стало тепло, и вы не нуждаетесь в антраците.

И опять тебе тяжело... Не развеселили тебя даже великие события, обновление России. Опять перед нами всё тот же вопрос: когда, когда же мы будем вместе?.. И чем ближе кажется возможность, тем нетерпеливей становишься. Скорей, скорей! К развязке!

Я не жду многого от наступающей летней кампании. Мне кажется, что Россия уже не способна более на большое наступление. Теперь более чем когда-

либо — слишком поглощено всё внимание внутренними событиями. Вот где перед нами открывается широчайшее поле деятельности. Работы хватит всем на много лет вперёд! Не думаю, не верю, чтобы задержка осуществления внутренних задач могла бы компенсироваться какими-либо внешними приобретениями. Это мираж! Мир всё равно будет заключён на основе самоопределения пограничных национальностей, и побеждённых вполне не будет. И мне кажется, — не могу не согласиться с Керенским, — что на таких основаниях ликвидировать конфликт можно было бы и теперь. По крайней мере, должна быть сделана к этому попытка. Это необходимо до новых жертв. Лиха беда начать говорить, а там можно бы и сговориться. Впрочем, всё ещё далеко не все пришли к такому выводу... <...>

Боже мой! Да ведь нынче 19 марта! И как это я опять чуть было не прозевал! <...> Поздравляю тебя, милая, дорогая моя Шурочка, с днём рождения! <...> У нас уже немало своих семейных праздников: 16 января, 19 марта, 23 и 29 апреля, 5 мая, 2 сентября и 17 октября¹. <...> Когда же мы их отпразднуем все подряд вместе? И так много лет...

И[уфешти], 20 марта 1917 г.

Почта нынче богатая: два очередных номера К.М., три номера Р.В., Гаврилычу — два письма и две книжки журналов, а мне от тебя ни письма! Я огорчён. И почему такое?

Я нынче был в Р[угинешти?], где стоит интендантство, казначейство и почта. Получил там деньги. Отправил тебе 600 рублей, а 400 рублей отправил в Ригу. Вот как много! Провозился полдня и решил дожидаться вечера, чтобы забрать заодно и завтрашнюю почту. И вот такое разочарование. А я так хочу поскорей получить от тебя известия, как здоровье твоё и Иринки, и как вы воспринимаете новые впечатления при обновлённом строе. Какие у тебя с ним связываются надежды или опасения? Неужели у тебя ничего не найдётся по этому поводу сказать мне? Ведь ты не только мать и жена, ведь ты и гражданка... Ведь вы, женщины, теперь, вероятно, получите избирательные права. Мне хочется поскорей обменяться с тобой мыслями, впечатлениями.

И[уфешти], 21 марта 1917 г.

Писем нет, газет нет... А хочется побольше и того, и другого.

Солнце печёт уже немилосердно, совсем по-летнему. Каково здесь будет в июльскую жару? Вечер тёплый, тёплый. Луна светит ярко, ярко, не по-северному, а скорее по-холодачки. Кое-где начинают осторожно распускаться почки. С речки доносится любовное кваканье лягушек. А днём воробьи шумят, чёрт знает как. Одним словом, весна уже в разгаре. Недаром коллеги из лазарета, где мы обедаем, сегодня вечером, глядя на Луну, вели специфически «весеннюю» беседу. Я же, к счастью, ничего специфического не ощущаю. Весна на меня не действует. Я хочу только одного, и теперь больше, чем когда-либо, — взяться за серьёзную любимую работу. Хочу трудиться, только не над своей канцелярией...

¹ День рождения Ирины, день рождения и именины Ал.Ив, венчание, именины дочери, признание в любви, день рождения Фр.Оск.

Последние дни опять усиленно жужжат моторы и пропеллеры. Ждём ежедневно гостинца с неба, ибо объектов здесь в П[уфешти] немало, и очень даже удобных. А[джуд] уже пострадал, мы пока нет. Со вчерашнего дня недалеко от нас поставлены орудия, и сегодня уже шипели зловещие стаканчики. Летний сезон начался! Удовольствия много.

Сегодня здесь неожиданно появилась Катеринка¹. Она осталась в Н. при хлебопекарне. Собиралась вскоре поехать в отпуск. Она мне недавно ещё писала, что выезжает 18-го. Оказывается, что 17-го она получила из Киева телеграмму, не разрешающую ей выехать. Вот она и не знает, что делать, и вместе с хлебопекарней, которую тоже теперь перевели в П[уфешти], приехала сюда посоветоваться со мной. Я ей дал совет завтра же выехать в Одессу, где теперь находится её главное управление, и хлопотать там об отпуске. Всё равно ей ехать надо. Нет медикаментов, и необходимо обновить гардероб. Надо также уладить кой-какие семейные дела там, на Урале. Она меня послушалась и завтра выезжает.

П[уфешти], 22 марта 1917 г.

Знаешь, что я думаю? Я считаю, что освободившаяся демократическая Россия, не связанная ни обещаниями, ни планами старого режима, ни его вековыми связями и традициями, имеет не только право, но и обязанность перед собой и всем миром выступить с новыми мирными предложениями на основе самоопределения национальностей и отказа от всяких чисто империалистических задач, как-то аннексий, односторонних торговых договоров и т. д. Демократическая Россия не уронит своего достоинства, не потеряет своего престижа, а только выиграет. Она станет действительно нравственной силой в этой мировой войне, фактором, созидающим на развалинах европейской культуры. Правда, и раньше державы Согласия провозглашали высокие принципы. Но это был слишком явно только фиговый листочек, под которым скрывались всё те же тенденции и стремления, мало общего имевшие с истинными задачами культуры. Простое присоединение к России Армении и Галиции, раздел между великими державами Турции, отобрание у неё Босфора и Дарданелл, раздробление Австро-Венгрии, фактическое низведение Германии на ступень второстепенной державы — как назвать эти задачи? Это всё то же непризнание принципа автономности народов. Это взгляд на них как на средство для возвеличения и укрепления внешнего могущества собственной империи, то есть чисто империалистическая идеология. Необходимо решительно заявить о своём полном отказе от этих целей; тогда только фиговый листочек, то есть независимость Бельгии, Сербии и Польши, борьба с милитаризмом и т. д. станут не громкими трескучими фразами, как теперь, а в самом деле высокими принципами, за которые стоит бороться и страдать. И кому, как не русской демократии впервые во всеуслышание заявить об этом? Кому, как не ей, только что самой освободившейся, поверят народы?! Кто же, как не она, окажется действительно моральной силой!? Она может протянуть чистую незапятнанную руку, и она должна это сделать! Пусть даже такая попытка и не

¹ Катеринка — Екатерина Константиновна, сестра милосердия.

уверенчается немедленным успехом, но после такого заявления невозможными станут старые цели этой войны, поблекнет её идеология, так много хороших и трезво рассуждающих людей увлекшая, и воздвигнуты будут новые принципы настоящей демократии. Окрепнет демос, и ещё более расшатаются старые троны и правительства...

Поцелуй свободную Пузырку-гражданку.

И[уфешти], 23 марта 1917 г.

Вчера ещё я тебе высказывал своё мнение о том, что Россия обязана выступить с провозглашением новых принципов в этой войне, а сегодня мы получили номер К.М., в котором напечатан такой призыв «ко всем народам мира» от Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов¹. Оказывается, мнение моё было не одиноко. Нашлись люди, так же понимающие смысл совершившегося переворота. Это очень, очень отраднo. Призыв составлен в достойных, благородных выражениях. Нет ничего лишнего: ни пустых и громких фраз, ни бескровного теоретизирования со ссылками на Маркса и т. д. Написан он просто и искренне: «через горы братских трупов, через дымящиеся развалины сёл и городов мы протягиваем вам руку»... Как красиво и достойно. Он, несомненно, окажет своё влияние «во всех странах мира». Он повысит симпатии к русской революции, поднимет её культурную ценность в глазах западных народов. Его крупное политическое значение бесспорно.

И жаль того одного: почему этот призыв исходит не от официального представительства русского народа? Почему молчит наше Временное правительство? Или оно ещё лелеет мечты о Босфоре и Дарданеллах и не желает от них отказаться? Это сильно умаляет практическое значение призыва, делая его заявления необязательными при будущих мирных переговорах. Не обезоруживает он поэтому и германское правительство, не расшатывает его идейную позицию. Ссылка на опасность, грозящую Германии, остаётся в силе. И под этим своим фиговым листочком правительство Вильгельма может проводить и свои империалистические планы. Необходимо официальное авторитетное заявление нашего Временного правительства. К этому обязывает его не только новые принципы русской политики. К этому обязывает его и осторожная оценка момента...

*Cui prodest?*² Что мы можем выиграть в дальнейшем? И что можем потерять? Необходим трезвый расчёт. Я, конечно, не имею всех данных, чтобы судить безапелляционно, и не претендую на это. Но как внимательному наблюдателю для меня вырисовывается следующее: при доведённой до последних пределов старым правительством хозяйственной разрухе страны и финансовом её истощении, при крушении исторических авторитетов и отсутствии в широких массах полной сознательности, выдержки и самодисциплины мы вряд ли способны на большие достижения в этой войне, по крайней мере, соответствующие понесённым громадным жертвам. Потерять же можем ещё многое...

¹ 14 марта Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов обратился ко всем народам мира с призывом заключить мир без аннексий.

² *Cui prodest?* (лат.) — Кому выгодно?

С большой тревогой сейчас все взоры обращены на наш Северный фронт. Ведь громко кричит об этой новой опасности уже вся печать. А каково, если Учредительное собрание волей-неволей придётся созвать в Москве?..

Не можем же мы воевать до бесконечности, и судьба войны решится не позже нынешнего лета. Не остановиться ли, пока не поздно?!..

И[уфешти], 24 марта 1917 г.

Всё как-то странно. Несколько удивляет меня полное отсутствие в твоих письмах (по крайней мере, в тех, которые я получил) отклика на то, что сейчас переживает Россия. Я ищу гражданку, и нахожу пока только мать и жену... Мне это не совсем понятно. Я ведь знаю, как близко ты принимаешь к сердцу судьбу рождающейся новой и свободной России, знаю, как сознательно и вдумчиво ты относишься к событиям, и мне очень хотелось бы знать твоё мнение, твою оценку, услышать от тебя, каково настроение наших москвичей, каковы из надежды и чаяния.

У вас там другой мир. Вы там, может быть, иначе воспринимаете, чем мы здесь, на фронте. У нас создаётся такое впечатление, что там, в тылу сплошной праздник, сплошные красивые речи и призывы, а по существу, если не игнорирование, забвение массами задач фронта, то всё же несомненное отодвигание этих задач на задний план. Мы с большой тревогой читаем здесь газеты и не можем предаваться безраздельной радости. Мы видим ряд симптомов, указывающих на далеко не полное единение всех общественных сил. Мы видим не одно Временное правительство, а рядом с ним другое, неофициальное, которое многие здесь в армии считают самозванным, не выражающим её настроение и желания. Все сознательные элементы армии стремятся самым серьёзным образом к сохранению единения и дисциплины. Не подчиняющихся Временному правительству — нет и не будет. Но растёт тревога при виде того, как тыл, те солдаты пополнения, которые должны в ближайшем будущем вливаться в части фронта, дезорганизуются и самоуправствуют, по своему желанию демонстрируя, арестовывая, запрещая и разрешая, — и не встречая отпора, ни в народных массах, ни в правительстве...

Вся Россия знает, что нам предстоят решающие бои, жестокие бои. В несколько дней или недель не будет существовать нынешний состав армий, который, никто в этом не сомневается, сознательно и честно исполнит свой долг. Кадры исчезнут, и останется пополнение, пришедшее из России...

Ты знаешь, как далёк я от всяких агрессивных планов. Но, Боже сохрани, если германцы снова пройдутся, — и теперь уж как угодно, — по России! Это было бы большое несчастье, которое может очень дорого обойтись России. Мы все обязаны предупредить эту возможность.

У нас тут заканчиваются выборы депутатов от армии, которые должны будут в Петрограде перед Временным правительством выразить желания фронта. С техникой выборов тут, конечно, мало кто знаком. Среди офицерства они проходят не слишком оживлённо. Зато очень горячо и сознательно к ним относятся солдаты. Не сомневаемся (если только депутаты не заразятся настроением тыла), что доминирующий клич фронта, настоящей армии (не петроградских запасных полков) будет: «Не трогайте нас раньше времени; пусть у нас многое устарело и требует пересмотра, но коренная ломка сейчас невозможна. Она гибельна

для дисциплины в армии в эти трудные дни, она не организует, а дезорганизует! Нельзя сейчас проводить голые принципы!»

Я не аннексист и не милитарист, но я люблю свою родину и не могу не видеть, что расшатанная дисциплина в армии знаменует собою анархию и полный развал в стране. Боже, сохрани нас от этого!

Далеко не нравится нам здесь на фронте настроение тыла, поскольку оно отражается в газетах. Быть может, мы ошибаемся? Шурочка, почему ты молчишь обо всём этом? Мы молчали два с половиной года. Наши письма не отражали наших общественных убеждений, наших взглядов на войну и её задачи. Нам приходилось ограничиваться намёками. Теперь мы можем и должны высказываться до конца. Пусть хоть к концу войны в наших письмах отразится эта сторона нашей души и наших отношений. Не знаю, как ты, но я не могу сейчас не чувствовать себя прежде всего гражданином, близко принимающим к сердцу судьбы своей родины.

Я мог бы сейчас с тобой говорить и говорить без конца...

И[уфешти], 26 марта 1917 г. Вербное Воскресенье

Получил уже поздно вечером 5 писем от тебя! Последние дни я тебе совсем не отвечал на твои письма, писал только по поводу событий. Сегодня хочу опять поговорить с тобой о наших домашних делах. <...> Очень меня интересует, удастся ли тебе заручиться квартирой в доме Чесаловых. Как было бы хорошо! Хочу поскорей переехать вместе с тобой. Устраиваться, зажечь мирной культурной жизнью. Ведь скоро же это будет?..

Есть у нас некоторые признаки, по которым можно предположить мир уже в мае или июне! Подождём ещё немного — увидим!

На проезд мой к Пироговскому съезду ты не рассчитывай, милая¹. Это утомительно. Мы здесь живём далеко не таким быстрым темпом, как вы там. К тому же, я как санитарный врач вовсе не такая заметная величина, чтобы откомандировать сейчас именно меня. Не рассчитывай, милая, и на замену меня здесь кем-либо из тыловых врачей. Правда, разговоры об этом идут и у нас. Но, во-первых, улита едет, когда-то будет?! А, во-вторых, я тебе уже писал как-то, что я никак не могу считать себя врачом, подлежащим замене в первую голову. Ведь я прожил 9 первых месяцев войны в запасном госпитале, и здесь я тоже не в полку — полковые врачи считают нас тыловыми. Нет уж, Шурочка, будем лучше надеяться на благоразумие демократических масс и на их жажду мира. Скоро мы и так увидимся и больше не разлучимся! Ещё немного терпения.

Я очень рад, что ты, по-видимому, получишь ассистентуру у Циклинской². Ты знаешь, это именно то, что я считаю для тебя наиболее подходящим занятием. Как дружно мы будем работать, начиная с будущего сезона!

¹ Чрезвычайный Пироговский съезд состоялся в Москве 4–8 апреля 1917 г. полностью поддержал Временное правительство и высказался за скорейший созыв Учредительного собрания.

² Циклинская Прасковья Васильевна (1859–1923) — видный бактериолог, ученица И.И. Мечникова (в Париже), с 1908 г. — заведующая кафедрой бактериологии Московских Высших женских курсов, сотрудница Института бактериологии им. Г.Н. Габричевского.

И[уфешти], 28 марта 1917 г.

Ты, Шуручка, почему-то решила, что Пасху мы проведём вместе, и в каждом письме упоминаешь об этом. Мне горько читать. Ведь я не могу никак, несмотря на всё моё горячее желание, выбраться... Ещё дисциплина в армии поддерживается, уезжать самовольно не приходится. Зато я всё крепче верю, что скоро мы вернёмся домой окончательно. До полной ликвидации осталось немного времени. Все признаки за это. Не знаю, как вам там кажется. Тут это убеждение крепнет.

Ты пишешь об «опубликовании в сегодняшней газете» воззвания к народам мира. <...> А в номере Р.В. от 16-го этого воззвания нет. Я его прочёл в К.М. Ты, вероятно, тоже в другой газете. Почему Р.В. замалчивает такой, несомненно, крупный политический акт? Почему такая нетерпимость? Это обидно. Неужели уже углубляется рознь?

Ты пишешь о шипящей на левых интеллигенции и недоумеваешь. А я это шипение всё-таки понимаю и готов поддерживать. Ну, скажи, пожалуйста, неужели сейчас подходящее время для двоевластия? Я понимаю Совет рабочих и солдатских депутатов как совещательный орган, даже как контрольный, наблюдающий за демократичностью правительства, хотя, по-моему, нынешний состав этого правительства выше подозрений. Но я решительно осуждаю разлад, который с.р.д. вносит в среду армии, стремление его руководить армией, подписывать ей свои приказы и т. д., вообще все административные и даже законодательные функции, которые он берёт на себя. Он действует в интересах партии и класса, а не в интересах всей нации. И это при всей нашей некультурности грозит нам развалом и анархией. Мы сидим на вулкане, но взрыв этого вулкана уж не сулит нам новых свобод...

Дальновидное правительство, казалось бы, обязано учесть все пагубные возможности и, не дожидаясь этого развала, должно выступить от себя с авторитетным предложением мира без аннексий. Тогда можно будет с развязанными руками заняться внутренними делами. Боюсь, что этой дальновидности не окажется. Боюсь, что нам суждено дожидаться краха...

И[уфешти], 29 марта 1917 г.

В своём письме ты затрагиваешь как раз вопрос о том, почему ты почти не пишешь о политических событиях. С твоей мотивировкой я могу согласиться только отчасти. Конечно, я не хочу, чтобы ты перестала писать об Иринке или хотя бы менее полно рассказывала о ней. Нет, этого я никак не хочу. <...> Но, Шуручка, из газет я не узнаю о твоём отношении к событиям, о том, как ты воспринимаешь отдельные факты, что приветствуешь и что порицаешь. Конечно, я знаю общее твоё отношение к совершающемуся. Но мне этого мало. Ведь процесс образования демократического государства не закончен, а только начинается. Нас ждут ещё великие, решающие судьбу России, события. У нас здесь кругозор ограниченный, и газеты к нам доходят всё прежние: Р.В., К.М. Мы здесь многое можем не уловить, пропустить. А между тем мы вчитываемся и вдумываемся в каждый факт, в каждую мелочь и делаем свои заключения. Нам и в этом отношении необходимо живое общение с вами. А насколько мало газеты, даже Р.В., могут иной раз отразить настоящее настроение общества,

мы ведь знаем... Недалеко ходить за примерами. Вот и сейчас, хотя бы по вопросу о войне и мире, чувствуется, что официальное настроение, как оно рисуется нашим прогрессивным газетам, не вполне согласуется с преобладающими в обществе течениями. Может быть, я ошибаюсь, но мне по некоторым признакам так кажется.

Ты говоришь, что нигде не бываешь. Но ведь сама ты писала о полосе го-стей. Какие вы вели разговоры? Что думают москвичи? Посещение митингов, конечно, не нужно. Они никогда не выражают истинного настроения. Атмосфера митинга — искусственная, созданная, нарочитая. В ней никогда не рождается истина. Бог с ними.

Вот ты говоришь, что Витя¹ рассказывал интересное. Почему ты хоть вкратце не намекнула на содержание? Нам так нетрудно проверить наши собственные наблюдения. Можем ли мы обобщать их или нет? Ты теперь можешь и должна писать свободно. Слишком глубоко меня сейчас захватывает всё происходящее, чтобы я мог примириться с отказом от обмена мыслями с тобою. Мне необходимо это общение, пойми, милая!

Вот ты вскользь упомянула, что, по-твоему, Керенский — герой. Не живёт, а горит. Я вполне, вполне с тобой согласен. Я его и раньше, до переворота, ставил всегда высоко. А в последнее время, особенно после его знаменитой речи в Думе 16-го февраля возлагал на него все свои надежды. Хотел я ещё тогда писать тебе о нём по этому поводу, но смолчал по цензурным соображениям. Теперь же и я его считаю прямо героем. Это ему удалось соединить несоединимое: буржуазное правительство с пролетариатом. Это он в те дни спас Россию от анархии. И на него я рассчитываю, на его горячее сердце и холодный трезвый ум, когда надеюсь, что, возможно будет избежать и вторично угрожающей нам анархии. Да, он не живёт, а горит. Как бы он не сгорел слишком рано... Ведь здоровье его слабое. Год тому назад он перенес гнойный плеврит. А он России так нужен! Какая удивительная энергия в этом человеке! Вот кому потомство в первую очередь воздвигнет памятник. Вот истинный герой нашей революции, наш пламенно-холодный Дантон! <...>

Наша революция только разворачивается и уходит вглубь. Этот процесс так захватывает, так волнует... Я являюсь свидетелем гигантских исторических событий. Я ясно ощущаю, что в муках рождается новая эпоха в истории, что на новых началах перестраивается не только жизнь отдельных народов, но и взаимоотношение их, весь строй мысли, мышления людей.

Многое ещё неясно, не dokonчено, недосказано. Многое только намечается в тумане. Многое в самом начале искажается. Но входит в сознание что-то новое, для большинства людей неуловимое ещё, бессознательное. То новое, что и составит новую, лучшую эпоху в исторической жизни людей. Это не просто очередная революция в России. Это начало крушения всего умственного строя современной нам (или прошедшей уже?) культуры, вернее, цивилизации, доведенной до абсурда этой бессмысленной войной, этим гигантским преступлением, грехом против Святого Духа!

¹ Приехавший с фронта младший брат Ал.Ив.]

И[уфешин], 30 марта 1917 г.

Ты пишешь о Екатерине Ивановне¹, о том, что она страшно интенсивно переживает последние события. А разве можно иначе, Шурочка? Я уже писал тебе, что мы здесь вчитываемся в каждую газетную строчку, стараясь угадать, что сулит нам будущее, и что происходит за кулисами. Ты говоришь, что она вполне терпимо относится к левым партиям и ничего хорошего не ждёт впереди. Едва ли она права.

Я очень считаюсь с возможностью предстоящих нам крупных потрясений, даже периода полной анархии, но причину угадываю не в левых партиях, отказавшихся от слишком острой принципиальной постановки вопросов, а в стихийной некультурности масс, не подчиняющихся никаким партийным лозунгам (ведь в партии у нас организовано ничтожное меньшинство населения). Стоит только этим массам почувствовать тяжёлый удар бронированного кулака, и вся их временная сплочённость и сознательность может полететь к чертям! Конечно, и левые партии совершают крупные ошибки. Они не свободны от обвинения в том, что вносят ненужное и даже вредное брожение в армию, способное её лишить сплочённости и стойкости. Это сейчас преступление перед отечеством, перед ближайшим будущим России, и я никогда этого не одобрю. Но, в общем, не будь войны, не будь этой угрозы разгрома извне, я убеждён, что правительство и рабочий класс столкнулись бы.

Мы всё-таки многому научились с 1905 года. Даже с.-ры [*эсеры*] поговаривают о своём слиянии с с.-деками [*социал-демократами*]! Разве это было возможно тогда?!

Но разгром на фронте способен дать нам повторение 1871 года во Франции. Этого вот я боюсь серьёзно. Эта опасность для меня очевидна. И я считаю обязанностью нашего правительства выступить с предложением мира на основаниях, которые высказаны в обращении «к народам мира» Совета рабочих депутатов. Такое выступление должно бы, по возможности, исходить от всех держав Согласия. И я надеюсь, хочу надеяться, что Милюков ведёт эти переговоры о новых основаниях будущего мира. Вот это моё мнение.

Левые партии сейчас, по-видимому, достаточно благоразумны и сдерживают массы. Последние известия несколько уменьшили мою тревогу в этом отношении. Боюсь же я удара с фронта... Будет ли тогда, сохранится ли устойчивость, единение?... Сергей Гаврилович и тут, конечно, более оптимист, чем я. Но ведь и я не утверждаю, что будет непременно скверно. Я считаю только необходимым принять в расчёт такую возможность. А Временное правительство обязано всё учитывать.

Нельзя только спрашивать: что хочется? Надо и спрашивать: что можется?

Обо всём этом можно писать и писать! Материала хватит. Всё же я думаю, что тебе из писем этих стало ясно и моё настроение, мои мысли и предположения. С Серг. Гавр. мы много беседуем, и я, милая, хотел бы очень, чтобы ты присутствовала.

¹ Иванова Екатерина Ивановна — врач Владимирской (в советское время: Русаковской) детской больницы, активная общественница, подруга Ал.Ив.

И[уфешти], 1 апреля 1917 г.

Вчера я не писал тебе, так как вернулся очень поздно, после 12-ти часов ночи. Связался я с Сергеем Михайловичем, поехал с ним вместе в бричке. Пришлось с ним же и возвращаться. Были в Р[угинешти], в интендантстве и казначействе. Получили деньги. А потом зашли там же в 29-й отряд, где и застряли.

Любопытный вчера был день. У нас происходили выборы в Совет офицерских и солдатских выборных (есть теперь у нас такие). Собралось около 60 человек офицеров, врачей и чиновников. Записками были предложены кандидаты. Оказалось, что большее число записок получили два поручика и Сергей Михайлович! Один из этих двух поручиков снял свою кандидатуру. Тогда стало ясно, что Серг.Мих. имел все шансы быть выбранным. Тут запротестовало наше начальство и кадровые офицеры штаба. Стали доказывать, что врачи и чиновники имеют право выбирать, но не имеют права быть избранными. Между тем ясно сказано, что они «принимают участие в выборах на равных с офицерами основаниях».

И что же? Страсти стали разгораться, а начальник штаба вдруг заявил, что, к сожалению, он считает выборы не состоявшимися, запросит по телеграфу штаб армии, а сейчас объявляет заседание закрытым! Получился форменный разгон Думы! Не понимают эти люди только одного, что если раньше Сергей Михайлович имел только шансы быть избранным, то теперь его избрание вполне обеспечено. Ведь всё же и у нас преобладают прогрессивные и демократические элементы. Кандидаты-поручики тоже из прапорщиков с университетскими значками. Кадровые и так не пройдут. Они считают для себя оскорбительным, что врач может явиться их представителем! Вот видишь, и у нас уже разгорается политическая борьба вокруг имени Сергея Михайловича! Я его вчера прозвал *enfant terrible de la notre garnison*¹. Он здесь для многих бельмо на глазу. Человек он прямой и независимый, не подлаживается, только немного резкий. Но в общественных делах это не недостаток, а наоборот.

Сегодня я тебе высылаю 305 рублей. После 20-го хочу выслать ещё 300 р. На переводах я написал, из каких сумм составляются эти деньги. Несколько дней тому назад я взял, наконец, у корпусного врача удостоверение на получение тобою в Москве денег — квартирных и на наём прислуги. Он в тот же день выслал это удостоверение в Москву, воинскому начальнику. После 20-го поезжай в Крутицкие казармы², узнай, в каком отделе выдают ассигновки жёнам, предъяви чиновнику свой паспорт и получи ассигновку на квартирные деньги за целый год с 1 мая. Это выйдет 664 рубля! Деньги получишь в казначействе, на Воздвиженке. Прости меня, что я не сразу уладил все эти денежные дела. <...>

Мы уже имеем 220 р. в месяц. И как хочешь, а немножко и скопим ещё. Всё это пустяк, не стоит себе настроение портить. Ты думаешь иной раз, что мне трудно не тратить и даже швырять деньги, а между тем если нужно, мне очень легко ограничить себя. Я за будущее наше спокоен. Оно хорошее, светлое.

¹ *enfant terrible de la notre garnison* (франц.) — бешовое дитя нашего гарнизона.

² В Крутицких казармах находилось Управление московского уездного воинского начальника.

И[уфешти], 3 апреля 1917 г.

Поздравляю вас, мои милые дорогие Шурочка и Ириночка, с праздником Весны!¹ В этом году он и в самом деле светлый и радостный праздник. Правда, не кончена ещё война, и ещё через много испытаний придётся пройти нам всем. Но уже ясно виден светлый конец. Видно, что восторжествуют не тёмные, чело-веконенавистнические силы с их захватными и насильническими стремлениями, чего мы так боялись за все эти тяжёлые годы, а восторжествует правда, справедливость, признание и уважение чужих прав. И если мы раньше были свидетелями глубоко отрицательного, охватившего все слои населения, массового шовинистического психоза, готового, казалось, отбросить на многие десятки лет все культурные завоевания, то теперь мы присутствуем тоже при массовом психозе, быть может, тоже недолговечном, но глубоко отрадном по своему направлению и внутреннему содержанию. С его помощью мы можем сделать огромный шаг вперёд. И все признаки за то, что этот шаг будет сделан.

Возврата нет. Пройдут дни высокого подъёма, начнётся трезвая и трудная работа. После нас вырастет поколение, лишённое того размаха, того пафоса, свидетелями которого явились мы. Это поколение будет жить в лучших условиях, чем жили мы, но более трезвых, рассудочных. Так вынесем же мы из наших бурных дней тот святой огонь гнева и любви, который будет светить нашим потомкам и согревать их живительным весенним теплом, как наложили шестидеся-тые годы свой отпечаток на плеяду «шестидесятников», делая их в мрачные годы реакции Александра III центром всего живого в стране, всех идеалистических стремлений...

Мои письма тебе запаздывают по своему содержанию. Ты получаешь их слишком поздно. События идут так быстро. Вот наше правительство выступило с так страстно ожидаемым мною воззванием, в котором торжественно отрекается от всех агрессивных намерений, от всей империалистической идеологии старого режима². С какой прямоотой оно сознаётся в тяжёлом положении страны! Где тот искусственный и лживый язык изжившей себя старой дипломатии?! Какой размах! Какая глубина и какая нравственная сила в этих простых словах! Разве я не прав, когда утверждаю, что начинается новая эпоха всемирной истории? Каким анахронизмом звучат сейчас жалкие слова жалкого доктринёра Милюкова! Почему он ещё в правительстве? Почему он не уходит?.. И как велик Керенский! Какая сила в его выступлении в Совете рабочих депутатов!

Шура, какие дивные времена мы переживаем! Разве мы не вправе праздновать нынешнюю Пасху, праздник Весны и Возрождения?!!

И[уфешти], 5 апреля 1917 г.

Расскажу тебе, как провёл эти дни. Встречались мы с Сергеем Гавриловичем с товарищами из лазарета, у них. Сергей Михайлович поехал в Д[раганешти?] в штаб, где на службе в церкви присутствовали и все сёстры 29-го отряда, после чего они все вместе там же в собрании и развеялись. У товарищей из лазарета

¹ Пасха — 2 апреля.

² Воззвание Временного правительства к гражданам России 27 марта о заключении мира без аннексий.

оказалось несколько приглашённых румынских офицеров. Беседа с ними велась на французском и немецком языках. Настроение быстро стало повышаться. Стали провозглашаться тосты, сыпались остроты. Наконец, под граммофон румыны исполнили несколько танцевальных номеров, а затем началось по очереди румынское и русское хоровое пение.

Топлива, необходимого для того, чтобы настроение не угасло, было достаточно. Румыны, в конце концов, накачались и ушли с рассветом. А мы просидели ещё до семи утра.

Тогда я пошёл к себе в команду, где поздравил с праздником своих людей и ещё больше получаса беседовал с ними на текущие темы. Ещё раз объяснил им значение всего совершающегося. Только к 8 часам утра попал в постель.

Проснулся и встал в 12-м часу дня. Был, конечно, порядочно разбит. А тут оба Сергея потащили меня с визитами. После обеда мы троём поехали сначала в г. А[джуд], в 59-й эпидемический отряд, а оттуда в Р[угинешти], в 29-й отряд. Они мне обещали, что вернутся к 8 вечера, однако засиделись до 12-и ночи. И в постель я попал опять только в 2 часа!

Оба отряда мы пригласили на второй праздник к себе. Они и приехали, частью уже днём. Сделали хорошую прогулку по тому берегу С[ерета], куда перешли через понтонный мост. Погода жаркая. Всюду сочная, ещё молодая зелень, цветут абрикосовые и вишнёвые деревья. Слышен вдаль рокот первого грома.

Вода в реке ещё весенняя, бурлит и кипит. Хорошо!

Вернулись уже в темноте. В моей большой палатке, которую поставили в саду, организовали ужин. Разошлись опять только во втором часу.

И[уфешти], 6 апреля 1917 г.

Ты опять нервничаешь, дорогая, опять мучишься... Тут и материальные заботы, отсутствие денег, квартиры, дороговизна всех предметов и продуктов, тут и нравственные терзания, заботы обо мне и Иринке, сомнения в своих силах. Тут, наконец, и физическое недомогание... Что я могу тебе ответить? Я знаю, что будь я с тобой, все эти терзания сократились бы до минимума. Деньги — вещь важная. Из-за них сокрушаться не стоит. Квартира — вопрос сложный, но не безнадежный. Ведь ещё никто на дачу не выезжал. Во всяком случае, отчаиваться рано. Дороговизна — это те же деньги. Ты говоришь, что впереди у нас ничего. А ведь это неправда — у меня будет 100 р. в месяц, приюты дают тебе 50, а клиника даст тебе ещё 80. Этого, конечно, ещё недостаточно, но это не ничто! Вдвоём нам всё это не страшно. И деньгами ты меня никак не запугаешь. Так и знай. <...>

Ты сейчас почти только женщина, жена, мать. Но я верю, я глубоко убеждён, что это только временно. Ведь соединяет же жена Сергея Гавриловича вполне и удачно обязанности матери, жены, врача и гражданки. Она сейчас принимает очень заметное участие в общественной жизни своего городка и успеваешь всё соединить... <...> В силу необходимости тебе приходится почти не отходить от Пузырки. Что же удивительного, что ты воспринимаешь каждый её бессознательный плач за острую боль, что ты невольно рассматриваешь её как маленького взрослого человека. Конечно, в твоём душевном горе главный виновник — наша разлука. Пора, пора ей окончиться. И если раньше приходилось утешать без

веры в действительность утешения, то теперь я твёрдо, глубоко убеждён в близости нашего окончательного соединения. Не можешь ты, несмотря на весь твой прирождённый скепсис, не верить в него!

П[уфешти], 7 апреля 1917 г.

Ни писем, ни газет. <...> Ты так убеждена была почему-то, что я на Пасху приеду, и тебя почему-то уверил какой-то артиллерист, что посылки в Румынию не доходят, что ты мне ничего не послала к праздникам. На твоей совести грех, милая. А я-то рассчитывал... Тут недавно из Харькова была получена посылка уже на 9-й день! Вот видишь.

Пришли что-нибудь. Не надо ничего дорогого, не надо и много сластей. Если вложишь немного постного сахара, орехов и леденцов без бумажки, то и достаточно. Сверх этого можешь вложить номера «Искры»¹ за все последние недели. Вообще удачные номера со снимками событий. Ведь мы тут ничего не получаем. Очень заинтересовала ты меня несколькими экземплярами «Вперёд»² и «Социал-демократ»³. Мы были бы тебе очень благодарны, если и впредь будешь нам высылать всё интересное. Может быть, даже подпишешься за нас на что-нибудь. Всякое подаяние есть благо, и мы ни от чего не откажемся.

Можно, кстати, подумать о какой-нибудь популярной литературе и для моих ребят. Я им сегодня выписываю «Политическую популярную библиотеку» изд. Маковского⁴. Публикацию прочёл в Р.В., но выходят, вероятно, и другие подходящие издания. Хотя мы надеемся, что недолго будем ещё воевать, всё же посидим здесь ещё несколько месяцев.

В твоём письме от 23-го первый отклик на мои рассуждения о текущих событиях. Прав я: страшно опаздывают мои письма. <...> С тех пор, конечно, многое изменилось, и тебе уже нелегко соглашаться с моими тогдашними опасениями. Ведь отказался от них и я. Так же, как и ты, всю надежду на скорое и разумное окончание войны я возлагаю на левые партии, на их последовательность и энергию. Так же, как и ты, я отношусь к выступлениям Милюкова, и удивляюсь, как это он до сих пор находится на таком ответственном посту. Так же, как, вероятно, и тебе, мне странно и смешно читать самовосхваления съезда кадетов⁵ и их восторженные панегирики всё тому же Милюкову, который за 11 лет существования партии «не сделал ни одной ошибки»! Так же, как, вероятно, и тебе, речь Родичева⁶ кажется

¹ «Искра» — меньшевистская газета.

² «Вперёд» — меньшевистская газета, с перерывами выходившая в Москве в марте 1917 — феврале 1919 г.

³ «Социал-демократ» — большевистская газета, выходившая в Москве с марта 1917 по март 1918 г. После переезда в Москву советского правительства слилась с газетой «Правда» — центральным органом ЦК РКП(б).

⁴ Общедоступная политическая библиотека. Под общей редакцией Я.Д. Маковского. М., 1917.

⁵ Седьмой съезд партии народной свободы (кадетов) проходил 25–28 марта в Петрограде.

⁶ Родичев Фёдор Измайлович (1854–1933) — один из основателей кадетской партии и за красноречие прозванный её «первым тенором», член Государственной думы всех четырёх созывов.

мне далеко не достаточно значительной и интересной, чтобы распространять её в миллионах экземпляров, и заявить, что автором её «гордится вся Россия». Так же, как и тебя, меня заинтересовала статья Жаботинского об американцах, и я её прочёл товарищам. Так же, как и ты, я почувствовал фальшивые нотки в послании Вильсона¹. Так же, как, вероятно, и тебя, меня сейчас далеко не удовлетворяют Р.В., неизменно стойкие только в годы общественной реакции...

Но не согласен я с тобой и сейчас в том, что угроза взятия Петрограда немцем — только страсти для запугивания малых детей. Это угроза вполне реальная, и осуществление её было бы тяжёлым ударом для России, хотя, конечно, не для её молодой свободы. С этой угрозой правительство обязано считаться. Какие я отсюда делаю выводы, я тебе уже писал. Мне кажется, что равнодействующая будет найдена.

П[уфешити], 9 апреля 1917 г.

Третьего дня я писал тебе про кадетский съезд, высказал своё впечатление и мнение. А сегодня ты чуть ли не в тех же выражениях говоришь о самовосхвалении кадетов и т. д. Слава Богу, Шурочка, мы друг друга ещё понимаем! Я, как и ты, за кадетов голоса своего не подам.

А посмотри, насколько выше уровня своей партии стоят члены правительства Шингарёв² и Некрасов³. Прочти их речи на съезде, особенно горячую вдохновенную речь Некрасова с призывом не бояться социальных реформ, не бояться незаконченной ещё революции! Учти всё громадное принципиальное значение воззвания правительства о целях войны, о котором ты почему-то упоминаешь только вскользь. И сравни его с широким размахом жалкий лепет Р.В. в статье на ту же тему, которую я прочёл сегодня. Сознательно Р.В. закрывают глаза на великий шаг, сделанный правительством, стараясь представить его как холодный душ на горячие головы демократического пролетариата, под давлением которого он ведь и вообще-то опубликован, и стремится использовать это воззвание всё для той же цели, того же лозунга: войны до конца!

Разве мы друг друга не понимаем, Шурочка? И только в одном вопросе, мне кажется, мы с тобой расходимся. Ты, по-моему, недооцениваешь опасности нового нашествия германцев. Шурочка, ведь дальнейший захват ими нашей коренной территории, прибрежной полосы с портовыми торговыми городами не может считаться безразличным для России, независимо от её государственного устройства. Такой исход не будет также благоприятствовать торжеству новых принципов в Германии и её иностранной политике, доказывая их нецелесообраз-

¹ В своём послании к Конгрессу Вудро Вильсон с пафосом заявил, что оставаться нейтральным невозможно, когда на карту поставлены мир всего мира и свобода народов.

² Шингарёв Андрей Иванович (1869—1918) — земский врач, кадет, член Государственной думы, министр земледелия во Временном правительстве.

³ Некрасов Николай Виссарионович (1879—1940) — кадет, блестящий инженер, министр путей сообщения во Временном правительстве, затем заместитель министра-председателя и министр финансов, генерал-губернатор Великого княжества Финляндского, при советской власти — член правления Центросоюза, был репрессирован и расстрелян.

ность. С этой опасностью нам, конечно, необходимо бороться во имя будущего России, забывая о личном своём горе. Но так как эта дальнейшая борьба для нас, по моему глубокому убеждению, сейчас непосильна, и угроза скоро может превратиться в действительность (неудача на Стоходе весьма показательна!¹), то нам необходимо поскорей найти выход. Наша обязанность, наш проклятый долг поскорей столкнуться с союзниками и покончить миром на возведённых уже основаниях.

Ещё это возможно. Потом, может быть, будет поздно. Это не будет лозунг «борьба до конца», это будет лозунг «борьба за скорый конец». Это нам диктуется простым холодным математическим расчётом. Хорошая ссора никак не может оказаться лучше плохого мира. Преступны перед Россией те люди, которые и сейчас ещё поддерживают воинственное настроение. Не ведают, что творят.

Я верю, что Керенский, Некрасов и другие представители Временного правительства в союзе с Советом рабочих депутатов найдут быстрый и достойный выход из тяжёлого положения.

Пуфешти, 12 апреля 1917 г.

Это письмо должен лично тебе передать Сергей Михайлович. Вот счастливый! Как мне хотелось бы быть на его месте... Я тебе ничего рассказывать не буду. Всё должен рассказать он сам. Я его очень уговаривал остановиться у нас в Москве, если он не найдёт ничего лучшего.

Он боится стеснить тебя. Я же думаю, что ты, наоборот, будешь очень рада, и сказал ему об этом. Если ты его убедишь в этом, то, я думаю, он сам останется доволен. Ты ему можешь отвести кабинет. Там ему никто не помешает. Вход в другие комнаты на это время можно открыть из кухни. Ведь ты согласна со мной?

Я его уговариваю остановиться в Петербурге у Карлушки. Он его тоже хорошо примет. Хочу, чтобы он и тебе, и ему рассказал бы много про нас и нашу жизнь. Он и умеет, и любит поговорить. Уж он вам расскажет!

Он должен нам, с другой стороны, принести много свежих известий и впечатлений из России, так что и вы ему рассказывайте о себе. Я знаю, что тебе будет очень интересно повидать Сергея Михайловича. Он у нас тут в центре нашей маленькой частной борьбы за реформы. Боже, если бы я мог поехать вместе с ним! Держи его, Шурочка, не дай ему поселиться в другом месте. Ему у нас будет покойнее и непринуждённее, чем у Тарасевича или у Сац². Третьего дня мы его выбрали делегатом, а сегодня он уже едет.

Наконец, реформы начинают касаться и нас, медицинского ведомства. Утверждается даже принцип выборных кандидатов для замещения вакантных должностей в санитарных отделах, корпусных и дивизионных врачей! А наш теперешний корпусной врач, Рокитянский, из дураков дурак, не понимает духа времени и продолжает действовать по-старому, писать бесчисленные нелепые циркуляры, предписания и т. д. Впрочем, обо всём тебе расскажет Щастный.

¹ 21–22 марта противником был уничтожен Червищенский плацдарм русских войск на левом, западном берегу реки Стохода (Вольнь).

² В письмах Ал.Ив. упоминала о мадам Сац, проживавшей где-то за Пресненской заставой.

Расскажет и о том, что теперь нашим высшим начальством назначен Кирьяков! Лекарь без чина вместо тайного советника! Как меняются времена! <...>

Шурочка, тебе сейчас трудно справиться одной со всем хозяйством. Придётся всё-таки поискать ещё вторую прислугу. Часто это только вначале кажется столь неприятным. Няней ты, конечно, сделаешь Дуняшу¹, а искать придётся кухарку. <...> Нет, Шурочка, не будь такой пессимисткой во всех своих личных делах. Бери пример с меня. А за Иринку не бойся. Физически она развивается, по фотографии, прекрасно. А об устойчивости её духа мы ещё позаботимся, сейчас рано. Предпосылки все имеются, чтобы ожидать самого лучшего. <...>

Почему мы здесь считаем опасность, угрожающую Питеру, вполне реальной, спроси у Сергея Михайловича. Настроение армии вовсе не такое воинственное (говорят, что в наступление ни за что не пойдут, будут только обороняться), как об этом пишут в газетах. Старый вопрос: «а что слышно насчёт замирения» — остаётся сейчас самым злободневным. А пополнение вливается в части с совсем расшатанной дисциплиной. А дальше будет хуже.

Конечно, сейчас нам дозарезу нужен мир. Но кажется несомненным, что без уступки Курляндии, не говоря уж про Литву, мы его сейчас получить не можем. А на это даже Временному правительству трудно решиться. Создаётся заколдованный круг, из которого действительно трудно выбраться. Необходимо согласованное выступление в пользу мира всех держав Согласия, чего добиться пока, по-видимому, ещё трудно. Германия от аннексий совсем не откажется, это ясно. Она создаст самостоятельную Польшу и Литву, а Курляндию желает забрать как провинцию с провинциальной автономией. Если ей удастся продвижение на Петербург, она потребует и весь Прибалтийский Край.

Пока Россия управлялась царским правительством, я не мог протестовать даже против такого решения, так как для Прибалтийского Края такой переход сулил бы прогресс и культурное развитие. Сейчас я считаю, что на такую уступку свободная Россия может решиться только в случае крайней необходимости. Но я предвижу эту крайнюю необходимость...

Как выйти из этого положения?..

От Карлушки я получил письма, в котором он мне пишет об «активном» участии, которое он принимал в Питерской революции, и о своих мыслях и суждениях по поводу событий. Он, впрочем, писал и тебе. Что для нас был 1905 год, то для него будет 1917-й — яркое воспоминание молодости, начало политической зрелости, источник чистого вдохновения для будущей практической деятельности. Я рад, что и он пережил такой момент.

И[уфешин], 13 апреля 1917 г.

Вот мы вчера и проводили Сергея Михайловича. Когда он будет у тебя, в Москве? Вероятно, не раньше числа 20-го, но, во всяком случае, не раньше, чем дойдёт это письмо. Остались мы одни с Серг. Гавр. Живём мы здесь хорошо, дружно. <...>

После праздничного перерыва снова получили К.М. Интересны сейчас газеты! Кругом всё кипит и бодрит. Ничего ещё нет оформленного, всё в движении,

¹ Девушка из Вичуги, прислуга.

видны все движущие пружины, всё открыто. Много ещё ребячески наивного, много ещё неосознанного. Но много и горячего порыва, вдохновения, творческой работы. Что будет, что будет? Получится ли в итоге действительно свободная и счастливая Россия? Так хочется поверить в это! Но всё же временами охватывает душу тревога...

Но мир всё ближе и ближе. Вести из Австрии и Германии все подтверждают такое предположение. Австрия устала до последней степени. Также и Турция. Им только необходимо было себя застраховать со стороны России. Наш отказ от завоеваний даёт им эту уверенность. Болгария достигла всего, что ей было нужно. Она теперь объединена в великую Болгарию. Им всем нет больше смысла воевать.

Остаётся Германия. Что ей нужно? Россия ей больше не опасна, но у неё отняты все колонии. Чтобы получить их обратно, она должна иметь что-то в обмен. Во Франции ничего больше захватить нельзя. Роковым образом обстоятельства снова толкают её в сторону России. Но и её положение сейчас до крайности тяжёлое: пошатнулся такой устойчивый до сих пор её Западный фронт. Англичане и французы достигают всё больших успехов. Продовольственный вопрос всё обостряется. Даже «гениально организованный голод» всё же остаётся голодом. Недовольство народных масс всё усиливается. Германия не может не пойти на уступки, она должна сама искать мира. Франция от Эльзаса фактически отказалась и охотно пойдёт на мир. Англия? Она, по-видимому, ещё не всего добилась. Ещё нет уверенности в полном овладении всей Месопотамией. Она ещё не ищет мира. Всё же она одна воевать не может.

Необходимо от миролюбивых слов, которые в последнее время всё чаще раздаются, перейти к делу. Необходима смелость взятия на себя инициативы. И я думаю, что русская демократия и выдвинутое ею правительство найдут в себе эту смелость. Они не побоятся широкого размаха. Я жду от них действий в ближайшем ещё будущем. Неужели я ошибусь на этот раз?

Как тебе нравится заявление польского Государственного совета?¹ Польские магнаты боятся русской демократии и стараются от неё отмежеваться. Они хотят конституционную монархию и опираются на Германию, первой провозгласившую польскую независимость. Крепко рассчитывают они и на Литву, вообще великую Польшу! Что будет, что будет?..

И[уфешти], 14 апреля 1917 г.

Оказывается, Карлушка написал тебе всего только открытку. Мне он написал длинное письмо. Принимал будто бы «активное» участие в революции: развозил оружие, раздавал его населению, участвовал в обстреле, как он выражается, «фараонов» и до сих пор состоит, конечно, в милиции. Одним словом, работал. Можешь себе представить нашего рассудительного и представитель-

¹ В Декларации 16 марта Временное правительство признало необходимость создания по окончании войны независимой Польши, находящейся в «свободном военном союзе» с Россией, на основании решения Учредительного собрания. 6 апреля польский Временный Государственный совет, созданный в декабре 1916 г., заявил, что территориальный вопрос должен решаться не Учредительным собранием, а совместно в Варшаве и Петрограде.

ного Карлушку в роли революционера?! Курьёз! Письмо его тоже очень рас-судительное. «Русский народ уж так создан, что впадает из одной крайности в другую»; «по-моему, следовало бы подождать и не спешить»; «ещё Россия не освободилась от грязи, а она уже принимается за туалет: завязывает себе галстук и делает себе пробор». Каково? Как тебе это нравится? Ведь, правда, смешняк?

Бойтся контрреволюции. Ссылается на пример Наполеона III¹. Сокрушённо вздыхает: «Бог знает, не доживёт ли Франция ещё и до четвёртой революции». По-видимому, он думает тут о реставрации. Как всё это молодо и наивно! И как вместе с тем характерно не только для него, но для представляемой им национальности... Рассудочность и рассудительность выше всего! Чувство под контролем разума, или его суррогата — рассудка!

Впрочем, он малый хороший. Мне его письмо понравилось, и я ему послал подробный ответ.

И[уфешти], 16 апреля 1917 г.

Вот пришли к нам в гости три сестры из 29-го отряда, зашли Василий Михайлович и ещё один офицер-студент (зовут его Женя, и он очень славный малый), и мы все пошли гулять на берег *[Серета]*. Смотрели, как наводили понтонный мост. Погода была ясная, тёплая, люди хорошие, молодые, весёлые... Вернулись голодные. А тут как раз на ужин утки, убитые утром Сергеем Гавриловичем. Весело поужинали, чайку попили. А потом сестрицы начали петь. Это те самые сестрицы, которые заходили к нам ещё в Ниве. Все москвички. Поют они славно. Послушали мы их с большим удовольствием. Счастливые люди, кто умеет петь, у кого есть хоть какой-нибудь голос... <...>

Вот так я тебе вчера и не писал совсем. Прости, милая. Зато я гостям показывал альбом с нашими семейными фотографиями, хвастался. Очень понравилась Иринка-Пузырка, где она снята крупно, кругленьким шариком. <...>

Я думаю, Шурочка, что ты должна сейчас же взять квартиру в 150 р. на Пятницкой, не задумываясь ни на минуту. Если ты найдёшь другую, более подходящую, то всегда успеешь передать. Любители найдутся. А так всё-таки гарантия, что к осени не останешься на улице. <...> В крайнем случае, сдадим 1—2 комнаты (а сколько в ней комнат?).

Почему Карлушка едет в Юрьев, я тоже не совсем понимаю. Вероятно, там легче попасть на медицинский факультет. Я ему напишу и постараюсь перетащить в Москву. Вот нам и жилец, который нас не стеснит. Всё это не так уж безнадёжно. <...>

Мне кажется, ты напрасно страдаешь за Пузырку, что она должна будет провести лето в пыльном городе. Для неё это пока не так существенно. Пускай себе посасывает. Сама же ты говоришь, что я остался бы доволен, если бы увидел, как хорошо она процветает, такая весёлая и живая. Вот уж скорей тебе необходима деревня, это так. Ну, подождём ещё годик. Понемногу и выберемся.

¹ Наполеон III Бонапарт (1808—1873) — племянник Наполеона I, первый президент Французской республики, в 1851 г. совершил переворот, установив авторитарный полицейский режим, и в следующем году провозгласил себя императором.

И[уфешти], 17 апреля 1917 г.

Получил ответную открытку от Кольки Гефтера, где и он меня поздравляет с новым строем. Говорит о прекрасном праздничном настроении в Москве. Прекрасное — это мы понимаем, но праздничное??? Неужели всё ещё люди празднуют? Неужели не понимают, что ещё совсем, совсем не время праздновать? Надо работать упорно, чтобы развязаться с войной. Сейчас все силы общества должны быть устремлены в этом направлении. Придёт время, и мы попразднуем, но не сейчас, когда миллионы людей в культурнейших странах стоят перед призраком смерти, когда всюду голод усиливается, а общая дезорганизация увеличивается... Нет, рано мы празднуем, слишком рано!.. <...>

«Киевская мысль» мне последнее время нравится гораздо больше Р.В. Статьи более независимые, свободные от мелких страхов. Шире взгляд, более демократичен дух. Нет этого преклонения перед всем Милюковским, кадетским. Нет и узости наших крайних левых. К.М. стоит на широком пути настоящей демократии.

И[уфешти], 20 апреля 1917 г.

Я тоже не писал тебе два дня. Тоже не мог... И сейчас начинаю письмо с тяжёлым чувством. Ты несправедлива, Шура, и я твоего письма не заслужил. Я постараюсь быть спокойным и ответить тебе спокойно. <...> Откуда такое непонимание? Как это всё оказывается возможным? Ведь, казалось бы, мы знаем друг друга так хорошо!.. Ты меня упрекаешь в том, что я тебя мало знаю. Пожалуй, ты права, так как я не ожидал, не допускал возможность такого ответа... Я думал, что это дела давно минувших дней.

Как мне ответить тебе? Нет у меня уверенности, что ты поймёшь меня просто, что ты не истолкуешь мои слова превратно... Я думаю, что виноваты не ты, не я, а виновато наше разъединение. Будь я сейчас с тобой, не было бы таких горьких минут непонимания... Это пройдёт совсем, когда мы будем вместе, а сейчас всё-таки и больно, и горько... <...>

Что тебя так задело? В моих письмах последнего периода слишком большое место отводится общегражданским мотивам: «ведь там только речи гражданина», — восклицаешь ты, — «они представляют ценный материал для архива, но для меня нет. Так как я и без них хорошо знала, что ты именно так думаешь». Для архива, но для меня нет? Я писал для архива!.. Как горько это читать.

И всё-таки ты, как оказывается, не «знала хорошо», что и как я думаю, так как и я «тоже заразился общим духом», боясь вторжения немцев вглубь России и призывая всех предупредить эту возможность «усиленной работой для победы» (твой кавычки, ты будто бы цитируешь меня), в то время как ты считаешь созыв мирной конференции лучшим и честным противодействием этому вторжению.

Я заразился общим (то есть шовинистическим) духом!.. Я, гордившийся тем, что никогда за эти три года войны ни ты, ни я не поддавались этому общему духу, что мы не запятнали, как все, знамени европейской культуры!.. Это чудовищно! И ты утверждаешь, что я где-то написал, что грозящую России опасность можно предупредить только «усиленной работой для победы!» Для победы! В которую я определённо перестал верить с третьего месяца войны, когда мы ещё стояли

в Карпатах и будто бы угрожали Вене! Где, когда, в каком письме я писал что-либо подобное? Ведь этого же не было!!.. И разве я не доказывал во всех своих письмах, что у нас имеется один достойный выход — скорейшее заключение мира на основаниях свободного самоопределения национальностей!? Что необходимо созвать мирную конференцию и начать переговоры!?! Разве я стою на другой точке зрения, чем ты? И неужели ты можешь отрицать, что если германцы пройдут вглубь России и отторгнут Прибалтийский Край, то дело мира на вышеуказанных основаниях потерпит крушение, а самый мир затянется!.. А неужели ты можешь отрицать такую возможность? Для меня она вполне реальна, почти неизбежна...

И разве я меньше, чем ты, возлагаю все свои надежды на наши левые партии, на их организованное авторитетное выступление, на возрождающийся Интернационал? И неужели я в самом деле «немного заразился общим духом»?..

И я писал для архива! Мой недоумённый вопрос, почему в твоих письмах не нахожу или, вернее, почти не нахожу отклика на современные события, ты истолковала как упрёк тебе. Я тебя упрекаю! <...> Неужели это можно вычитать из моих писем?

Разве иначе так уж непонятно моё недоумение? Ведь даже тогда ещё, когда благодаря цензуре мы не могли в своих письмах высказываться откровенно, ты любила указывать мне на заинтересовавшие тебя статьи, и тебя радовало, когда убеждалась, что и я их заметил, и что наше мнение совпадает. И как же мне не удивляться, что теперь, когда кругом так много нового, когда всё в движении и когда говорить можно открыто, ты молчишь... Ведь я же знаю, что ты не перестала интересоваться общественностью, что ты так же интенсивно переживаешь это время. И разве так уж незаконно моё недоумение?.. Но где же, в чём ты увидела упрёк??? Неужели вопрос есть упрёк? Неужели я заслужил такое толкование?.. Ты споришь со мной, доказываешь, что пока длится война, не может быть красоты и радости, нет свободных людей, а есть только прокажённые духом, одурманенные лозунгом. Но с кем ты споришь? Со мной? Но разве я с тобой не согласен?

Конечно, я назову «политическим бесчестьем» то же, что и ты...

Вот ты пишешь, что тебе сейчас больно и тяжело говорить, как гражданка, и это настоящий твой ответ на мой недоумённый вопрос. Конечно, я могу понять, что ты не находишь в себе ещё достаточно спокойствия, чтобы говорить о нарождающемся объективно. Я тебя знаю и понимаю. Этот ответ вполне исчерпывает мой вопрос. И разве я могу тебя упрекнуть за такое отношение? Разве я тебя упрекал?..

И неужели в моих письмах «только речи гражданина», для тебя ценности не представляющие? Неужели там нет отклика на то, что тебя ближе затрагивает, волнует — нет стремления к тебе, к Пузырке, к нашей семье и нашей работе?.. Неужели ты мне поставишь в упрёк то, что временами меня захватывает наш бурный новый век, что временами он заслоняет всё другое?

Когда я тебе пишу свои мысли по поводу событий, я их ещё не нахожу ни в одной газете. Они для меня новые, волнующие, ещё спорные. Но к тебе они доходят поздно, для тебя они уже нечто прошедшее, только материал для архива... Я с этим слишком мало считался, в этом моя вина.

Что вызвало твоё бурное письмо? В чём центр тяжести? <...> Ты оскорблена тем, что я якобы предъявляю к тебе слишком много требований: «сколько обязанностей на мне лежит: мать, жена, врач, хозяйка, гражданка... С честью я, кажется, несу только одну, ради неё отказываюсь от всего»... И в итоге: «пусть Иринка в данную минуту будет только гражданкой». Какие крайности! <...> И кончаешь своё письмо словами: «пусть Ириночка не выходит замуж; слишком много страдания доставляет замужество»...

Каково мне читать это? После всего светлого, чистого, что уже позади нас и ожидает нас впереди... Больно.

И[уфешти], 22 апреля 1917 г.

Я сегодня получил от тебя следующее письмо от 7-го и бандероль с новыми московскими газетами. Не думай, что мы здесь совсем не знакомы с организационной и политической работой левых, и судим о ней только по буржуазным газетам. «Киевская мысль» ведь тоже левая газета, хотя и внепартийная, но меньшевистской окраски. В частности, «Социал-демократа» московского я уже знал довольно хорошо — почти все раньше вышедшие номера были присланы разом одному из товарищей, у которого мы их и взяли. Другие газеты в отдельных экземплярах доходят иногда с возвращающимися из отпуска товарищами. Да наконец, я ведь из тех читателей, которые умеют читать между строками и не поддаются красивой фразеологии. О том, что Р.Вед. меня теперь совсем мало удовлетворяют, я тебе уже писал.

Впрочем, всё это не то... Милая Шурочка, я не без некоторых колебаний сдал на почту своё последнее письмо. Я знал, что многое в нём тебя огорчит, и что кой о чём надо было бы говорить мягче... <...> Я должен был тебе ответить, Шурочка, по существу. Если я при этом был недостаточно мягок, то прости меня. Пусть это небольшое временное непонимание послужит нам лишним уроком.

И[уфешти], 23 апреля 1917 г.

День твоих именин! <...> Год тому назад я этот день провёл у родных. А ещё через 6 дней мы официально закрепили наш союз... <...>

Днём ко мне заехал Женя (я тебе уже писал о нём). Мы с ним пошли на Серет гулять на горку. Упражнялись в стрельбе из нагана. Он стреляет хорошо. Недаром он столько лет работал в подполье, сидел в тюрьме и т. д. Хороший он человек, но глубоко несчастный. Теперь спивается. Пошёл на войну добровольно, чтобы быть убитым. Сидел 14 месяцев в окопах, участвовал во многих атаках, — и даже ни разу не был ранен... Я его очень полюбил. Удивительно мягкий, чистый, редкой души человек. Устал он. Пропадёт ни за что. Cherchez la femme...

И[уфешти], 24 апреля 1917 г.

Сегодня я получил твоё письмо от 8-го и письмо от Лени от 7 апреля. «Впрочем, трудно остаться спокойным, и я уверена, что ты ответишь мне сурово», — так пишешь ты. <...> Ты сейчас находишь естественным и понятным, что мне хотелось делиться с тобой своими взглядами. Но я сейчас не могу, Шурочка. Мысль скована, не работает. Нет вдохновения. Как-то невольно вспоминаются

слова об архиве, для которого я пишу... <...> Я пишу, а сам оглаживаюсь: не проговориться бы! Не написать бы чего ненужного, неинтересного для тебя... И получается что-то нудное, не то что неискреннее, но скомканное, скованное...<...> Это, вероятно, скоро пройдёт, и я опять смогу писать тебе обо всём, что меня задевает, волнует.

И[уфешти], 25 апреля 1917 г.

Пишу только несколько слов. Едем сейчас с Сергеем Гавриловичем в М[эрэшешти?], где посланные нами товарищи-депутаты доложат нам о совещании врачей при санитарном отделе армии. У нас теперь повсюду организуются Советы: при дивизионном враче, при корпусном враче, при санитарном отделе армии, при начальнике санитарной части фронта. Вместо отказавшегося Кирьякова начальником санчасти фронта назначен Дзевановский¹, бывший санитарным земским врачом Таврического земства, тоже лекарь без чина! Начинает, наконец, и у нас проводиться принцип коллегиальности. Сергея Михайловича, когда он вернётся, тоже ждёт высокое назначение. Вероятно, он будет нашим начальником санитарного отдела при армии!

Очень много говорят о замене врачей фронта врачами тыла с привлечением женщин-врачей. Но я думаю, что конец войны так близок, что нас эта замена уже не коснётся. У нас, смеясь, рассказывают, что, по слухам, из тыла уже выехали первые партии врачей на фронт — всего три человека, да и то в запломбированном вагоне под охраной милиционера, чтобы не сбежали. И будто они, высунув головы из окон, грустно поют: мы жертвами пали... Как, вероятно, беспокоятся сейчас Эгизы и Колли! Хотя, впрочем, они и здесь сумеют устроиться.

И[уфешти], 26 апреля 1917 г.

Ты спрашиваешь, соглашусь ли я, чтобы к нам в дом вошла заведующая приютом Швецова². Ну конечно, Шурочка. Ты ведь её знаешь, считаешь её не только любящей детей и умеющей с ними обращаться, но и хорошим симпатичным человеком. К тому же она свободно говорит по-немецки (правильно ли?), более или менее интеллигентна. Разве можно сравнивать с няней! Только слишком уж мала ещё Иринка. Согласится ли с ней возиться? Вот вопрос. Но для тебя, для твоей врачебной деятельности, такое разрешение вопроса лучшее, что только можно придумать. Мне кажется, что нам нужно горячо ухватиться за эту возможность. Деньги найдутся, это не так страшно. Этим меня не пугай. Хорошая нянька не намного дешевле. Нам в семье, если только ты не задумаешь бросить медицину (отчего Боже сохрани!), всё равно не обойтись без надёжного третьего человека. Поговори с ней, милая, и реши. Я тебя на это благословляю.

¹ Дзевановский Антон Андреевич, начальник санитарной части фронта, бывший заведующий санитарным отделом Таврического губернского земства.

² В дальнейшем Маргарита Альфредовна Швецова — не только преданная бонна Ирины, которая звала её «Моминькой», но и близкий человек семьи до самой смерти в 1942 г. в Москве.

И[уфешини], 27 апреля 1917 г.

Почты никакой. Это всегда скучно. Вот уже несколько дней, как нет и газет. Случайно в лазарете от приехавшего из России достали номер «Одесских новостей» от 23-го. События в Петрограде!..¹ Я всё-таки выскажусь, Шурочка, хотя бы и для архива. Не могу иначе. Не могу же я, в самом деле, писать о румынской погоде, когда в голове совсем другие мысли... Предупреждаю, что никаких статей ещё не читал, а знаком пока только с голыми фактами, и то только за два дня. Быть может, уже многое изменилось, и начинается неразбериха, общая кутерьма...

Почему Милюков не ушёл раньше сам? Ведь ясно, что со своей идеологией он не соответствует демократическому духу времени. Он весь ещё пережиток прежних дней, старых настроений. Конечно, роль одного человека не так уж велика, но всё же он является какой-то занозой, которая колется и даёт нагноение, пока её не удалишь. Его имя уже стало нарицательным. Ему, кроме кадетов, да и то не всех, давно уж никто не верит. Он помешался на Англии и для неё, кажется, готов на всё. Сильно подружился он с Бьюкененом²... Ясно, что, в конце концов, ему придётся столкнуться с настоящей демократией. В этом столкновении я всецело, всей душой на стороне исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов. Он оказался на высоте положения. Он произвёл организованное давление на Временное правительство и тотчас же выразил ему доверие, как только оно пошло на уступки, тем самым не допустив до анархии. Призрак диктатуры пролетариата нам не грозит. Правительство у нас остаётся внеклассовым, национальным, но бдительный контроль демократии не даст ему нечаянно свернуть на узкий классовый путь защиты чисто буржуазных интересов. Урок едва ли пройдёт даром. Может быть, кое-чему научатся и наши большевики. Поймут, что лозунг диктатуры пролетариата пользуется столь же малым сочувствием, как и лозунг диктатуры буржуазии.

Каким жалким, трусливым (перед союзниками, конечно) духом пропитана была нота Милюкова к союзникам!³ Как виляла неискренне, как выворачивалась! Какой суконный дипломатический язык самого скверного пошиба! Грянул небольшой гром, и сразу атмосфера стала чище, хотя и не очистилась ещё. Быть может, когда дойдёт до тебя это письмо, уже будут опубликованы подлинники наших договоров с союзниками. Быть может, мы уже скоро будем знать, ради чего продолжаем воевать. Вот тогда атмосфера очистится совсем. Тогда можно будет окончательно сдать в архив старый дипломатический язык и старые навыки. Пора же, наконец, понять, что русская революция создала новые ценности,

¹ 20 и 21 апреля в Петрограде прошли многотысячные демонстрации солдат Петроградского гарнизона и рабочих с требованием мира.

² Бьюкенен, Джордж Уильям (1854—1924) — посол Великобритании в России.

³ В Декларации 27 марта Временное правительство подтвердило свою приверженность союзническим обязательствам. В своей ноте союзникам 18 апреля министр иностранных дел П.Н. Милюков заявил, что Россия будет продолжать войну до победного конца. Нота Милюкова вызвала взрыв недовольства в стране и спровоцировала апрельский кризис, в результате которого последовала отставка Милюкова и смена Кабинета министров.

что надо же бросить старые лозунги. Я глубоко верю, что дело мира в надёжных руках, и он уже не за горами.

Остаётся только ещё преодолеть инертность английской и французской демократии. Германская, я думаю, не преминет сказать своё веское слово в решительный момент. Как будто бы её влияние уже сказывается — ведь вот уже весна в полном разгаре, а боевые действия на нашем фронте не только не начинаются, но даже совсем затихли. Идут вполне определённые слухи, что наши солдаты решили только обороняться, но ни в коем случае не наступать. Германцы их уверяют в том же, объясняя частичное наступление на Стоходе местными условиями. Говорят, что ежедневно германцы и австрийцы подвозят к нашим окопам тюки газет, где их и сваливают. Я вчера имел в руках два таких номера: «Неделя», издающаяся в Вене для наших пленных, и «Газета-Серет». Составлены они очень ловко, доступным языком. Много говорится о близком мире и налаживающейся дружбе между Россией и Германией. Даётся много сведений о ходе нашей революции. Цитируется немало выдержек из английских и французских газет, неодобрительно отзывающихся о наших внутренних делах. Вывод напрашивается сам собой.

Ружейной перестрелки у нас нет. Лётчики бросают бомбы только в ответ на наши налёты. Недавно целая рота была в гостях у немцев в Фокшанах. Их привезли потом всех до одного пьяных и свалили у окопов!

И[уфешти], 28 апреля 1917 г.

Сегодня у нас совещание врачей, подчинённых непосредственно корпусному врачу. Нас немного; хорошо, если соберётся человек десять. Выбираем Совет при корпусном враче, делегата в армейский совет и делегата на фронтовое совещание. Вообще, в последнее время приходится всё больше выбирать. Идёт организационная работа, немножко скучная, но необходимая.

29 апреля. Так вчера и не окончил письма. Начали съезжаться товарищи. А наше заседание затянулось до темноты, когда почта уже была отправлена. Сегодня я получил от тебя письмо, получил и письмо от матери. Ты опять приуныла, моя милая Шурочка. И Ириночка опять захворала. Как тебе помочь?! <...>

Мать пишет по-немецки, так же писала и Лени. Надо же воспользоваться свободой слова. Устала и мать. Говорит, что хотя, быть может, и близок конец войны, она перестала верить в него... И страшней войны для неё призрак братоубийственных междоусобий... На старые свои годы она уже не рассчитывает на мир, покой и счастливые дни. Да, Шурочка, мы устали, через меру устали... Отсюда и мнимое непонимание...

И[уфешти], 2 мая 1917 г.

Вчера не писал тебе <...>, потому что утром был в интендантстве и на почте (между прочим, отправил тебе очередные 175 р.), а потом принимал участие в первомайском митинге при нашем штабе. Было любопытно наблюдать первое пробуждение политической мысли в солдатской массе. Настроение, против ожидания, оказалось довольно воинственным. Масса, конечно, ещё инертна, и настроение создаётся отдельными ораторами. Сергей Гаврилович с грустью констатировал, что для того, чтобы воздействовать на массы, необходимо обладать

одним качеством — уменьем врать! Он пробовал выступить с речью, но сочувствия не встретил. Его не понимали... Он не умеет врать... Я, конечно, сразу потерял всякую охоту выступать.

Как бы то ни было, если первый наш митинг и доказал, что уровень сознательности ещё весьма низок, то всё же самый факт, что заговорили молчавшие, высоко отраден. Многие из умерших до 1917 года многое дали бы за то, чтобы хоть одним глазком взглянуть на эту возбуждённую радостную толпу солдат, собравшуюся под красными знамёнами.

Всё ещё нет от тебя писем. Скверно стали доходить и газеты. Ждём возвращения Сергея Михайловича. Какие известия он мне привезёт от тебя? <...>

Не сгущай краски. <...> Я знаю, что сейчас у тебя много затруднений, что очень тяжело справиться. Но, право, мне как-то даже немного смешно стало читать твою горькую жалобу, что хлеб у вас стал продаваться затхлый. Милая, мы здесь давно уже позабыли вкус не затхлого хлеба! Это было когда-то давно, давно. Но стоит ли об этом говорить? Не будем создавать себе лишних огорчений, их и так много. <...> Призываю тебя, Шурочка, как только могу убедительно: будь мужественна! Крепись ещё немного! Не поддавайся настроению.

И[уфешти], 3 мая 1917 г.

«Всему есть предел, и я в последнее время прямо невменяемый человек. Боюсь, что война меня сломит окончательно и унесёт с собой всё дорогое, красивое...». Так ты пишешь в своём последнем письме. <...> Откуда это угнетённое настроение перед самым концом нашей долгой разлуки? <...> Не могу допустить, чтобы житейские мелочи, как бы неприятны они ни были, произвели такое разрушение в твоей душе. <...>

Я вижу в твоих последних письмах глубокое разочарование в наших взаимоотношениях. Я вижу, с одной стороны, отсутствие у тебя веры в себя, в способность свою увлечь меня своими интересами, своими переживаниями, с другой стороны — глубокую обиду за то, что я, по-видимому, не понимаю всей глубины твоих страданий и переживаний, что я остаюсь чужд, не понимаю всей невозможности для тебя сейчас интересоваться общественностью, что я предъявляю к тебе невыполнимые требования (вот и сегодня: «прости, милый, я опять не могу говорить о политике»...). <...>

Я глубоко, я свято верю, что наша общая жизнь будет красивая, светлая, единая. Не хочу я другой жизни. Всем, что есть у нас дорогого, призываю тебя: брось свой анализ! Больше веры в себя, в меня, в нашу будущность! Выше голову! Не дай сломить себя!..

И[уфешти], 5 мая 1917 г.

Сегодня первые именины нашей Иринушки. Какое бурное время! Как мало располагает к празднованию тихих семейных праздников. <...>

Сильно надеюсь, что приезд Серг.Мих. отвлечёт тебя немного от твоих мрачных дум. Он задержался. Третьего дня он из Одессы прислал телеграмму, просил полномочий выступить нашим делегатом на фронтовом врачебном съезде. Вчера мы собрались и дали ему эти полномочия. Съезд состоится 7-го. Продолжится, вероятно, дней пять. Ожидаем его не раньше 13—14-го. Тогда исполнится месяц

со дня его отъезда. Мы засчитали ему этот месяц как отпуск. Кроме него, в отпуску три наших товарища. Отпусками заведем мы сами. Моя очередь наступит уже в конце июля, через два с половиной месяца! Придётся, вероятно, всё-таки ещё до демобилизации приехать в Москву.

Составляются нами и списки для смены тыловыми врачами, да их что-то ещё не видно. Я думаю, что до этого момента нам здесь не дожить. Раньше дома будем.

Подписались на московскую «Власть народа»¹. Думаю, что эта газета заменит мне отставшие от жизни «Русские ведомости».

Сижу над канцелярией и проклинаю её.

И[уфешти], 6 мая 1917 г.

Не думай, Шуручка, что все твои заботы мне здесь кажутся пустячными. <...> Меня тоже очень огорчает, что Дуняша уходит. Это для нас большая потеря. Быть может, ещё как-нибудь этот вопрос наладится? Если нет, придётся искать с рекомендациями.

Это очень неприятно, но это ещё не несчастье. Квартирный вопрос меня не менее твоего озабочивает. С комнатой или хотя бы с двумя комнатами нам мириться нельзя, Шуручка. Не забывай, что самое позднее осенью я опять буду с тобой. Нам необходима квартира, какая ни на есть. Меня вот только удивляет, почему ты мне сообщаем о наклёвывающихся квартирах и ничего не пишешь о том, почему этого ничего не выходит. Квартиру на Пятницкой в 150 р. я снял бы, не задумываясь. Почему ты задумалась? Разве лучше жить в комнатах у чужой хозяйки, чем самому быть хозяином и сдавать 1—2 комнаты? Я тут не совсем всё понимаю. <...> Я не считаю твои затруднения пустячными, но мне кажется, что решаться на что-либо определённое надо быстрее. <...> Чтобы покончить с хозяйственными вопросами, прошу тебя известить меня, заехала ли ты в Крутицкие казармы, и в каком положении вопрос о квартирных деньгах. Кстати напиши мне, какие мои переводы ты получила. <...> Мой должник здесь вернул ещё 100 рублей. Я тебе их ещё не высылаю. Быть может, мне придется, в конце концов, опять нанять кого-нибудь для приведения в порядок канцелярии. На всякий случай придерживаю их для экстренного расхода. Других расходов у меня здесь нет почти никаких, если не считать стол в лазарете, который обошёлся на Пасхальный месяц в 58 р., а обычно рублей в 30, не больше. Жду с нетерпением возвращения Серг.Мих-ча. Что он мне расскажет о тебе, об Иринке?

И[уфешти], 8 мая 1917 г.

Вчера я тебе не писал, так как до обеда по поручению корпусного врача ездил в интендантство, а сейчас же после обеда участвовал в санитарной комиссии. Так без меня и уехали на почту. После обхода комиссии я с товарищами пил у себя чай. А в 7 часов, когда они уже стали расходиться, является неожиданно приехавший из Одессы денщик Сергея Михайловича. Привёз он мне твоё письмо и посылочку. А нам обоим с Сергеем Гавриловичем письмо от Щастного и массу

¹ «Власть народа» — «демократическая и социалистическая газета», оппозиционная большевикам, изд. в Москве Е.Д. Кусковой.

всевозможных газет. Как приятно получать здесь на фронте вещественные знаки внимания с родины! Ей-богу, Шурочка, ты не должна задумываться, имеешь ли ты право высылать мне хотя бы конфеты... Я охотно даю это полное право.

Сергей Михайлович в своём письме пишет, что Эммочка [*сестра милосердия, приехавшая в Москву с фронта*] моё письмо тебе доставила слишком поздно, и ты не могла выполнить заказов. Не беда, ещё приятней ждать второй посылки дошла бы только. Спасибо за брошюрки. Я их тотчас же пожертвовал моим ребятам. Кроме того, Сергей Михайлович тоже прислал брошюрки. Занимается политическим образованием своих земляков. Серая они масса! Ничего почти не понимают. Необходимо всё им растолковывать, пережёвывать. Есть и такие, которых не заинтересуешь ничем. Хотят домой, да и только. Борьба с темной масс самая тяжёлая и ответственная. <...>

Про Иринку Серг.Мих. пишет так: «С удовольствием два вечера провёл у Ал.Ив.; видел дочку — великолепно и умна не меньше папаши. Сосёт кулак, смеётся и «трубит» на всю комнату (я говорю А.И., что это в мою честь)». Ай да Иринка! Осрамила нас перед публикой! Жду с нетерпением очередных снимков с Иринки.

И[уфешти], 9 мая 1917 г.

Мы с Гаврилычем читаем ворох всевозможных газет. Любопытно разбираться в оттенках направлений. Понравилась и мне «Новая жизнь». Тон газеты серьёзный, вдумчивый, далёкий от выкриков истерической, ничему не научившейся с 1905 года «Правды». Эта «Правда» будет почище «Социал-демократа», которого я просматриваю с интересом. Он прямолинейный и грубоватый, наивный. К сожалению, эта грубоватая прямолинейность импонирует некультурной массе больше всего. Очень хочется поскорей получить выписанную нами московскую «Власть народа». Тогда прощай «Русские ведомости»! Выдохлись вы! Старость ваша подошла, не понимаете вы новой молодой жизни!

Да, Шурочка, честь и хвала нашим социалистам, борющимся упорно за восстановление всеобщего мира, несмотря на почти полную изолированность свою в этом вопросе. Что же касается англичан, то английские социалисты, которых, правда, не много, с начала войны относились к ней отрицательно и борются с ней ожесточённо. Английская же Рабочая партия никогда не была по существу социалистической. Она узкая представительница чисто профессиональных интересов и заражена чисто английским духом — упорным и деятельным эгоизмом. Да, свободу они любят, но только для себя. До других им дела нет. Не ищи у них идеалистического порыва. Это сухие практики, совершенно чуждые по духу русским, хотя Милюков и нашёл большое сходство в национальных характерах.

Со вздохом облегчения мы здесь узнали об образовании коалиционного министерства¹. Давно пора! Сделан большой шаг в сторону от анархии и ближе к миру. Нет больше доктринёра Милюкова и сеющего панику Гучкова². Молодец

¹ 5 апреля было сформировано коалиционное Временное правительство с участием социалистов. П.Н. Милюков и А.И. Гучков ушли в отставку.

² Гучков, проводивший на посту военного и морского министра реформу армии, неоднократно предупреждал об анархии и разложении армии.

Керенский, в первом же своём приказе заявивший, что отставок начальствующих лиц не принимает. Так и надо. Нечего распространять панику и кричать: Россия на краю гибели. Надо вносить разумную организацию в стихию. В этом весь секрет удачи революции. Но для этого необходима упорная работа, а не малодушие.

Ты замечаешь, Шурочка, как доктринёрские лозунги в социалистических партиях мало выдвигаются по сравнению с 1905 годом (кроме большевиков), а с вступлением социалистов в правительство ещё более отодвигаются на задний план. Как это хорошо! Ведь мы понемногу делаемся взрослыми и выходим из пелёнок. Пора!

А у нас тут советы и комитеты!.. Понемногу публика привыкает к новым порядкам.

И[уфешти], 11 мая 1917 г.

Я серьёзно занялся канцелярией. Вошёл-таки в соглашение с делопроизводителем соседнего лазарета. Он пришёл и вчера за несколько часов сделал столько, сколько мне не сделать бы при усидчивой работе и в две недели. Теперь дело пойдёт на лад. Я едва успеваю подбирать ему необходимые материалы. Но как это скучно, Шурочка!.. Главное, что лишает охоты заняться чем бы то ни было другим. Постоянно над душой эта канцелярия. <...>

Получил открытку от Раф.Мих. Левитского. С трудом разбираю его крючки, хотя и не все. Во всяком случае, понял, что он уже не в госпитале, а как он выражается, «старшим писарем» у хирурга VII армии, в канцелярии санитарного отдела. Тоже весёлое занятие. Николай Покровский переведен в полк. Аптекарь Мкртич Саркисович остался там до сих пор. Рафаил просит передать тебе самый низкий поклон, что сим и исполняю. Надеется встретиться с нами после войны в Москве.

Знаешь, Шурочка, сегодня Сергей Гаврилович получил телеграмму от жены, что она выехала к нему из Лебедина¹. Он давно уже выслал ей пропуск, но казалось уже, что ей не удастся выехать в скором времени. Она так завалена организационной работой у себя в Лебедине, являясь вдохновительницей различных новых организаций. Посмотрим, какую свежую струю она внесёт в наше общество. Я рад буду с ней познакомиться поближе. В Ровно я её мельком видел только два раза, но она мне очень понравилась. Счастливый Сергей Гаврилович! Мне вот приходится опять ждать отпуска или окончания войны, чтобы встретиться с тобой... Всё ждём и ждём. Всё ещё у нас в будущем...

Все с одинаковым интересом следим за событиями в России. Особенно довольны военным министром Керенским.

И[уфешти], 13 мая 1917 г.

Ты теперь очень мрачно глядишь в будущее, и так же смотрит Вилли. В первые дни революции я всё видел сквозь розовые очки, но тогда ты со мной не соглашалась. Теперь наоборот, я не считаю возможным ударяться в чрезмерный пессимизм. Он, по-моему, тоже не совсем оправдывается обстоятель-

¹ Лебедин — уездный город Харьковской губернии.

ствами. Был, правда, момент, когда я сильно боялся за будущее — это тогда, когда казалось, что коалиционное правительство не будет осуществлено. Это опасение оказалось напрасным. Тревога, конечно, остаётся — слишком взбаламучено море русской жизни, но отчаянию не должно быть места. Среди социалистов большинство оказалось государственно мыслящими людьми. Есть среди них крупные таланты: Керенский, Церетели¹. Процесс организации страны делает большие успехи. Фронт наш не поколеблен, и колебания не предвидятся в близком будущем, ибо германцев почти не осталось (сравнительно, конечно). Даже кадеты оказались достаточно здравомыслящими (Некрасов, Шингарёв). В армии тоже значительно трезвей рассуждают, чем прежде, хотя я в наступательную её способность продолжаю не верить. Всё это говорит за то, что анархии, которая уже объявилась, будет положен предел. Мир, я не сомневаюсь, несмотря ни на что, уже не за горами. Ведь психологически война изжила себя, а это главное. Продовольственная разруха по некоторым признакам уже достигла крайних пределов, и в будущем, как кажется, можно ожидать значительного улучшения продовольственного дела. Конечно, я не закрываю глаза на противоположные факты, вроде Мценских беспорядков, аграрных волнений, увеличения числа грабежей и разбоев, дезорганизаторских шагов некоторых крайних партий, голода в городах и т. д. и т. д. Но это всё, при несомненной серьёзности, не должно вселять в нас панику, которой поддался Гучков.

Прав Керенский: никаких отставок — это бегство от ответственности. Мы должны удвоить, утроить организационную работу, сплотить всю страну в мощные союзы, проводить прямолинейную демократическую политику, без экивоков в сторону союзников, — и успех будет наш.

Великий сдвиг совершился. Пускай в панике, в ужасе перед величием задачи пасуют «Русские ведомости» и иже с ними. Маловверные они! Не надо бояться ошибок. Не надо из-за них не видеть большой положительной работы. Великие идеи всегда, в конце концов, побеждают.

И[уфешти], 14 мая 1917 г.

Иринка растёт, и рост этот хорошо заметен на снимках. <...> Мы сумеем ей дать много, больше, чем многие интеллигентные родители. Мы ей создадим здоровую духом, сплочённую семью. <...>

Сегодня должна была приехать жена Сергея Гаврилыча, но почему-то её ещё нет. Мы с Гаврилычем сегодня купались в Серете. Течение такое быстрое, что невозможно плавать, невозможно даже удержаться, стоя по пояс в воде. Но вода дивная, около 18°.

Вообще дни пошли жаркие, летние. По утрам, как водится, гудение пропеллеров и разрывы шрапнелей. Однако конфет нам не бросают. К концерту этому мы все слишком уж привыкли.

¹ Церетели Иракий Георгиевич (1881—1959) — видный меньшевик, член Исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, министр почт и телеграфов во втором составе Временного правительства, сторонник «революционного оборончества».

И[уфешти], 16 мая 1917 г.

Не знаю, ни как тебе отвечать, ни что ответить!¹... Чувствую только, что навалился на меня тяжёлый камень и давит, давит... Хожу я как в тумане, плохо соображаю. И устал я тоже как-то сразу, даже физически. И чувствую, как ко мне опять возвращается та тупость ощущений, которая мною овладела было в декабре и в начале января... Повторится ли только так же и очищающий поток слёз? Не знаю. Впрочем, это всё равно.

Я, оказывается, верно почувствовал: ты стала меня ненавидеть. Вероятно, так и надо, и есть за что. Почём я знаю. А так как я, кажется, всё тот же, то, по-видимому, ты раньше во мне кой-чего не замечала. <...>

Я не понимаю; да, не понимаю. И мне совестно в этом сознаться. Я не понимаю, почему ты меня начала ненавидеть... Я понимаю всё остальное. Понимаю твою нестерпимую боль, твоё ожидание, все твои муки, но не понимаю этой ненависти и знаю, что это непонимание грозит мне ещё большим презрением с твоей стороны. Ещё больше ты убедишься в моей нечуткости.

Откуда эта ненависть? Зачем, за что?

Вот приехавший сегодня Сергей Михайлович рассказывает, что его поразили при прощании сказанные тобою слова: «Все, все вы, мужчины, эгоисты, и связывать себя с вами не стоит!».

Снова ставлю вопрос: какой процесс разрушения происходит в тебе? Ведь ты уже дошла до той последней черты, о которой я писал в том своём письме, которое ты не получила. Тебе почудились в нём суровые слова и упрёки по твоему адресу, а оно было полно только горького недоумения. Я заставил себя считать твои письма только плодом временного подавленного настроения, хоть я чувствовал инстинктивно, что в тебе происходит более глубокий процесс, несравнимый с прежними вспышками отчаяния. Процесс этот в основе своей мне непонятен. Я чувствую только, что становлюсь тебе всё более и более чужим. Мои слова до тебя не доходят, а если доходят, то в извращённом виде. <...> Тебе нужна ласка, тепло... В моих письмах ты её не чувствуешь... Утерян общий язык. Мне кажется до невероятности диким писать это, но, по-видимому, это так. Почему? Не знаю. Ты не видишь отца нашей Иринки, не находишь своего мужа; ты видишь только гражданина..., и гражданина, который осыпает тебя упрёками и суровыми словами, пишет такие жестокие письма, что сам же не выдерживает и с волнением отдаёт их на почту...

Да, с волнением, Шурочка, так как я горестном волнении звал тебя: куда тебя доводит твой губительный анализ? До какой последней черты ты приближаешься? Опомнись! Во имя прошедших чудных мгновений, так много сулящих нам в будущем, во имя нашей Иринки, Шурочка, оставь свой анализ! Он разрушает, он не создаёт... Как же мне можно было не волноваться?..

Я не могу оправдываться, ведь ты всё равно меня поймёшь превратно. Ты утратила доверие. Ты ненавидишь меня порою. Я не могу говорить тебе тёплых слов участия, ласки, — ты моей помощи не примешь. И я молчу, не могу говорить... Я так глубоко всегда верил в вашу семью, в её будущность; впервые я колебался в своей вере. Не знаю, как ты меня встретишь по возвращении...

¹ См. письмо Ал.Ив. от

У меня в груди сейчас какая-то пустота. Даже плакать не хочется. Состояние такое, как будто стоишь у разбитого корыта. Выхода я не знаю больше, ибо не могу учитывать всего — ведь я тебя не понимаю, а мои слова до тебя не доходят. Где же выход? Ничего не знаю. Да мне сейчас и всё равно. Я устал бороться за своё счастье.

И[уфешин], 19 мая 1917 г.

Как тяжело мне писать тебе, Шура! Вот я получил следующее твоё письмо от 6-го мая. Я не нахожу в нём моей прежней Шурки. Это какой-то совсем другой, почти чужой человек... <...>

Ты мне пишешь просто, что тебе мне ответить нечего, что ты можешь писать только о том, что так или иначе касается Иринки. И ты просто перечисляешь всё то тяжёлое, с чем тебе приходится сталкиваться, вплоть до возможности быть ограбленной в своей квартире.

Это есть простое перечисление, это не желание со мной поделиться и обща найти выход. Прости меня, Шура, но даже и сейчас тот глубокий тяжёлый кризис, который переживают наши отношения, волнует меня больше, чем возможность ограбления нашей квартиры. Что мне, в конце концов, личная твоя безопасность, недостаток или даже отсутствие мяса и хлеба, квартиры и прислуги, трудность найти бонну и т. д. по сравнению с крушением самого основного — мечты о сплочённой, единой, цельной семье!.. Разве я могу тут сравнивать! Пойми же ты меня! И разве Иринка не плоть от плоти нашей, разве ты можешь думать, заботиться о ней, о её процветании и отделить эти думы и заботы от мысли о нашей семье, нашей общей жизни? Ведь мы же неразделимы, неразделимы! <...>

Разве я могу отрицать всю тяжесть внешних условий? Конечно, нет. Ведь мы тут тоже голодаем: хлеб затхлый, едим не каждый день протухлую солонину и полусгнившую рыбу. Нет даже картошки. Цинга принимает ужасающие размеры, прямо косит. Я всё это знаю не хуже тебя и страдаю за вас. Но это всё в другой плоскости, сравнительно несущественно перед основным. Неужели ты меня тоже не понимаешь? Ведь пойми, что разрушается почему-то, я не знаю, не понимаю почему, наша семья! Что мне тут мясо и хлеб!.. Я мучительно ищу причину. И чувствую только во всех твоих письмах по отношению к себе в лучших случаях непонимание и недоверие, в худших — презрение и даже глухую ненависть: все вы, мужчины, эгоисты!.. Почему? За что? За то, что я писал «гражданские» письма? Будь они прокляты, если это они восстановили тебя против меня. <...>

Что квартира! Нет её в Москве, голодно в Москве, так брось Москву! Поезжай в Вичугу к Оле¹. Там будет и квартира, и хлеб, и мясо. Если это нужно, мы так и поступим. Разве квартира важнее, чем цельность нашей семьи? Разве мы пропадём оттого, что ты не будешь летом работать в Морозовке? Времена исключительные, и решать приходится исключительно. Нет положения, из которого не было бы выхода.

¹ Село Вичуга Кинешемского уезда Костромской губ. — родина Александры Ивановны. Ольга — её сестра.

И[уфесити], 21 мая 1917 г.

Моя Шурочка. Я вчера получил твоё письмо от 7 мая. Моя дорогая Шурочка. Как бы нам это сделать, чтобы не было между нами дней непонимания, дней горечи и обиды? <...> Не обращаем ли мы слишком большое внимание на мелочи, забывая о главном, основном?..

И[уфесити], 22 мая 1917 г.

Шурочка, как необходимо нам повидаться! Ведь все эти «недоразумения» и «непонимания» не просуществовали бы и сутки! Разве не так? И как это только начинается? А потом не выпутаешься.

Как это странно: раньше не было Ириночки, не было этой надёжной, крепкой спайки, и всё же раньше эти «недоразумения» не были столь глубоки, как в этот раз. Ох, эти три года войны! Как я ненавижу её! <...> Шура, крепись, возьми себя в руки. Ведь мир так близок! Неужели не дотерпим? Неужели с Иринкой стало тяжелей терпеть? Не поддадимся, милая. И не будем разрушать нашей веры друг в друга.

И[уфесити], 23 мая 1917 г.

Часто мне сейчас вспоминается июнь прошлого года. Тогда ты была у меня. Сейчас у Сергея Гавриловича его жена, Людмила Львовна¹. Она тоже приехала под флагом Земского союза, и её тоже запрягли по-настоящему в 29-й отряд, на место уехавшей в отпуск Софочки. Но, вероятно, она оттуда сбежит через несколько дней. Пока же ей там приходится очень тяжело. Много тяжёлых больных, исключительно экзантематиков. Так она не отдохнёт. Показывал я ей наш семейный альбомчик. Ей особенно понравился снимок Иринки от 15 февраля, где она тянется к свету. Несмотря на то, что Л.Л. здесь уже с неделю, мы здесь ещё ни разу не устраивали таких общих вечеров, как бывало в июне с тобой. А человек она любопытный, хотя по натуре и мало похожий на Сергея Гавриловича.

Сергей Михайлович, в общем, мало рассказал нам о своей поездке. Он тоже, как почти все, поддался панике и видит всё в самых мрачных красках. Грешешь в этом и ты. Как вначале ты, по-моему, недооценивала опасности, так сейчас её переоцениваешь. Видишь только отрицательное, которого, конечно, много, и не замечаешь созидательного творческого труда. Впрочем, города, по-видимому, вообще дают более мрачную картину.

Вот Л.Л. из своего уезда сообщает почти только о хорошем, радующем. Не так страшен чёрт, как его малюют. А перепуганный обыватель, которому уподобились и кадеты, и «Русские ведомости», очень старается в этом отношении.

Нет, я не принадлежу к растерявшимся перед великой задачей. Я не боюсь взбунтовавшихся рабов, я верю в силу и организованность сознательных свободных граждан; правда, не масс, а только единиц, но бывают моменты в истории, когда воля единиц, чистота стремлений их и идейность их порывов направляют ход её, увлекают массы...

¹ Матвеева Людмила Львовна — врач ВЗС.

Нельзя ли как-нибудь привлечь в нашу семью Маргариту Альфредовну¹? Хотя бы и за 50 рублей в месяц. Быть может, она пойдёт? Нам ведь так необходим интеллигентный (более или менее) человек, на которого вполне можно положиться, который от нас уже не уходил бы. Если ты сейчас возьмёшь русскую, то это тоже ведь не надолго — ведь хотим же мы научить свою Иринку немецкому языку. Хорошо бы сразу найти человека, во всех отношениях подходящего.

Ты теперь опять работаешь в Морозовке. Ну как? А сколько там платят за замещение?

Здесь ходят упорные слухи, что в ближайшем будущем нам всем сократят жалование. Где справедливость? Это нам-то, просидевшим три года на фронте! Не хочу верить. Получила ли ты квартирные? Поцелуй мою Ириночку.

И[уфешти], 24 мая 1917 г.

Как странно. Вот ты опять пишешь прежним милым, таким близким и понятным тоном. <...>

Вернулась Ек.Конст. с Урала ещё 30 апреля, пробыв дома всего только две недели, а месяц — в пути. Устала она страшно. Дома у себя увидела одно только горе и отчаянье. Здесь в П[уфешти] она устроилась при полевой хлебопекарне. Заняла хорошенькую чистенькую хатку. Больных много, работы достаточно. Видимся мы с ней почти каждый день. Она стала много спокойней. Как и раньше, она за всяким советом обращается ко мне, без меня ничего не решает, не предпринимает. Я для неё продолжаю оставаться авторитетом и единственной действительной поддержкой. Я к ней отношусь так же тепло и хорошо, как и раньше. Нет уже той напряжённой атмосферы, того подавленного настроения, когда мы зимой «драпали» по Румынии и когда невольно искали и находили поддержку друг в друге. За то, что она наполнила известным содержанием те тяжёлые и грустные дни, за это я всегда сохраню в своей памяти хорошее к ней чувство. Она мне стала и близкой, и дорогой; конечно, и впредь уже не станет далёкой. В настоящий момент я являюсь только дающей стороной. Ведь духовный её мир не столь уж богат и в обычных условиях не может мне дать многого. Но я ведь и не предъявляю требований невыполнимых...

Ну, как, моя Шурочка, достаточно ли ясно я ответил тебе? Разве я когда-нибудь от тебя что-нибудь скрываю, утаиваю? Конечно, нет. Немножечко побольше доверия, моя Шурочка... Привет Пузырке.

И[уфешти], 26 мая 1917 г.

А у нас время заполняется всякими заседаниями и комиссиями. Ну и некультурная же публика наши господа фронтовые врачи! Или, может быть, были культурными, да одичали здесь. И гражданственность невысокая. Организационные или принципиальные вопросы мало привлекают внимания. Но стоит только перевести разговор на вопрос об отпусках или смене врачей фронта тыловыми, как страсти разгораются, теряется всякий государственный масштаб, и люди с пе-

¹ В дальнейшем — не только преданная бонна Ирины, но и близкий человек семьи до самой смерти в 1942 г. в Москве (когда Ал.Ив. с Ириной были в эвакуации, в Ижевске). Ирина звала её «Моминька».

ной у рта обрушиваются с самыми тяжёлыми обвинениями на товарищей тыла, не стесняясь в выражениях и не считаясь совершенно с общегосударственной стороной вопроса. Внутренней дисциплины никакой. Печальная картина отсутствия элементарных гражданских навыков в интеллигентной, казалось бы, среде. Недаром даже Людмила Львовна заметила, что наши врачи — это какие-то ископаемые бронтозавры и ихтиозавры!

Кого забирают теперь в Морозовке? И как к этому отнеслись сами наши товарищи? <...>

Людмила Львовна всё ещё в 29-м [санитарно-эпидемическом отряде]. Дня через два, вероятно, Сергей Гаврилович её оттуда вытащит. Но, представь себе, она сама уже не торопится, — работа её заинтересовала, увлекает. Вот люди! Сергей Гаврилович способен из-за заседания полкового комитета не ехать полтора суток к жене, а она способна, когда он вчера вечером к ней приехал, сесть в бричку и уехать в хирургическую летучку, не беря его с собой, так как не оказалось места! Кажется, на этот раз даже Гаврилыч был немного огорчён.

Да, вот они оба — прежде всего люди общественные, но я им это в заслугу не ставлю. Всему есть границы. И мне кажется, что ты преувеличиваешь, когда меня считаешь слишком холодным и объективным. Это только, если мерить на твой масштаб. Но ведь ты исключительно экспансивный человек. Я же, как ты видишь, сам осуждаю и не понимаю чрезмерной объективности.

Не за объективность я люблю Керенского (невольный скачок мысли). Вот сегодня прочёл его речи в Киеве¹. Сколько порыва, сколько горячей веры в силу идеи, какой размах, какая стойкость среди анархии, какой глубокий торжествующий идеализм! Если русская революция, несмотря на дикость и инертность масс, несмотря на экономическую разруху и войну, несмотря на узколобую партийность почти всех фракций с-деков и кадетов, выйдет победительницей, то пусть маленькие люди продолжают утверждать, что ход истории определяется классовой борьбой, экономическим материализмом и т. д. Нет, великие эпохи создаются великими идеалами, через посредство цельных и чистых в своих стремлениях великих же людей!

И[уфешти], 27 мая 1917 г.

Какое безотрадное время! <...> А всё-таки, Шурочка, не променял бы я нашего мятежного, нелепого, бурного и всё же великого времени на сонные тихие 80-е и 90-е годы!.. Как ты? Но сейчас и очень крепкие нервы, и очень устойчивый оптимизм иной раз не выдерживает... Как же выдержать тебе с твоими слабыми нервами, при твоём глубоком недоверии к жизни!..

Шурочка, сейчас надо ребром поставить вопрос: можно ли и нужно ли тебе оставаться летом в Москве? Жить там, по-видимому, нечем, и в близком будущем улучшения не предвидится. Существование твоё в Москве полуголодное,

¹ В ходе подготовки июньского наступления Керенский совершил поездки по городам и фронтам, выступая с «зажигательными» речами для подъёма боевого духа армии и общественных настроений. В мае он побывал в Киеве. 19 мая он выступил перед членами Исполкома общественных организаций.

квартиры найти нельзя. Если что и удастся заработать, то весь этот заработок уходит на страшную московскую дороговизну.

Не лучше ли на время бросить Москву? Не лучше ли уехать в ту же Костромскую губернию, в родные места. Может быть, хоть немного физически и нравственно отдохнёшь от тяжёлых московских впечатлений? Я готов после войны (значит, этой осенью) сразу же уехать в провинцию, не сидеть в Морозовке ещё год и вообще в Москве года 2—3. Не пропадём, Шуручка. Знай, милая, что я стал лёгок на подъём, и для меня это не будет чрезвычайной жертвой. Пройдут 2—3 тяжёлых года неустройства и разрухи, жизнь войдёт более или менее в нормальную колею, и мы вернёмся к нашей жизненной задаче, к педиатрии.

Всё это не так ужасно, как кажется на первый взгляд. Ты обдумай это, Шуручка. Надо же решиться. Ведь квартир в Москве нет, даже комнаты не найдёшь. Не оставаться же тебе на улице! А Иринка! Тебе сейчас, я это чувствую, всякая работа в больнице непосильна. Ты должна ещё отдохнуть от кормления. Брось работу до осени, до моего приезда. Уезжай себе к Оле в Вичугу. Осенью мы вдвоём что-нибудь придумаем. Я это тебе пишу вполне серьёзно, Шуручка, обдумав. И ты не сразу отвечай мне отказом, а подумай, и тогда скажи. В героические время нужны и героические решения. В Москве скоро будет форменный голод. Уходи, пока не поздно. И не отчаивайся.

Ещё раз скажу: мы вдвоём не пропадём, а я очень скоро буду у тебя. И крепись, Шуручка. Выдержим все испытания, не поддадимся.

И[уфешти], 28 мая 1917 г.

Глубокая ты пессимистка, Шуручка. Говоришь уже о том, что если погибать, то вместе. Неужели и ты кругом себя замечаешь одно только разрушение, и не видишь ничего созидającego, положительного?

Конечно, всякая разруха и проявления анархии скорее бросаются в глаза, чем незаметный на первый взгляд творческий труд. Но мне кажется, что не следует сейчас преувеличивать значение всяких там Кронштадтских и Переяславских республик. Всё это не слишком страшно. Наша дикая некультурность и непривычка к организованной практической работе, конечно, сказываются. Ведь ещё в 1914-м году я на этом основании доказал, что мы не можем, органически не можем, выйти победителями из европейской войны. Тогда надо мною в Москве все смеялись... Конечно, эти наши качества остаются и поныне. Но я верю, что есть эпохи и эпохи... И мы, я глубоко верю, переживаем сейчас такую эпоху, когда пламенный порыв и честность Керенских, Шингарёвых, Львовых и Церетели выйдут победителями из этой борьбы высокой идеи с инертностью и тупостью масс. Пускай не слишком тебя смущает, что прислуга тебя надула, что прачка неаккуратна и т. д. Всё же для России настало новое время, и открылась возможность светлого будущего. Анархия не страшна, она длительной быть не может. Всё-таки будущее за нами!..

Ты пишешь, что в конце концов придётся бросить врачебное дело и заниматься только стиркой, хозяйством. А я иной раз почти серьёзно думаю, не поступить ли мне после войны официантом в хороший ресторан с перспективной дослужиться в конце концов до метрдотеля! Я думаю, что это будет выгодней и

спокойней, чем оставаться врачом и, быть может, тогда не попадёшь в список презренных буржуев.

Смешно мне читать, Шурочка, твою просьбу не винить тебя за разруху в нашем хозяйстве, когда я приеду. Чудачка, стоит ли об этом говорить? И неужели ты сомневаешься и тут во мне? Не может быть.

Ты две недели не обедала, а мы тут медленно отравляемся птомаинами¹, ведь свежего у нас сейчас ничего нет. Цинга страшно прогрессирует в полках. И всё-таки я опять скажу: всё это ещё не есть несчастье! Ты говоришь, что это и не радость. Согласен. Но мы этой радости здесь видим ещё меньше — у тебя хоть Иринка... Вот если бы мы в самом деле стали бы чужими друг другу — это было бы несчастье.

И[уфешти], 29 мая 1917 г.

Буду сегодня краток, моя Шурочка. У нас сейчас опять собирается заседание. К тому же я весь разбит в самом буквальном смысле слова. Вчера мы с Сергеем Гавриловичем поехали в Р[угинешти], в 29-й отряд. Навестили Людмилу Львовну. Возвращались поздно вечером, когда было совсем темно. Вот в темноте на нас и наскочил шедший без огней автомобиль с французскими офицерами. Нашу двуколку перевернуло в канаву, и мы здорово ушиблись. Сегодня все косточки ноют. Двуколку эту мы только что купили пополам с Сергеем Гавриловичем за 110 р., по 55 р. на брата. Она этих денег стоит. При ликвидации мы, если и потеряем, то никак не больше 10 р. на брата. А бричка, на которой когда-то ты разъезжала, давно развалилась. Ездить постоянно верхом утомительно для Добрыньки при плохом теперешнем корме. Вот мы и купили двуколку-беду. Она лёгкая, на рессорах, и очень прочная. Для одной лошади, конечно. <...>

Вчера я получил ещё письмо от Эдит. Ничего особенного она не пишет. Мне всё-таки странно читать её фразу, что не особенно приятно перспектива сидеть третье лето в городе. Нет, Шурочка, я снова скажу: всё-таки вы, тыловые, нас не понимаете, не можете понять. Ведь мне же обидно читать такие слова! Мы три года сидим на фронте, оторванные от всего, какие уж там перспективы! <...> Скоро буду с вами.

И[уфешти], 30 мая 1917 г.

Всё, что ты рассказываешь, так малоутешительно. Дров нельзя достать, девочку из приюта взяли в деревню, керосина нет, приходится принимать пожертвования, ни квартир, ни комнат, сама не выспалась, есть нечего и т. д. Хорошо, что ты ни слова при этом не пишешь об Иринке. Значит, слава Богу, она-то процветает.

Шурочка, я ведь не на шутку советую тебе выехать из Москвы. Подумай об этом. Знай, что для меня вовсе не так уж важно оставаться непременно в Морозовской больнице. Важно, чтобы мы все могли вести после войны сносное существование, не рискуя своим здоровьем. А в Москве это, вероятно, окажется совсем или почти совсем невозможным.

¹ Птомаины — токсичные азотистые продукты распада (гниения) животных тканей под воздействием микроорганизмов.

Ты вот пишешь, что прямо пугаешься, когда глядишь на себя в зеркало. Мне, конечно, не то страшно, что пугает тебя («мало удовлетворять, надо увлекать...»), даже отвечать не стоит. Но я не хочу, чтобы ты вела полуголодное существование, изнуряла бы себя непосильной работой — всё это во время кормления, отнимающего так много ваших сил.

Если даже ты не согласишься на уход из Москвы совсем, не желая лишать меня возможности кончить стаж, то всё же я сейчас настаиваю на том, чтобы ты уехала хотя бы на это лето в деревню. Ты должна откормиться, отдохнуть, набраться сил для работы с осени. Глупый я всё-таки. Как это я допустил, что ты взяла заместительство в Морозовке! При нормальных условиях, нормальном питании это было бы возможно, но сейчас это тебе явно не по силам. Так надо исправить то, что можно. С 1-го июля кончай там свою работу, откажись. Если к тому сроку найдёшь квартиру, то перевезёшь мебель с Соней <сестрой> туда. Если нет, то мебель сдашь на хранение. Пусть стоит дорого, наплевать! Сама ты поедешь к Оле отдыхать до сентября. Если к тому сроку в Москве Соней или приятелями будет найдена какая-нибудь квартира, то ты приедешь. Если же нет, то мы с тобой останемся в провинции. Не пропадём. Так ли, этак ли, но работу найдём, а жить будем сытней и независимей, чем в Москве. <...>

Провинция меня теперь совсем не страшит. Даже наоборот, привлекает. Города сейчас нехорошие. В провинции работать легче, и удовлетворения получишь больше. И **Иринке** мирный воздух провинции будет полезней. Не думай долго. Решайся.

И[уфешти], 1 июня 1917 г.

Я думаю, что теперь, когда ты работаешь в больнице, когда нет прислуги, и нечего есть, ты просто не успеваешь мне писать. Как тяжело сознавать, что я тебе отсюда никак помочь не могу. <...>

С утра идёт дождь, грязно на дворе. Два Сергея уехали на заседание совета врачей. Я не захотел — всё равно бестолочь. Вероятно, Гаврилыч нынче привезёт, наконец, свою жену. Он уже немного нервничает, а она чувствует себя хорошо в 29-м отряде, заинтересовалась больными. Это называется тоже приехать в отпуск отдохнуть! Кому что, а я бы не мог.

Популярность Керенского растёт не по дням, а по часам. Заслуженно. Ведь это он повсюду успеваешь, всюду сплывает. А взять его речи — это не слова, а дела! И каждая не похожа на предыдущую. Сравни, например, его речи в Киеве, в Риге и последнюю в Москве, в Большом театре. Объединяет их глубокая вера в силу высокой идеи, пламенный темперамент, а в остальном — в выборе темы, в построении — они не похожи друг на друга. Каждая из них читается с новым захватывающим интересом, подкупая своей искренностью. А каково их непосредственное действие? Хотел бы я его послушать. И как понятно, что всякие там мелкие людишки, мелкие душонки вроде Троцкого¹ и К°, в Керенском увидели

¹ Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940) — профессиональный революционер, идеолог перманентной и мировой революции, находился в радикальной оппозиции к Временному правительству, впоследствии один из создателей и фактический главнокомандующий Красной армии, занимал руководящие посты в советском партийно-

нашего будущего Наполеона. А он горит и горит... И имя его останется в истории, когда Троцкие давным-давно будут забыты. Слава ему!

И[уфешти], 2 июня 1917 г.

Ты пишешь об общем вашем поправении, о глубоком разочаровании, вас охватившем. Ссылаешься на Екатерину Ивановну, говоришь об отсутствии чувства собственного достоинства у русского народа.

А я, Шурочка, не поправел, хотя и здесь бываю свидетелем подобных при-
корбных фактов. Конечно, русский народ сейчас ещё не созрел, не способен
понять и оценить те свободные учреждения, которые ему дают. Конечно, он дик,
некультурен. Он не англичанин и не француз. Но разве мы этого раньше не зна-
ли? Неужели нужно было идеализировать нашего мужичка и рабочего, чтобы
желать и добиваться для него свободы? Не понимаю я вашего разочарования.
Никакая культура не даётся разом. Необходимы десятилетия упорного труда,
настойчивой работы для того, чтобы создать действительно свободных граждан
свободной России. Я на этот счёт, кажется, никогда не обманывался. Сейчас пе-
ред нашей интеллигенцией широкий простор для культурной деятельности. Сей-
час бы и взяться смело за работу. А вместо этого приходится констатировать, что
она спасовала, испугалась... Ведь в этом весь смысл, вся ценность переворота,
что создана возможность широкой культурной работы, создана возможность из
раба сделать гражданина.

Но пока раб, конечно, остаётся рабом с рабскими навыками, с рабьей идео-
логией. Меня это не удивляет. Но именно сейчас наша интеллигенция должна,
не смущаясь, не отворачиваться в испуге от народа, а слиться с ним, войти в
него, понять его. Почва рыхлая, благодарная. На ней можно легко посеять вся-
кий Ленинский сор, но на ней можно посеять и семена Керенского, разумное,
доброе, вечное... Сейчас именно такая эпоха, когда могут в массах проявиться
отдельные сильные индивидуальности. Надо воспользоваться этим временем,
надо рассеять добрые семена. Не нужно испуга, не надо брезгливости. Надо
понять новое время.

И[уфешти], 5 июня 1917 г.

Несколько дней уже **Людмила Львовна** здесь, у нас. Год тому назад ты была
с нами... Тогда у нас было большое оживление, больше сплочённости. Даже, по-
жалуй, чересчур: ведь мы тогда почти не оставались вдвоём. Всё на людях. Сергей
Михайлович как-то не умеет, что ли, сплотить общество, но факт тот, что мы все
почти вразброд, сами по себе. Даже вечеринки ни одной совместной не устраи-
вали. Сергея Михайловича совсем не видать по целым дням. Сама Л.Л. немного
сонная, рыхлая. Испортил её за 11 лет Сергей Гаврилович, ей-богу. Она могла
бы быть более интересным человеком, хотя и сейчас симпатичная, славная. Не-
достаёт нервности. Не тянет меня к слишком спокойным уравновешенным лю-
дям! Тебе это неожиданно? А разве я сам-то, по существу, человек спокойный?
Конечно, нет. Я сдержанный, но не спокойный. Так?

государственном аппарате, выслан из СССР как лидер левой оппозиции и убит агентом НКВД.

А всё-таки, как было бы хорошо, если не Л.Л., а ты была здесь с нами!.. <...> А Пузырка наша уже загорела. Она совсем большая, гуляет по Москве. Меня, глупенькая, не узнает. Я ли её узнаю? Тоже вопрос. Боюсь, что за май ты мне не пришлешь карточки.

П[уфешити], 6 июня 1917 г.

Сейчас уже очень поздно, и страшно тянет спать. Дело в том, что весь день [мы] выполняли гражданские обязанности. Происходили выборы нашего полкового дисциплинарного суда. Надо было выбрать в него трёх офицеров и трёх солдат. Выборы общие. Мы наметили трёх кандидатов, которых и предложили солдатам. Они предложили своих трёх. Однако, хотя мы все 10 выборщиков от офицеров и голосовали за свой список, один из наших офицеров оказался забаллотированным. Вместо него избранным оказался я. Для меня совсем неожиданно и даже нежелательно, так как не люблю юстицию и всё что с ней связано. Но раз я прошёл исключительно солдатскими голосами, я считал неудобным отказаться. Боюсь, что потом с этим будет много возни.

Сергей Гаврилович представитель нашего полкового комитета. Вообще врачи в моде.

Вернулся домой, и застал здесь гостей из 29-го [отряда]. Впрочем, они часам к десяти уехали. Потом проявлял снимки, так как обещал Людмиле Львовне, завтра уезжающей, приготовить карточки до её отъезда. <...> Прощай, моя дорогая, не сердись. Я сплю.

П[уфешити], 7 июня 1917 г.

Только что уехала Людмила Львовна. Мы опять одни. Впрочем, должен сказать, что приезд Л.Л. не внёс и малой доли того оживления в нашу среду, как твой прошлогодний приезд в Березье. Чего-то не хватало. Не знаю, понравилась бы она тебе. Я её усиленно звал к нам в Москву, если мы после войны ещё там останемся. Она звала в Лебедин. Кто знает, может быть, мы скорей попадём в Лебедин...

Перечитываю вчерашние твои два письма. Мало в них радости... Боже, как тяжело тебе! <...> Выше голову, Шурочка! Не дадим же мы себя сломить судьбе-злодейке.

П[уфешити], 8 июня 1917 г.

Тебе так безгранично тяжело, ты настолько потеряла всякую почву под ногами, настолько отчаялась во всём, что не стану, не могу я отвечать тебе, разбирая отдельные твои слова. Не в словах суть и дело. У тебя просто нет больше душевных и физических сил. Какая уж там вера в кого бы или во что бы то ни было!.. <...>

Мы имеем счастье и несчастье жить в великую эпоху мировой истории. Такие эпохи мало считаются с индивидуальным благополучием людей. Неужели мы в себе не найдём достаточно силы, чтобы не быть разбитыми под ударами судьбы, никого сейчас не милующей. Не забывай, что терпеть нам осталось теперь совсем недолго, что всё самое трудное, самое тяжёлое уже позади нас. <...>

Я думал, что появление ребёнка на тебя подействует умиротворяющим образом. Но что же поделаешь, когда всё становится для тебя только источником всё новых и новых мучений... Никак нельзя тебя предоставить самой себе — ты сама себя пожираешь.

И[уфешти], 9 июня 1917 г.

Неужели до сих пор невозможно в Москве найти прислугу? Неужели так-таки, ей-богу. Есть нечего? У нас тут тоже дошли до minimum'a. Я уже с неделю как зачислился в котёл в свою команду (теперь это разрешено и нам) и пока очень доволен. Не надо ходить в лазарет, не надо каждый день видеться с одними и теми же скучными людьми. Команда моя не голодает, не голодаю и я. Когда уйдёт от нас лазарет, и Сергей Гаврилович тоже перейдёт на общий котёл. Так и мы демократизируемся. Продуктов никаких достать нельзя, хоть убей. Нет даже картошки. Манной или другой какой-нибудь лёгкой крупы я не могу достать, хотя бы 2—3 фунта, — её нет. У нас в команде имеется только небольшой запас ячневой крупы.

Нет, Шурочка, поезжай, моя дорогая, в деревню. Там вы с Иринкой хоть сыты будете, а в Москве с голоду помрёте. Не откладывай ни одного дня, решайся. А то меня очень и очень огорчишь...

И[уфешти], 10 июня 1917 г.

Твоё сегодняшнее письмо произвело на меня довольно-таки тяжёлое впечатление.

И[уфешти], 11 июня 1917 г.

Я получил сегодня твоё письмо от 30 мая, проникнутое совсем другим духом. Стало так хорошо, так тепло на душе. Ты опять стала «ощущать солнце, зелень и радость». Часто ли это бывало в последнее время! Подольше бы сохранилось... <...>

Ты даже интересуешься нашими делами здесь и даже, — *horribile dictu!*¹ — моими взглядами на современные события. Посылаю тебе удачную фотографию Людмилы Львовны. Снято в *Р[угинешти]*, в 29-м отряде, во время чаепития. Спокойное у неё выражение лица. Из другого теста она, чем моя Шурочка... А как независимо она держит папироску в руке! <...>

Ты спрашиваешь про Сергея Михайловича. Он, вероятно, скоро от нас уйдёт. Либо к Тарасевичу, который, может быть, получит на этих днях высокое назначение, либо же во фронт, куда его настойчиво приглашают. На днях должна получиться телеграмма от Тарасевича, тогда всё разрешится. Мы его считаем уже не нашим. Всё-таки привыкли мы к нему, несмотря на все его многочисленные недостатки, подвижность его всё ещё изумительная. Казалось бы, утомился человек после месячной поездки по России. Так нет же, он и тут постоянно разъезжает то на съезд в армию, то на совещание, то в совет, а то и просто в гости в 29-й отряд, где он даже на старости лет немного увлекается сестрицей Варенькой, певуньей-хохотуньей. Сейчас он в городе Р-е [*Романе?*], куда поехал вме-

¹ *horribile dictu!* (лат.) — страшно сказать!

сте с Мысливой (помнишь её? Она теперь районным врачом в нашей армии) на съезд Земсоюза как представитель военного ведомства от нашей армии. Вечно в разъездах, вечно полон новостей, всегда больше тревожных. Жаль отпустить из нашей среды такое будирующее начало. Да и защитник он наш всё-таки.

И[уфешти], 13 июня 1917 г.

Шурочка, на время вновь запрещены отпуска!.. А мне уже улыбалась перспектива выехать отсюда, быть может, через какой-нибудь месяц, так как Сергей Гаврилович мне уступил бы очередь, а Сергей Михайлович, по видимому, совсем отпадает. Ну, ещё немного подождём. Запрещение это, вероятно, ненадолго.

На этих днях у нас здесь начнётся замена врачей тыловыми. Так, по крайней мере, обещает наша исполнительная комиссия, ведающая этим делом в Одессе. Но она полномочна только в пределах Румфронта. Мне же мало улыбается перспектива сидеть на каком-нибудь эвакуационном пункте в Кишиневе или Одессе. Предпочитаю оставаться здесь, на привычном месте. Желающие переводиться во внутренние округа распределяются Петроградом, где рассматриваются наши опросные карточки. Я на карточку уже ответил, и она послана в Петроград. На вопрос, согласен ли я на обмен, я ответил: «Согласен, хотя бы с понижением, в гор. Москву или ближайшие его окрестности. Желаю перевестись на должность мирного времени в Городскую Морозовскую детскую больницу в Москве, где имеются призванные на военную службу врачи, оставленные впредь до замены их нами с фронта». Ведь правильно?

А всё-таки наши тыловые товарищи, выражаясь мягко, порядочные свиньи. Не думаю, чтобы я, будь я на месте Николая Ивановича [Скворцова] или Ивана Михайловича [*Струженского*¹], несмотря на все твои просьбы и убеждения, счёл бы возможным оставаться на насиженных местах. Почему вот наша семья может быть на годы разорвана на части, а другие семьи, ничем не лучше нашей, могут благоденствовать. Ведь мы не можем не чувствовать всей горечи несправедливости. Но они нас совсем не понимают... «Вам там это дело привычное, уж вы там сами кончайте как-нибудь!» Это слова Николая Ивановича, сказанные в январе при прощании, часто вспоминаются мне, и становится горько и обидно на душе.

Наша комиссия в Одессе, несмотря на массу встречающихся препятствий со стороны тыловых врачей (к каким только уловкам не прибегают!), действует очень энергично. Ещё труднее будет работа в Петрограде. Изволь-ка извлечь «товарищей» хотя бы из той же Морозовской больницы!.. Слов нет, хорошие они все люди, но...

И[уфешти], 14 июня 1917 г.

Говорил сегодня с Сергеем Михайловичем по поводу твоего настоящего положения. Настаивает на том, чтобы, во что бы то ни стало я убедил тебя, что *mit* на два месяца тебе надо уехать в деревню. Сидеть тебе сейчас в Москве — это абсурд во всех отношениях. Ничего решительно ты от этого не выигрываешь,

¹ Струженский Иван Михайлович — врач-ассистент Морозовской больницы.

если не считать жалких грошей, а теряешь много — силы, здоровье, бодрость. Да и грошей ты не выигрываешь при московской дороговизне. Ты говоришь, что духа я в тебе не вижу. Ох, слишком даже много духа в тебе, Шурочка! Поменьше бы принципиальности и побольше простоты и непосредственности в решениях. <...> Ты с горечью восклицаешь: «Разве можно сказать уверенно, что мы будем устраивать вместе нашу жизнь и устраивать так, как мы хотим?» Конечно, будем, хотя, быть может, и не совсем так, как хотели, но уж во всяком случае, не придётся тебе бросить всё и заняться только ненавистным хозяйством. Нет, до этого мы не допустим. <...>

Я, Шура, в последнее время как будто начинаю верить, что буду в Москве ещё до окончания войны, хотя и едва ли раньше августа. Наши исполнительные комиссии берутся энергично за чистку тыловых Авгиевых конюшен. Это такое дело, в котором кровно заинтересованы все. Тут спуска не дадут. А дух времени нам благоприятен. Результаты, несомненно, получатся. Чего доброго, в конце концов хоть на месяц какой-нибудь вытащат даже Ив.Мих-ча и Ник.Ив-ча. Пусть хоть тревогу некоторую почувствуют...

Нынче опять заседание. Скучно, не хочется ехать. Привет тебе от двух Сергеев.

И[уфешти], 15 июня 1917 г.

Ну, и тоска же была вчера на нашем заседании! Не приведи Господь. Я решил больше не ездить. Коллеги наши, особенно из полков, это форменные дикари. А все вопросы решаются вовсе не на деловой почве, а только на личной. Ясное дело, если Сергей Михайлович вносит какое-нибудь предложение, то оно немедленно подвергается нападкам и отвергается, как бы разумно и целесообразно ни было. Противно даже. И на этой основе решается всё. <...>

Получил и длинейшее письмо от мамы. Невесёлое оно. Нелегка сейчас жизнь, всё заботы и заботы. Отец стал стар, прихварывает. Врач ему уже назначил и камфару, и кофеин. Мама завидует умершему брату Ниго; так ему хорошо теперь лежать среди сосен и елей... Тяжко только расставание с дорогими, близкими.

Здоровье Лени тоже всё ещё не налаживается как следует. Нет-нет и повысится снова температура. Выехать некуда. В деревне волнения, беспорядки, опасно. Сидеть в городе вредно.

Карлушку они хотят определить в Юрьевский университет, так как рассчитывают, что там всё-таки будет дешевле, чем в Москве, и потому, что не хотят и его отпустить далеко. Я их понимаю.

Пишет мама и о своих хлопотах найти для Ириночки бонну. Она нашла подходящих девушек, но тогда они оказались уже ненужными. Во всяком случае, и в будущем всегда в этом вопросе можно положиться на маму. Она найдёт, кого нужно. Как было бы хорошо, если бы она сейчас находилась в Москве. Она обладает таким талантом бесшумно наладить всякое дело, найти выход из тяжёлого положения. При этом посторонним иной раз совсем не заметно, сколько сил приходится затратить ей самой, сколько забот, сколько нервов. При ней становишься спокойным, чувствуешь, что не пропадёшь. Эх, жаль, что её нет сейчас в Москве!

И[уфешти], 17 июня 1917 г.

Я тебе вчера не писал, Шурочка, потому что, вернувшись из штаба домой, застал здесь у себя двоюродного брата, приехавшего из города Б[ырлада?]. Он у меня просидел весь день и полночи, и только к двум часам ночи отправился на поезд. Было очень занятно повидаться с представителем совсем иного мира, других воззрений. Тем более что его представления и мнения те же, что у большинства остальных представителей Прибалтийского Края. Он, конечно, националист прежде всего, и все вопросы рассматривает под этим узким углом зрения. Слишком винить их за это нельзя. Мы с тобой мало знаем и считаемся с национальными противоречиями. А посмотри, как хотя бы здесь, в юго-западном крае, как сильно разгораются страсти на этой почве. Вот сейчас украинский вопрос стоит очень остро¹. И не один только он.

Я их там, на севере немножко понимаю: господствующей народности нелегко разом отдавать все свои позиции, особенно такому тяжеловесному и грубому народу как латыши. Ведь они сейчас мстят. Вот отсюда и национальная гордость, и стремление к чистоте расы, как к чему-то особенно ценному.

Но теория одно, а практика другое. И это мне показалось особенно любопытным. Дело в том, что за три года войны вдалеке от родины мой любезный двоюродный брат успел оценить достоинства и полюбить одну русскую сестру милосердия. Полюбила его и она. Вот он, бедняжка, сейчас и мучается, ищет и не может найти правильного решения. Спрашивает меня, не считаю ли я свой брак до некоторой степени компромиссом или нет. И что я мог бы ему посоветовать?

Я ответил, что другому человеку советовать не берусь, но за себя могу ответить, что свой брак никогда не считал и не буду считать каким-то компромиссом, и, во всяком случае, для себя в этом вопросе не считаю возможным пойти на какой-либо компромисс со своей совестью. Если бы я чувствовал, что меня всю жизнь будет что-то угнетать, я не счёл бы возможным насиловать себя. При таком отношении счастье получится всё равно не может. Для счастья необходима свобода духа. Где дух скован, там счастья быть не может. Ведь я прав, Шурочка? Вот попался, бедняжка! Он сложил себе в голове целую систему. Так всё выходило аккуратненько, чисто, — и вдруг, помимо всяких теорий и систем, и даже против них, — полюбил девушку чужой национальности. Как тут быть? Неужели отказаться от всех своих систем? Но ведь это ужасно! Вот и решай тут.

Донимает жара, донимают опять мухи, не дают по утрам спать. Днём всё время хочется спать.

Привет Ириночке моей.

И[уфешти], 18 июня 1917 г.

Ну, что с тобой поделаю? Затвердила одно и то же; и откуда взяла? Пишешь: «Не совсем я понимаю, почему наши материальные невзгоды кажутся тебе не-

¹ 7 марта — избрание Центральной рады, 6—8 апреля в Киеве состоялся Всеукраинский национальный съезд. Остро стоял вопрос о национально-территориальной автономии Украины. Временное правительство предлагало отложить его решение до созыва Учредительного собрания.

важными». И тебе не совестно так писать? <...> К чему ты хочешь казаться такой нечуткой?

Вот, хотя я и писал, что на тебя не обижаюсь, но неправда, сейчас у меня даже слёзы на глазах от обиды. Ей-богу, не заслужил. Ну, к чему это, к чему? Как прошлой осенью ты утверждала, что я мало обращаю внимания на твои нравственные терзания, что не находишь ты в моих письмах отклика на них, — а я в это время переживал тяжёлые дни крайней усталости, безверия, отчаяния, — так и сейчас ты находишь, что я не реагирую достаточно на твои материальные невзгоды. А между тем и у нас с этой стороны далеко не благополучно. Но как ты осенью не заметила и не отметила в письмах моего состояния, так и сейчас ты, конечно, не обратила внимания на то, что и нам тут кушать почти нечего, что мы отравляемся гнилой рыбой, и что цинга принимает всё более ужасающие размеры. Боже меня сохрани обвинять тебя за это. Ты просто слишком далека от нас, живёшь в совсем другой обстановке. Я же много раз говорил, что вы там нас на фронте совсем не можете понять. Я это только констатирую и понимаю, а потому и не обвиняю, не требую иного.

Но если ты мне повторно бросаешь упрёк в том, что все мы, мужчины, эгоисты, то я с этим никак не могу согласиться. Всё более я убеждаюсь, что настоящие эгоисты — это женщины, ибо вне своего внутреннего мира для них не существует ничего. И чужого, и вообще иного они не понимают — это другое им недоступно.

Шурочка, припомни, последний горячий отклик на то, что меня волновало и мучило, я нашёл в твоих письмах — когда? Ещё в ноябре и декабре 1914 года, когда я лежал с обострившимся миокардитом. Тогда твои письма служили мне большой поддержкой. <...>

Давай не будем больше писать таких фраз, как цитированная мною сегодня из твоего письма. Давай, Шурочка, будем больше верить друг другу, будем проще.

И[уфешти], 19 июня 1917 г.

Удивляюсь я. Ведь призваны же Ник.Ив. [Скворцов] и Ив.Мих. [Струженский]? А между тем Ив.Мих. едет обычным порядком в отпуск. Ведь это же прямо насмешка над нами. Нас брали в своё время прямо из отпуска, а их фиктивно призывают и ещё отсылают прохладиться. Где же элементарная справедливость?

Жаль, что ты мне ничего не пишешь о наших коллегах. Написала только про конференцию. Но какова же обязательная сила конференции, и будут ли с нею считаться? Предпримут ли сами какие-нибудь шаги к отозванию нас с фронта? Пиши, голубушка. Всё это нас тоже волнует. Привет Иринке.

И[уфешти], 20 июня 1917 г.

Писем не было. Опять перечитываю старые. Вот ты говоришь, что Екат. Ив. [Иванова], глядя на тебя, безнадежно машет рукой. А ты ей скажи, что я на неё безнадежно махаю рукой. Как не стыдно ей, самостоятельному независимому человеку, быть такой малодушной, пугаться событий, каких-то глупых эпизодических стачек, нервничать, проливать слёзы! Она не должна, не имеет права поддаваться всеобщей панике. Как интеллигентный, культурный, неза-

висимый человек, она должна дезорганизации противопоставить организацию, сплочённость, духовную мощь, а не увеличивать собою партии испугавшихся интеллигентов. Пора понять, что революция не есть эволюция, и что некультурный народ в 2—3 месяца не может сделаться культурным. Пора понять, что эксцессы, анархия и всякие нелепости неизбежны до поры до времени, и что от культурных слоёв населения зависит прекратить их путём упорной культурной и организационной работы. Лес рубят — щепки летят. Это, может быть, и обидно, но неизбежно. Скажи ей или (из Вичуги) напиши ей, что мне совестно за неё, такого, казалось бы, независимого и оригинального человека, что она поддалась общей панике, общему безверию. Стыдно!

Издавна считают, что русская интеллигентная женщина более стойка и мужественна, чем интеллигентный мужчина, мямля и сюсюка. К сожалению, это не всегда так... Вот какой тирадой я разрешился, но я не могу иначе.

Ты мне пишешь о Вл.Вл. Колли¹ и смерти его бывшей невесты. Я его совсем не знаю, а что у него раньше была невеста, для меня тоже новость. Он мне всегда мало нравился, но, может быть, я ошибаюсь. Почему он не призван? Почему он имеет право на личную жизнь, а я нет?

Тебе, вероятно, странно, что я ставлю такой вопрос, но в последнее время я болезненно реагирую на всякое упоминание о том, что в тылу сидят здоровые люди, живут, работают, пользуются отпуском, любят, и т. д. При старом строе, когда такие думы были явно бесплодны, я как-то мирился с этим. Сейчас мне обидно... Ведь и мы же здесь устали, и нам необходимо вернуться к прежней жизни...

Пиши мне, Шурочка, кто именно из товарищей призван, и почему они сидят в Москве. Какие шансы на отправку их на фронт? Им долго воевать не придётся, может быть, даже совсем не придётся, но пусть всё-таки хотя на один миг почувствуют горечь разлуки, разрыв со всем привычным, дорогим, милым. Это их не испортит, ей-богу. Вот какой я злой!

И[уфешти], 22 июня 1917 г.

Всё ещё нет ответа на интересующее меня больше всего: поедешь ли ты в Вичугу? Когда я это узнаю?

Прежде всего, чтобы не забыть, по поводу полученных тобою квартирных. Шурочка, зря ты взяла эти 418 рублей. Они тебя надули. Квартирных в месяц по Москве полагается 45 р. с копейками. И на наём прислуги 10 р. Значит, в месяц 55 р., а за 13 месяцев никак не меньше 715 рублей! Ты недополучила целых 300 рублей!

Нам, к сожалению, сейчас не приходится относиться к этому равнодушно, и надо принять меры к тому, чтобы получить всё полностью. Почему ты не спросила чиновников, из каких расчётов они исходят и приняла с благодарностью то, что дали? С этой публикой особенно церемониться не приходится, особенно если она таинственно шепчется. Значит, они сами путаются. Шурочка, если ты, не дай Бог, ещё в Москве, то съезди ещё раз в Крутицкие казармы и выясни дело. Махнули мы на 200 рублей, исчезнувших в Земском союзе², если махнуть и на

¹ Колли Владимир Владимирович — сын В.А. Колли, тоже врач.

² 200 руб. в счёт аванса Ал.Ив. оставила в Земсоюзе в Киеве во время поездки к Фр.Оск.

эти 300 рублей во имя принципа непротивления злу, то что же, в конце концов, получится? Останемся без штанов! Хотя это и не так страшно, можно достать другие штаны, но всё-таки...

Ответ на твой вопрос: можно ли тратить 25 р. на снимок Иринки на дому? Если хочется, то, конечно, можно, но даже по теперешним временам это страшно дорого. Впрочем, может быть, я тебя не понял: 4 карточки разных или только 4 отпечатка с одного снимка? Если разных, то это ещё с грехом пополам терпимо. Теперь Ириночка уже большая (!), и хочется иметь несколько хороших снимков этого периода. <...> Но ведь это письмо тебя застанет уже в Вичуге, где не будет фотографа... Так? Впрочем, и там постарайся найти хотя бы какого-нибудь любителя. <...>

Сообщение о вашей конференции, появившаяся отдалённая надежда, возможность вернуться к работе и в семью ещё во время войны разбредила старые раны, подлила масла в потухающий огонь...

Всё чаще стал мечтать о научной и общественной работе у себя в Лебедине и Сергей Гаврилович. А Сергей Михайлович, ожидающий нового назначения, равнодушно относится ко всем возможностям — он тоже устал. Какие мы здесь работники! Никуда мы не годимся. Пора, пора нам вернуться к пенатам. Имели бы хоть немного сердца и души наши тыловые товарищи...

И[уфешти], 23 июня 1917 г.

Как наша Ириночка? <...> Одно меня утешает: что к моменту, когда она впервые начнёт лепетать, начнёт жить более или менее сознательной жизнью, я буду уже дома. Это от меня не уйдёт.

Вот Сергей Гаврилович самые интересные годы развития своей Оксанки пропустил из-за войны. Ведь какой это занимательный возраст от 2 до 5 лет! Ведь тут дети, как распускающийся ранней весной лепесток. Нет, уж этого судьба от меня не отнимет.

И[уфешти], 25 июня 1917 г.

А Сергея Михайловича у нас берут. Зовёт его к себе Тарасевич, который занимает сейчас место главного начальника санитарной части (точный титул не знаю; подписывается сокращённо: «саниверх») при ставке верховного главнокомандующего¹. Вероятно, Сергей Михайлович у него получит должность помощника по санитарному отделу или что-нибудь такое. Он не очень воодушевлён новыми перспективами. Боится, что при сегодняшним многоначалии и многословии продуктивная работа окажется мало возможной. Думает, что и Тарасевичу придётся разочароваться. Я же за него очень рад, потому что полагаю, что научно в будущем Серг.Мих. тоже неспособен уже заниматься, как и Тарасевич. Ему нужна кипучая широкая деятельность. Однако так как он плохо умеет ладить с людьми, то необходим ему ближайший начальник, с которым он должен будет считаться, который для него явится авторитетом и который знает и его со всеми его слабостями. Таким начальником для него явится Тарасевич. С ним, я думаю, и впредь, после окончания войны, ему надо будет работать.

¹ Л.А. Тарасевич был главным полевым санитарным инспектором при Ставке верховного главнокомандующего.

Я всё это и высказал Сергею Михайловичу, который по существу со мной и согласился. Ему сейчас не хочется с нами расставаться, он тоже привык к нам всем. Уедет он от нас, вероятно, не раньше 2–3-го июля. Ведь и он иной раз бывает тяжёл на подъём. Говорит, что постарается, если окажется возможным, способствовать скорейшему моему переводу в Москву. Дай-то Бог!

Хорошо у нас вечерком. Сидим с Сергеем Гавриловичем на балкончике, а на дворе собирается вся хозяйская скотинка. Любопытно за ней наблюдать. Хорош телёночек, хороши и поросята, очень хороши утята и цыплята. Люблю я пошутить и с Марицей, двухлетним хозяйским ребёночком. Сельская идиллия. Ничего не имел бы против того, чтобы прожить с тобой и **Пузыркой** в деревне.

И[уфешти], 27 июня 1917 г.

Сегодня наконец получил твой ответ, и оказался он, как я и предполагал в последние дни, отрицательным. Ты как будто даже не придаёшь серьёзного значения моей просьбе, так как отвечаешь на неё только в конце письма после ряда сообщений о прислуге, бонне и т. д. Меня это даже до некоторой степени радует, так как это признак, что настоящее положение потеряло для тебя прежнюю остроту, что понемногу жизнь твоя снова входит в определённую — хорошую ли, худую ли — колею. И тон твоего письма, в общем, спокойный. Аргументов ты приводишь целую кучу. Они для меня не слишком убедительны сами по себе, ведь я их принимал более или менее в расчёт. Для меня самое убедительное то, что ты нашла прислугу и бонну, и сама стала спокойней относиться к своему положению. Вот это убедительно. Остановка за квартирой. Раза два я случайно находил в «Русских ведомостях» объявления о сдаче квартиры в 4–5 комнат на Пятницкой. Может быть, всё-таки не совсем безнадежно следить по утрам за объявлениями в газетах? После обеда, конечно, уже поздно. Теперь дело идёт к концу лета, то же труднее найти с каждым днём. Не представляю себе, что из этого выйдет. <...>

«Ты должен учиться, и моё право поддерживать тебя в этом». Да я же всегда на это и рассчитывал! Мне кажется это настолько естественным, что не стоит даже об этом и говорить. Но ведь и за мной право заботиться немного о тебе и Иринке. Ты сама с болью констатировала, что я слишком мало забочусь о вас. Вот я и позаботился, но напрасно... Самостоятельный ты человек, Шурочка. Тебя, конечно, не убедишь, и ты всегда сделаешь по-своему. Ты почему-то убеждена, что имеешь право приносить другим жертвы, а тебе их приносить нельзя. Это тоже своего рода эгоизм, и не из лучших. Я не делаю таких различий между собой и другими, тем более тобой... Одинаковы наши обязанности, одинаковы и права.

Не совсем я понимаю, которая по счёту у тебя бонна? И неужели эта Христина Ивановна так уж мне опасна? Я что-то не боюсь.

И[уфешти], 29 июня 1917 г.

Твоё письмо бодрое, Шурочка, и я этому так рад. Ведь вообще-то ты меня не очень балуешь бодрыми письмами. <...> Если ты хочешь, чтобы я скорее вернулся, то позаботься о том, чтобы наши «призванные» (!) товарищи в тылу не разъезжали бы по отпускам, а поторопились бы заместить нас здесь на фронте. Какой же это призыв? Ничего не понимаю. <...>

Хотя сейчас условия работы, казалось бы, улучшились, хотя мы сейчас и гарантированы от мелких придинок и несправедливостей, не можем мы работать... Мы устали. <...>

Ты пишешь о конференции наших врачей, о том, что ассистентам требуют 5000 р. жалованья. Это, конечно, слишком много по теперешним временам, когда городская касса пуста, и требовать этого мы не имеем никакого права. Но если требуют 5000, то, может быть, осуществят хотя бы 2400 р. В соединении с твоими, приблизительно 200 р. в месяц мы могли бы тогда с грехом пополам прожить в Москве. Хоть некоторая прибавка нам сейчас, конечно, необходима. <...>

И[уфешти], 7 июля 1917 г.

Я тебе не писал, кажется, 4—5 дней, моя Шурочка. Не по своей вине, конечно. Я почему-то немного захворал и валялся в постели. Теперь, по-видимому, всё кончилось, но ещё осталась большая слабость. Ты спросишь, что было со мной, а я не смогу тебе ответить. Был небольшой сравнительно жар, не выше 39°, сильная головная боль 2—3 дня, общая разбитость, так что не мог даже сидеть, — и больше ничего. Сегодня температура нормальная, голова не болит, но слабость большая, и сердце ещё даёт о себе знать. Дня через два я буду совсем здоров. Беспокоиться уже нечего.

Телеграмм тебе посылать не могу, потому что сейчас не принимаются частные. От тебя за всё это время нет ни одной весточки. Боюсь, что письма сгорели на ст. [Текуч?] вместе с почтовыми вагонами. Там несколько дней назад было такое несчастье.

Уехал от нас Сергей Михайлович. Никак не мог оторваться. Если будет в Москве, то непременно зайдёт к тебе. Как ты с Ириночкой? Как вы живёте с Христиной Ив.?

На сегодня довольно. Лягу; устал. <...> Бумага на исходе, стал жалеть.

И[уфешти], 8 июля 1917 г.

И ты больна! <...> И почему ты только ходишь в больницу, работаешь? Хоть 2—3 недели ты могла бы ведь отдохнуть. Что толку, что ты будешь работать через силу, в потом сляжешь уже на 2—3 недели, а не на дни. Шурочка, будь хоть немного благоразумна. Не следует злоупотреблять и своей работоспособностью. Ты так часто говоришь, что должна много и упорно работать, чтобы содержать бонну и прислугу. Я бы на твоём месте не подчёркивал, что именно «ты» должна работать, а не «мы». Я не делаю различия в нашей будущей работе, зарплатке и т. д. Это всё наше общее, и я, конечно, знаю, что у меня не меньше обязанностей, чем у тебя, моя дорогая. <...>

Как ты быстро пугаешься, Шурочка! Вот ты схватила дизентерийку, и уже в отчаянии, что схватит её и Ириночка. А я совсем этого не боюсь, зная твою осторожность. Через воздух зараза не передаётся, чего же бояться? В остальном все меры, конечно, будут приняты, и опасности, значит, нет. Да, привык я трезво смотреть на вещи. Какие мы, по существу разные с тобою люди! А, между прочим, оба хорошие... А ты, Шурочка, за эти три года войны всё-таки опять сильно от меня отпала. Идёшь своими самостоятельными привычными зигзагами. Пора, пора тебя опять втянуть в свою работу. Мы от этого оба не проиграем. <...>

Мне совсем невтерпеж стало ждать конца, хотя и чувствую, что он близок. Не запугивай меня никакими тыловыми ужасами и лишениями. Мне на них совсем наплевать, только бы быть опять с вами. Ведь есть же предел всему.

Я продолжаю поправляться, хотя ещё чувствую большую слабость. Теснение в груди, и почти всё время валяюсь на постели. Странная история без диагноза. Ведь никаких катаров. Кишечник вполне приличен, несмотря на ставшее совсем скудным питание.

18 июня началось последнее наступление русской армии в направлении на Львов, тщательно подготовленное и в первое время весьма успешное. Были взяты Станислав, Галич, Калуш, но вследствие разложения и деморализации армии к 1–2 июля продвижение войск прекратилось. Это позволило германским и австро-венгерским войскам сосредоточить силы, 6 июля перейти в контрнаступление и вновь легко дойти до Брод и р. Збруч. Южнее, на Румынском фронте вспомогательное наступление было проведено 7–11 июля на участке южнее Пуфешти — через Фокшаны на Буззу. 14 июля оно было остановлено в связи с неудачей наступления на Юго-Западном фронте. В дальнейшем, в (6–13) августе попытка германского контрнаступления на Фокшаны, в долине р. Ойтуз, также не имела заметного успеха, и фронт стабилизировался.

П[уфешти], 9 июля 1917 г.

День рождения мамы. У нас он, бывало, всегда праздновался торжественно и, елико возможно, пышно. Как теперь? Празднуют ли?..

От тебя получил нынче три письма. <...> Здоровье твоё так себе — ни хуже, ни лучше. Ну, в первые дни дизентерии это уже большой плюс, и есть полная надежда, что в ближайшем письме ты мне напишешь уже об улучшении твоего состояния. А ты всё-таки всё бегаешь по частной практике, как нарочно тут подернувшейся. Ну что же, если за день один визит, не более, то я разрешаю, Шуручка. Но два раза в день бегать не годится. Нравится тебе, погляжу я, зарабатывать себе собственные гроши... И опять ты сегодня повторяешь: «Я знаю одно, что мне (!) нужно усиленно работать, чтоб свести концы с концами». Гордая ты, Шуручка, но тут-то бы лучше поменьше гордости, ей-богу... «Не должна страдать наша крошка ни в чём, пусть страдают её родители. Пока я (!) окончательно не сваюсь, я (!) буду работать». К чему всё это говорить? Не слишком ли громко? Ведь что мы будем работать, сколько нужно и не дадим в обиду свою дочку, ведь это и так ясно, в доказательствах и уверениях совсем не нуждается... <...>

А тут с фронта доносится гул орудий, от которого мы уже совсем отвыкли. Что будет? Когда всё это с честью можно будет кончить и вернуться домой для работы над новым устройством свободной жизни?

Меня очень удивило и рассмешило, что ты собираешься голосовать за список № 6, то есть за группу «Единства»¹. Ах ты, ортодоксальная марксистка, мечтающая о разгроме Германии, о войне до конца. Ах ты социал-патриотка, в полемике пользующаяся самыми некрасивыми приёмами, сильными словечка-

¹ «Единство» — немногочисленная группа меньшевиков-оборонцев, которую возглавлял вернувшийся 31 марта из эмиграции патриарх русского освободительного движения Г.В. Плеханов, редактор издававшейся в Петрограде одноимённой газеты.

ми и передержками! Неужели Плеханов с компанией, ежедневно брюзжащий на страницах «Единства» и занимающийся самой нудной бесплодной полемикой в старом «истинно-марксистском» подпольном духе, — так неужели это твой идеал? Социал-патриотизм? Погляжу я, отстала ты и от политики. Пора, пора мне приехать... А я так очень рад, что «Единство» не получило на выборах ни одного места¹. Мы с тобой политические противники, Шурочка!..

Слабость какая-то странная в ногах остаётся, даже лёгкая атаксия². Не знаю, в чём дело. Сердце лучше. Поцелуй дочку.

И[уфешти], 10 июля 1917 г.

Получил твоё письмо от 28 июня. Оно вскрыто военной цензурой, чего не было уже, кажется, больше года. Вот уж, кажется, самые безобидные и для цензуры неинтересные твои письма! Могли бы и не стараться.

Твоё здоровье налаживается, слава Богу! Об Ириночке ты тоже пишешь, что она весела, играет, попивает молочко, славненькая, чистенькая. Ну уж если такая заботливая мамаша не находит ничего нехорошего, то можно быть спокойным <...>

Любопытно познакомиться хотя бы только на карточке с хвалёной твоей Хр.Ив. Что за чудо XX века! А всё-таки, Шурочка, говорит ли это чудо по-немецки? Было бы обидно, если нет.

Почему ты мне ничего не пишешь о результатах призыва врачей? Я ведь несколько раз запрашивал. Пойми, что на эти результаты я больше всего возлагаю надежду. Ведь хочется же верить, что скоро я буду у вас. <...> Неужели все призванные врачи только закреплены за своими постоянными местами, и весь призыв оказывается фикцией? Неужели этот вопрос в Москве никого не интересует, нигде не обсуждается? Неужели даже вы, жёны врачей, давно сидящих на фронте, не проявляете никакой инициативы, не возмущаетесь, даже не агитируете? Неужели этот вопрос так-таки похоронен?.. <...> Мало платонического желания вернуть нас с фронта. Любопытно хотя бы знать, в каком положении находится данный вопрос в настоящий момент. Нам надо, надо домой!..

Ноги у меня всё ещё слабые, хотя, в общем, чувствую себя уже совсем прилично. <...>

С фронта всё доносится грохот орудийной стрельбы. Хоть бы достреляться, наконец, до результата положительного!

А в Германии-то сдвиг!³ Нет, Шурочка, всё-таки до конца недалеко. А что ты скажешь по поводу событий в Петрограде?⁴ Наконец-то! Надо было дойти все-

¹ 25 июня состоялись выборы в Московскую городскую думу. Убедительную победу на этих выборах одержали эсеры, которые составили 116 из 200 гласных. В Московскую думу вошли также кадеты, меньшевики и большевики. Городским головой был избран эсер, врач по профессии В.В. Руднев, выразивший поддержку Временному правительству.

² Атаксия — нарушение координации движений.

³ 3 (19) июля Германский рейхстаг принял резолюцию о стремлении к миру без аннексий и контрибуций.

⁴ Провал июньского наступления на фронте и правительственный кризис обострили ситуацию в стране. 3–5 июля в Петрограде произошли массовые беспорядки. Сотни

му до логического конца. Если бы за компанию большевиков взяты пораньше, создали бы мучеников. Сейчас же выставили к позорному столбу и пригвоздили кучку негодяев, бандитов и глупцов. Это многих отрезвит.

Поцелуй дочку.

И[уфешти], 11 июля 1917 г.

Я сейчас ощущаю только боль и стыд... Под Тернополем наши землячки открывают фронт, не выполняют боевых приказов, «нестойки» в бою...¹ В Петрограде льётся кровь своих от своих же... Правительство разваливается... А тут у нас снова идёт наступление, берутся неприятельские окопы, и тоже льётся и льётся кровь во имя светлых идеалов, во имя грядущего братства народов мира, всего мира...

Что толку в этих сознательных жертвах, если там сзади в тылу предатели и изменники творят своё дело, а слепая масса им повинуется? Лучшие люди умирают, а подлые трусы остаются «творить новую жизнь». Мне стыдно! Неужели мы и в самом деле только мусор, только подходящее удобрение для пышного роста западноевропейской культуры? Неужели мы и в самом деле погибаем?..

Я ещё не потерял веры, не хочу её потерять. Но сознаюсь, тяжело становится верить. Почему так малодушно ушли кадеты²? Они не имели права уходить в такой момент. Почему уходит Львов³, Некрасов? Неужели Керенский и Церетели могут разорваться каждый на 20 кусков? Великие, святые они люди! Они — моя вера, моя надежда. Они докажут, что могут создать чистые и сильные люди, несмотря на всю нашу темноту. Они не уйдут, не умоют рук...

Прости, Шура, не могу я нынче ответить тебе на твой вопрос. Я, к сожалению, сейчас опять только гражданин, и как я не хотел писать тебе на гражданские темы, чтобы не огорчить тебя, не смог... Уж прости меня, Шура. Как тяжело жить, Шура, в наше бурное переходное время. Эпоха Наполеона, пожалуй, игрушка по сравнению с нашей. Хватит ли у нас нервов выдержать до конца? Увидим ли, как всё, наконец, разрешится так или иначе?..

Да, права мама: мы уже не доживём до счастливой мирной жизни. Нам суждены только бури, горе, страдания. Доживёт Ириночка. Для неё и её поколения мы страдаем. Они увидят плоды. Пусть хоть эта вера нас поддержит...

тысяч людей, в том числе вооружённые солдаты, рабочие и матросы, вышли на улицы с требованием отставки Временного правительства, передачи власти Советам и заключения мира, была применена сила с обеих сторон, пролилось много крови. Большевики предприняли безуспешную попытку воспользоваться стихийным антиправительственным движением и захватить власть. 4 июля Временное правительство ввело в Петрограде военное положение, начало преследование большевиков, расформировало взбунтовавшиеся военные части.

¹ Именно в этот день, 11 июля, Тернополь (Тарнополь), с августа 1914 г. занятый русскими войсками, был сдан неприятелю.

² Кадеты вышли из состава правительства в знак протеста против Декларации Временного правительства 2 июля по украинскому вопросу, в которой усмотрели превышенные полномочия в деле признания, хотя и с оговорками, автономии Украины.

³ Председатель Временного правительства и министр внутренних дел Г.Е. Львов (1861—1925) ушёл в отставку 8 июля, так как счёл для себя неприемлемыми демагогическую программу и диктаторские методы нового состава правительства.

И[уфешти], 13 июля 1917 г.

Уже в Германии начались новые настроения, уже лозунг «мира без аннексий и контрибуций» становился близкой реальной возможностью. Ещё небольшой натиск, небольшая демонстрация нашей устойчивости и непоколебимости, — и мы были бы у цели... И вот всё пошло прахом. Всем пришлось пожертвовать, может быть, на время, а может быть, и совсем. Слишком сильны центробежные разрушительные стремления.

Что нас теперь ожидает? Уже отменена часть свобод, уже введена принципиально смертная казнь¹ (и нельзя иначе!), уже фактически существует военная диктатура Керенского (я её приветствую!). Уже пришлось нашей революции сойти с такой чистой и прекрасной принципиальной позиции, уже пришлось примениться к обстоятельствам... Это тяжёлый удар по нашему самолюбию и не только по нему.

Эта проклятая война, которая нас душит, нас губит, из которой выйти мы никак не можем! Боже, когда же кончится это безумное разрушение и начнётся созидание! И в такое время, когда необходима интенсивная работа каждого из нас, чувствовать себя никому не нужным паразитом. Третий год!.. <...>

И всё-таки я веры не теряю! Ириночка будет жить в лучшие времена. Для неё наша эпоха будет предметом изучения в школе, — и только. Плоды увидит она, в мы едва ли доживём. Как тяжела сейчас жизнь, и как тяжела она будет в первые годы после войны! И всё-таки ни за что не променял бы я их на мирный покой и лёгкость жизни в годы до войны. Ни за что! <...>

Слабость в ногах как будто прошла. Здоров.

И[уфешти], 14 июля 1917 г.

Отвечу тебе на твой вопрос, ощущаю ли я Иринку, или нет. Конечно, Шурочка, не может она сейчас мне быть тем, чем она стала тебе. <...> Я же её видел только первые 10 дней, когда она была ещё комочком мяса. Мне не пришлось наблюдать её развитие, постепенный рост, появление осмысленности в движениях, взгляде и т. д. У меня нет и не может быть в настоящий момент личного к ней отношения. Ириночка пока, к сожалению, для меня почти только символ, и такой она для меня, конечно, останется до тех пор, пока я не поживу с ней и не послежу за ней хоть немного времени.

И[уфешти], 16 июля 1917 г.

Думали завтра перейти на новые места, но вот только что узнали, что остаёмся сидеть, где сидели. Впрочем, очень возможно, что мы с Сергеем Гавриловичем исхлопочем себе всё-таки переход в другое село. Здесь надоело. Всё равно штаб в трёх верстах, а в другом селе расстояние от него будет такое же. Посмотрим, завтра этот вопрос выясним. Впрочем, всё это малоинтересно.

Сегодня исполняется полгода со дня рождения нашей Ириночки... При других обстоятельствах мы бы отпраздновали этот день. Сейчас праздновать не при-

¹ 12 марта Временное правительство отменило смертную казнь, а спустя четыре месяца, 12 июля, с целью восстановления дисциплины и боеспособности армии вновь ввело её на фронте за убийство, разбой, измену и другие тяжкие преступления. 28 сентября действие этого постановления было приостановлено.

ходится. На душе и совсем не празднично. Кругом мрачные тучи, всё гуще надвигающиеся, всё чернее застилающие горизонт. И просвета почти не видно. 16-го января верилось в грядущую революцию, явно неизбежную. Было темно кругом, но чувствовалось приближение зари. А теперь? Что чувствуется? Неведомо всё. Есть ещё вера в отдалённое будущее, но нет уверенности в завтрашнем дне.

Хочется поверить хотя бы в близкий перевод в Москву, на смену. Хочется поверить в то, что как только снова разрешат отпуск, я первый поеду домой (так обещает Сергей Гаврилович). Хочется верить, но верится ли?..

Много ли я получу писем от матери или они скоро прекратятся совсем? Думаю, что прекратятся¹.

И[москуцени]², 18 июля 1917 г.

Я вчера не писал тебе. Мы провозились с Сергеем Гавриловичем, разыскивая на новых местах подходящую стоянку и укладывая вещи, а сегодня утром перебрались. Хата у меня симпатичная. Не знаю только, долго ли придётся здесь стоять. <...>

Ты снова доказываешь мне, что выезжать из Москвы нечего. Дорогая Шурочка, не уверяй меня больше в этом. Раз ты теперь находишь возможным оставаться в Москве, то, конечно, оставайся. Ведь почему я тебя уговаривал? Потому что из твоих писем мне стало ясно, что твоё положение в Москве невыносимо, что нет больше у тебя физических и нравственных сил бороться со всеми невзгодами. И что ты пересиливаешь себя, надрываясь... <...>

Теперь тон твоих писем стал другой. Ты нашла помощь. Христ.Ив. оказалась славным человеком. По-видимому, затруднения с пропитанием тоже не так непреодолимы — ты даже поговариваешь о возможности зажечь совсем буржуазной жизнью. Что же, конечно, я теперь тебя уговаривать не стану. Сиди себе в Москве, не теряй связи с клиником, больницей, приятями. Раз ты чувствуешь в себе силу бороться, то не нужно порывать со всем этим. Ириночка, конечно, первый свой год жизни с таким же успехом, как в деревне, проживёт и в Москве. <...>

Тебе вовсе не нужно убеждать меня, что мне необходимо кончить стаж в Морозовке. Я это знаю. Я только допускал одно время, под влиянием твоих писем, что этот стаж, это специализирование не удастся мне соединить с одновременным благополучием твоим и Ириночки, то есть всех нас, нашей семьи. А что для меня важнее? Конечно, моя семья. Ведь в ней моё счастье, а не в специализации! Это всё тот же эгоизм...

И[москуцени], 19 июля 1917 г.

Сегодня наездился и утомился. Был в интендантстве, где получал деньги. Был в штабе, где производились новые выборы в полковые комитеты. <...>

Эдит пишет, словно мы живём в глубоком мире. Не чувствуется даже тревоги. Она получила двухнедельный отпуск и уехала в деревню к двоюродной сестре

¹ Намёк на возможность сдачи Риги.

² Плоскуцени — село в 10 км севернее Пуфешти, на левом, восточном, берегу Сетрета.

Еве. Гуляет, играет на рояле, лежит на траве. «Это так приятно!» Скучно только то, что отпуск скоро кончится, и что на станции пересадки придётся просидеть всю ночь в ожидании поезда! Почему это я не получаю опять (!) отпуск? А дальше: тебе все шлют приветы и кланяются...

Шурочка, сегодня начинается четвёртый год войны. Очевидно, я стал совсем нехороший. Меня строки Эдит не радуют, а только злят. Я стал злой. Становлюсь уже не идейным, а самым грубым материальным эгоистом. Меня злит, что есть люди, которые кейфуют, прохладжаясь на травке, будь это даже сестра. Пройдёт это, Шурочка? Ведь скверно, если такая озлобленность останется на будущее время.

Меня злит, что в Москве сидят Ник.Ив-чи и Ив.Мих-чи, которым далеко не так необходимо сейчас быть там, как мне. Меня злит, что, очевидно, нет способов заставить и их почувствовать это и сделать отсюда выводы, что нельзя их вытащить нам на смену...

Вот они, наши нервы! Во что мы превратились! Эх, дети наши, дети, поймёте ли нас?

Эдит живёт в каком-то блаженном неведении, а ты чересчур остро переживаешь наши неурядицы. Ты перестаёшь верить в гениальность и здравый смысл русского народа! Народа, давшего Толстого и Достоевского, Репина и Левитана, Чайковского и Римского-Корсакова и т. д. и т. д.! На тебя производит удручающее впечатление «разоблачение» Ленина. (Между прочим, о разоблачении рано говорить. Я лично не верю в нечестность самого Ленина). Ты видишь преходящее, мелкое, но назойливое, бьющее по нервам, и как будто не замечаешь, что кроме разрушения идёт и процесс созидания, что кроме жуликов, есть и честные убеждённые люди, что тупой инерции масс противопоставлена проникновенная сила идеи, что кроме бездарностей у нас есть и крупные таланты. Процесс разрушения достиг своего апогея. Я вижу начало процесса собирания, строительства. Я всё-таки продолжаю глубоко верить в нашу Россию.

И[москвужени], 20 июля 1917 г.

У нас стоит несносная жара. Бельё липнет на теле. Разъезжать сейчас — пытка, пыль ест глаза. Но вообще-то в поле сейчас хорошо. Кукуруза местами с человеческий рост и выше. Виноград ещё не созрел, но гроздьё его уже большие. Его так много, что, пожалуй, он достанется ещё и нам. Другие плоды земные все съедены земляками ещё зелёными. Тут иначе, чем в Волыни. Красного мака я совсем нигде не видел.

Вот пришлось за войну познакомиться с разными краями, а дома всех лучше. Уж тут ничего не поделаешь. <...>

Ты пишешь о возможности приглашения тебя в Воспитательный дом¹. Конечно, не следует забирать слишком много работы. Это тебе будет не по силам. Но зато ты будешь иметь выбор, сможешь отобрать себе работу по душе и удобную в смысле распределения времени.

¹ Московский Воспитательный дом, построенный ещё при Екатерине II, в советское время Дом охраны младенца, спустя годы НИИ педиатрии АМН СССР, в котором много лет работала Александра Ивановна.

Ты понемногу входишь корнями во врачебную Москву, упрочиваешь свои связи. Как далеко это от меня! Я сейчас ничто, форменный нуль, никому как врач не нужный и ничего не знающий, всё позабывший... Бывший человек! Имеется ли ещё будущее? Настоящего нет. Скверное дело, Шурочка.

Я почему-то часто мечтаю о том, что вот после войны выпишу все вышедшие тома «Ergebnisse d.i. Medizin u. Kl.»¹ и буду читать, заниматься. Практическую работу я себе уже плохо представляю. А другой раз хочется только читать «Войну и мир» Толстого, — и больше ничего.

И[москвцени], 22 июля 1917 г.

Ты пишешь, что мы ведь имели право на свидание, и спрашиваешь, как его осуществить. Не знаю, Шурочка. Нравственное право видеть свою семью после трёх лет разлуки мы имеем все без исключения, не только я один. Отпуска сейчас разрешены только в случае удостоверенного местным общественным комитетом несчастья дома, как-то: тяжёлой болезни или смерти ближайших родственников. Но такой ценой я не желал бы вернуться в Москву... А врать, Шурочка, в этом вопросе я не могу. Придётся дальше нести свой крест. Уже полгода прошло с тех пор, как мы виделись в последний раз. А ведь терпим. Только как? Во что нам это обходится?.. <...>

Почтовая бумага на исходе. Что я буду делать?

И[москвцени], 23 июля 1917 г.

Письмо твоё почти большевистское. Ты там приглашаешь всех страждущих за родину здоровых мужчин из тыла отправиться на фронт. Дать бы «всю власть солдатским жёнам», пожалуй, мероприятия посыпались не менее решительные, чем если бы вся власть сосредоточилась в руках Советов рабочих и солдатских депутатов. Уж вы бы не постеснялись почистить тыловые Авгиевы конюшни. Да, по собственному почину, из любви к родине ни Скворцовы, ни кто бы то ни было не поступит ни пядью своих личных интересов, ни малейшей долей своего насиженного благополучия. Разве мы граждане? Всё это в более или менее отдалённом будущем. Сейчас только создаются условия для этого будущего. Личные узкоэгоистические интересы, конечно, берут верх. Ведь мы все обыватели и такими ещё долго останемся.

Ты думаешь, Шурочка, что сейчас и я, наверное, потерял свой оптимизм. Что есть оптимизм? Ты знаешь, что в победоносную войну для нас я не верю с ноября 1914 г., что с первых дней революции я в этом отношении поставил совсем скверный прогноз. Я тогда говорил, что наличный состав армии на фронте ещё исполнит свой долг, но пополнение, развращённое тылом, окажется, выражаясь мягко, не на высоте.

Так ведь и оказалось. Тут не может быть речи о крушении моего оптимизма. Его просто не было. Нам необходимо с грехом пополам дойти до худого мира. Но это возможно только со всеми воюющими. Надо как-нибудь дотянуть, и стараться дотянуть получше. Вот так я себе представляю дело.

¹ «Ergebnisse der inneren Medizin und Kinderheilkunde» («Достижения медицины внутренних органов и педиатрии»). Берлин, периодическое издание

Верю же я в то, что народ столь высоко одарённый, создавший великую национальную литературу, искусство и музыку, не может погибнуть зря, должен в конце концов найти в себе силу созидательную, творческую, организующую. Должен найти в себе и талант государственного строительства. Ведь у нас нет навыков, кроме подпольных, узкофракционных. Мудрено ли, что нам приходится сто раз ошибаться, прежде чем найти правильный путь, до всего доходить горьким опытом?..

Принципы же нашей революции чисты, достойны великого русского народа. Я вижу вполне логическое закономерное развитие событий. Я вижу, как силы творческие берут верх над силами разрушающими. Я вижу определённую основную линию, по которой идёт революция. К чему же мне терять свой «оптимизм»? Я наблюдаю ход истории. Всё идёт, как следует быть...

И[лоскуцени], 24 июля 1917 г.

Завтра мы опять переезжаем на новые места. Сегодня уже ездили с Гаврилычем и высматривали себе помещение. Вечно странствующие... <...>

Мать пишет, как всегда, подробно обо всём. В общем, мало весёлого. Отец хвораёт лёгкой дизентерией. Жизнь становится всё дороже и дороже. Перспективы будущего мрачны. Зато наконец-то Лени хорошо поправилась, потолстела, а температура её постоянно ниже 37°. Давно пора. Эдит безмятежно провела две недели в деревне и столь же безмятежной вернулась. Есть такие счастливые натуры. <...>

Опять доносится гул орудийной стрельбы. На этот раз пытаются наступать они. Боже, когда же, наконец, можно будет забыть о том, что была война, был ужас...

Гомосца¹], 27 июля 1917 г.

Чувствую себя неважно. Стоит большая жара и ужаснейшая пыль по дорогам. От этой пыли я схватил неприятнейший насморк и ларингит. Голова тупая, тяжёлая. Настроение скверное. На душе тоже тяжело. В непосредственной близости от нас уже несколько дней идёт упорный бой. Гул артиллерии несмолкаемый. Положение довольно тревожное. Что будет завтра, и где мы будем?..

Третьего дня мы переехали сюда, ближе к горам. Наша хата (мы поместились опять вместе с Сергеем Гавриловичем) стоит на краю небольшой горки, откуда, однако, открывается чудеснейший вид на окрестности и отчасти в долину, где идёт бой. Видны разрывы неприятельских снарядов, гулко раздаётся эхо. Увидеть бы, наконец, мирные картины!..

От тебя всё ещё нет писем. Газеты также запаздывают. Некоторые наши внутренние новости мы раньше узнаём из германских радиотелеграмм!

Устал я от всего ужасно. Была бы хоть апатия, равнодушие, но этого нет. Мне не безразлично, что кругом творится. Мне больно...

¹ Гомосца — (ныне город Хомосеа?) город в 17 км севернее Пуфешти на левом, восточном берегу р. Серет, напротив города Аджда.

[Мосца], 29 июля 1917 г.

Идёт непрерывный бой. Положение тревожное. Возможен сегодня же наш уход отсюда. Снаряды рвутся уже недалеко на горке. Вчера мы вчетвером (Гаврилыч, Вас. Мих., Женья и я) поехали смотреть бой. Были на наблюдательном пункте батареи. Должен сознаться, что мало понимал, что передо мною творилось. В общем, каша какая-то. А когда противник начал обстреливать батарею тяжёлыми снарядами, и чемоданы стали падать уже совсем недалеко от нас, а раз даже осыпало осколками, я дёрнул Гаврилыча за рукав и напомнил ему, что у него есть жена и ребёнок, которым он ещё понадобится. В общем, война, лишний раз я в этом убедился, скверная штука, «нуи бун», выражаясь по-румынски. <...>

Получил вчера от тебя два письма. <...> Написал нам вчера и Сергей Михайлович. Между прочим, он пишет, что «Краузе я всё-таки надеюсь устроить в Москве». Дай-то Бог! Шурочка, ты только подумай, какое это было бы счастье! Мне даже не верится, что это возможно. Я изверился, я так устал. Мне решительно всё равно, какое я буду получать жалованье в Москве, буду ли голодать, буду ли завален работой или нет. Мне нужно быть опять с вами, опять в культурной обстановке, далеко от войны. Я так ненавижу её!..

И всё-таки, Шура, я не понимаю, как ты можешь говорить о «жалком лепете, что войну надо продолжать» и т. д. А как ты её закончишь? Укажи путь. По-большевистски бросить оружие и уходить в тыл? Это не выход. Чувства чувствами, а руководиться приходится не только ими. Разве Керенский и Церетели стали бы продолжать войну хоть один лишний день, если бы это было возможно не делать? Конечно, нет. Уж такова наша проклятая доля.

Ты, Шура, пишешь о представившейся возможности снять квартиру, хотя и мало удобную. Конечно, нужно брать. Если всё-таки ты найдёшь лучшую (всё может быть), ты всегда сможешь её передать кому-нибудь. Я хочу квартиру, а не комнаты.

Почему ты мне ничего не пишешь, предпринимаешь ли ты какие-нибудь шаги, чтобы получить у воинского начальника недоданные 300 рублей? Ты мне так плохо отвечаешь на вопросы, так редко откликаешься... Ириночку поцелуй.

[Москуцени], 4 августа 1917 г.

Сколько дней я не писал тебе, Шура! Последний раз, кажется, 29-го июля. В тот же вечер нам пришлось спешно переехать опять сюда в П[*Москуцени*], где мы стояли уже одну неделю. Все эти дни на нашем фронте шёл жестокий бой с переменным успехом. Настроение временами было тревожное. Лазареты, интендантство и почта переведены за реку С[*ерет*], и все эти дни мы не получали ни писем, ни газет. Сегодня наконец сообщение восстановлено, и я получил от тебя три письма <...>. Сегодня стих бой.

Прежде всего — ты нашла квартиру! Ура! Этим ты меня страшно обрадовала. Жаль только, что не сообщаем все подробности, когда переезжаешь и т. д. Хочу также скорей узнать точный адрес, чтобы писать тебе к моменту переезда уже на новую квартиру. Огорчила же ты меня словами о том, что будто бы с горечью думаю, что приходится мне высылать вам деньги, а вы пользуетесь удобствами. Не должна была бы ты так писать, и я не заслужил этого. Ведь верно? Ну, Бог с тобой. <...>

Ты пишешь о том, что месяца через два-три ты подашь прошение о переводе твоём на моё место. Это, конечно, ерунда, Шурочка. Да неужели ты в этом видишь выход из положения? Неужели мне будет легче вместо тебя сидеть в Москве, а ты опять будешь далеко? Чудачка ты, ей-богу. А всё-таки хороши наши «товарищи», не переводящиеся на фронт. Я даже думаю, не написать ли в Морозовскую больницу всем товарищам письмо с комментариями к статье Жбанкова во «Власти народа» об «уклоняющихся врачах»?¹ Реагировать реально они, конечно, не будут, но пусть хоть услышат голос с фронта, может быть, по ночам иной раз и почувствуют некоторые угрызения. Позор им! Если нельзя сменять офицеров, то ясно, что не надо сменять и врачей. Аргумент! Пусть правительство призывает. Тоже аргумент! Стыдно!

М[осквлянин], 5 августа 1917 г.

Как часто в твоих письмах встречается слово «страдать». Забота об Ириночке — страдание, все теперь вообще — страдают, и т. д. и т. д. Торжествуя ты констатируешь, что и я теперь стал пессимистом. Не наклеивай на меня ярлык, Шурочка. Всё-таки и сейчас я отвергаю пессимизм. Не по мне он. И если ты к моим словам, что тяжело жить, прибавляешь «и главное, беспросветно тяжело», то я убеждённо отвергаю это «беспросветно». Если бы я когда-нибудь дошёл до убеждения в беспросветной тяжести жизни, я бы застрелился или повесился. Но я убеждён, что это со мной никогда не случится.

Да, тяжело жить сейчас, но надо перетерпеть, перестрадать (опять: страдать!) до лучших времён, которые, несомненно, наступят. Надо готовиться к ним, не растрчивать к этому часу свои душевные силы — пригодятся ещё... То же и в политике. Разве можно было бы жить и работать в теперешней России, не веря в будущее? Конечно, нет. Нужно работать, нужно каждому в узких своих пределах (скучно сказано!) честно служить общему делу. И в том-то и беда моя, что у меня здесь нет никакого дела, и ничем я служить не могу... Но это моё личное горе, и оно, конечно, не заставит меня разочароваться во всём и во всех. Я верю в величие России и от этой веры, конечно, не откажусь.

Ты пишешь о Карлушке. Спасибо тебе, дорогая, за этот ответ, который ты дала от меня и себя. Только я не думаю, что они его пришлют к нам в Москву. Да боюсь, что он и не устроится здесь. Ведь наплыв на медицинский факультет огромный, а он, к тому же другого учебного округа. Вероятно, и в Москве его не примут.

Тесно вы будете жить, Шурочка! Ещё чего доброго для меня места у вас не найдётся. Ну, ничего, ещё немного потеснитесь. Мне ведь много не нужно. Я теперь не очень-то избалован.

Неужели Христина Ивановна такая славная, что не предъявляет никаких претензий? Дай Бог ей за это доброго здоровья. И Соня хорошая. Передай ей мой привет и уверенность, что скоро мы с ней будем добрыми соседями.

¹ Жбанков Дмитрий Николаевич (1853—1932) — видный деятель земской медицины, секретарь и член Правления Пироговского общества (Общества русских врачей в память Н.И. Пирогова), автор много численных работ по общественной медицине.

П[лоскуцени], 6 августа 1917 г.

Ты «всё-таки не совсем понимаешь», почему у нас прекращены отпуска, которые ведь поддерживают дух. Шурочка, отпуска в последнее время, несомненно, не поддерживают духа, а просто окончательно расшатывают дисциплину. Ведь одновременно в отпуск отпускали 7%, а фактически и того больше. Многие совсем не возвращались или приезжали с опозданием. Всё это сходило с рук за недостаточностью дисциплинарной власти начальников, и разруха в армии продолжала усиливаться. А ходить в бой, зная, что через несколько дней или недель очередь ехать в отпуск, дано не всякому. И тут сказывалась наша некультурность, невоздержанность. Пришлось волей-неволей прекратить отпуска, чтобы армия окончательно не растаяла.

Да, я думал, что к этому времени я уже буду у тебя, а вот не пришлось. Всё это неизбежно, и изменить я тут ничего не могу. В случае, если вновь откроются отпуска, мне, вероятно, придётся ехать первому. Но я всё-таки надеюсь, что раньше состоится мой перевод в Москву. Я просто не могу себе представить, чтобы мне и грядущую зиму пришлось сидеть не с вами. Это не может быть. Есть тут славные люди, с которыми мне жаль будет расставаться, а жить с ними ещё год мне кажется самой тяжёлой каторгой.

Нет, вы там, в тылу должны же, наконец, организовать смену. Это будет, хотя и поздно, как всё у нас.

П[лоскуцени], 14 августа 1917 г.

Я тебе опять не писал несколько дней подряд. Прости меня, родная. Мне так тяжело, что ни за что не могу взяться, даже за письмо тебе. <...> Хожу я мрачный и угрюмый, на всех огрызаюсь. Злой я ужасно. Матери тоже не писал уже недели три! Чувствую, что вновь приближается прошлогодний период настроения духа. Скверно.

К тому же опять начинаются после краткого затишья последних дней бои, которые тоже действуют на нервы. А вчера вечером мы проводили 29-й отряд, уходящий из нашего корпуса совсем в армию. К нему мы последнее время очень привыкли, они к нам тоже относились хорошо. Также жаль было их уступить. Одно к одному. И в итоге — на душе скверно, скверно.

К счастью, я вчера получил следующие твои два письма. <...> По крайней мере узнал, что ты снова поправилась. Да и общий тон этих писем всё-таки не такой безнадежно грустный. <...> Но я совсем хорошо тебя понимаю, когда ты пишешь, что тебе непонятна психология людей, толпящихся у кинематографов, нарядных дам и праздных шатунов. Теперь, на четвёртый год войны, после потрясений революции, когда государство стоит перед крахом, и правительство призывает все живые силы страны спасти родину, — теперь я нахожу преступным всякое стремление к удовольствиям, забавам. На месте правительства я теперь безжалостно закрыл бы по всей стране все театры, кинемо, рестораны и т.п. Я знаю здесь людей, которым невообразимо тошно становится, когда они читают в газете публикацию о каком-нибудь «Пупсике» или «В чужой постели»! Ведь это издевательство над нами здесь. Невыразимо тошно становится мне также, когда я вспомню встречу, устроенную нам в январе Николаем Ивановичем [Скворцовым], с ассистенткой, рябчиками и т. д. Противно всё это. Если мне

будет суждено скоро вернуться в Москву, я товарищей не пощажу. Уж это как пить дать! Наслушаются горьких истин. По-видимому, Сергей Иванович разделяет более или менее моё настроение.

Тебя, Шуручка, удивляет, почему я не жалуюсь на солдат. Очень просто. Поэтому, что ничего слишком плохого от них и у них не вижу. Их грехи — это наши общероссийские грехи: темнота, привычка делать всё из-под палки. Они в этом отношении далеко не худшие. И были бы они ещё лучше, если бы ваш ужасный тыл не развращал их систематически. В общем, это те же дети — их нужно воспитывать, а не сердиться на них и сваливать на них собственные грехи. Я знал бы, что ответить вашим Борисам Абрамовичам!..

За обещанную почтовую бумагу спасибо. Может быть, вышлешь и кой-какие книги из заказанных мною весной?..

П[лоскуцени], 16 августа 1917 г.

Ещё третьего дня вечером неприятель начал обстреливать из дальнобойных (не меньше 12 вёрст!) орудий наше П[лоскуцени], причём первые три снаряда легли совсем поблизости от нашей стоянки, так что осколки сыпались на наш двор. Я тотчас же со своим отрядом выбрался в другой край села, где и переночевал, а вчера с утра мы стали себе искать более подходящую стоянку и нашли её за окраиной села среди виноградников, где оказалась маленькая хатка без окон и дверей. Туда перебрались мы и Гаврилыч со своим отрядом. Штаб остался на месте.

Здесь хорошо и привольно. Некоторые сорта винограда уже созрели, и мы их уничтожаем в порядочном количестве. Одно хоть удовольствие осталось в жизни, которым пользоваться не совестно.

Вчера же днём, только что мы устроились на новом месте, пришлось нам с Гаврилычем поехать на совещание врачей, где и провозились до вечера, вернувшись домой поздно. Между прочим, на этом совещании было решено отправить меня с отрядом опять временно в распоряжение интендантства, так что я, вероятно, на этих днях расстанусь со штабом. Я ничего не имею против такого временного перехода. Думаю воспользоваться этим временем для некоторого урегулирования хозяйственных дел отряда, чистки и обновления. Может быть, и на душе, после перемены обстановки или, вернее, ближайшей среды, станет немного спокойней. <...>

У нас бои на фронте идут снова ожесточённые. Кровь льётся широкой рекой. «Пядь за пядью», но во сколько обходится каждая пядь! Бессмысленный ужас, позор нашего высококультурного века! Вот папа римский снова обратился с воззванием к правительствам начать же, наконец, выяснение того, что каждый желает себе заполучить, ради чего воюет¹. Но, очевидно, и эта попытка всё ещё преждевременна, всё ещё берёт верх ненависть, озлобление и ослепление.

¹ Во время мировой войны римский папа Бенедикт XV неоднократно выступал с миротворческими и гуманитарными инициативами. 1 августа 1917 г. он обратился к правительствам воюющих держав с призывом прекратить кровопролитие и начать переговоры о мире.

А природа сейчас такая восхитительная! Стоит жаркая, знойная погода. Кругом сочные поля кукурузы и необработанные в этом году виноградники. Чётко обрисовывается вдали высокий горный берег С[ерета], а впереди далеко знаменитая высота №..., находившаяся всю зиму в руках противника, стерегущая всю нашу долину между горами и рекой. Оттуда он всё видит.

Как тихо красиво ночью при луне на нашей даче среди винограда! И каким грубым диссонансом, пощёчиной природе, звучит далеко слышное шипение и тяжёлое железное кряканье гостинцев, которые «он» бросает нам в село аккуратно через каждые полчаса. А утром вспыхивающий по всему фронту ураганный огонь... Ведь это же оскорбление человечества, его достоинства!..

Вот сегодня я писал тебе только о себе. Ты довольна?

П[лоскуцени], 17 августа 1917 г.

Сообщение с наружным миром опять затруднено. Живём отшельниками здесь на своей «даче». Наши люди блаженствуют среди кукурузы, винограда и овощей. Хозяев нет. Наконец-то настали для них времена, когда можно питаться, не считаясь с казённой нормой, в полное своё удовольствие. Недолго им придётся, пусть пока покормятся!

Бой сегодня как будто стихает, но положение тревожное. Мы все начеку...

Вот так мы тут живём в культурном XX веке! Сами не то охотники, не то дичь... Где же культура, Шура?

Я тебе недавно, вот когда несколько дней не писал, отправил коротенькую телеграмму: жив и здоров. А ещё раньше, кажется, послал 700 рублей (за июнь и июль) ещё по старому адресу. Получила ли?

Я опять живу в полном разладе со своей кассой. Не знаю, сколько у меня денег, да и есть ли какие. Кажется, уж ничего решительно не трачу, а расходы всё-таки есть. И откуда берутся? Ну, вот попаду на днях в интендантство, тогда всё приведу в порядок. Пора этим заняться. А то и в самом деле переведут вдруг в Москву, а у меня задержка... Ведь можно тогда умереть со злости. А когда же меня переведут?..

Вот Ириночка уже совсем большая, стоит на ножках, хохочет. А я с ней всё ещё не знаком. <...> А всё-таки хорошо, что хоть при мне родилась, а не после моего отпуска, как тебе тогда хотелось. <...>

Стоит жара. Тишина в воздухе. Красота кругом. Жить бы людям в мире и наслаждаться благами природы! А вот увидишь, настанет время, и поздние поколения с гордостью будут читать о нашем «героическом» времени, о подвигах своих предков. Всё относительно на этом свете. Суета сует!

П[лоскуца], 25 августа 1917 г.

Я такой нехороший, моя Шурочка, и я знаю, что ты мне не простишь, и всё-таки попрошу тебя быть снисходительной. Я не писал тебе, кажется, целую неделю! Небывалый раньше случай. Но и настроение, состояние духа у меня ведь тоже небывалое.

Дня 2–3 не писал тебе из-за убийственного настроения, а 20-го пришлось выехать по делу в гор. Б[ырлад], где застрял вместо полутора на трое суток. А от-

туда вернулся опять в П[лоскуцени], где вчера и пробыл, и где только узнал печальную весть о сдаче Риги¹...

Отряд свой я ещё 20-го числа отправил сюда в П[омосцу]. А сам приехал сюда только нынешней ночью. Теперь я тут разложился и устроился, и настроение стало лучше, покойней. <...>

И такое усталое, безжизненное письмо я пишу тогда, когда только что узнал об отдаче Риги, когда неизвестна судьба родителей, братьев и сестёр, когда ты мечешься там в Москве и не находишь себе покойного места, когда даже ближайшее будущее покрыто тяжёлым мраком... Но что я поделаю? Я устал.

П[омосца], 27 августа 1917 г.

Вчера утром занимался канцелярией, а после обеда уехал в управление интенданта за разрешением ряда вопросов. Оказывается, что мы опять уходим. Завтра вёрст на 30 ещё передвинемся к северу. Может быть, хоть теперь дадут возможность несколько отдохнуть нашему корпусу. Уж лишком он истрепался в последних боях. А там, куда нас бросят? Не на Северный фронт ли? Или нам суждено оставаться в богоспасаемой Р[умынии] до конца войны?

Мне теперь всё равно. Единственное, к чему я стремлюсь всей душой, это возвращение в Москву, хотя пока ещё не представляю себе, на какие средства мы там проживём, раз даже сейчас, когда в твоём распоряжении имеется месячный доход свыше 550 р. (около 600 р.?) у тебя ничего не остаётся про запас. А ведь я знаю хорошо, что ты живёшь скудно, не трата лишнего.

Чем вы там сейчас вообще питаетесь? Норма хлеба у вас уже ? фунта [205 г]! Нам тоже снова сократили все рационы, и мы теперь получаем тоже только полтора фунта хлеба, а крупа уменьшена с 24 зол[отников] до 8 зол. [34, 1 г]! Да и «крупа»-то почти только кукурузная. Сейчас нас поддерживают овощи, которых пока много. Но что будет зимой, когда мы будем зависеть только от подвоза? Что станет с нашими лошадьми, уже сейчас, несмотря на пашню, истощёнными?.. Как вы там проживёте зиму в Москве?

Много зловещих вопросов... И неужели бойня народов будет продолжаться? Не верю я этому, не хочу и не могу верить. Ещё немного, и начнутся переговоры, начнутся стихийно, ибо нет уже физических сил у народов...

Ты удивляешься, почему я не выражаю никакой тревоги за судьбу оставшихся в Риге родных. Почему даже не упоминаю о них? — Я и сам удивляюсь, но должен констатировать глубокое моё равнодушие и безразличие. Тебе уже говорил: одна у меня мысль — попасть в Москву. Я готов сидеть в Москве в голоде и холоде, работать по 20 часов в сутки, но только при условии быть с тобой и Ириночкой и работать по специальности. Не могу я больше переносить фронт. Я должен, наконец, опять вести осмысленную жизнь. Прозывать так зря мне больше не по силам.

Три дня назад нам писал Сергей Михайлович. Вопрос о смене врачей глубокого тыла он считал по своим сведениям безнадежным. Здесь, однако, из армии получены достоверные сведения, что на днях произойдёт широкая замена нас здесь тыловыми коллегами, что карточки наши в Питере уже разобраны, и

¹ Рига была сдана 21 августа.

почти все желания удовлетворены! Сведения эти поступили в Санитарный отдел армии. Дай-то Бог! Пусть на этот раз Сергей Михайлович окажется напрасным пессимистом.

*Д[рзгешти]*¹, 31 августа 1917 г.

Думаю, что теперь постоим на одном месте подольше. Завтра устроюсь, наладжу свою деятельность, тогда снова буду тебе писать регулярно. Теперь мы здесь на отдыхе между городами А[джуд] и Б[акзу], в тылу города О[нешти], где мы стояли в прошлом году. Тут мы находимся на краю гор. Наша деревня в долине. Соседние деревни тоже в долинах, отделённые невысокими гребнями. Места тихие и живописные. Я теперь числюсь за интендантством и стою около хлебопекарни. Сергей Гаврилович от меня верстах в пяти-шести. Как нарочно, нам пришлось разойтись в такое тревожное время, когда, наоборот, следует теснее сплотиться.

Сильно будоражило всех предприятие Корнилова². В штабе старались было сначала скрыть телеграммы Керенского³. Однако они были получены по радиотелеграфу. Безусловно верны Временному правительству, кажется, только Сергей Гаврилович, я и Женья. Все офицеры нашего штаба не скрывают своих симпатий Корнилову. Характерно, что третьего дня при перевыборах полкового комитета Сергей Гаврилович и Женья, бывшие членами его (С.Г. — председатель!), получили только по 4 голоса, провалились с треском, и избран новый, «Корниловский» состав офицеров. Не понимают эти люди, что они шутят с огнём. Ведь в солдатских массах вновь вспыхивает не только недоверие, но и озлобление против офицерского состава. Не видят они, что сидят на вулкане... Могут доиграться, как доигрался уже, по-видимому, сам Корнилов. Какие слепые они политики! Как лишены всякого чутья!

Нет у нас ещё никаких известий из России, но хочется верить, что авантюра Корнилова и Союза офицеров при Ставке⁴ не встретит нигде сочувствия, даже в рядах партии испугавшихся интеллигентов. Ведь эта авантюра обречена явно не неуда-

¹ Деревня Дрзгешти в 13—14 км севернее Гомосцы, вблизи восточного берега р. Серет.

² 27—31 августа генерал от инфантерии, верховный главнокомандующий *Лавр Георгиевич Корнилов* (1870—1918), опираясь на верные ему части, предпринял неудачную попытку принудить правительство к установлению твёрдой власти и предотвратить разрушение российского государства («Корниловский мятеж»). Один из создателей Добровольческой армии на Дону. Назвать действия Корнилова попыткой установления военной диктатуры можно с оговорками, так как он не собирался брать на себя всю полноту власти, а намеревался предоставить её правительству нового состава. При этом он согласовывал свои действия с Керенским.

³ Хотя действия Корнилова были заранее согласованы с Керенским, министр-председатель 27 августа оповестил страну об «измене» Корнилова делу революции. Телеграммой он потребовал, чтобы Корнилов сдал должность начальнику своего штаба и немедленно прибыл в Петроград.

⁴ Союз офицеров армии и флота при Ставке верховного главнокомандующего — самая массовая офицерская организация, образованная в мае 1917 г., всецело поддерживала требования, предъявленные Корниловым Временному правительству и направленные на ликвидацию анархии в стране и в армии.

чу. Неужели это не ясно? Твёрдо надеюсь, что введённый Корниловым же военно-революционный суд¹ докажет ему, что восставать против законного правительства преступно не только для солдата, но и для верховного главнокомандующего. Пусть понесёт он заслуженную кару, чтобы впредь другим повадно не было. Я начинаю верить, что даже столь быстрый отход наш от Риги задуман всё тем же Корниловым в видах устрашения страны. Тупость и преступность наших генералов безгранична. Не должно быть таким людям места в армии. Несчастливая страна! Когда же, наконец, восторжествует элементарная честность! Да здравствует Керенский!

Д[рзгешити], 1 сентябрь 1917 г.

Теперь буду писать тебе более регулярно, моя Шуручка. Кажется, наконец, устроился попрочней. Если только нас всех не возьмут опять на фронт.

От тебя получил за последние дни снимок, где Ириночка сидит на горшочке. Ты его считаешь неудачным, а я его нахожу прелестным. Не беда, что вы обе двигались в момент съёмки, зато вы вышли удивительно естественно, особенно наша девочка. Реализм переходит в натурализм. Мне этот снимок нравится гораздо больше, чем фотографии специалиста. <...>

О переводе ничего не слышно, отпуска всё ещё запрещены и, вероятно, не скоро возобновятся. Кругом темно... <...>

Об авантюре Корнилова тут ходят фантастические слухи, будто бы около ст. Луги идёт бой с его войсками, которых он набрал 120 000 человек. Я этому не верю. Это невозможно. Его затея обречена на гибель, нежизненна, не имеет корней в армии. Его дни сочтены.

Как мы здесь отстаём от всех вас!..

Д[рзгешити], 2 сентябрь 1917 г.

Четвёртая годовщина...² И все они проведены в разлуке, на войне... Не могу я поверить, что и пятая годовщина будет подобна этим четырём. <...>

А где моя родня? Что случилось с ними в Риге? Живы ли?.. По газетным известиям, Рига в последний день сильно пострадала, наполовину сгорела; много убитых и отравленных газами среди жителей... Когда мы получим весточку оттуда, хоть несколько слов?.. А что будет с Витюшей?³ В предстоящих боях он имеет ничтожный шанс остаться целым и невредимым... Может быть, он уже лежит в каком-нибудь госпитале?..

Было тяжело в 14-м году, но каким пустяком кажется сейчас эта тяжесть! Сначала медленно, потом всё скорее нарастала она, а сейчас становится уже совсем непосильной, чрезмерной. <...>

Уже наступает осень, и дни становятся прохладными. Неужели к первому снегу я всё ещё буду далеко? <...> Кругом темно, как никогда. На душе тяжело, как никогда. Во что верить, на что надеяться? А нельзя жить без веры, без надежды...

¹ Военно-революционные суды при дивизиях были введены по настоянию Корнилова 12 июля, одновременно с восстановлением смертной казни.

² Вновь годовщина признания влюблённых.

³ Виктор, младший брат Ал.Ив., находился в армии, в районе Риги.

Д[рэншты], 4 сентябры 1917 г.

По газетам выходит, что Рига почти сутки находилась под артиллерийским обстрелом, да ещё частью химическими снарядами. Но это ещё полбеды. Если они сидели дома, то все шансы за то, что они остались невредимы. Но скверно то, что, как оказывается, и этот отход сопровождался обычным уже при нашей культуре погромом. Вот это меня очень сильно тревожит. Ведь это же сплошной ужас! Обнадёживает меня несколько то, что всё-таки громадный город весь не разгромишь, что пострадали, вероятно, главным образом магазины, и что родные живут в верхних этажах большого дома. Но когда мы получим весточку от них? Может быть, придётся ждать месяцами. Может быть, об их судьбе узнаем только по окончании войны. Во всяком случае, нам едва ли придётся их навестить с тобой по заключении мира, и неизвестно ещё, когда ты с ними познакомишься...

Ты пишешь, моя Шурочка, что ждёшь меня для совместного страдания... Вся душа моя протестует против этого. Я не хочу больше страдать. Я страдаю оттого, что не живу, а прозябаю. Если я буду опять с тобой, если буду работать, если буду в культурной обстановке, я буду *жить*, а жить и страдать для меня далеко не одно и то же. Жизнь сама по себе радость, а не страданье. Страданье — это всё то, что мешает нам жить, что не даёт нам проявить все те дарования, которые заложены в нас природой. Страданье — элемент привходящий, посторонний, по существу чуждый жизни. Нет, Шурочка, не хочу я больше страдать, когда вернуться к вам. И не буду! <...>

Я тебе вчера выслал 350 р. Почему не отвечаешь, была ли у воинского начальника и выяснила ли квартирные? Ведь так мы теряем 300 р.! Не следует. Пока от тебя посылки нет.

Д[рэншты], 5 сентябры 1917 г.

Опять нет письма. Нет также до сих пор последних писем из Риги. Последнее от них — секретка от Эдит, от 25 июля. Не может быть, чтобы они почти целый месяц совсем не писали. И непременно мать постаралась ещё до 20-го, перед сдачей города, послать мне через кого-нибудь последнюю весточку. Я жду с нетерпением. Неужели ничего не дойдёт до меня? Так тревожно на душе. Хочу и от тебя, наконец, услышать, что ты переехала на новую квартиру, что ты не мытарствуешь более у чужих.

Революция наша уже справила свой полугодовой юбилей, уже, говорят, у нас объявлена республика, а я ещё ни разу не был в новой России и знаком с ней только по газетам и твоим письмам. Если дело так пойдёт дальше, у нас, в конце концов, вновь воцарится какая-нибудь «бледная тень», и я приеду в отпуск опять в империю, не видав ни республики, ни свободных граждан... Я не хочу оставаться лишь газетным наблюдателем!

Гаврилыч такой же несчастный. Через два дня он, однако, посылает одного своего человека в Харьков за морскими свинками, и тот заодно заедет и к нему в Лебедин. Он жене и дочке посылает румынских гостинцев: несколько кочанов спелой янтарной кукурузы, ветку с растущими на ней грецкими орехами, просто тех же орехов, и немного отборного винограда, а также бутылочку-две местной «цуйки», вроде галицийской сливовицы (водки из слив). Если достанет, то по-

шлёт и бутылочку молдавского вина. Мы его недавно пробовали; штука чрезвычайно вкусная — ароматная, сладкая и крепкая. Осенью в Румынии жить можно недурно. Овощей и плодов земных в изобилии.

Зато к тому же времени появилась здесь новая напасть и в последние дни принимает весьма обширные размеры — это какая-то, инфекционная, по-видимому, желтуха. К счастью, она протекает сравнительно легко и, кажется, смертных случаев не было совсем. Из моих 13 человек заболело трое! Отправили мы недавно с той же желтухой и Екатерину Константиновну. Хворают и офицеры.

Занялся ею Сергей Гаврилович. Хочет определить её бактериологически. Для этого ему и понадобились морские свинки. Мы теперь все при встречах проверяем друг у друга глаза — не началась ли? Интересно.

Д[рзгештти], 6 сентября 1917 г.

Сегодня был на почте и там получил от тебя вскрытое военной цензурой в Смоленске (!) письмо от 14 августа. Лучше поздно, чем никогда. Может быть, дождусь и письма из Риги. А жду я этой последней весточки, не дождусь... <...>

Ты опять пишешь о пресловутом призыве врачей. Оставим это. Обидно мне то, что навсегда останется горькое чувство по отношению к таким, в общем, славным людям, как Иван Михайлович и Николай Иванович. Я им не смогу простить никогда, что они четвёртый год находятся дома, когда мы от всех, от всего оторваны... Неужели Ал.Ал. Воронков¹ до сих пор ещё сидит у себя в деревне в Рязани? Ведь это было бы явной насмешкой над нами. И главное, сидят люди дома и не ценят этого, не сознают, как много им дано, как богаты они. Разве, вернувшись теперь домой, я смог бы заразиться пресловутой психологией тыла? Прежде всего, нажива. Дери с кого попало, и побольше. А затем удовольствия и развлечения во что бы то ни стало, какой угодно ценой... Полное забвение об общих нуждах государства, о котором мы здесь, видит Бог, больше думаем, — и да здравствует мой личный мелкий эгоизм!

Во всех грехах армии виноват только тыл, — говорю это убеждённо. Не ему нас ругать и поносить, на себя бы оборотиться. О, как я ненавижу сейчас ваш тыл, хоть и знаю, что многим и там плохо приходится, и как я стремлюсь именно туда, в далёкий тыл!

Старая уже тема. Прочёл и выругал себя: чего ноешь! А что же поделаешь, когда душа ноет?

Д[рзгештти], 7 сентября 1917 г.

Мотался весь день по жаре (у нас днём жарко, а ночи прохладные) и устал изрядно. Вернувшись домой, писем не нашёл ни о тебя, ни из Риги. Есть только несколько строк от двоюродного брата, навестившего меня в июле в П[уфешты]. За две недели до сдачи Риги он был там, видел родителей. Ввиду полной нашей отрезанности от родных, он предлагает нам теснее сплотиться и просит меня навестить его в Б[ухаресте?]. Едва ли мне это, однако, удастся.

¹ Воронков Алексей Алексеевич — ассистент Морозовской детской больницы, приятель Ал.Ив. и Фр.Оск.

Шурочка, понемногу разбираю последние остатки запасов почтовой бумаги, но скоро они исчезнут окончательно. Тогда придётся писать, на чём попало. Жду обещанной посылки, но её пока ещё нет. <...>

Господи, хоть бы ты выбралась, наконец, в свою новую квартиру! Большой и неприятный для меня неожиданностью было то, что хозяин квартиры сохраняет за собой комнату. Сколько же комнат приходится на твою долю? И как вообще устроена квартира? В каком доме? Какое освещение?

Знаешь, Шурочка, мне очень хотелось бы (платонически) переехать после войны совсем в деревню... Вначале войны я её ещё боялся немного, потом привык, потом убедился, что в ней можно жить хорошо, а сейчас так я даже не хочу жить в городе и тянет подальше от людей, на лоно природы. К сожалению, у нас редко умеют в деревне культурно устраиваться. Вот в Галиции или даже в Румынии в интеллигентных домах в деревне (у врачей, духовных, учителей) совсем культурная городская обстановка, даже с комфортом. А у нас кругом дико и в доме дико. Мы с тобой и в деревне устроили бы себе маленький культурный центр, мне не страшно. Вся беда в том, что нам по теперешним временам не найти в деревне работы по душе. Придётся маяться в городе, ничего не поделаешь. <...>

Д[рзешити], 9 сентября 1917 г.

А у нас стоят чудные дни бабьего лета. Ясность и прозрачность воздуха удивительная. Тишина кругом. Изобилие плодов земных. Хорошо! Я теперь знаю, на какой срок лучше всего брать отпуск. Конечно, не в июне или в жарком июле. А у нас, в наших краях, только во второй половине августа и в сентябре. Тогда нет уже и скучных дачников, портящих своим присутствием каждый уголок. Вот я теперь мечтаю об отпуске из Морозовки, а нет ещё отпуска к тебе отсюда с фронта... И когда будет?.. <...>

С большой тревогой читаем газеты. Что будет? Как выйдет Керенский из нового, выражаясь мягко, затруднения. Удастся ли ему составить коалиционный кабинет?

Растёт в стране большевистское настроение. И понятно почему — ведь они на своих знамёнах написали «мир»! Мир во что бы то ни стало. И как не соблазниться массам этой формулой?! Но как они осуществят своё требование? Так ли просто это?

Я вижу три альтернативы: или Россия продолжает соблюдать верность союзникам, борясь за свой мир «без аннексий и т. д.», но истекая при этом кровью..., или она заключит сепаратный мир во что бы то ни стало, по рецепту большевиков, потеряет при этом большую часть своих свобод и, к тому же, будет отдана на съедение бывшим союзникам, — и гибнет, не вызывая ничего сожаления..., или в России объявится свой Бисмарк, сумеющий найти, нащупать новые международные комбинации, даже не сохраняя в полной неприкосновенности все договоры. И если успех будет его, то простятся ему и России грехи. Необходим талант. Прямолинейность не поможет. Но найдётся ли талант?..

Д[рзешити], 11 сентябрь 1917 г.

Вернулся сегодня из города Б[акэу], куда поехал третьего дня вечером, отчасти навестить 29-й отряд, находящийся от него в 9 верстах. Здесь нашёл, наконец, письмо от тебя, от 28 августа.

Ты, наконец, переселилась на новую квартиру. Ну, слава Богу! Всё-таки опять свой угол. Ты пишешь, что нет солнца и холодно. Шурочка, нам, вероятно, ко многому ещё придётся привыкать в ближайшие годы, хотя ко многому мы уже привыкли... Всё больше страшит меня надвигающийся на Москву голод. С холодом, кажется, ещё скорее можно будет справиться, если только керосин не будет отпускаться по карточкам, и его хватит. В крайнем случае, можно лампой «молния» согреть хотя бы одну только комнату. Но «недоедание» к зиме, вероятно, достигнет больших степеней. Если бы хоть крупы достать для Иринки! Знаешь, Шура, я постараюсь здесь достать каким-нибудь путём со складов В.З.С. и послать тебе. Не знаю только, где склады, как я там достану и как пошлю, но попытку непременно сделаю. Выход надо же найти, отчаяние одно не поможет.

А ты мне всё-таки пиши, Шурочка. Как вы питаетесь с Христиной Ивановой и Соней и как вы достаёте продукты, не имея прислуги?

Где, в каких учреждениях ты будешь работать зимой? Останется ли за тобой что-нибудь в Морозовке или нет? Как вообще там отношения твои с начальством? Кто там теперь задаёт тон? Будешь ты работать у Циклинской или нет? Если да, то сколько это у тебя отнимет времени? Как обстоит дело с приглашением в детскую клинику и в Воспитательный дом, о чём ты раньше мне как-то писала. <...>

У меня много вопросов. Ведь твои письма стали редки (за август всего 7!) и скупы на факты, а я так далеко нахожусь от вашей жизни и условий её, что не всегда могу себе всё уяснить. Однако мне интересны и близки все ваши мелочи, не говоря уже о вопросах твоей работы и условиях существования.

Д[рзешити], 12 сентябрь 1917 г.

Получил твоё письмо от 31 августа. Тебе тяжело, настроение безотрадное. И как может быть иначе при полном мраке в общественной и личной жизни. Это слишком понятно, у меня самого на сердце более чем тяжело. Но почему же отсюда делать выводы, продиктованные только скорбным чувством без контроля разума? Или неужели ты и в самом деле веришь, что я когда-либо соглашусь переехать в тыл где-нибудь на юге, взять к себе Ириночку и оставить тебя одну в Москве: работай, дескать, на семью, не пользуясь её радостями. И опять: «я буду работать, отсылать все деньги вам, чтобы вы ни в чём не страдали; ну, не всё ли равно, насколько меня хватит»...

Ты почему-то претендуешь на привилегию приносить для семьи жертвы, а я горячо протестую против этой претензии. Ты, это характерно женская черта очень высоко ставить материальное благополучие близких тебе людей (не своё, конечно), готова ради него пожертвовать ценностями духовного порядка, отказом от семьи, от личной жизни в данном случае. Если бы я рассуждал по-твоему, то я не имел бы права сейчас хлопотать о переводе моём в Москву. Ведь ваше материальное благополучие от этого, безусловно, ухудшится: я не буду получать полевых порционных, и самому жизнь будет обходиться в несколько раз дороже.

Если я сейчас могу вам выслать не меньше 350 р. (а не 300, как ты пишешь; в среднем с февраля до сентября по 392 р., не приуменьшай!), то тогда, вероятно, на семью останется в лучшем случае 200 р.!

Значит, я должен оставаться на фронте? Конечно, нет, и мне в голову даже не придёт такое предположение, да и тебе тоже. Я знаю, что с моим приездом тебе ещё труднее будет жить материально, но я знаю также, что нам обоим необходимо быть вместе прежде всего. И я не побоюсь, несмотря на тяжёлые времена, уменьшить наш общий бюджет ради достижения высшего блага, духовной ценности. И если это касается меня, то я знаю, ты со мной совсем согласна. Но для себя ты сохраняешь право на жертвы. Чисто по-женски — у вас какая-то страсть к страданию, стремление к нему.

Д[рэнешти], 14 сентября 1917 г.

Начинает, как будто, хмуриться и погода. Неужели так-таки доживу здесь опять до периода непролазной грязи, пронизывающей сырости и стужи, беспросветной безнадёжной тупости, безразличия?.. Не хочу, не хочу!

Но нет, я не дам себе распуститься. Надо бороться с настроением угнетённости. И всё-таки я и сейчас верю, что зиму проведу с тобой. Так ли, этак ли, но это получится. Я просто не допускаю обратное. <...>

Не будь так скупа на сообщения, Шурочка. Ты меня неверно поняла, если думаешь, что мне неинтересны все мелочи вашей жизни, и если поэтому так мало стала писать о них. Разве они могут меня не интересовать?

Д[рэнешти], 15 сентября 1917 г.

Вот досада, Шурочка! Узнал я случайно, что в А[джуде] имеется продовольственный склад В.З.С. Я туда вчера послал человека с поручением закупить манной крупы, риса и вермишели для Ириночки. Он сегодня вернулся, и что же оказывается? Склад несколько дней тому назад переехал далеко отсюда на Буковинский фронт. Вот обида! Тем более что, как оказывается, все эти продукты имелись на складе и выдавались беспрепятственно по требованию начальника части. Я ещё узнаю, не удастся ли получить через 29-й отряд. Если нет, то пошлю на Буковинский фронт.

Хочу также, если будет возможно, достать в интендантстве яичных консервов в порошке. Вещь очень хорошая. Тогда явился бы вопрос, как доставить к вам в Москву. Но и этот вопрос я бы как-нибудь разрешил. Буду действовать. Ириночка должна быть всем обеспечена.

Погода нынче сырая, идёт осенний дождичек. Холодно, затопил печь. Кашляю, сморкаюсь. Скучно.

Шурочка, в газетах начинают всё более настойчиво говорить о мире. На этот раз, не удастся ли? Тон всех официальных выступлений последнего времени во всех странах, несомненно, миролюбивый. Чувствуется стремление к известному соглашению. Ясно, что если мир будет заключён сейчас, он будет по существу заключён за счёт России. Национальная наша гордость сильно пострадает. Но большой ещё вопрос, стоит ли нам из-за национальной гордости окончательно разрушать себя. При дальнейшем ведении войны мы, быть может, и «с честью» погибнем, но погибнем несомненно. Да и «честь» ещё

под большим сомнением, принимая во внимание, что после Тернополя явилась Рига, а после Риги — Якобштадт¹... А всё-таки, Шуручка, я к зиме буду у тебя. Не допускаю ничего иного.

Как тебе нравится эпопея «Корнилов-Савинков»?² Дело оказалось не совсем чистым... А как нравится афера Каледина³? Оказалось, что у страха глаза велики, и наша демократия немножко струхнула раньше срока... Тоже любопытно. Эх, Рассея, Рассея, родина моя! Жалкая горькая вучесть твоя! <...>

Сегодня ты начала работать у Кедровского⁴. Пиши подробнее — мне всё, всё интересно. И ведь скоро я опять буду с вами...

Д[рзешити], 17 сентября 1917 г.

Когда же чаша страданий будет испита до дна?! Где предел? Витя убит, застрелился, не выдержав последнего момента высшего напряжения всех душевных сил... Пал, быть может, одной из последних жертв этой дикой безумной войны... Молодой, сильный, такой хороший... Когда хороших становится всё меньше и голоса их всё слабей, тонут среди моря разнузданности, нечестности, произвола, некультуры.

Когда пала Рига, когда пришли известия о бывшем в ней погроме, и сердце сжалось при мысли об оставшихся в ней родных, я вспомнил Витю, и представилось мне, что и он, может, уже тяжело раненый, в каком-нибудь лазарете или ещё хуже... Я тебе писал тогда. И вот теперь, думая о Вите, невольно думаю о родных. Как они пережили ужасы 20-го и 21-го августа? Живы ли вообще? С июня месяца нет от них ни строчки. Какой ужас кругом! День Веры, Надежды, Любви и Софии. Вера? Её уже почти нет, не может быть. Надежда? Она чуть теплится, иначе не стоило бы и жить. Любовь? Где она? Кругом дикие вопли ненависти. Софья? Святая Премудрость нас давно оставила, и мы бродим во тьме ночной...

¹ Якобштадт — ныне город Екапилс в среднем течении Даугавы, родина отца автора писем, старшего Краузе.

² Эсер-боевик Борис Викторович Савинков (1879—1925) в дни «Корниловского мятежа» являлся управляющим Военным министерством, товарищем (заместителем) военного министра, военным губернатором Петрограда, исправляющим обязанности командующего войсками Петроградского военного округа. Незадолго до «мятежа» он по поручению Керенского вёл переговоры с Корниловым и согласовывал его действия с министром-председателем. Савинков Борис Викторович (1879—1925) — эсер-боевик, управляющий Военного министерства, товарищ (заместитель) военного министра, военный губернатор Петрограда, исправляющий обязанности командующего войсками Петроградского военного округа, впоследствии активный участник Белого движения, эмигрант, погиб в застенках ОГПУ.

³ Генерал от кавалерии, первый с петровских времён выборный атаман Войска Донского Алексей Максимович Каледин (1861—1918) активно поддержал «Корниловский мятеж». Временное правительство предприняло попытку арестовать атамана и сместить его с должности, но затем признало его непричастность к «мятежу».

⁴ Кедровский Василий Иванович (1865—1937) — профессор кафедры патологической анатомии Московского университета, директор Института бактериологии им. Г.Н. Габричевского.

Кажется, мы достигли апогея личного и общественного несчастья. Дальше ехать некуда. Что может нас ожидать ещё худшее? Позорный мир? Но для нас сейчас и позорный мир явится ни с чем не сравнимым благом, надо в этом сознаться. Гражданская война? Она покончит с неопределённостью, и восторжествует какая-нибудь одна сторона. Это хоть шаг к выздоровлению.

Шурочка, я знаю, как тебе безгранично тяжело сейчас, а я так далеко, и ничем помочь тебе не могу. А словами не сможешь в этом горе...

Послезавтра будет три года, как умер Нуго. Это первый тяжёлый удар, который пришлось пережить нашей семье. С тех пор судьба не скупилась на удары...

Какие мы будем после войны? Что от нас, от прежних, останется? Разрушенная вконец нервная система... Озлобленность по отношению ко всем более счастливым, спокойным, равнодушным... Затаённое чувство обиды и горечи на всю жизнь... Неужели такие настроения будут доминировать? Страшно даже подумать. Хочется отогнать эти чувства. Но ведь они ползут, надвигаются... Вот где источник большевизма... Горе нам!

Д[рзешити], 19 сентября 1917 г.

Грусть, тоска. Писем от тебя опять нет три дня. Общение с тобой в последнее время совсем почти прервалось. Ты не пишешь, а если и напишешь, то только несколько строчек... <...>

С жадностью набрасываюсь каждый день на газеты: как шансы мира? Ведь я же тебе говорил, что я не допускаю мысли, что наступающую зиму проведу не с тобой в Москве. Не может, не должно это быть. А между тем оказывается, что ещё в июне Керенский запретил смену фронтовых врачей тыловыми на том основании, что фронт окажется с неопытными врачами. Правда, смена всё-таки производилась под разными предлогами, но уже не в таком широком размере.

На днях ожидается здесь последний список сменных врачей из Петрограда. Едва ли я в нём окажусь, так как число баллов у меня не слишком большое. Ведь как-никак, а первый год войны я провёл в тылу, а тут всё время находился в районе корпуса, то есть в третьем районе, каждый месяц пребывания в котором оценивается в ? балла, против полной единицы пребывания месяца в полку (первая зона). Если бы смена продолжалась и велась бы энергично, то очередь дошла бы и до меня. Но так шансов, можно сказать, что нет!..

Если я увижу, что решительно ничего не выйдет из смены, или если, как я надеюсь, с сокращением армии уничтожен будет и мой отряд, и я останусь не у дел, то я, пожалуй, попрошу Сергея Михайловича найти мне место ординатора в каком-нибудь госпитале в Могилёве. До поры до времени. Я думаю, что в Могилёв устроиться можно будет.

Ириночке пошёл девятый месяц, а я её не знаю совсем. Неужели у ней зубочки ещё не появляются? Это нехорошо. И с чего бы у ней быть рахиту? Ведь кормилась и росла она нормально.

Прошёл месяц с тех пор, как мне могли послать последнее письмо из Риги. Они, несомненно, писали. Я же ничего не получил. Что с ними? Как они? Живы ли?..

Д[рзгештти], 21 сентября 1917 г.

Нет и нет писем. <...> Прерываются связи. <...>

Помнишь, как ты рыдала и мучилась, когда тебе несколько дней пришлось провести в изоляции, в сомнительном отделении? К чему тогда были слёзы? Стоило ли? Или твоё отчаяние, твои терзания, удастся ли нам совместная поездка в Финляндию, или же придётся разлучиться на целый месяц! Теперь мы в разлуке четвёртый год!.. Или твоё большое горе по случаю моего переезда на квартиру незаразных ассистентов? Как будто мы и так не виделись каждый день много часов... Правда, смешно вспоминать теперь, после целого моря горя, большого истинного горя.

Ищешь и не находишь слов утешения. Осталось тупое ожидание: ведь кончится же когда-нибудь наше испытание, не может не кончиться.

Как изменились наши письма за эти три года, как изменились мы сами! Даже внешне. Знаешь, на висках у меня всё больше прибавляется седых волосков. Мне теперь уже никто не даст 20 лет, как ещё недавно. Молодость прошла.

Я опять взялся за книги. Читаю кое-что. Читаю и часто думаю, как хорошо бы читать нам вместе. Я мечтаю об этом. Хочу прочесть с тобою снова Толстого, Достоевского; мечтаю о времени, когда буду читать Ириночке первые сказки...

Получаешь ли ты журнал «Психология и дети»? Все ли получаешь номера «Голоса минувшего»? И сохраняешь ли? Я здесь подписался на «Былое». Возобновила ли ты «Русские ведомости» с октября? Боюсь, что нет, и я опять получу только к концу месяца сразу 20 старых номеров. Ну не беда.

Если бы не книги, было бы совсем плохо...

Д[рзгештти], 23 сентября 1917 г.

Уже неделю нет писем от тебя. Только во сне я видел прошлой ночью, что получил от тебя маленькую открыточку с несколькими строчками, написанными в большом душевном смятении. А какими словами я могу тебя утешить? У меня нет таких слов. Душа у меня у самого в сумеречном состоянии... Разве может быть иначе? Гаснет всякая вера в будущее — и в личное, и в общественное. Пусть это настроение не будет постоянным, пусть в конце восторжествует здоровая вера в жизнь, в творческую её силу. Но временами, когда соединяются в один давящий кошмар и мысль о четвёртом годе нашей разлуки, крушении нашей семьи, и смерть Вити, и рижский погром с его неизвестностью, и голод, и холод в Москве, и безумная война, которая никак не может кончиться, и общее безумие, корысть и ненависть, и погромы в Тамбове, Козлове и Ташкенте с их разгулом пьяной солдатчины, и там наверху, в Демократическом совещании¹, весь этот ужас безнадежно покрывается словами, словами и словами..., когда иссякла творческая мысль и не видно творческого дела, — тогда берёт тупое, глухое отчаяние и хочется бежать, бежать, бежать, всё равно куда, только подальше от этого гнёта.

¹ Всероссийское Демократическое совещание представителей политических партий и общественных организаций в противовес более левому Московскому совещанию проводилось в Петрограде 14–22 сентября 1917 г. (1582 делегата). После безуспешного поиска компромисса совещание санкционировало создание Демократического совета (Предпарламента) при Временном правительстве.

Если бы хоть быть нам вместе в эти ужасные, тёмные дни! Но это возможно только, если кончится война. И тут единственный оставшийся проблеск надежды: она скоро кончится. Она длится больше не может, она дошла до крайнего абсурда. <...>

Сергей Михайлович нам пишет из Могилёва. Вторично спрашивает твой адрес. Хочет с оказией послать тебе кой-какие продукты. Это он по собственной инициативе. Я ему ещё ни разу не писал. Есть ещё хорошие люди на свете. Адрес ему послал Гаврилыч. Какие продукты, и откуда он их достаёт — не знаю.

Сижу опять над своей канцелярией. Хочу на этот раз всё, всё привести в полнейший порядок, чтобы руки были развязаны. Ведь я скоро буду у тебя, должен быть.

Д[рэнешти], 25 сентября 1917 г.

Девять дней не было от тебя писем, моя Шурочка. Только сегодня наконец получил твоё письмо от 15 сентября, второе за этот месяц... <...> Ненавижу я всякие обходы законов, особенно в настоящее время, но чувствую, что если в скором времени не возобновятся отпуска, придётся хлопотать о командировке под каким-нибудь предлогом. Ведь ездят же так почти все. Это мы с Гаврилычем такие ультра честные, не подходим к духу времени. При теперешнем-то разгуле нам совестно переступить закон. Допотопные люди! Но я же должен тебя видеть. Не могу не видеть.

Ты говоришь, что собираешься в провинцию, что в Москве тебе не прожить. Если не прожить теперь, то подавно не прожить, когда я вернусь, и ещё безнадежнее после войны. Только знай, Шура: если ты представляешь себе такую возможность, что ты будешь сидеть в провинции, а я в Морозовке заканчивать свой стаж, то ты ошибаешься. Этого никогда не будет. Где ты, там и я; tertium и даже secundum non datur!¹ После трёх с половиной лет разлуки продолжать эту разлуку ещё неизвестно как долго — на это я ни в коем случае не пойду. Лучше либо голодать, либо бросать специальность ради возможности существования, — но только вместе. Тут я ни на какие уступки никогда не пойду.

Не отчаивайся, моя Шурочка, если не сразу имеешь достаточный заработок. Провинция сейчас едва ли обойдётся тебе дешевле. Ты же сама мне это доказывала летом. Разница с Москвой только та, что там хоть какие-нибудь продукты всегда найдутся, но денег там меньше не истратишь. И неужели московские связи не дадут тебе в ближайшие месяцы заработка! Подождём ещё немного. Всё-таки ещё рано отчаиваться. Ещё можно бороться. Только бы приехать к тебе хоть на 2—3 недельки!

Ты меня обрадовала известием, что до 1 часа дня 21-го августа родные были живы и здоровы. Жаль только, что ты ограничилась этими словами. Откуда Вилли имеет эти сведения? Через кого? Или он получил так-таки письмо? Что он ещё знает по этому поводу? Ну, всё равно, главное, что к этому часу они были живы. А ведь погром к этому времени уже должен был прекратиться. Впрочем, Сергей Михайлович пишет, что слухи о погроме в Риге сильно преувеличены. <...>

Становится холодно. Холодно и на душе. Очень нехорошо...

¹ Третьего и даже второго не дано! (лат.).

Д[рзисийти], 29 сентябрь 1917 г.

Нет и нет писем. Нет посылки, нет никаких известий от тебя... Ты где-то совсем далеко, далеко... Какой тонкой стала наша внешняя связь! И как тяжело писать при таких условиях.

Вспоминается ноябрь и декабрь прошлого года с его полной оторванностью от всего родного. Не хочу повторения того тяжёлого душевного состояния. Шура, неужели я теперь буду получать письма от тебя только раз в одну-две недели? Не может этого быть. <...>

А всё-таки, Шурочка, мир будет скоро, несмотря на всё. Я верю, верю. Папа римский серьёзно взялся за дело, а Германия явно стремится к миру. Даже Франция уже не настаивает на Эльзас-Лотарингии, а говорит только об «округлении» своей границы. Достанется нам, это очевидно. Но что станет с нами, если мы будем продолжать войну? Лучше не будет, а хуже может быть, и даже очень.

Железнодорожная забастовка¹. Ведь это преступление! Элементарных чувств гражданственности у нас ещё нет. Нам нужно начинать повсюду с самого начала.

Велика наша земля и обильна...

Тяжело писать. На душе пусто. Кругом хорошего ничего. Желание одно — к тебе.

На этом заканчиваются письма 1917 года. Вскоре Фр.Оск. возвратился в Москву (по-видимому, был демобилизован). Уличных боёв во время октябрьских событий он почти не заметил, перевоза в эти дни свою семью на новую квартиру. В конце декабря мы видим его на любительском снимке дома, с семьёй — под рождественской ёлкой. После небольшого перерыва он был мобилизован в Красную Армию, и его врачебная служба продолжилась в годы Гражданской войны.

¹ Всероссийская железнодорожная забастовка проходила 24–26 сентября 1917 г. и по законам того времени являлась государственным преступлением. Железнодорожное сообщение в стране было парализовано. Забастовка прекратилась только после того, как были удовлетворены экономические требования железнодорожников: повышения зарплаты и улучшения их продовольственного снабжения.

*Из писем
Александры Ивановны Краузе (Доброхотовой)
1917 года*

Александра Ивановна (1884—1858) родилась в селе Вичуги Костромской губернии. Отец Шуры, учитель Кинешемского духовного училища, умер, когда ей было 9 лет. Семья была большая и дружная. В её письмах упоминаются три брата: Алексей (Лёля), Василий, Виктор и 5 сестёр: Ольга, Софья, Елизавета, Анастасия и Анна. По окончании Высших женских курсов в 1912 г. Александра Ивановна осталась в Москве, в качестве ассистента Морозовской детской больницы. Здесь она познакомилась с будущим мужем Фридрихом Оскаровичем Краузе (1887—1973), москвичом, тоже ассистентом, пришедшим в больницу несколько раньше. Напряжённая и интересная совместная работа, дружба, а затем и любовь сблизили их. В апреле 1916 г. влюбленные повенчались, а 16 января (ст.ст.) следующего года у них родилась дочь Ирина. Фридриху Оскаровичу удалось получить отпуск и присутствовать при ее рождении, но уже 27 января он был вынужден покинуть жену с новорожденной дочерью и возвратиться на фронт, в восточную Румынию (Пуфешти). В отличие от писем мужа, поглощенного происходившими в стране революционными и политическими событиями, письма Александры Ивановны этого времени — чисто женские, это, прежде всего, письма жены и матери.

28 января 1917 г.

Если бы ты только знал, мой дорогой, как стало пусто без тебя! <...> Не сразу полностью я ощутила тебя <...> в этот приезд, но зато никогда ещё не было так тяжело расставаться. Всё меньше и меньше остаётся во мне жизненной эластичности, и я сильнее и сильнее гнусь под тяжестью переживаний. Напрасно ты проповедуешь мне радость жизни вне тебя. Нет, милый, это невозможно. И радость, и страдание воплощаются в тебе и Иринке.

29 января 1917 г.

[Гости отняли много времени]. Заходила ещё сегодня Татьяна Мироновна¹. Она по-прежнему мила и проста, обещала как-нибудь просто зайти вечером.

¹ Акушер-гинеколог.

У меня она нашла всё благополучно, ходить и стоять мне всё ещё трудно. Надеюсь всё-таки через неделю выйти к о.Ивану, чтоб скорее закончить с крещением. Жду Веру Петровну, чтоб спросить её насчёт гонорара и т.п. <...>

Ты уже по расстоянию далеко от нас, но мы всё ещё живём твоим присутствием, твоим голосом, твоими выражениями. Так вот и ждём, что ты к нам пойдёшь и чем-нибудь ободришь.

Внешне жизнь течёт по-старому: Дуняша¹ ходит в очередь, возится с печкой и ахает, что всё очень дорого, но, по существу, не унывает: «А Вы всё плачете, — обращается она ко мне, видя мой унылый вид — ведь слезами всё равно не поможете». Фраза, которая у меня всегда вызывает улыбку. Мяса после твоего отъезда достать не удаётся, но мы питаемся хорошо разного рода кашками и молоком. Об этом не беспокойся.

30 января 1917 г.

[*Ал.Ив. начала чертить кривую роста дочери*]. Тебе пригодится, когда ты будешь изучать грудной возраст. День прошёл тихо, никого не было.

Прочла я статью Трубецкого. Захватило меня описание экскурсии в Афины, организованной им в 1903 году. И стоило это удовольствие всего 60 рублей... Всё это кажется сказкой. <...>

Ты попал сюда в более удачное время. Сейчас Москва погружена в тьму, скоро трамваи будут ходить до 7 часов вечера, и Соня [*она живёт с А.И.*] вынуждена будет оставаться у Лизы. Останемся мы одни с Пузыркой.

Нет, дальше некуда идти. Должен же быть мир.

31 января 1917 г.

Ну вот, почтальон снова главный фактор нашей жизни. Он принёс нам письмо от тебя, наш милый папа. ...Иринка тихо спит, положив одну лапochку на нос, а другую — возле угла рта. Скоро будем с ней купаться. Большую часть дня я провожу в её комнате, как-то спокойнее читать и писать возле неё. Утром я себя чувствую совсем сносно, а к вечеру устаю ещё, и основательно за дело ещё не могу взяться.

1 февраля 1917 г.

[*Приходила С.М.Голикова, коллега по лаборатории*]. Я предложила С.М. от лица лаборатории чем-нибудь отметить получение Прасковьи Васильевны [Циклинской] докторской степени. Она, конечно, с живостью за это ухватилась и хотела поговорить с Ник.Ив. Ланговым.

2 февраля 1917 г.

Сегодня заходили ко мне Елизавета Адриановна [Скосицкая] и Людмила Викторовна, рассказывали морозовские новости. Во-первых, болен директор, лежит уже две недели с высокой температурой. Боялись пневмонии, теперь, кажется, эта опасность миновала, но температура ещё держится. Ольга Ивановна перешла на чистую квартиру и сразу же встретила оппозицию со стороны Поповых. <...>

¹ Девушка из Вичуги, прислуга.

Наконец-то явилась в больницу Екатерина Владимировна Попперэль, так что Николай Иванович получил права и обязанности ординатора. Елизавета Адриановна возбуждена и резче обыкновенного, но всё-таки очень добра и внимательна.

Гости всё приятные, хотя и с ними я порядочно устаю. <...> Немного угнетает меня то обстоятельство, что я не чувствую в себе прибывающих сил: совсем почти не сплю — не хочется, и к вечеру чувствую сильнейшую слабость. <...> Жду телеграммы твоей о прибытии.

4 февраля 1917 г.

Сегодня имеем твоё письмо из Раздельной, а из Киева так и не получили. Хорошо, что ты встретился с Сергеем Михайловичем [Щастным]; будет удобнее искать вашу стоянку. Не совсем поняла причину прекращения отпусков. Что было бы со мной, если бы это прекращение захватило тебя?.. Прямо страшно подумать. <...>

Вчера была у нас Екатерина Ивановна. Пузырку одобрила, заинтересовалась моей кривой и просила потом непременно продемонстрировать её (кривую) в Обществе борьбы с детской смертностью. Часть книг, отобранных тобой, я передала в клинику. Екат.Ив. взяла с удовольствием.

6 февраля 1917 г.

Не писала тебе вчера. <...> Девочка моя заболела, и я не могла отойти от неё. Носик заложило, и понос. Она так жалобно кричала и всплёскивала передними лапками, что я не знала, что делать. Сегодня — спокойнее, но сейчас всхлипывает. Я попробовала взять её на руки — сейчас же замолчала и стала внимательно смотреть на свет. Очевидно, ребёнок не из-за каприза [плачет], а просто устаёт лежать в своей кроватке. <...>

А телеграммы от тебя всё нет, неужели ещё не доехал? Боже, как долго!

Холод у нас стоит ужасный, 25° при ветре. Приходится топить вовсю, а толку большого нет. Хорошо, что сегодня привезли дров из кооператива. Дуняша пропадает в очередях за хлебом. Хвосты ужасные благодаря мучному кризису. Без неё мы бы насиделись голодные. <...>

Забыла было обратить твоё внимание на фельетон Гребенщикова «Синяя птица». Прочти, милый, и напиши своё впечатление.

7 февраля 1917 г.

Иринка растёт, покрикивает, чем смущает мой покой. Всё думаешь, что кричит она от каких-нибудь болезненных ощущений. <...> Чувствую себя сносно, только голова часто болит. Сегодня собралась выйти, но пришла дама, с которой занимаюсь по-немецки. Начали читать Czerny.

Получила письмо из Риги. Мама пишет, что Лени лежит с субфебрильной температурой, и доктор нашёл у неё процесс в лёгких... Вот что, Ёжик. Её необходимо куда-нибудь весной или летом устроить. Я думаю, лучше всего — в санаторию. Здесь есть по Николаевской ж.д. санатория доктора Пупышева. Местность очень красивая, и обстановка весьма приличная. Можно её туда устроить месяца на два. Правда, там довольно дорого, но на один месяц хватит наших денег, а на второй поможет Вилли. Наконец, летом я буду сама служить, и думаю обойтись

жалованьем и квартирными, так что ты своё жалованье можешь послать ей. Напиши об этом матери.

Живём тихо, скромно; за последние дни у нас мало кто бывает. О мукé Коля [Гефтер] ещё ничего не сообщал, Дуняша пока ухитряется всё же доставать булки.

8 февраля 1917 г.

Газеты стали возмутительно неинтересны, будто ты исчерпал всё их содержание. Перед чем такое затишье?

А у нас всё отчаянные морозы, и такие же отчаянные очереди за хлебом. Иной раз мне становится совестно перед Дуняшей за её долготояние на морозе в то время, когда мы спим. Сегодня получила посылку от Оли [из Вичуги]. Она посылает разные материи Иринке на платья, салфетки, простыни, печенье и сухарей. Они, наверное, думают, что мы здесь голодаем. <...>

Живём тихонько-тихонько, масленицы не замечаем и гостей не принимаем.

В последнее время у нас нашествие мышей, на это все что-то жалуются. Очевидно, и мышам стало голодно, в складах ничего нет.

9 февраля 1917 г.

Какая радость! От тебя письмо из Унгены, и такое хорошее, хорошее. <...> Как ценно, что при оглядывании назад тебе становится светло и тепло. А у меня осталась некоторая горечь от сознания, что тебе слишком беспокойно, слишком неуютно было в этот приезд, когда тебе самому был так нужен покой. <...>

Мороз надоел отчаянно, ждём с нетерпением тепла, тем более что антрацит у нас на исходе, а мы перед купанием девочки всегда нагреваем эту комнату печкой; без антрацита холодно будет купать её.

10 февраля 1917 г.

Ну и ехал же ты, мой дорогой, целых 9 дней, измучился, наверное. Сегодня получила твою телеграмму от 5 февраля. Уж если телеграммы приходят на 6-й день, то разве можно ждать скоро писем. Слава Богу, что на месте, стало полегче на душе. <...>

Прямо жуть берёт заглянуть в будущее, особенно если впервые увидишь московский мрак и не достанешь хлеба. <...>

[Об Иринке...] Немножко меньше у меня стало молока; это меня очень огорчает. Питаемся мы, право, удовлетворительно. Правда, в последнее время не можем достать мяса, но зато каждый день у нас есть молоко.

С завтрашнего дня буду оставлять Пузырку с Соней, а сама буду ходить гулять. Теоретически мне было легко рассуждать: если ребёнок сыт и сух, мне делать нечего, пускай и покричит. А практически выходит не так: каждый крик отзывается болезненно, всё думаешь, не болит ли чего.

Прейер подвигается, читаю с удовольствием. Не менее интересен и Czegny. Его я читаю только со своей дамой.

Как ты нашёл своих товарищей? Какая разница в их и твоих настроениях? Как поживает Сергей Гаврилович? Как часто беспокоят вас воздушные гости? Отдал ли ты сапоги в починку? <...> Пиши обо всём, теперь детали мне будут понятны.

12 февраля 1917 г.

Я вчера не писала, — занялась шитьём на новой машине Иринке приданого. Приятно шить на ней. Спасибо тебе, родной.

Ирина в последние два дня значительно покойнее. Она уже 4 недели живёт на белом свете. Скоро придётся теребить Ивана Михайловича, чтоб он снял её. Тяжёл он на подъём, долго не соберётся.

С каждый днём всё тяжелее и тяжелее доставать хлеб. Что дальше будет, не знаю. Написала Оле, чтоб она, если поедет, хоть немного привезла ржаной муки, будем дома печь ржаной [хлеб]. В очередях сильное озлобление против солдат, которые, пользуясь правом покупать вне очереди, тоже на этом спекулируют. Везде и всюду одно и то же.

Холод тоже не прекращается. Божье наказание, да и только... <...>

Получила письмо от Васи, Поздравляет с дочерью, но высказывает сожаление, что я надолго, наверно, устранилась от общественной (врачебной) деятельности.

Нет, Ёжик, ты не сомневайся, я всё-таки изо всех сил буду стараться соединить в себе два эти трудно совместимые начала: семью и работу. Ведь и сейчас, сидя дома, я стараюсь использовать каждый свободный час: то пошью, то почитаю, а через 2 недели пойду в больницу к Алексееву насчёт летней работы. Вот в чём я ограничу себя, правда, без особого ущерба — это в хождении по знакомым.

Как ты поживаешь в Румынии? Как настроение? Ведь там, наверное, весна теперь? Как Екатерина Константиновна отнеслась к учебникам, думает ли готовиться к аттестату зрелости? Будь здоров. Привет товарищам.

16 февраля 1917 г.

Вчера ужасно устала, были целый день гости. Во время обеда пришёл Иван Мих. снимать Иринку. Я её вынесла в нашу приёмную и положила на грудку подушек. Уж не знаю, как её удалось снять.

Только проводила его, как пришла заведующая приютом поделиться своим смущением по поводу новых экспериментов над ребятишками дамы-патронессы. Она хочет, чтобы все эти малыши всё делали сами: и готовили, и гладили, и в комнатах убирались. Приглашена дама-педагогичка проводить эти начинания, причём началось с того, что этой даме отведена лучшая комната в ущерб детям. Посмотрим, что из этого получится.

17 февраля 1917 г.

В воскресенье будут крестины Пузырки. Священник отказался записать в восприемники лиц неправославного вероисповедания, так что я должна записать своих Соню и Витю, но я написала Вилли [*старшему брату Фр.Оск.*], что буду очень рада, если он придёт на крестины и будет ближайшим восприемником Иринки, назначив для него подходящий день. <...>

Хлеб доставать с каждым днём труднее. Дуняша простаивает с 5½ до 10 ч. утра и приходит совсем разогорчённая и продрогшая. А на меня едун напал, видно, на двоих нужно больше. Несмотря на то, что хронически недосыпаю, я всё-таки чувствую себя лучше в смысле духовном: больше потребности читать,

работать. С удовольствием читаю Czegny. Любопытно, что он у некоторых детей рекомендует ... телесные наказания. Читаю [по-немецки] со своей дамой, а какое бы наслаждение читать с тобой!

18 февраля 1917 г.

Наконец-то я получила, милый мой, твои письма (5,7 и 8; 6-го нет) из далёкой Румынии. Прочла и почувствовала себя совсем уничтоженной, пристыженной. <...> Сегодня после чтения твоих писем я как-то сразу глубоко осознала всю тяжесть вашего положения, и заметалась от сознания своей нечуткости. Да, у нас тепло и уютно внешне, и мечтать можно... <...>

В Думе опять раздаются речи о Константинополе. Как созданы головы этих господ?

Ты пишешь о возможных перемещениях в вашей врачебной корпорации. Господи, я готова снова молиться со слезами, как во времена детства, чтоб это перемещение коснулось и тебя. Подайте и вы с Сергеем Гавриловичем [*Матвеевым*] рапорты о перемещении¹. Ведь здесь непочатый угол врачей, не нюхавших фронта. <...>

Вилли ответил, что приедет на крестины с удовольствием. Завтра напишу подробно о нашем торжестве. Даже пирог испечём. Настя Разорёнова пожертвовала муки для Ирины.

19 февраля 1917 г.

Пришлось письмо прекратить и заняться приготовлениями к крещению, а потом пришла Лиза, Зинаида Степановна и Вилли. Последний и был восприемником: священник почему-то изменил своё решение и решил записать его. Вилли много занимался Пузыркой, нашёл её хорошенькой. <...> Он первый раз на крестинах, и ему, видимо, было весело. К сожалению, он очень торопился на поезд и сейчас же после крещения уехал. Прощаясь, просил обращаться к нему, если у меня будут какие-нибудь затруднения. Пропуск в Ригу он до сих пор ещё не получил.

Пузырка вела себя хорошо и немного только всплакнула. Зато потом изрядно поплакала, очевидно, вся эта процедура поутомила её. Именинница она будет 5 мая, ведь и ты хотел, чтоб именины были весной.

Я очень довольна, что всё это уже совершилось. Дуняше ради такого торжества подарила на кофточку за Ириночку. Ведь она теперь стирает каждый Божий день на неё. <...>

Зинаида Степановна сидела долго, рассказывала про костромскую жизнь; веселятся и пьют там напропалую, точно все с ума посходили. Не понимаю я, как это возможно.

20 февраля 1917 г.

Сегодня вышла погулять и зашла в Морозовку справиться, выходит ли директор. Оказывается, надо сейчас затевать разговор о замещительстве, так как он начал подыскивать среди экстернов. Поговорила с Ольгой Ивановной о боль-

¹ Речь идёт о замене фронтовых врачей тыловыми и наоборот.

ных, и так-то потянуло опять к медицинской работе. С большим интересом пойду в понедельник в Карзинкинское [*отделение*]; теперь ещё больше интерес к грудным детям. Буду всё сравнивать с Пузыркой.

Она теперь весит больше 10 фунтов. И записи в кривую пока веду аккуратно; особенно интересует меня последняя. В кривую входят следующие данные:

- сколько каждый раз высосет молока,
- сколько высосет за сутки
- сколько помочится или сходит и
- сколько ежедневно прибавляет в весе.

Теперь она получает всего около 4 стаканов, а мочится 15 раз. Прибывает в весе ежедневно на 20—25 граммов. <...>

С каким большим удовольствием продолжаю читать Черни. Много нового и интересного. Жаль, что этой книги нет на русском языке.

Настроение здесь самое тревожное. Вчера на Калужской разгромили булочную Ратникова. Только и разговор — о хлебе. Все врачи из Морозовской больницы идут с сумочками с хлебом.

С грустью думаю, как я устроюсь на той неделе: Дуняша из очереди приходит только в одиннадцатом часу. С кем же могу оставить девочку, чтоб пойти в больницу?

Сегодня написала большое письмо в Ригу. Вилли не теряет надежды получить пропуск.

22 февраля 1917 г.

Беда у нас. Дуняша расклеилась: похудела, жалуется на ежедневную головную боль; очевидно, тоже инфлюэнца. Я хотела пойти к соседке попросить хлеба, чтоб ей не стоять в очереди завтра — не хочет и слушать. Сегодня ей опять пришлось идти за дровами. Так вот время и проходит у нас в очередях. <...> Живём, Ёжичка, скромно, а деньги так и плывут, прямо беда.

Вилли в этот раз говорил, что Карлуше недостаточно теперь 100 рублей в месяц, и он ему сделает прибавку. Хороший Вилли! С каждым разом чувствую себя с ним проще.

23 февраля 1917 г.

Сегодня мне приют мальчиков преподнёс сюрприз: там свинка и ветряная оспа. Два года не было никаких инфекций, а как появилась Иринка, так и пошла эта прелесть. Придя домой, я приняла все меры предосторожности: платье сняла в передней, вымылась основательно и считаю, что этого вполне достаточно.

Вообще же вся эта история неприятна. Там теперь новая заведующая. Ребята сидят за столом и рисуют. Четверо из них с бантиками на груди — дежурные по спальне и столовой. Занятно смотреть, как они с серьёзным видом моют посуду. Новая заведующая производит симпатичное впечатление.

Сегодня получила повестку на посылку из Риги. Неприятна только пометка на ней: «посылка получена неисправная, доставке на дом не подлежит». Получили сегодня ещё багажную квитанцию от Оли. Она посылает ржаной муки; будем печь чёрный хлеб дома, а то я боюсь, что, стоя в очередях, Дуняша совсем расхворается.

25 февраля 1917 г.

В последнее время чувствую к газетам полное отвращение и насильно заставляю себя просмотреть заголовки. «Душа не принимает», как говорится.

27 февраля 1917 г.

Всё ещё плохо себя чувствую, шумит в ушах, голова болит, и устаю вечером ужасно.

Сегодня в первый раз была в Карзинкинском отделении, оставив Пузырку с Дуняшей. Была там с удовольствием; всё сравнивала ребятшек с Иринкой. <...> Знаешь, мне придётся отступить от своей строгости — не брать на руки. Она успокаивается и засыпает. Вот я и думаю, стоит ли её выдерживать? Ведь, очевидно, это физиологическая потребность изменить положение. <...> В Карзинкинском отделении я увидела ту же картину: ребёнок плачет, и мать берёт его на руки (это разрешается).

28 февраля 1917 г.

[Узнала о переводе Сергея Николаевича Щастного, армейского коллеги Фр.Оск., в Одессу, в штаб фронта]. Дуняша пришла около 11-ти, я побежала к директору. Он мне сказал, что имел меня в виду, даже хотел вызвать по поводу летнего замещения. Я ему высказала желание работать в общей амбулатории, на что он ответил, что он так именно и думал.

От Александра Станисл. [Лянды] узнала массу слухов о петроградских событиях. Здесь в это время перестали ходить трамваи, газеты тоже не вышли.

Возвратилась домой взвинченная, ни за что не хочется взяться. Сажу возле Иринки, а у самой слёзы на глазах. В такие минуты так хочется к тебе, а ты так далеко отсюда. <...> В душе холод, даже не могла выкупать Иринку.

1 марта 1917 г.

Ну, мой милый Ёжик, уж не знаю, с чего и начинать тебе писать. В голове какой-то сумбур от сегодняшних впечатлений и новостей. Ещё сегодня утром ничего не было известно, все делились друг с другом слухами. В 12 часов дня появились «бюллетени революции» с воззванием от временного революционного комитета к рабочим и солдатам с кратким перечнем текущих событий... Перечислялось там, какие полки солдат с народом, указывалось, что из Крестов и тюрем освобождены политические, арестованы министры, но как шли и развёртывались события, неизвестно. Хотелось мне очень достать такой бюллетень, но, к сожалению, не удалось.

На улицах тьма народу, все оживлены, читают бюллетени, разговаривают, приветствуют военные автомобили с красными флагами... Конечно, немало в этой толпе подростков и мальчишек, которых занимает только внешняя сторона. Много нелепого говорится в толпе, но сожаления по поводу старой власти не услышишь. В нашей городской Думе тоже заседает временный комитет, солдаты направляются туда. Говорят о войсках, запершихся в Кремле. Впрочем, к вечеру

стало известно, что они тоже присоединились к народу, что Мразовский¹ арестован и т. д. и т. д.

Мы с Соней поочерёдно бегаем на улицу, так как дома сидеть трудно. Идя по улице, глядя на это общее оживление, я непрестанно думала о вас, так далеко отброшенных в этот интересный момент. Нет, Ёжик, я всё больше и больше понимаю, как вам тяжело. И ещё одно понимаю: какие бы интересные и захватывающие минуты я ни переживала, я не могу не думать о тебе...

Что будет завтра? Вероятно, газеты выйдут, и вы будете в курсе дела.

Получила сегодня две твоих открытки. Удивительно они хорошие. А какая нарядная комната вышла. Одного простить не могу, почему ты не снялся вместе с нами? Тогда бы получился полный семейный уют. А какая Пузырка маленькая, маленькая.

Вот на посланной тебе карточке ты увидишь, как она выросла, и какие стали осмысленные глазёнки. Умница она у меня, поплачет-поплачет, что не берут на руки, и с горя засыпает. Купаться очень любит и не плачет даже по время одевания. Вот гулять скоро надо будет выносить, а у меня нет туалета для неё. До одного важного события Ирина дождалась, теперь бы скорее другое — мир... Целую, мой милый.

2 марта 1917 г. [День отречения императора Николая II]

Если бы ты только знал, как хочется <...> вместе переживать настоящие события. Тяжело мне без тебя, ох, как тяжело, особенно при мысли, что вы сидите там в Румынии, оторванные от всего.

О событиях не буду писать, ты скорее письма газеты получишь. Скажу только, что когда видишь на улице солдат с красным бантом, стройно поющих необыкновенные солдатские песни, то испытываешь во всём теле ползание мурашек... Как всё быстро произошло. Ещё так недавно никто ни на что не надеялся. Теперь я верю, что так же быстро и неожиданно кончится война.

Чудная и непонятная страна Россия... И тебя в такие минуты нет со мной. А Пузырка такая же глупенькая, даже улыбаться как следует не умеет, вертит только головёшкой да облизывается, когда я её беру кормить. А ей будет лучше жить, чем нам. Вот уже в самом начале жизни политическую свободу получила. <...>

Была в больнице, но сейчас больные, как в тумане, все разговоры — о текущих событиях.

Соня целый день где-то бегает, Дуняша тоже всем очень интересуется и всё просит разъяснить ей. Все газеты и бюллетени собирается послать в деревню.

Получила сегодня от тебя два письма: от 16 и 17 февраля вместе со снимками. Портретом Пузырки я очень довольна, а своим — не особенно, уж очень я страшна там. А интересно будет потом собрать и пересматривать все фамильные снимки.

Ты хорошо надумал: изложить свои переживания и впечатления румынские на бумаге; с каким интересом мы будем читать потом вместе. <...>

Холод ещё стоит, а антрацит уже иссяк; придётся Пузырке немножко помёрзнуть при купании. Ты спрашиваешь, как я себя чувствую. Физически слабее, чем во время беременности, и вид мой гораздо хуже, чем прежде, но энергии больше.

¹ Мразовский И.И. — генерал, командующий войсками Московского военного округа.

4 марта 1917 г.

Все расклеились. Пузырка чихает и кашляет, я вторую ночь не сплю тоже от ужасного кашля (помнишь, как в Березье), со рвотой. <...>

В доме холодище, антрацит весь кончился, а дровами топим, топим, всё толку нет. И когда я вижу Пузырку, посиневшую, с холодными, как лёд ручонками, беру на руки, чтоб закутать её с ручонками и согреть, и сижу с ней в каком-то оцепенении. Когда будет тепло? На улице 4 марта — 15°.

5 марта 1917 г.

Интересно скорее получить от тебя письмо с ответом на последние события.

Всё-таки, по моему мнению, мы приближаемся к миру. Хотя Милюков и имеет большие аппетиты насчёт Константинополя, всё же он не может особенно развернуться в силу совершенно противоположных взглядов социалистов. Вот на них-то я и возлагаю большие надежды. Какое это будет торжество — мир. Можно совсем обезуметь от радости. Ведь только тогда действительно может начаться постоянная работа свободного народа.

А мы ещё всё празднуем: ни трамваи не ходят, ни фабрики не работают. Такова уж натура русского человека — всё в большом масштабе.

7 марта 1917 г.

Кругом всё шумит, бурлит, волнуется, а мы с Пузыркой сидим дома, читаем газеты и слушаем новости, принесённые кем-нибудь из гостей. <...>

Сегодня была у нас Елизавета Адриановна, и очень кстати. Вчера я слышала от Николая Ивановича, что исчез пристав, снимающий квартиру в доме Чесалова, под ними. У меня сейчас же промелькнула мысль, не освободится ли эта квартира? Вот я и поручила Елиз.Адр. быть на страже моих интересов. Хорошо бы там снять квартиру. Наша мне стала совсем невтерпеж: топить топим, — всё холодище! Весна политическая испугала весну природы: продолжают стоять морозы в —14—15°С. Возмутительно!

8 марта 1917 г.

Период гостей. Сегодня неожиданно явился знакомый — артиллерист с румынского фронта. Его впечатление от этих наших союзников [румын] такое же, как твоё. Напугал он меня известием, что «союзники» отказываются доставлять нашу почту. <...>

Меня последние дни радостно волнуют слухи о возможности обмена врачей: тыловиков — на фронт, а вы — в тыл. А вам, в свою очередь, тоже бы следовало подать рапорт об усталости.

10 марта 1917 г.

У меня появилась надежда скоро видеть тебя. На 5-е апреля назначен Пироговский съезд. Если при старом правительстве возможно было командировать врачей с фронта, то теперь это ещё более вероятно. Эпидемические болезни всегда были предметом Пироговского съезда, и тебе, как санитарному врачу, необходимо присутствовать при этом съезде. За тебя может остаться Катович. Скажи, что это возможно...<...>

Вчера была в бактериологической лаборатории на 1 час. Дело в том, что Совет профессоров единогласно присудил Прасковье Васильевне докторскую степень [honoris causa], и мы вчера её поздравили и преподнесли цветы. Она была очень мила и сияла от удовольствия. Разговор коснулся будущего года. Она опять повторила, что, вероятно, вопрос о третьем ассистенте пройдет положительно, и она будет иметь меня в виду. На вопрос мой, может быть, это неудобно перед теперешней третьей ассистенткой, она заявила, что она пригласила её только до апреля. Таким образом, много шансов за то, что я устроюсь у неё ассистенткой и буду обеспечена на 1400 рублей в год (800 от курса и 600 от приютов). Конечно, этого недостаточно, но, может быть, ещё что-нибудь ещё получу.

А деньги идут, идут, идут... Право, Ёжик, живу больше, чем скромно, стол веду самый простой, а между тем уже из кассы вытащила 100 рублей и заняла ещё 50. Квартира пожирает много. Она теперь мне обходится вместе с дровами около 150 рублей. Сделала себе ещё простенькую юбку с кофточкой — вот и всё. Беда просто.

Завтра еду в управу — подавать прошение о замещительстве в вечерней городской амбулатории. Если мне удастся получить это место, то будет очень трудно всё совмещать, но этот шаг необходим для будущего: без замещительства нельзя рассчитывать на постоянное место, да и заработок нужен. Вспомни, сколько мы прожили за один месяц! Ведь если и останется в кассе 300—400 рублей, я их моментально поизрасходую при переезде на новую квартиру. А без определённых денег будет тяжело, так как на аккуратность румынской почты рассчитывать нельзя.

Няней я думаю сделать Дуняшу, а прислугой пригласить её сестру из Вичуги. Вместе они будут работать дружно. А теперь Дуняша прямо изнемогает от стирки. Как ни хочется мне совместить работу и уход за Пузыркой, всё-таки я не в силах, и после трёх месяцев придётся передать её няне.

11 марта 1917 г.

[После безуспешной поездки в управу и необходимых покупок в городе...] Опять осталась без денег. Придётся царапать из кассы. Проклятые деньги! <...> Ты хочешь послать 400 р. в Ригу, не сомневаясь, что я одобрю. Само собой разумеется, ведь я об этом тебе первая писала. До мая только ведь придётся поцарапывать из кассы, а потом я буду сама получать. Да и расход сократится, не будет столько идти на дрова.

Напиши, на чьё имя мне адресовать заявление в Киев, чтоб получить 200 рублей. Ведь ты знаешь, что я могу сокращать свои требования, так что не стесняясь, располагай деньгами как знаешь. А уж на такую цель, как здоровье Лени, можно многим пожертвовать.

12 марта 1917 г.

[Почти всё письмо — о дочери]. Что бы сказала Екатерина Ив. [Иванова], когда бы прочла это письмо? В такое время великих политических событий я всё письмо посвящаю Пузырке. Но, милый, о всех событиях общественной жизни ты узнаешь из газет. Непосредственных впечатлений от толпы и митингов у меня нет, так как я, кроме Карзинкинского отделения, никуда не хожу. Правда, рас-

сказывал сегодня Витя [*приехавший с Рижского фронта*] много интересного, но всё это больше касается фронтовой жизни.

13 марта 1917 г.

Даже не верится, что кончились морозы, второй день довольно тепло. Правда, не тает ещё, но мы теперь скромны в своих желаниях. Теплее стало и в комнатах, ведь наша «горенка с Богом не спорит». Скорее, скорее бы весна, лето и осень. Ведь дольше осени война невозможна...

15 марта 1917 г.

Вилли в понедельник едет в Ригу до 5 апреля. Фабрика их стоит больше двух недель из-за отсутствия топлива. <...> При этом зашёл Витя, и они с ним вели оживлённый разговор.

[*Сестра Лени из Риги протестует против присыла денег и против санатория*]. Лучше было бы, если бы ты сразу послал деньги без предварительного предупреждения. Проклятые деньги. Они меня тоже начинают беспокоить. Ой, как хочется чувствовать материальную независимость, даже от тебя. Я Лени понимаю, а потому постараюсь написать ей ещё раз, чтоб она не думала, что мы ради неё стесним себя.

16 марта 1917 г.

Сегодня исполняется 2 месяца нашей Пузырке, и какая большая перемена в ней за это время! <...>

Не понимаю, почему наша интеллигенция шипит на левых? Чем плохо составлено опубликованное в сегодняшней газете воззвание С.-Д. [*социал-демократов*] к пролетариям всех стран? Я надеюсь, что они больше, чем кто-либо подвинут условия мира. А Керенский, по моему мнению, прямо герой, не живёт — горит... Витя рассказывает, что только благодаря Керенскому миновали многие опасные минуты недоверия рабочих к нынешнему составу министерств. Витя рассказывал, что прежде всего они узнали о событиях от немцев: они кричали, что у нас революция и с аэроплана бросали бумажки с вопросом: где у вас Николай? и т. д.

17 марта 1917 г.

Сегодня я, как загнанная лошадь: бегала, бегала, насилу возвратилась вовремя домой, и то уже не разбирала, где грязь, где лужи. Пошла по обыкновению в больницу, там мне передали письмо от Веры Петровны [*Скворцовой*] и телефон приюта. [*Это был вызов к мальчику с инфлюэнцей*].

В приюте довольно любопытно. Помнишь, я писала тебе, что скоро приедет к ним новая воспитательница. Она оказалась дамой симпатичной, и ребята её слушаются. Показывала мне рисунки всех детей. Есть очень занятные. <...>

Встретила сегодня директора. Спрашивал, где ты, и как растёт дочка. Я просияла от удовольствия. Я, как и все мамы, наверное, за одно участие в нашей девочке готова простить всё на свете. Спрашивал, где мне больше улыбается работать: в Карзинкинском отделении или в общей амбулатории. Я сказала, что в общей. Слишком будет тяжело чувствовать своё бессилие при тяжёлых летних

интоксикациях у грудных детей. Немножко только щемит, что Пузырке придётся всё лето дышать пыльным воздухом Москвы. Эх, деньги проклятые!

Ты, наверно, удивляешься, что в последнее время я им уделяю много внимания. Что же поделаешь, если видишь воочию, как они неудержимо текут. А впереди переезд!

18 марта 1917 г.

Опять нет письма от тебя, настроение портится, как зимняя дорога. Злюсь на всех и вся: на очереди, на грязь в квартире, на свою усталость.

Принялась наклеивать фотографии в альбом и всё испортила. У меня нет навыка, в данный момент нет покоя и syndebicon отвратительный. Ты уж меня прости, пожалуйста... Этот альбом будет мой, а себе и Пузырке (мы ей подарим, когда она станет большая) ты уже аккуратно сделаешь сам. Я попрошу у Ив.Мих. негативы, а ты в любой свободный момент можешь напечатать. Этим только я и утешаюсь.

<...> Она весит больше 12 фунтов. Звонок — кто-то идёт?

... Знаешь, чей это был звонок? Вера Михайловна [Овчинникова] приехала из [Великих] Лук на три дня, и в первый же день пришла ко мне. Очень занята Медопом, где она служит. Ей дали отпуск только на 5 мес. [?], и теперь она возвращается туда. После её отъезда все перессорились, так что она сейчас едет всех мирить и умиротворять. Девочек потом возьмёт к себе.

21 марта 1917 г.

Наконец-то я дождалась от тебя отклика на последние события. Глубокая радость охватила меня... от полного тождества наших мыслей и чувств. При громадной разнице положений и обстановки, разделённые тысячами вёрст, соединены одинаковыми чувствами и почти одинаковыми взглядами.

Теперь и у меня есть надежда на близость мира, особенно после речи Бетман-Гольвега¹ и обмене мнений между нашими и германскими социалистами. Лето бы только прожить.

День моего рождения прошёл довольно тускло. Не было даже обычных в этот день цветов. <...> Вечером заехал Ник.Ник. Вильям (не по поводу дня рождения) и Вера Михайловна. Я ему представила нового члена семьи, он одобрил и сказал, что она — Краузерского рода, даже и нос. Сидел довольно порядочно.

Взгляды на будущее у него не особенно светлые. Боится аграрных беспорядков, контрреволюции, но всё же он значительно бодрее выглядит, чем раньше. Не хочет голосовать больше за КД, скорее склонен за социалистов, если будет знать их кандидатов.

Вера Михайловна сидела до поздней ночи. Как она привязалась и заинтересовалась своей службой в Медопе совсем, совсем другое отношение, чем в Морозовской больнице. И ей доставляет большое удовольствие рассказывать мне обо всех сослуживцах. Я теперь хорошо их знаю, большую часть времени (она была 3 дня) она отдала мне. <...>

¹ Теобальд фон Бетман-Гольвег — министр-президент Пруссии в 1917 году.

25 марта 1917 г.

В сегодняшнем твоём письме, дорогой, сквозит обида, что во мне слишком сильна женщина в ущерб гражданке. Не могу, милый, полностью ощутить радость свободы через слишком густой туман горя войны. Не мирюсь, милый, с тем положением, что в свободной стране, так нуждающейся в культурной созидательной работе, опять будет тратиться вся энергия, вся сила для производства средств разрушения.

Только тогда, когда будет заключён мир, я в состоянии буду ощущать радость, подъём для работы в действительно свободной духом стране. И я думаю, что тебе будет понятно, что лозунги социалистов близки моему мировоззрению. Что бы мне ни говорили, что бы ни писали о взятии немцами Петрограда и даже Москвы (вчера в «Русских Ведомостях»), я не верю, я в данном вопросе оптимистка. Я слишком верю в верность социалистическим лозунгам немецкой социемократии, чтоб допустить такую завоевательную политику и восстановление самодержавного строя у нас.

Я не могу понять, почему так шипят наши прогрессисты на с.-д., разве не справедливо их требование конгресса мира? Пускай все выскажутся, что нужно для ликвидации мирового погрома. Меня интересует, наконец, что разумеют сторонники войны под лозунгом «война до полной победы»; хоть бы раз облекли этот лозунг в реальную конкретную форму.... А уж выступление Америки совсем странно. Может быть, и прав Жаботинский в своём фельетоне «Разговор с американцем» (м.б. и не такое название, хорошо не помню). А затем, Ёжик, не забывай, что я сейчас прежде всего должна выполнять обязанности матери. И, следовательно, устранена от участия в общественной работе. Мудрено ли после этого, что во мне остаётся много, много женщины..., а не гражданки. <...>

Я не буду говорить о том, насколько это легко или трудно, я только хочу снять с себя этот твой невольный упрёк в последнем письме. За тебя я очень рада, что общественные события захватили тебя настолько, что забылась серая, полная лишений румынская жизнь. Теперь и работа для тебя найдётся.

Был Витя. Бегает по собраниям, по товарищам. Устал, похудел, нервничает. «Никогда, — говорит, — ещё не было такого нежелания ехать на фронт, как сейчас». Проклятая война! Дождусь ли я конца её.

26 марта 1917 г.

Верная, верная пословица «не имей сто рублей, а имей сто друзей». Вчера забежала к М.Ф. Моргуновой поздравить с днём рождения (кстати, о моём дне рождения ты, кажется, опять забыл?), и она меня так трогательно просила обращаться к ней за деньгами, если мне будет нужно, что я пошла от неё сияющая. Ведь, право, приятно чувствовать, что есть люди, к которым можно обратиться в тяжёлые минуты.

Там зашёл разговор на политические темы: был в гостях культурный купчик. Наша буржуазия теперь порядком стухнула, и видит всё в мрачном свете. А я на этот раз неисправимая оптимистка. Конечно, будут крайности, неприятности, но ведь нельзя же начать новую жизнь без ошибок. Постоянно слышишь возмущение в интеллигентных кругах, что теперь нет никакой возможности ездить на трамваях, всюду солдаты и т. д. А меня так умиляют эти солдаты. Стоишь, ждёшь

трамвая. Придёт он, как теперь поётся, «бешеный, кругом обвешанный», посмотришь с грустью, не рискуя садиться. Солдатик выручает: «садитесь, садитесь». Сам сойдёт с подножки, тебя подсадит и сзади служит подпоркой. Дважды меня так выручали.

Нравится мне сейчас и настроение публики в трамвае. Бывало, стоят и сидят все злые, угрюмые, только ругаются. А теперь — своего рода клуб в трамвае. Чего-чего только не наслушаешься. Сегодня было обсуждение поражения на Стоходе. Публика недоумевала, почему «раньше все говорили об измене, о недостатке снарядов, а теперь всё есть, а всё-таки нас бьют». Интересное время. Жаль только что мне мало приходится толкаться в толпе.

С тяжёлым чувством проводили Витю, он ужасно нервничал, так хотелось [ему] остаться в Москве и заниматься общественной работой.

27 марта 1917 г.

Получила твоё письмо от 16 марта, где ты сообщаешь о смерти В[ышемирского]¹. Вполне присоединяюсь к твоему сожалению... Ведь мир не за горами.

[Побывала в бактериологической лаборатории у П.В. Циклинской.] Было там очень мило: кабинет у неё уютный, чай со сливками и конфетами очень вкусный. Поговорили о текущем моменте. Она смотрит на будущее довольно бодро, хотя и сильно огорчена неудачей на Стоходе.

Её ближайшая помощница получила приглашение на место в качестве бактериолога на 500 рублей в месяц при полном содержании. Вот и мне пришла в голову мысль: зиму я позанимаюсь бактериологией, а летом оставлю Ириночку с тобой, а сама поеду наживать деньги.

Тебе, милый, может быть, покажутся странными мои заботы о деньгах, но ты их поймёшь, когда будешь участвовать в ведении хозяйства.

Вот Пасха подходит, само собой, что я встречу её самым наискромным образом, и всё-таки уйдёт масса денег на чай, подарки и т. д. Хожу без калош, в рваных башмаках, и страшно подумать о покупке: и в смысле денег, и в смысле времени. Ведь теперь длинные очереди за обувью. А сколько бы нужно денег, чтоб прилично одеться. Тяжко жить...

Получила письмо от Ани; бедняжка совсем голодает: ни хлеба, ни денег; и не хочет ехать сюда на Пасху. Пошлю ей 25 руб., может быть, соблазнится приехать. Мне бы очень интересно её повидать и послушать подробный отчёт о Петроградских событиях.

Ты спрашиваешь, как смотрят на будущее товарищи? Дамы, по-видимому, под влиянием Колли, язвят по поводу демократизации, так что даже вызывают неудовольствие со стороны таких спокойных элементов, как Иван Михайлович [Струженский]. Владимир Александрович [Колли] уже вовсе шипит на левых и неустанно проповедует, сидя в Москве, войну стойкую и длительную. Елизавета Адриановна [Скосицкая] по дням — то монархистка, то республиканка. Николай Иванович [Скворцов], со свойственной ему беспристрастностью взвешивает и плохое и хорошее данного момента. Вообще, с морозовцами малоинтересно

¹ Старик корпусной врач, недавно только ушедший на повышение.

говорить о революции; их как-то мало всколыхнула она. Впрочем, недавно было предъявлено директору требование убрать экономку.

29 марта 1917 г.

С каждым днём она [Иринка] требует всё больше и больше внимания. За целый день я только успеваю с трудом прочесть газету и написать тебе письмо. И делаю это почти в тумане, так как ужасно устаю. Чувствую, что не хватит скоро сил у меня заниматься в больнице, бегать в приют и всецело вести уход за ней. А передать её страшно. Весь мир кажется наполненным бактериями, которые при малейшей оплошности готовы ринуться на Иринку.

Вот думала передать её Дуняше; оказывается, её сестру не отпускают сюда родители. А вводить нового человека в дом так страшно. <...>

Во вчерашних «Русских Ведомостях» на первой странице был помещён отчёт о съезде партии Народной свободы. Я не отрицаю, что в составе этой партии крупные интеллигентные силы, но не люблю я её за гибкость их партийных лозунгов, за самовлюблённость и упивание своим красноречием. Подумаешь, вся Россия держится на Родичеве. И их империализм меня тоже возмущает. Противоречие на съезде определённое. Решение в духе империализма, а Временное правительство сильнее всего представленное этими элементами, отказывается от всяких аннексий и т. д. Не без давления, видимо, Советов рабочих депутатов. Мятежный во мне дух сидит: и ошибки, и искания, и, наконец, прямолинейность левых партий мне гораздо ближе и понятнее, чем «безошибочность» и выдержанность «республиканско-демократической» партии. Свой голос на выборах я подаю за социалистов.

[Отдельный листок; не датирован.]

В Морозовке делается что-то нехорошее: Алексееву трудно изменить свой характер и ограничить своё полномочие. Он до сих пор ещё не устроил общего собрания всех служащих, несмотря на усиленный, якобы, совет Владимира Александровича [Колли]. В результате образуется пропасть между низшими и высшими служащими: последние организуются, выставляют ряд требований, вроде увольнения экономки, фельдшерниц и т. д., а врачи чувствуют полную растерянность. Будь примирительная камера или, наконец, будь общие собрания, тогда бы атмосфера разрядилась, и всё было бы по-хорошему, как во Владимирской больнице.

Ассистенты уныло бродят и сетуют, что у них нет никого, кто бы их наставил и поправил. Жалеют, что нет тебя, Сергея Николаевича, Алексея Сергеевича [Молодёнкова]. Действительно, у них нет общественных деятелей, даже некого выбрать в делегаты.

30 марта 1917 г.

Сегодня Иринка встала весёлая, и вместе с нею просветлела и я. Она только заразилась духом свободы и кричит: «Долой пелёнки!» Как ещё тщательно ни завёртываешь, она всё сойдёт, такая шустрая девочка. <...>

Сегодня купила ей большое красное яйцо и повесила над её головой. Она пристально смотрела, радовалась и выделявала своим ротиком всевозможные

гримасы, издавая при этом разные звуки. Уже 2½ месяца! — ты теперь совсем её не узнаешь, она уже требует вертикального положения и сознательно протестует против одиночного заключения в кровати. <...>

Сегодня, уж ты прости, разговаривает с тобой только мать и жена, а не гражданка. [*Послала в Ригу фото девочки бабушке и Эдит*]. Пусть тоже знают и чувствуют, что мы их любим и помним.

Погода у нас теперь тёплая, хотя приходится ещё топить печь: мыть Иринку в холодной и сырой комнате не хочется. Праздник встретили тихо, без особых приготовлений. Много [усилий?] ушло на чистоту квартиры от антрацитной пыли. В город всё-таки пришлось съездить: всё дорого, везде масса народу и очереди.

Моё хозяйство вроде тришкиного кафтана: есть мука, нет дрожжей; есть краски, нет яиц и т. д. Да, признаться сказать, и делаешь это только для гостей.

2 апреля 1917 г.

Вот прошёл и первый день Пасхи, нынче особенно тихо, так как даже нет почты. С новым строем всё по-новому: трамваи не ходят, газет нет, почтальоны не работают. Скучно, но ничего не поделаешь — всем отдых нужен.

Весь день у меня прошёл в занятиях с Иринкой. Выносили её гулять и, конечно, она сразу заснула. Можешь представить себе, Ёжик, что она положительно ничего не даёт сделать: носи её по комнате и только.

Очень для меня важный вопрос: что дальше делать? Приглашать няню — где её сейчас найдёшь? — хорошую, которой можно доверять? А, главное, неизвестно ещё, как решится вопрос с квартирой. Может быть, придётся жить в комнате, куда я тогда денусь с двумя прислугами? Перевести Дуняшу в няни, а кухарку искать? — только ещё какая попадётся? А мне становится трудно, хочется и почитать, и поработать. Вот и не знаю, что придумать. А переносить её плач положительно не могу.

Ну, а ты как советуешь? Можешь ли доверить нашу Иринку совершенно неизвестному лицу или же передать её Дуняше и искать кухарку? <...>

Сегодня только были у меня Лидия Викт. и Ал.Дм.

Ольга Ивановна всё ещё с [*дифтерийными*] палочками и сидит в сомнительном. Курьёзнее всего, что от неё заразился Владимир Александрович Колли и сидит в 3-м смешанном. Дифтерит у него очень лёгкий, и он тоже сидит из-за палочек. Они друг друга навещают и гуляют вместе. Ольга Ивановна страшно нервничает, впрочем. В отпуск ей надо поехать отдыхать. Нынче возьмут заместителя ассистента.

Дед [*Алексеев*], — говорят, я давно его не видела, — очень осунулся, изменился и потерял свой гордый вид. Тяжело ему на старости лет мириться с новым укладом жизни. Вот недавно по первому требованию служащих пришлось удалить экономку.

Ник.Ник. Вильям всё прихварывает, сейчас у него небольшой инфаркт лёгкого. <...> Поздравь от меня товарищей с праздником.

3 апреля 1917 г.

Сегодня уже товарищеская встреча участников Пироговского съезда, а тебя — нет... И откуда у меня была такая надежда?

Получила письмо от 21 марта. Ты пишешь о *гостинцах с неба*. Недаром я, прочитав в газете о воздушном налёте, плохо спала ночь. Скоро ли конец всему этому?

Сегодня событие в Морозовской больнице: из окна прострелили икону в Карзинкинской амбулатории. Очевидно, приняли икону за царский портрет. Много ещё времени пройдёт, пока Россия будет культурна.

[*Далее размышления о квартире, об Ирине...*]. Она вчера получила от Веры Михайловны фарфоровое яйцо, три тарелки для обеда, чашку и кружку. Дело теперь не за большим — можно садиться обедать.

6 апреля 1917 г.

Твои письма от 22, 23 и 24 марта вызвали у меня столько горечи, страдания, что я не могла сдерживать свои слёзы перед маленькой Иринкой. <...> Ты удивлённо спросишь — почему? Да всё потому, что мои письма тебя не удовлетворяют, ты ищешь гражданку, а находишь жену и мать. Если ты пишешь так, то, значит, меня мало знаешь. Я не писала тебе эти два дня, боясь благодаря своей импульсивности быть несправедливой к тебе, хотя всё время мысленно отвечала тебе. Отражать в своих письмах общественное мнение я не могу (да и не хочу), так как абсолютно нигде не бываю и почти никого не вижу. Писать свои мысли и чувства по поводу прочитанного в газетах, не хочется, так как я была уверена, что ты в большинстве случаев угадаешь мою оценку. Взять последние твои письма, — они представляют ценный материал для архива, но для меня — нет, так как я и без них хорошо знала, что ты именно так думаешь.

Ты хорошо знаешь моё мнение: не верю ни в какую красоту, свободу, радость до тех пор, пока существует война. Раз люди защищают войну — они не свободны, они не борцы за идеалы, они — прокажённые духом. Разве есть сейчас свобода, творческая работа — ничего подобного: есть какое-то одурманивание лозунгами «вести войну до победного конца».

И вот меня-то больше всего поражает вот это. Поговори ты в отдельности с лицами, выдвигающими этот лозунг: «Вы верите в победу?» — «Нет», ответит он. «Вам нужен Константинополь и пролив?» Тоже ответит «нет» и будет утверждать, что надо кончать войну. А в результате — «война до победного конца». Что это значит, скажи мне?..

Я не могу стоять вне упрека, что я заинтересована лично в её окончании. Но, видит Бог, я не приемлю её по тем же соображениям, по каким не приемлют и большевики с.-д. Ты тоже заразился немного общим духом, боишься вторжения немцев вглубь России и призываешь всех предупредить эту возможности «усиленной работой для победы», а я считаю созыв мирной конференции лучшим и честным противодействием этому вторжению... А ведь это своего рода жупел: стоит только заговорить о ней, как страсти разгораются, как пускаются все средства протеста. Люди — под наркозом войны, а в таких условиях никакая свобода не может быть красива и ценна.

Ты хочешь знать моё мнение? Разве ты можешь сомневаться хоть одну минуту, что поступок наших доблестных союзников в отказе проезда нашим эмигрантам я назову «политическим бесчестием», а не переговоры и проезд их через Германию? Нет, не хочу и не могу говорить как гражданка. Мне больно, мне

тяжко. Вот Александр Акимович [*Чахмахсазиянц*], которому я дала читать твои письма (ведь там только речи гражданина!), с удовольствием ответит теперь на них подробно.

Сколько обязанностей на мне лежит: мать, жена, врач, хозяйка, гражданка... С честью я, кажется, несу только одну, ради неё я отказываюсь от всего. Пусть же маленькая девочка когда-нибудь поймёт всю глубину переживаний своей изболевшей матери и не пойдёт по её пути, а в каждую минуту только будет гражданкой.

Всё свободное время я посвятила на письмо. Газета сегодняшняя лежит непрочитанная, — тоже недостаток гражданства.

Пусть Ириночка не выходит замуж, много страдания доставляет оно.

Голова кружится — прощай.

7 апреля 1917 г.

Горечь последних дней прошла, дорогой Ёжик, я стала покойнее. <...>

Сегодня звонила Екатерина Ивановна [*Иванова*], что на Пироговском съезде прошла резолюция о мобилизации женщин-врачей и ратников 2-го разряда и о замене последними фронтовиков-врачей. Чудачка она! «Теперь, — говорит она, — возвратится Фр.Оск., только не знаю, будет ли для Вас лучше, ведь на что вы тогда будете существовать?» Я засмеялась и сказала, что согласна питаться только чёрным хлебом. Подробно напишу тебе о Пироговском съезде, когда узнаю от неё всё подробно.

Посылаю тебе сегодня все левые газеты. Не знаю только, дойдут ли они. Жалею, что не сделала этого раньше, тогда бы ты ознакомился с настроением и деятельностью Совета рабочих депутатов и социал-демократов. Недошедших до тебя номеров «Русских Ведомостей» там нет, так как я собрала только первые номера, а остальные решила изводить в надежде, что ты всё соберёшь сам.

Сегодня говорила с Мих.Ал.¹ о войне. Он тоже большой сторонник мира. «Нужно, — говорит, — постоянно долбить нашим союзникам о созыве мирной конференции, однако я это мнение не высказал бы у памятника Пушкина, так как не все способны воспринять его как следует, и нельзя с интенсивностью работать снаряды, если думать о мире». Вот откуда происходит то противоречие, о котором я тебе писала: необходимо [*неразб.*] толпу, чтоб заставить работать. Как странно...

А вот Ольга Михайловна Руд...[?], так та отчаянно ругает левые партии, называя их приспешниками Вильгельма. Как разны люди мыслят!

8 апреля 1917 г.

Мой дорогой, мне опять совестно за мою импульсивность. Ведь правда, так понятно и естественно, что ты хочешь делиться своими взглядами на современное положение вещей и знать моё [*мнение*]. Но поверь, что страдала я искренно и в своём страдании до некоторой степени права. <...>

¹ Скворцовым Михаил Александрович (1876–1963) — прозектор Морозовской больницы в 1911–1953 гг., выдающийся патологоанатом, профессор, академик АМН СССР (1945), основоположник патологической анатомии болезней детского возраста.

Несколько дней подряд я посылаю тебе левые газеты «Социал-демократ», «Вперёд», «Земля и Воля», «Известия рабочих депутатов», «Солдат гражданин». Но, по-видимому, они не дойдут.

Сося рассказывала, что в Университете Шанявского на лекции Хвостова¹ ему была послана записка: «Почему на фронт не доходят левые газеты?», на что он ответил: «Армия должна стоять вне политики». Очевидно, все эти газеты задерживаются. Жаль, ты бы познакомился с их настроением. Может, я нахожусь под влиянием этих газет, но мне кажется, что нападки на газеты рабочих депутатов, что они вносят дезорганизацию в Армию, несправедливы. Относительно двоевластия тоже неправильно. С.-д. рассматривают Совет рабочих депутатов как орган, призванный быть на страже интересов рабочего класса, и в этом смысле влияющий на Временное правительство. И, по-видимому, острота отношений между Советом рабочих депутатов и Временным правительством сглаживается.

Вот насчёт чего я не разделяю твоего мнения, это насчёт германского удара. Не верю я, чтоб наша рука социалистов к Германским повисла в воздухе... Беспокоит меня только упорное молчание со стороны Франции и Англии. А, в конце концов, Ёжик, всё-таки не верится, что может быть конец всем страданиям.

Твоя непостоянная Шура.

9 апреля 1917 г.

Для меня всё яснее и яснее разногласие в психологии мужчины и женщины. И всё с большим и большим уважением я отношусь к женщине. Я рада её равноправию политическому, рада её успеху, но ссылки на её научную и творческую малоценность меня не смутят. У нас есть своё творчество, свой огонь, который многим, многим освещает путь. <...>

Была сегодня Екатерина Ив. [Иванова], много рассказывала о Владимирской больнице². Там жизнь политическая идёт всюю, не то, что в Морозовской больнице. Устроена уже примирительная камера, идут общие собрания всех служащих. Деятельное участие в политической жизни больницы принимает Сергей Игнатьевич³ и пользуется большим доверием всех; он — социал-демократ. Немало и курьёзов бывает на этих собраниях. Согласись, что у нянь и швейцаров мало опыта в ораторстве. Между прочим, было там заявлено на одном из заседаний недовольство смотрительницей, что она завела много кошек. Кошки гадят, а убирать должны няни. В следующем же собрании встаёт представитель нянь и говорит: «Так что кошек мы отравили, и перед нами извинились, так что мы снимаем наше предыдущее заявление». Как видишь, улаживается всё мирным путём.

Относительно Пироговского съезда она рассказывала не много, так как на последних заседаниях ей не пришлось быть. Возмущалась очень поведением вра-

¹ Хвостов Вениамин Михайлович (1868–1920) — социолог, правовед.

² В советское время — Русаковская детская больница, где многие годы работала Ал.Ив. (уже зав. кафедрой).

³ Федьинский Сергей Игнатьевич (1876–1926), преподаватель медицинского факультета Высших Женских курсов, ассистент Владимирской (потом Русаковской) детской больницы.

чей. Как ты уже знаешь из газет, представитель Совета рабочих депутатов приветствовал съезд и освещал деятельность Совета депутатов. Стоило ему только начать о 8-часовом рабочем дне, как поднялось шипение, свист, а ведь, в конце концов, [всё-таки] вынесена резолюция о желательности его. Хорошо, что тот не смутился и заявил, что он привык говорить при всяком отношении к нему аудитории.

Большой протест также вызвало заявление Жбанкова, что нужно влиять на Временное правительство в смысле скорейшего заключения мира с Германией.

Резолюции съезда Е.И. хотела достать и перепечатать для вас. Может быть, о вас раньше позаботится Тарасевич. Екатерина Ивановна выбрана от клиники в ревизионную комиссию Воспитательного дома. От Морозовской больницы избран Алексеев. Последний, по словам Ек.Ив., держал себя монархом, в результате чего она [*неразб.*] и другие молодые силы отказываются работать.

Интересна статистика Воспитательного дома. Из ста ребят, отданных туда на воспитание, до 21 года доживают только 10—15 человек. Как это тебе нравится?

Мне, конечно, по обыкновению досталось от Екат.Иван., что я мало гуляю, что балую Пузырку и т. д. Вот Екат.Ив. так действительно, трудно представить женой и матерью. На роду ей написано быть общественной деятельницей.

По обыкновению, она рассказала и страшные вещи: будто бы эвакуируется Петроград. Целую.

10 апреля 1917 г.

Была у меня сегодня заведующая приютом [*для мальчиков*] Швецова и рассказывала о своём горе. Патронессе надоел приют, и она хочет его ликвидировать. Куда денутся ребята? Она очень славный человек и свободно говорит по-немецки. Я думаю, с ней было бы хорошо оставлять Иринку. Она так любит детей и к Ириночке относится с особенной нежностью. Я её спрашивала, пойдёт ли она к нам в случае ликвидации приюта. Она ответила, что с удовольствием. Как ты думаешь? Она в приюте получала 40 рублей. Целую.

13 апреля 1917 г.

Письма твои дышат бодростью и радостью. Общественная жизнь тебя захватила всего. Завидую такой глубокой и сильной страсти. Моё участие в политике ограничивается только чтением газет, так как я сейчас стою вне даже всякого учреждения, где могла бы хоть немного принимать участие в собраниях.

Какая разница с 1905 годом, когда я принимала самое активное участие. И мы сейчас часто говорим на разных языках. Теоретически всё понятно, но временами очень больно.

Хорошо вам — мужчинам на свете живётся, не страдаете вы так, как мы. Вот сейчас передо мной ужасный случай: в Карзинкинском отделении умирает 6-месячный ребёнок одного политического ссыльного [*заболел по дороге из Сибири*].

Квартир совсем нет, есть нечего. В последние дни такой затхлый хлеб, что насильно заставляешь себя есть. Мяса тоже нет. Когда ты вернёшься? Одно только желание: дожить до этого, чтоб передать мою Иринку, моё сокровище тебе. Так я устала душой, что нет энергии дальше жить...

21 апреля 1917 г.

Во-первых, сильно взволновало разногласие между Временным правительством и Советами рабочих депутатов по поводу ноты к державам согласия. <...>

Вторая неприятность тоже большая для меня. Дуняшу требуют к 9 мая домой. Искать человека так трудно. Главное, как я доверю Иринку чужому человеку? Дуняша очень славная и исполнительная. Жаль её страшно. Плохи мои дела: нет квартиры, нет прислуги и не с кем разделить все свои горести. Тебе в далёкой Румынии все мои заботы кажутся пустяшными, и не всегда ты на них отзываешься. [Далее об Иринке].

26 апреля 1917 г.

24-го вечером покормила Пузырку около 8 часов и заснула... Вдруг вижу перед собой Дуняшу, которая торжественно возвещает: «Доктор с фронта!» Я мигом вскочила, но придать себе элегантный вид не смогла. Уж ты извини, что твою жену застали в таком заспанном виде. [Сергей Михайлович Щастный] у меня сидел очень недолго — торопился к сестре, но успел кое-что рассказать. Вчера уже сидел значительно дольше, но время всё прошло незаметно. Я ему показала Пузырку; о впечатлении он сам тебе расскажет. Посылаю тебе с ним немного конфет, печенья и литературы; большой посылкой боюсь его затруднить. Письмо это свезу ему прямо на вокзал.

Гостили у меня Оля с мужем и Настя, да тут как раз ещё и именины были. Не люблю я теперь табельные дни: точно нарочно в такие дни от тебя нет писем, а всё прочее сейчас только огорчает.

Всё так ужасно дорого, что прямо не хочется в магазины ходить. Например, купила только 2 фунта ветчины и один — самой обыкновенной колбасы. И это удовольствие обошлось в 10 руб. 17 коп.!

Вообще, продовольственный вопрос сейчас так остро стоит. Хлеба дают только по $\frac{3}{4}$ фунта, мяса нет, круп тоже; не знаю, чем и питаться. В последние дни, должно быть в связи с недосыпанием, молока у меня стало мало, приходится за раз давать обе груди. Очень боюсь, что летом придётся прикармливать. Чувствую себя неважно, но перед Сергеем Михайловичем держалась бодро.

В политическом отношении тоже что-то закрадываются сомнения насчёт будущего. <...> Относительно войны Сергей Мих. уверяет, что к осени она непременно кончится. Я уж просила его передать тебе, что мы с Пузыркой тебя усиленно ждём, и если ты скоро не вернёшься, ни за что не ручаемся. Тяжело, Ёжик, жить!

Квартиры, по-видимому, мне не удастся найти; к осени найду себе комнату — вот всё. Беспокоит только, что нас с пелёнками нигде не пустят. Относительно Дуняши вопрос ещё не совсем решен, но больше всего вероятно, что она уедет. Этот вопрос меня тоже очень беспокоит. Оставаться совсем одной с этими громадными очередями; как оставлять Иринку?

Ещё огорчил меня вчера вечером разговор с директором; ему хочется дать мне заразную амбулаторию, так как нечем заменить Елизавету Адриановну и Ольгу Сергеевну. Просил меня об этом подумать. Я вышла от него и сейчас же решила отказаться. Будь Иринка побольше — другое дело, я бы не стала так то-

ропиться, могла бы каждый раз брать ванну, но сейчас ведь мне нужно спешить с кормлением. <...> Вдруг я заражу свою куколку. <...>

У Веры Петровны нашли поражёнными верхушки лёгких, и Николай Иванович везёт её на кумыс. Серёжа остаётся с бабушкой, и Ник.Ив. просил меня взять его под своё покровительство.

29 апреля 1917 г.

Если я не пишу, значит, нет никакой физической возможности. А ты мне пиши чаще, потому что только от тебя я буду набираться мужества и бодрости.

Грустно, грустно, Ёжик, и в политическом отношении и в моих личных делах. Так я верила в силу и сплочённость демократии, в великое значение международной социалистической конференции, но, увы, ... с.-д. разбились на бесчисленные фракции и занимаются только полемикой [и т. д.]. Страшен и надвигающийся голод в Москве. Чувство радости [от революции] сменяется тревогой. Без культуры далеко не уйдём.

Вчера был Вилли. Он настроен тоже очень мрачно. Рассказывал, что на заводе вырабатывается только 1/3 того количества, что было до революции. Боятся за нашу промышленность, и думает после войны удирать.

Дуняша уезжает в четверг, новой прислуги ещё нет, так что, возможно, что мы с Соней останемся одни. Тогда уж [будет] не до писем, вечером я буду стирать пелёнки. Не знаю только, как быть с хлебом. Квартира [на которую рассчитывала Ал.Ив.] не освобождается.

Радует только моя девочка: весёлая-весёлая, и так приветливо мне улыбается. Вилли был с ней вчера очень нежен. Принёс он нам полдюжины столовых серебряных ложек и ложечку от Эдит для Иринки.

Вот ещё неприятность: очень тяжело больна Ольга Ивановна. 27 апреля днём она враз почувствовала сильные боли в животе. <...> Вчера была сделана операция. <...> Сегодня её положение очень тяжёлое. <...> Одно только приятное могу сообщить тебе: была у Прасковьи Васильевны, она представила меня в факультет в качестве ассистента. Нужно только подать [латынь, неразб. — curriculum vitae?]. Оклад жалованья 800 рублей, а может быть, и 960 р.

30 апреля 1917 г.

Какая безотрадная речь Керенского сегодня... Куда мы идём и что нас ожидает?

Ольга Ивановна в крайне тяжёлом состоянии. Посылаю тебе снимок Пузырки. Не могу больше писать.

2 мая 1917 г.

Не стало Ольги Ивановны. Она умерла вчера в 11½ вечера в страшных муках. <...> Она оставила по себе только хорошее, и умерла она в зените счастья. Она только что, после упорной и долгой борьбы, решила выйти замуж за Владимира Владимировича Колли. Была весела и счастлива. Я знала это чутьём, но никогда не расспрашивала, несмотря на то, что Ол.Ив. говаривала мне: «Если бы я Вам могла сказать всё...». И вот сегодня, не знаю, каким образом, вылил мне свою душу Вл.Вл. И стало мне совестно за своё отношение к нему... Больно

за то, что я своим отношением прошлым к Колли огорчала её. А Ольга Ивановна, по моему мнению, прямо счастливая... Помнишь мои постоянные слова, что надо уйти от тебя, в то время, когда любовь была чиста от обычных забот... Любовь — страдание, и только утро её безмятежно и ясно.

Я получила твоё письмо от 22-го, оно раньше пришло, чем предыдущее, которые ты сам сдал на почту с некоторым волнением. Оно ещё не пришло, но я угадываю его содержание. Всякая очень сильная боль притупляет восприимчивость к новым впечатлениям. А я именно сейчас в таком состоянии, когда чувствую *нестерпимую* душевную боль... Что же может прибавить твоё письмо?

4 мая 1917 г.

Похоронили сегодня Ольгу Ивановну.

После смерти она так изменилась, что её трудно узнать. Гроб её утопал в цветах, ведь она по себе оставила только хорошую память. На могиле директор сказал очень краткую, но тёплую речь. Трудно представить теперь, что её больше не встретишь в Морозовской больнице. Бедный Владимир Владимирович — потерять любимого человека в расцвете счастья — это такой ужас... Препоклоняюсь я перед его страданием...

[А.И. в душевном кризисе. По получении максимально взвешенного письма мужа в ответ на её бурные обвинения в «письмах для архива», эмоции её захлёстывают].

Сегодня уехала Дуняша, и мы остались совсем без прислуги.

[5 мая — письмо, также полное одних бурных и несправедливых обвинений и страдания.]

6 мая 1917 г.

Наконец получила твоё письмо от 20 апреля [*то самое, большое и программное, про «писание для архивов»...*]. Что я тебе отвечу? Ничего. У меня нет сил реагировать ни на что, кроме как на благополучие Пузырки... [*Нет прислуги, нет квартиры, и т. д.*].

Спасибо Соне, а то бы одно отчаяние, ведь я от Пузырки никуда не могу уйти. Хорошо, что хлеб удаётся получить из больницы, а то бы совсем сиди голодная. Яйца есть — вот и всё, что можно достать без очереди. И опять мучит вопрос: при таком питании хватит ли молока. <...>

... Я думаю в понедельник ездить по конторам и редакциям газет, чтобы сделать публикацию, что нужна бонна к 4-месячному ребёнку. Лучше иметь интеллигентного человека в доме, чтоб хоть можно [было] работать в больнице со спокойной душой. Валюсь от усталости.

7 мая 1917 г.

Пишу тебе, но мысль, что только через месяц получу от тебя ответ, прямо парализует желание беседовать с тобой. Тяжело сейчас жить. От радости первых дней революции нет и следа. Права я была, когда не чувствовала этой радости. Нет больше веры в людей, в торжество социалистических идей. Грустно.

Повсюду слышишь о бесчинствах взбунтовавшихся рабов, а где же граждане? Может, только наша девочка доживёт до лучших времён, а мы — обречены, должно быть, на тяжёлое житьё.

Сегодня у нас целый день народ. Ужасно я устала. Все очень любовались девочкой. Она, правда, славная: весёлая, мало капризничает и очень живая. Коллекция игрушек растёт, и все они повешены над кроватью.

8 мая 1917 г.

А мне не везёт. Та прислуга, что я вчера наняла, не пришла. Сегодня даже за хлебом не пришлось сходить. Ездил я в город, чтоб сделать объявление о бонне, сомневаюсь только, что найду. Завтра опять придётся ехать насчёт прислуги. Питаемся с Соней только яйцами; молоко тоже нельзя достать.

А погода — убийственная: холодно, идёт целый день снег, приходится топить печки, а дрова совсем на исходе. И девочка сегодня капризничает, прямо беда. Сегодня ещё сюрприз: Соне выходит место с 15-го, я тоже вступаю заместителем в Морозовскую больницу. С кем оставить Ириночку? Душа прямо рвётся на части. Нет, никому нельзя доверять: та же самая Дуня подвела самым прекрасным образом: как я ни допытывалась, надолго ли она поедет, она мне решительно ничего не говорила, а потом — уехала... Спасибо ещё друзьям — помогают. <...>

Получила письмо из Риги. Там беспокоятся, как я здесь живу, а если бы они знали, что у меня даже нет прислуги!

9 мая 1917 г.

За всю мою жизнь не видала такой ужасной погоды, как сегодня: отчаянный ветер и снег большими-большими хлопьями, прямо с трудом идёшь. И это в мае.

Нет, положительно не верится, что будет тепло, будет цветы сирень, помнишь, как в мае 1915 года, когда мы были в Киеве. Давно это было, очень давно. <...>

Призваны на военную службу женщины-врачи. Любопытно. Только я плохо представляю, во-первых, как это будет выполнено, а, во-вторых, кто же останется в тылу? Вот, когда мне пришла очередь опять взяться за работу; скорее бы только разрешился домашний кризис. Не знаю, как искать прислугу и бонну.

10 мая 1917 г. (?)

Вчера звонила относительно комнат по объявлениям в газетах. Несмотря на то, что трамваи не ходят, три комнаты были сданы сейчас же (цен не знаю), две стоили по 160 рублей. Звонила насчёт бонны, которую рекомендует дама, у которой она жила 6 лет — моё предложение сороковое! Как тебе это нравится? При первой возможности бегу на дровяной склад покупать дрова. У меня совсем их нет; сажень стоит 75 рублей.

11 мая 1917 г.

Ты так веришь в близкий мир, а я надеюсь только на обмен [врачей]. Должна же хлопотать Морозовская больница, чтоб вас всех возвратили взамен призванных женщин...

Несмотря на все мои энергичные поиски, несмотря на публикацию, я до сих пор вторую неделю никого не могу найти. Не желают идти в прислуги. Прямо иной раз охватывает отчаяние, и хуже всего то, что от всех этих неустойств меньше [стало] молока. Питаемся мы с Соней только яйцами, молока нельзя достать, круп — тоже.

Сегодня пишу в Ригу с просьбой поискать бонну. Ведь надо же после домашнего кризиса решать [и] квартирный. Если бы ты мог приехать на неделю, я хоть немножко воспряла бы духом. <...>

С понедельника начинаю опять служить в Морозовке. Плохой я сейчас врач... Ты прав, когда говоришь, что я в себе сомневаюсь. Право, я сейчас ничто, «от ворон отстала, к павам не пристала»; и не врач, и не хозяйка. Не будь Сони, я, право бы, не в состоянии была поставить самовар; мне жаль тратить время для таких малоинтересных, для себя, потребностей. Для Иринки я буду стирать пелёнки, а для себя и самовар не поставлю.

12 мая 1917 г.

Всю тяжесть положения Керенский вывозит на своих плечах. Сгорит он быстро, вот что страшно. <...>

Домашний кризис продолжается: прислуги всё нет. Жаль мне Соню, она тоже устала.

Относительно бонны: Маргарита Альфредовна очень охотно идёт ко мне, но её коллега-воспитательница заявила, что тогда и она уйдёт из приюта. Конечно, это недопустимо.

Предлагает мне эта воспитательница свою свояченицу, живущую на Урале. Плюс тот, что она за неё ручается как за честного и порядочного человека. Я просила её написать об условиях и, если она согласится, возьму её. Она знает и шитьё, и хозяйство. А к осени, может быть, освободится и Маргарита Альфредовна.

Видела директора. С 15-го начинаю служить в чистой амбулатории. Он очень смущён призывом женщин-врачей и удивлён большим падением амбулаторных посещений. Странно, что несмотря на все тяжёлые условия, эпидемии падают: все заразные отделения пустуют, даже скарлатина. Когда это было?

15 мая 1917 г.

Ни бонны, ни прислуги мне не удастся найти. Взяла только из приюта девочку 14 лет. Вот с ней мне и пришлось оставить свою девочку. Упросила ещё Шуру Пашину придти посмотреть, как эта Маня справляется с Иринкой. Пришла совершенно измученная борьбой долга по отношению к больным с материнской тревогой за Иринку. Отказаться от службы и недобросовестно с моей стороны, а с другой — поставить крест на своей деятельности. <...>

Володя Колли, — со слов Лидии Викторовны, чувствует себя ужасно.

16 мая 1917 г.

Очевидно, Ёжик, всегда за волной падения следует волна подъёма. После вчерашнего убийственного состояния я сегодня покойнее, несмотря на то, что совсем не выспалась, несмотря на то, что домашние дела из рук вон плохи. Даже

девочка и то завтра уходит — берут её в деревню. Вся надежда на Шуру, с которой буду оставлять свою девочку. Сегодня ещё, кроме всего прочего, находимся на пожертвованном иждивении. Дров у меня нет, так как не могу выбраться в склад и некому принять дров; для керосинки сегодня нигде не нашли керосину. Вот спасибо Насте, прислала нам с своей бонной поесть. Писала Ане, чтобы она приехала, — раньше 1 июня не может. Прямо не знаю, что и придумать.

Мне совестно из-за костюма встречаться с людьми, бегаю всё в зимней коричневой [*неразб.*], старом костюме, но ничего не могу поделывать. Вот уж к твоему приезду постараюсь всё привести в надлежащий вид. Только бы найти человека надёжного, с которым можно оставлять Иринку.

Ты недоумеваешь, почему я не взяла квартиру на Пятницкой? — по очень простой причине — она не освободилась и не освобождается. Ты пишешь о неудобстве комнат. Разве я этого не знаю? Но что делать, если найти квартиру кажется невозможным? Вот приедет Аня, тогда буду бегать по комнатам, если появятся публикации в газетах. Деньги я все получила в Крутицких казармах, второй раз ещё не ездила.

В газетах тоже одна грусть, постепенно теряешь веру в народ, народных вождей... Какой гнусный поступок Стеклова¹, какая неразборчивость во вручении мандата. Чеберяк² является вершительницей судеб! К чему мы придём? Ты надеешься вернуться к осени совсем, а я надежду потеряла.

17 мая 1917 г.

Ну как же жить, когда всё больше и больше теряешь веру в самую элементарную порядочность людей? Сегодня должна была придти прислуга, которую я согласилась ждать несколько дней. Не пришла и даже не подумала известить, что она раздумала. Точно так же дела обстоят и с прачкой: клянётся, божится придти и не приходит без всякого уведомления. Прямо руки опускаются.

Видно, надо бросать всё врачебное дело и заниматься стиркой, хозяйством. Обидно только приниматься за это после столько затраченной энергии...

Две недели мы не обедаем, две недели я не имею ни единой минуты покоя и отдыха — возьмёт отчаяние. Соня последние дни служит и возвращается только в 6 часов вечера. С утра ещё у меня теплится энергия и вера, а к концу дня я совсем разбитая. Я согласна с тобой, что всё это — ещё не несчастье, но ведь и радости нет.

А в природе так хорошо, цветут яблони... <...> Спасибо Шуре, она меня выводит из безвыходного положения, сидит с Иринкой, пока я в больнице.

21 мая 1917 г.

Не писала три дня. Занята была и вечер, и ночь стиркой Ириночкиного белья. И обидно то, что энергии затрачено много, а бельё вышло скверно. Ужасно

¹ Стеклов Юрий Михайлович — журналист, редактор «Известий депутатов трудящихся».

² Вера Чеберяк. скупщица краденого, важнейшая фигурантка по «делу Бейлиса» в Киеве (1911).

негодую на себя, что так мало приспособлена к введению хозяйства; право же, я не собиралась замуж... <...>

Сегодня Троицын день. Вспоминала все последние годы. Помнишь, в 1914 г. мы устроили крошон, и все были в праздничном настроении, а потом ты поехал на полёты, я же одна осталась дежурить. В 1915 г. я была с тобой в Киеве... Всё цвело кругом, в номере у нас тоже было много цветов. Сказочно хорошо тогда было. В прошлом году — тоже была в Киеве и ожидала встречи с тобой на фронте. И если оглянуться назад, то с горестью заметишь, что с каждым годом радости меньше и меньше. Всё ждёшь, ждёшь лучшего, а когда оно будет — неизвестно.

Встретила Н.Н. Вильяма, он спросил меня, не соглашусь ли я преподавать гигиену в гимназии Виноградской. Я ответила, что принципиально ничего не имею против, но что мне нужно подготовиться.

22 мая 1917 г.

А Москва стала такая противная: на улицах грязь, кучи шелухи от подсолнухов, бумаги, будто какой-нибудь захолустный город. Глубоко пришлось разочароваться в достоинствах русского народа. Екатерина Ивановна [Иванова], так та ни о чём не может слышать, особенно негодует на рабочих. Хочет принципиально отказаться от ведения бесплатно амбулатории Общества борьбы с детской смертностью. Да, настроения круто изменились, и все почти поправили. Какие ещё превратности нам готовит судьба?

Ты не можешь себе представить, как обидно в это время, когда события несутся с головокружительной быстротой, от тебя получать письма с таким запозданием.

Я временно, до августа, нашла человека к Ириночке: барышню 21 года, ученицу Строгановского училища. Она, правда, мало развита, но, по-видимому, человек добросовестный. Я её заполучила благодаря заведующей приюта Илтищевой. Пока Ириночка дома и играет в кроватке, она шьёт. Я думаю, что на неё вполне спокойно можно положиться, пока я ухожу. Ещё одно большое достоинство у неё — она молчалива. Не люблю я болтливых людей в доме.

Прислуги всё ещё нет. И устали же мы с Соней! Ах, Дуняша, Дуняша, как она подвела! Впрочем, она прислала письмо, где благодарит за всё хорошее, жалеет, что не может приехать, так как мать очень плоха. Может быть, и правда. Такую прислугу больше не найдёшь. Хотели мне прислать девушку из Ярославля, не знаю, приедет ли. <...>

Надо всему, всему учиться самой. С каким бы я удовольствием поехала в Ригу к маме, она всему бы меня научила.

23 мая 1917 г.

Сегодня получила твоё письмо с откликом на болезнь Ольги Ивановны. Уже три недели, как её нет! Какие ужасно длительные перерывы между моими сообщениями и твоим ответом! Что за ужасный год! <...>

Нет, кажется, никогда, никогда не освободиться от кошмара последнего времени. Что произойдёт за месяц, когда я получу ответ вот на это письмо?

Да, ты более радужно настроен, чем мы здесь. Ёжик, ведь форменный голод надвигается, ничего нет. Нельзя ли тебе там у себя достать манной крупы? С июля буду Иринку

прикармливать кашками, а здесь нигде не могу достать. Бедная девочка, неужели ей придётся терпеть лишения?

25 мая 1917 г.

Для всякого дела нужна сноровка. Для привычного свободного человека хозяйство — пара пустяков, но для меня — сушая пытка, особенно после плохо проведённой ночи и с инфлюэнцей. Встанешь — одеда Ириночку, бежишь в кухню кофе готовить, в погреб — за молоком. И потом бежишь как угорелая, в больницу, оттуда — к Иринке, а кругом всё не убрано, не прибрано. Надо позаботиться о Лиде, чтоб её накормить, нужно постирать Ириночкино бельё, а своё тоже запущено. Молишь, просишь придти прачку, обещает и не приходит. Всё это, конечно, не несчастье, но нет и радости жизни. Газеты едва просматриваю, медицину забросила. Болею душой за Марию Иосифовну и не могу забежать.

Я уже не чувствую ни красоты природы, ни радости весны, я смотрю на жизнь, как на долг перед Иринкой. Страшит перспектива отсутствия молока, а с другой стороны — это понятно: и нездоровится, и нервничаю, и есть, ей-богу, нечего. Жить сейчас — сплошной ужас.

[*Большое эмоциональное письмо от 26 мая 1917 г целиком посвящено темам: «ты меня не понимаешь», «между нами стена», «я так страдаю» и «все мужчины эгоисты», «мы стоим на разных плоскостях».*]

27 мая 1917 г.

[*Продолжение предыдущих тем, объяснение своего невыносимого положения*].

Ради тебя я сегодня заставила страдать Иринку. Была сегодня конференция врачей в Морозовке по поводу предстоящего призыва врачей. Обсуждался вопрос, кто необходим для больницы. А так как у меня было впечатление, что о призванных ранее как-то забыли, то я решила пойти. И на меня эта конференция произвела довольно-таки тяжёлое впечатление: почти все оказались необходимы, даже терапевтический ординатор Ал.Стан. Лянды и врач лазарета Ник.Ив. Скворцов. Милые люди они, слов нет, но всё-таки, я протестовала против их необходимости. Протестовала также против необходимости второго терапевтического ассистента, ведь и без призыва я была одна в отделении и в лазарете.

В конце концов, решено пожертвовать четырьмя амбулаторными врачами: одного ассистента — [заменять] другим. Если возвратят тебя — Ал.Стан., если возвратят Молодёнкова — [заменить?] умным доктором, если возвратят Н.Н. Блажко — заразными ординаторами, если возвратят [Сергея Николаевича] Розанова — [отдать] ассистентов Преображенского и Успенского. Охотников, в общем, на фронт нет. Предпочли бы остаться. Алексеев посмеялся, что нас с тобой опять разлучат.

30 мая 1917 г.

Сегодня мы получили посылку от бабушки: 6 рубашечек, 6 панталончиков, белые башмачки, которые носил Буби, и два нагрудничка работы Маузи. <...> Как приятно получать и покупать для Иринки... Она всё ещё продолжает чихать и

кашлять. Теперь я понимаю Ник.Ник. Вильяма, который так чрезмерно работает для удобства детей. Ради этого крошечного существа на всё пойдёшь. <...>

Ты прости меня, Ёжик, что я тебя так огорчила своими последними письмами, я не виновата в своей импульсивности. Правда, я давно решила, что я — никуда не годная жена, но зато, Ёжа, я никогда не лгу в своём настроении, это моя заслуга.

Год тому назад ты меня встречал в Ровно. Как я была счастлива, увидя твою фигуру на вокзале... И не менее была бы счастлива, уверяю тебя, если бы ты был сейчас здесь. <...>

У меня сейчас такое чувство, что я только что поправилась от тяжёлой болезни... Пиши, родной, не дай опять впасть в отчаянье.

[*Письма от 31 мая и 1 июня — целиком о тяжести душевного состояния.*]

3 июня 1917 г.

Вчера вечером была Екатерина Ивановна и нагнала на меня ещё большую тоску. Рассказывала, как накануне вывезли на тачке из Воспитательного дома комиссара Голицына, а врачей, работавших в тот день в комиссии, заперли на ключ. Пришлось им удирать каким-то потайным ходом. Сегодня уж этот факт сообщён в газетах. Эк.Ив. так нервничает, что без слёз не может говорить.

А что ей нервничать? Одна-то как-нибудь проживёт. Относительно моего положения она безнадежно машет рукой. Я тоже не вижу выхода. Будет ещё труднее найти прислугу, а время идёт. Нужно ведь как-то решать с квартирой.

Не совсем я понимаю, почему наши материальные невзгоды кажутся тебе неважными. Я измучилась совсем, у меня убывает молоко. Я прямо не знаю, что делать. Ехать, но куда? Бросать медицинскую работу? Ведь теперь так врачи нужны, да и дороговизна неудержимо растёт.

Всё, всё опротивело: и квартира, и свои вещи, ни на что не смотрела бы. Хочется уюта, чистоты, а физических сил на это не хватает. <...> Сажу между двумя стульями — ни хозяйка, ни врач: ни физического нет благосостояния, ни нравственного удовлетворения, а главное, так устаю, что вечером плохо соображаю. Вдобавок сегодня болит живот и голова.

6 июня 1917 г.

Не писала два дня — нездоровилось, болел живот и ныли швы. Насилу добралась из больницы.

А больных теперь всё больше — дизентерийных и с интоксикацией. Есть и новые жалобы на нервность детей, проявляющуюся в злости и раздражённости. Усталость родителей сказывается.

Сегодня страшно поразило меня известие о смерти бывшей невесты Вл.Вл. Колли. Из головы не выходит. Рассказывала Лидия Викторовна таким образом.

На имя Вл.Вл. был получен заказной пакет. Чужа что-то недоброе, сестра вскрыла его без него. В письме тётка покойной довольно грубо сообщала, что Маруся не выдержала его предательского удара в спину и умерла 26 мая. В последнее время Володя часто её вспоминал и писал ей, но письма пришли после её смерти.

Какая психология этой смерти? Может быть, она чувствовала, что он вернётся к ней и, не в силах с одной стороны, противостоять этому, а с другой — будучи не в силах простить и забыть его уход, она решилась на единственный выход? А, может быть, она не в силах была жить без него. Тогда счастливая Ольга Ив. Эта смерть была бы вечной трагедией для неё. Володя пока этого не знает. Много несчастному приходится переживать. Его страдание изменило моё отношение к нему, а может быть, вообще людей страдающих тянет ко мне. Лидия Викторовна говорила мне, что он собирается [прийти] ко мне.

Приехала Аня и внесла в мою жизнь некоторую долю спокойствия. Вообще же я стала отвратительнейшим существом; нет ни малейшего душевного равновесия.

7 июня 1917 г.

Не место таким людям как я, в семье; в своей любви я несу страдание... И нет во мне уюта, радости и простоты, какие нужны в семье. Все заботы о хозяйстве мне чужды, мучительны и могут окончательно вывести из равновесия. <...> Не склонна моя душа к тихой, покойной радости.

Всё с большим и большим напряжением всматриваюсь в нашу девочку, Нет, пока ничего не скажешь — весёлая, прыгает без конца..

Как мучительно хочется спать! Я теперь часто моментами теряю сознание от нестерпимого желания спать. Ведь ежедневно сплю по 5—6 часов. <...>

В Москве теперь ужасная пыль и грязь. Бедная наша девочка дышит таким воздухом.

9 июня 1917 г.

Нелепая моя любовь: пишу тебе страшные вещи, заставляю тебя впасть в несвойственное тебе мрачное настроение и волнуюсь отчаянно, когда от тебя нет писем. <...>

[Об Иринке] Меня теперь знает очень хорошо и постоянно дарит улыбками. Вечером я принадлежу ей и балую её: беру на руки, кладу на свою кровать, ношу по комнате. Она теперь визжит от удовольствия. С Аней они большие друзья, только обидно, что Аня сегодня уезжает. Встретилась сегодня с оспенным больным, поэтому немедленно решила привить оспу и себе, и девчурке. Она очень обиделась и долго всхлипывала. <...>

Воспользовавшись приездом Ани, я была в Крутицких казармах. За год и один месяц я получила 418 рублей. Что-то чиновники пошептались перед выдачей мне аттестата, причём я слышала, что лучше меньше дать, чем больше.

Ездил в город, искала тебе на блузы; была в Офицерском и в других мануфактурных магазинах, но нигде ничего не нашла подходящего. Не знаю, что теперь делать с посылкой.

Пиши поскорее, когда можно ждать тебя.

10 июня 1917 г.

У нас два события. Во-первых, приехала с Урала бонна. Я видела её сегодня в приюте, где она несколько дней отдохнёт. Зовут её Христина Ивановна, она молодая, очень свежая, имеет очаровательные волосы. По-русски говорит не совсем

правильно, знает немецкий язык. Сёстры мои посмеялись, что как это я не боюсь брать её в дом к себе, ты можешь увлечься... В общем, она производит хорошее впечатление. Я думаю, что она с Иринкой справится. <...>

Второе событие — наняла прислугу. Иду в Морозовскую больницу, подходит ко мне женщина довольно симпатичного вида и просит местечка. Я дала ей адрес, и она, к моему удивлению, пришла. Думаю, что она беременна, поэтому не решилась обращаться в какое-либо учреждение. Не знаю, какой она окажется, но я уже рада, что она будет стирать бельё моей девочки и готовить обед. Жалованья на первый месяц — 23 рубля.

[*О возможности выезда из Москвы.*] Теперь я не вправе бросать Морозовскую больницу, так как в мае было много кандидатов на это место, — предпочли меня. Сейчас же ищущая публика разошлась, заменить меня некем, тем более что призыв врачей всё-таки возможен.

Дальше: куда я могу поехать? Ты пишешь — к Оле. Туда-то как раз я и не могу поехать. Оля с мужем выбиваются из сил, чтобы справиться с хозяйством, так как рабочих сил нет. Приехать к ним и ничего не делать самой, это антиморально; работать с ними я не могу. Положим, что я буду платить за содержание, но всё равно это не спасёт от несомненного непонимания друг друга. Я всячески стремлюсь к удобствам для Иринки; там, в страдную пору быть их не может. Ехать на дачу в наш небольшой участок тоже не представляется возможным, так как дача совсем развалилась, да и нужно вести самой всё хозяйство. Продукты же там, говорят, ещё дороже, чем здесь.

В Кострому я тоже поехать не могу. Единственное место, куда ещё бы я могла поехать — это к М.Ф.Моргуновой под Озёры Московской губ. Думаю, что она не оказалась бы взять нас на пенсион. Страшна только дорога, так как сейчас ехать с маленьким ребёнком почти нет никакой возможности.

А затем, милый, какой уж для меня будет отдых, когда неизвестно, что сулит осень. Впрочем, обо мне не может быть и речи, весь разговор об Иринке. Ей, конечно, здесь хуже, чем в деревне в смысле воздуха, но зато всё, что я могу, я делаю для неё; в другом же месте я не хозяйка.

Относительно осени: я сделаю всё, чтобы остаться нам в Москве: во-первых, потому что для тебя сейчас необходима Москва; во-вторых, только здесь мы оба найдём соответствующую работу; в-третьих, если будет голод, он будет везде; в-четвёртых, порванные связи восстанавливать труднее.

Если же ничего мы не найдём, то тогда я с Иринкой уеду, а ты кончай стаж. Легче восстановить потом и мои связи с Москвой.

12 июня 1917 г.

Жарко, Ёжик! Голова совсем пустая от мучительного желания спать. Мечтаю хоть раз выспаться, когда ты приедешь.

Девочка тоже влажная, от пота появилась сыпушка на ручонках, оспа не привилась.

Такая масса детей страдает теперь поносом, что мне страшно становится за Иринку. <...> Если она заболит, не могу себе представить, что станет со мной. Она так очаровательно улыбается, что я на миг забываю все свои горести.

Сегодня была у нас Вера Петровна [Скворцова]. Очень долго любовалась девочкой и восхищалась её воспитанием. Она лежала в кровати и занималась игрушками. Действительно, она очень мало капризничает, она весела и играет при условии, чтоб кто-нибудь сидел возле неё.

Сама Вера Петровна в очень плохом настроении. Отношения её и Ник.Ив. всё больше и больше её не удовлетворяют. Ник.Ив. возмутителен в семейной обстановке, и я всецело на стороне Веры Петровны. [*Идут подробности семейной жизни Скворцовых — версия В.П.*]. Подумай, какой трагизм во всей этой истории. Я, конечно, всячески, как умела, старалась смягчить резкость его отношения, говорила... что мужчины имеют другую психологию и т. д. «Ф.О., наверно, не такой, — говорила она — и я уверена, что у вас сложится жизнь иначе».

Ну, конечно, ты не такой, хотя и мужчина, и я несколько не сомневаюсь в том, что в нашей семье будет дух равноправия, общности интересов и ответственности каждого даже за хозяйственные мелочи... Иначе и быть не может.

15 июня 1917 г.

Два дня <...> был народ. Екатерина Ивановна, Лиза, заведующая приютом, воспитательница и будущая бонна Иринки. Она производит прекрасное впечатление, и я думаю, что она скоро у нас будет своим человеком. Наша прислуга Матрёша, хотя и уступает значительно Дуняше, но всё-таки, пока ничего. Бонна к нам переедет в воскресенье, тогда я буду свободнее и могу приняться энергично за поиск комнаты.

Последние дни я чувствую себя значительно покойнее, и это сейчас же отразилось на количестве молока. Иринке хватает, и это для меня является громадной радостью, так как сейчас очень много поносов у детей. Вчера опять привили оспу Иринке; на этот раз — Екатерина Ивановна. Я всё над ней смеялась, что она удостоила Иринку взять на руки. <...>

Буря прошла у меня, я жду тебя, дорогой, и поверь, встречу с ясной спокойной радостью. <...>

Вчера была конференция врачей в Морозовке по поводу смет увеличения жалования, составленной Советом делегатов врачей. Увеличение довольно значительное. Так, например, ассистент должен получать 5000 рублей [в год].

Конференция высказалась в том духе, что в данный момент, когда городская касса совсем пуста, она не считает возможным предъявлять такие требования, подчёркивая в то же время, что положение врача крайне неудовлетворительно в материальном отношении.

В Морозовке тоскливо: на заразе всего только двое ассистентов: Мария Викторовна и Алексей Дмитриевич, на чистой Екатерина Вл. и двое новых ассистентов. Поповы и Иван Михайлович в отпуску на полтора месяца. <...>

Напиши поточнее, когда приедешь. Мне больно, что я не исполнила твоей просьбы насчёт книг и полотна. Сейчас нет абсолютно никакой возможности достать мануфактурных товаров. А книжки... я надеюсь, что ты приедешь скоро сам.

19 июня 1917 г.

Не писала три дня — не было возможности. Дело в том, что наша прислуга ушла — поступила на 100 рублей в больницу, а нужно было привести комнату в

порядок для Христины Ивановны. Да, кроме того, ещё вчера ездила за Москву на частную практику, где заработала Иринке на чулки 18 рублей. <...> Ездила на лошади приглашавшей дамы, предварительно накормив Иринку. Заняло это около трёх часов. Вероятно, ещё придётся поехать. Дизентерия довольно тяжёлая.

В амбулатории народу масса, всё больше с поносами. Гляжу на этих больных ребятшек, и сердце замирает за Ириночку. <...> Успокаиваюсь, когда нахожу её весело играющей в своей кровати.

Завтра к нам переедет Христина Ивановна. Как-то мы с ней сойдёмся? Я была ужасно расстроена уходом прислуги, имея в виду комфорт Христины Ивановны; она меня всячески старалась утешить. Очень славная и интересная семья воспитательницы приюта, той самой, которая рекомендовала Христину Ивановну. <...>

Не так давно я получила 400 рублей, а от них осталось одно воспоминание. На сбережения наши, милый, нечего надеяться, они растают при первой нашей попытке устроиться на новом месте. Как-нибудь дотяну до твоего приезда, только бы поскорее он осуществился. <...>

Как было бы хорошо, если б Сергей Гаврилович уступил тебе свою очередь! Дождёмся ли мы с Иринкой того момента, когда папа снова войдёт в нашу семью. Милый мой, как я жду тебя.

23 июня 1917 г.

Опять три дня не писала тебе. Ты не будешь сердиться, когда узнаешь, в чём дело.

20 июня должна была к нам переехать Христина Ивановна. Чтоб встретить её как можно теплее и приветливее, я сбегала купить цветов и поставила в её комнату. Вечером пришла она вместе с сестрой и просидели до 12 часов. Я покормила Иринку и ткнулась спать.

На следующий день после больницы я должна была опять поехать к тому больному, куда рекомендовал меня директор. Вернувшись к 5 часам вечера, нашла у нас Александра Акимовича [*Чахмахсазиянца*]. Он был в экскурсии и, воспользовавшись свободным временем, зашёл к нам. Живут они без прислуги. Он и ещё один **студент-толстовец** работают на огороде, а Ирина Борисовна ведёт хозяйство. Студент этот по рассказам Ал.Аким. очень интересный тип, служил в Земском Союзе, зарабатывал 250 рублей в месяц; теперь всё бросил и решил обрабатывать землю. У Ал.Аким., он работает исполу. Встают они в 6 часов утра и целый день в саду. Кроме того, Ал.Аким. участвует в экскурсиях и состоит инструктором в детской колонии. Он тебе писал, но ты, по-видимому, не получил письма. Настроение у него плохое, после войны собирается ехать в Америку. Мы его накормили и напоили, и ему, кажется, понравилась наша обстановка.

Христина Ивановна очень славная, Лида [*временная*] так привыкла к нам, что не хочет идти домой и предпочитает у нас оставаться и исполнять обязанности прислуги: убираться, в комнатах, готовить обед. Ко мне чрезвычайно внимательна, всё ходит за мной, как нянька, и скучает в моё отсутствие. Она интеллектуально отсталая, но, в общем, славная девушка.

Пока я ездила к больному, пришла ещё дама и оставила записку с просьбой навестить ребёнка, больного [*неразб.*]. Я думала отказаться по телефону, но она

пришла вторично. Пришлось, проводя Ал.Аким., идти к ней. Вернулась оттуда я в 11 ч. ночи усталая отчаянно; накормила девочку и легла спать, надеясь написать тебе утром.

Но вчера — это был ужас ужаса.

У меня оказалась форменная дизентерия, правда, в очень лёгкой степени, но, тем не менее, со всеми её атрибутами. Можешь представить моё состояние, мой страх заразить Иринку. Страдание моё безгранично. Я старалась к ней не подходить, руки мыла спиртом и щёткой, но всё-таки всё может случиться.

Сегодня у меня боли меньше, состояние физическое лучше, чувствую только сильную слабость, но морально совсем разбита. Что, если заболит моя девочка. Ведь детишки так плохо переносят.

Призываю всё своё благоразумие, всё спокойствие, но... ужас царит в моей душе. Ты так далеко. Я надеялась на отпуск, а ты как раз пишешь, что они прекращены. Следовало бы, конечно, мне полежать, но как это возможно? Если я не пойду в больницу, товарищам будет очень трудно; сегодня ещё надо бежать в приют: там тоже дизентерия. Кроме того, надо же заботиться, чем накормить Лиду и Христину Ивановну.

Ты всё пишешь, чтоб я уезжала. Никуда я, милый, не поеду. Нужно работать, работать без конца. В перспективе: или мы с тобой живём вдвоём без прислуги, без бонны, и я совсем бросаю медицину, или — я должна зарабатывать очень много, чтоб содержать бонну или прислугу.

Можешь себе представить: 20 июня я получила жалование за полтора месяца 280 рублей, а от них скоро ничего не останется. И ничего лишнего я не позволяю себе. Даже не знаю, откуда эта дизентерия, никакой зелени не ела.

25 июня 1917 г.

Сегодня мне уже гораздо лучше. <...> Ириночка умница: визжит, играет и начинает привыкать к Христине Ивановне. Последняя очень славная, всегда изящная, к Иринке очень ласковая и внимательная, так что я её оставляю с покойной душой.

Сегодня выборы. Общее оживление. В нашем районе — никаких эксцессов. А как трудно всё-таки выбирать, не состоя партийным работником. Думаю голосовать за №6 — чистых марксистов, и скромность их мне нравится.

26 июня 1917 г.

Ты опять пишешь о моём отъезде в Вичугу. Мне больно тебя огорчать, но поехать я никак не могу. Я знаю, что для Иринки деревня очень полезна, но из двух зол приходится выбирать меньшее. У Оли жить невозможно, на даче — Аня пишет, что всё поразвалилось, да и как там я буду жить без прислуги. К Моргуновым ехать с ребёнком тоже неудобно, ведь теперь народу нигде не найдёшь, а стирать в чужом доме ещё хуже, чем дома.

А самое главное — деньги. Пойми, родной, что бросать сейчас заработок свой — это броситься в пропасть вниз головой. Ты пишешь о наших сбережениях. Что значит иметь сейчас 700—800 рублей, — уверяю тебя, они уйдут при первой перевозке с квартиры. Ведь мне-то видней, как трудно жить. Особенно, когда есть в доме чужой человек, ведь его надо напоить-накормить. Если себе во

всём можно отказать, то чужим не откажешь. Ведь нельзя же, чтоб Иринка страдала; надо её чистенько одевать, а ведь теперь аршин батиста 2 рубля, прачка за 1 час берёт 4 рубля.

Я знаю только, что мне нужно усиленно работать, чтобы свести концы с концами. А квартира? Надо что-нибудь найти. Сегодня Соня убедила меня курицу купить, так как я все эти дни почти ничего не ела. 6 рублей она стоит, прямо ужас. А ведь Ириночку скоро надо будет прикармливать супом, надо же на всё это деньги. Не должна страдать наша крошка ни в чём, пусть страдают её родители. Пока я окончательно не свалюсь, я буду работать.

Вот сегодня опять бегала к больному дизентерией. Второй раз меня позвали. Платят хорошо, по 10 рублей, да ещё букет роз подарили. По директорской рекомендации ездила за Москву три раза, так там платят по 15 рублей за визит.

Сегодня ещё Настя Разорёнова заболела; рано утром позвали к ней; тоже, по-видимому, дизентерия. И сама-то сегодня себя хуже чувствую. Скоро ли, наконец, пройдёт эта проклятая дизентерия?

28 июня 1917 г.

Сегодня опять кисну больше, чем вчера. Надоела мне эта история. По совету Елизаветы Адриановны стала больше пить, бросила голодную диету и чувствую больше силы.

Девочка весела, играет и попивает молочко. Теперь я её кормлю только 5 раз. На днях зову фотографа и снимаю её вместе с Христиной Ивановной. С последней чувствую себя значительно покойней. С девочкой она очень ласкова, соблюдает строжайшую чистоту, а ко мне мила и предупредительна. Кроме всего прочего, очень хорошо готовит. <...> Она у меня попросила книжку об уходе за грудным ребёнком, я ей дала Пекато и Лангштейна, недавно вышедшую на русском языке, и теперь более или менее она в курсе дела.

Спит моя девочка со мной, и всё утро с 5—6 часов до 8 мы проводим вместе. <...>

Подумай, Ёжик, какое настало время: чтоб получить 6 аршин [*неразб.*] и 10 аршин бязи пришлось торчать в больнице два часа. Там есть кооперативная лавочка; Ник.Ник. Алексееву через Морозова удалось получить несколько кусков этого материала. В магазине же сейчас ничего не достанешь, кроме дорогих модных тканей.

А мне ведь ещё нужно много белья Ириночке. Ездила в город и купила ей полдюжины чулочков — больше 15 рублей. Купила ещё электрический утюг за 32 рубля. Ведь теперь часто приходится стирать самой.

29 июня 1917 г.

И так я рада, что нашла Хрестину Ивановну. Она такая славная, с ней так легко, и Ириночка к ней совсем привыкла. <...> Жизнь наша понемножку налаживается, так что к твоему приезду я совсем поправлюсь. Вот только бы квартиру найти, тогда бы я совсем успокоилась и стала ждать тебя.

Прислуги пока ещё всё нет, но жду скоро её из Ярославской губернии [*не дождалась*].

5 июля 1917 г.

Работа и заработок придают мне до некоторой степени бодрость. <...> Я сейчас отказалась от надежды найти квартиру и ищу 2—3 комнаты. Конечно, это удовольствие будет стоить не меньше 200 рублей. Если и комнат не найду, буду искать место в провинции, и тогда в сентябре совсем распрошаюсь с Москвой. Конечно, это будет очень тяжело. Жаль, во-первых, бросать курсы, а, во-вторых, сейчас как будто для меня есть возможность устроиться и ещё где-нибудь. Так, Ал.Стан.Лянды приглашал меня в Воспитательный дом, если он будет там старшим врачом. Екатерина Ивановна говорит о возможности приглашения в клинику. Само собой разумеется, для Иринки всё брошу.

Что же касается тебя, то ты, во всяком случае, должен остаться в Москве и кончить стаж, иначе у тебя не будет никакой перспективы. Только теперь не верю в твоё возвращение. Мне очень больно тебе писать, но факт остаётся фактом: о вас учреждение и товарищи забыли. Я уже писала тебе, какое впечатление произвела конференция. Теперь уже ходят упорные слухи, что врачей второго разряда призывать не будут. До сих пор из Морозовки никто не призывался, только под предлогом скорого призыва все уехали в отпуск.

6 июля 1917 г.

Скоро ли мы выберемся из тупика нашей русской нелепости. Я положительно теряю веру не только в гениальность русского народа, а прямо в его здравый смысл и элементарную честность. Разоблачение Ленина производит удручающее впечатление¹.

[*Письмо из Риги: там беспокоятся отсутствием писем от Фр.Оск.*].

Чувствую ещё возмутительную слабость, а дела так много, необходима физическая сила.

Сегодня слышала, что на 10 июля будто бы назначен призыв врачей. Давно бы пора! Появилась опять маленькая надежда на твоё возвращение, и эта вера меня спасает от порывов отчаяния.

Девочка моя весела, гуляет. Научилась как-то особенно страшно рычать, так что я зову её волчонком.

9 июля 1917 г.

У меня только одно желание сейчас, чтобы ты был с нами. Я не хочу и не могу решиться на что-либо, не переговорив с тобой. <...> А политические горизонты всё мрачнее и мрачнее. Скоро ли выглянет ясное солнышко радости и настоящей духовной свободы?

11 июля 1917 г.

Мне противно встречаться с товарищами, так крепко цепляющимися за насиженные тыловые места, меня в неистовство приводят люди, находящиеся в такое время в громадных квартирах, не жалеющие поступиться даже малейшими удобствами и в ужас приходящие при слове «ребёнок». Почему ты должен три

¹ 3—4 июля в Петрограде провалился большевистский путч. Возможно, писали и о германских деньгах.

года сидеть вдали от семьи на фронте, а я — мыкаться, терзаться здесь — без прислуги, без квартиры, обивать пороги прачек, чтобы выслушать их высокомерный отказ? Разве мы с тобой паразиты? Почему же такая тяжесть выпала на нас. Почему Скворцова ничем не поступилась ни ради войны, ни ради революции? Почему Мария Леонидовна Розанова преблагополучно сидит с мужем в Одессе с марта месяца и наслаждается морем? Пусть я не имею права на блага, а Ириночка, моя дочка — за что она лишена этого?

Горький, горький осадок остаётся на душе, когда возвращаешься домой после бесплодного искания комнат, точно все люди — враги и не хотят понять твоего безвыходного положения. Я лично ничего не имею против выезда из Москвы, но для тебя это невозможно, ведь ты должен учиться, строить свою будущую жизнь.

Писем от тебя нет, получила только перевод¹. Настроение ужасное. Одно только желание — видеть тебя скорее, мой милый, мой единственный. Ни с кем не хочется разговаривать. В самом деле, какое имеют право здесь охать и ахать здоровые мужчины? Если ты действительно страдаешь за родину, то иди на фронт, там проявляй своё мужество и отвагу. Я думаю, что сейчас и ты потерял свой оптимизм. И как ты [был] прав, всегда сомневаясь в нашей победе...

13 июля 1917 г.

События несутся с такой огромной быстротой, а сообщение с тобой так медленно, что и не знаешь, как писать и что писать. Как будете переживать вы последние события? А мы здесь совсем ходим мрачные и растерянные. Я знаю только одно, что во всей этой катастрофе виноват тыл, а не армия, и не тылу судить и рядить о позоре армии...

Одно меня только удивляет, что несмотря ни на что, люди всё ещё не прозрели, всё ещё слышен их жалкий лепет о продолжении войны, об обязательствах к союзникам.

Теперь во всём виноваты большевики, а разве они имели бы успех, если бы почва была не так удобна? Посмотрим, что будет дальше.

Сегодня моя девочка встретила меня, держа в ручонках целых три твоих письма. Держала так цепко, что я с трудом их освободила. На неё не действуют события, она весела, визжит и хохочет от удовольствия, что мама с ней играет. Господи, когда же ты её увидишь? Теперь, в связи с отступлением, опять не дожидаться от тебя писем. Как тяжело... <...>

Да, хорошо мы сделали, что не поехали; июль стоит дождливый и холодный, мы бы там совсем замёрзли. А что касается меня, то я поправлюсь, когда кончится война, когда мы заживём с тобой вместе. Разве можно сейчас отдыхать?

Получила сегодня деньги и купила одну сажень дров = 95 руб. Это пойдёт в уплату долга, ведь я получила квартиру с 3 сажнями дров, следовательно, и мне нужно возвратить квартиру в таком же виде. Проклятые деньги, как они бегут; а в последнее время нет, к несчастью, частной практики.

Ты недоумеваешь, какая бонна у меня по счёту. Всего первая, ведь Лиду я брала временно, только до приезда настоящей. Сегодня неприятная новость:

¹ В конце июня Фр.Оск. был серьёзно болен не вполне ясной инфекцией. Телеграммы не принимали.

приют Швецовой окончательно ликвидируется, Маргарита Альфредовна в полном унынии, жаль мне её. Она так хотела ко мне, сейчас же — неудобно, ведь Христина Ивановна тоже очень славная. Очень жаль мне приюта, такая хорошая атмосфера была там, прямо отдыхала душой я, да и заработок всё-таки был.

Поместила публикацию в «Русских Ведомостях» относительно комнат; объявление появится в воскресенье; не знаю, что из этого выйдет.

14 июля 1917 г.

Государственные дела не останавливают личных. Что буду делать с квартирой, где и как проживём эту зиму? Где возьмём денег? Одна надежда на заём у Вилли. Бегала сегодня смотреть три комнаты, антресоли, возможно, что в конце концов их удастся заполучить, но боюсь ужасно заморозить в них Иринку. [*Описание квартиры*]. Хозяева сдают эту квартиру, конечно, без всяких ручательств, просят за неё 85 рублей в месяц. Сдадут ли они мне, я не знаю; всё просят зайти потом. Если считать, что 1 сажень дров пойдёт в месяц, то и тогда квартира обойдётся в 185 руб.

Как мы будем жить, Ёжик? Страшно и то, будут ли зимой дрова; усиленно толкуют о недостатке топлива. А запастись сейчас не могу, так как я не знаю, сдадут ли мне эту квартиру.

Получила твои деньги и усиленно запасаю Иринке на зиму всё тёплое. <...> Ведь говорят о возможности страшного холода зимой. Бегаю целые дни в поисках за квартирой и всеми тёплыми вещами. Хотела купить Ириночке эмалированную кастрюльку для каши, но пока поиски напрасны — в настоящее время в Москве ничего нет.

15 июля 1917 г.

Уже 4-й год переваливает проклятая война. Какой ужас! Я никогда не осмелюсь винить армию за последнее поражение... В Морозовской больнице полный разгром: на чистой квартире двое больны дизентерией, на заразной остались двое: Лидия Викторовна и Мар.Ив. Последняя больна сейчас острым нефритом, лежит в 1-й терапии, помогает Лидии Вик. в работе и дежурстве. <...> Александра Дмитриевна получила призывной лист, но сейчас она в отпуску. Призвана из амбулатории ещё одна женщина-врач. Являются к воинскому начальнику, а что дальше будет, неизвестно. <...>

Я всё-таки не понимаю, почему прекратились отпуска. Ведь отпуска поддерживают дух, а не наоборот.

18 июля 1917 г.

Наше отступление на юге не может не отразиться и на вашем фронте. До получения известий от тебя ничего, ничего не хочется делать... <...> Был сегодня утром Вилли, но, к сожалению, не дождался меня, повидал только Ириночку. Взял её на руки, поласкал, всё спрашивал, что ей купить. Просил написать твой адрес.

Нашла себе помещение на зиму. Только не знаю, как буду сводить концы с концами; надеюсь только осенью подыскать себе ещё работу.

На Плющихе одна дама передаёт квартиру на год со всей обстановкой — 200 рублей в месяц. Квартира состоит из трёх комнат (одна и передняя в то же время). Комнаты большие, обстановка приличная, газовая плита, ванна и паровое отопление. 50 рублей обещает платить Соня, она получает теперь 150 руб. Так что с меня придётся 150 рублей. Дешевле сейчас ничего не найдёшь. Я всё ждала тебя, чтоб хоть немного рассеять все свои сомнения, но обстоятельства складываются всё хуже и хуже. Обстановку свою опять потащу с собой, хотя теперь перевозиться будет дорого.

Ты будешь с горечью думать, что мы будем пользоваться всеми удобствами, а ты — для нас добывать деньги. Знай, мой милый, что для меня сейчас нет ни в чём радости, и всё то, что я делаю, делаю для Иринки. Она у меня уже есть кашку. Добрая душа Маргарита Альфредовна поделилась с нами.

20 июля 1917 г.

Сегодня получила твои письма от 8 и 9 июля. Для меня явилось полной неожиданностью, что ты *продолжаешь поправляться*. Что с тобой? Почему никто из твоих товарищей мне не написал, а то я от тебя имела последнее письмо от 29 июня. Я эти дни бесписемья страшно волновалась, беспокоилась, но всё же причиной молчания считала последние события. <...>

Ты очень неправ, цитируя мои слова со знаками восклицаний: «Я (!) буду работать, пока окончательно не свалюсь» и т. д. и упрекая меня в излишней гордости, красивых словах и т. д. Я только потому писала, что ты упорно советовал мне всё бросить и уехать. А почему везде и всюду я говорю только о себе, очень просто — ведь ты при всём своём желании не можешь ни изменить своего положения, ни зарабатывать больше того, что платит военное ведомство. Ты *тахітут* отдаёшь нам. Следовательно, теперь, при страшно увеличивающейся дороговизне, должна бюджет пополнять я, — вот и всё. Когда мы будем оба в одинаковом положении, тогда не будет и этого разделения.

Ты бываешь тоже неправ по отношению ко мне, Ёжа. Ну, Бог с тобой... Моя совесть чиста перед тобой, несмотря на то, что твоя тяжёлая жизнь на фронте в этом отношении ставит мне тяжёлые требования. Не бывает ни одной минуты, чтоб мне кто-нибудь мог сказать, что я живу хорошо в то время, когда мой муж измучился на фронте...

Что касается моего голосования за №6, то это произошло потому, что список лиц там мне больше всего нравился; в тактике же я ни с одной партией не могу согласиться. Что же касается победоносного конца, то я в него не верила и не буду верить. И теперь я стою на той точке зрения, что всё зло происходит от войны, и её нужно как скорее кончать. А, по-видимому, она опять затягивается. К власти призываются к.-д., заговорили Пуришкевичи... Переживём, должно быть, ещё раз времена тяжёлых репрессий...

21 июля 1917 г.

Что я тебе отвечу по поводу вашего обмена? Я не пишу, потому что мне больно об этом писать. Остаётся только одно: когда я кончу кормить Ириночку (месяца через 2—3), подам заявление в военное ведомство о желании моём за-

менять тебя. Может быть, сделают исключение из российских законов, по которым с военной службы можно уйти только по болезни. Я не упускаю ни одного момента, чтобы сказать, как вы устали, как вы ждёте смены, но на это слышу от одних такой ответ: «Мы — готовы, пусть нас правительство призывает», от других: «Почему именно менять врачей, ведь офицеры же остаются без смены». В общем же, положение таково: несколько врачей-женщин получили призывные листки, но до сих пор не получили назначения. Мужчины же, в том числе и Николай Иванович, остаются на местах. Больше всех меня возмущает Николай Иванович своим эгоизмом и благодушием. <...>

Не платят нам жалованье из Управы, а мне так нужны деньги. И когда дадут деньги, неизвестно.

Сегодня встретила М.А. [Марию Андреевну, старшую сестру] из дифтерита; первый вопрос: «Где доктор Краузе?», потом перешла на меня и сказала, что меня совсем нельзя узнать. Должно быть, стала выжатый лимон.

22 июля 1917 г.

Получила твоё письмо — отклик на Тарнопольский прорыв¹. И ты теперь стал пессимистом, и ты повторяешь, что тяжело жить. Все чувства и мысли под каким-то гнётом, боишься раскрывать газету. Сейчас меня ужасно злит упорство к.-д. Вдруг стали они какими-то упорными доктринёрами... Болит за тебя душа. Где вы и как выберетесь из проклятой Румынии.

Ты пишешь, что опять чувствуешь себя только гражданином. В этом твоё счастье, так как ты избегаешь в этот момент ещё одного страха — заботы об Ириночке. Я не могу ни на одну минуту отрешиться от мысли о ней и о тебе. Очевидно, такой удел матери и жены. <...>

А мы из твоего приезда решили устроить настоящий праздник. Я, как крот, тащила в свою норку для тебя; в холоде у меня лежат три плитки шоколада, половину месяца решили пить чай без сахара, чтоб сварить для тебя варенье.

Да, пиши мне на Морозовскую больницу, так как в начале августа мы должны переехать отсюда на Плющиху. С ужасом думаю об этом переезде: и дорога, и трудно вдвоём с Христиной Ивановной. Жаль этой местности, жаль двора, здесь всё так просто и хорошие люди живут. Там нет дворика, а рядом с нами лазарет.

Сегодня получила письмо от мамы. Она пишет, что Карлушку вряд ли примут в Юрьев, и они колеблются, стоит ли ему подавать в Москву. Жалеют, что не могут посоветоваться с тобой. Сегодня и от своего, и от твоего имени пишу, чтоб он поступал в Москву и жил у нас. В тесноте — не в обиде, теперь приходится забыть все удобства, ведь все теперь страдают. По праздникам будет отдыхать у Вилли. Я знаю, что ты будешь согласен со мной.

Христина Ивановна давно отказалась, вернее и не имела претензии на отдельную комнату. Разместимся так: я с Иринкой, Соня с Хрис.Ив. в столовой, а Карлуша в передней, она же и кабинет.

¹ Большое летнее наступление Юго-Западного фронта, задуманное Керенским, имело лишь частичный успех в начале июля (генерал Л.Г. Корнилов) и в целом провалилось — армия уже не имела достаточных сил.

24 июля 1917 г.

...А текущие дела не ждут: надо перебираться на квартиру, надо искать прислугу, прачку и т. д. и т. д. Получили жалованье: частью — деньгами, частью — купонами. Получила я около 300 рублей, так как в нынешнем месяце все городские служащие получили на 100 рублей больше, независимо от занимаемой должности. Как странно: здесь оклады растут, а вам платят всё то же, как будто вы и семьи ваши живёте в других условиях и им неизвестна дороговизна жизни.

Очень была бы я рада, если бы мне удалось остаться на городской службе и дольше, постараюсь в сентябре устроиться во Владимирской больнице.

[25 июля 1917 г. Большое письмо о своей измученности и оскорбительном мужском непонимании тягот жизни в тылу. Любые упрёки в свой адрес Ал.Ив. решительно отменяет: «Говори что хочешь: я вне упрёков».]

26 июля 1917 г.

Всё хуже и хуже вести с Румынского фронта, всё тяжелее и тяжелее на душе. И это в июле, который казался мне праздником встречи. Чего теперь ждать? Смены? Призванные врачи все сидят по местам. Военский начальник говорит, что назначение их последует не скоро. Тебе адски тяжело, и мне тоже. [*Призыв поддерживать друг друга.*] <...>

Какая пакостная Англия, какой нудный Милюков и вообще, какие мы, русские, страшные люди. Отечество в опасности, кругом развал, а кадеты начинают свои речи с самовосхваления, культурные люди порочат друг друга. Уже теперь каждый норовит в каждом найти сучок.

29 июля 1917 г.

Вчера я не писала тебе, целый день лежала, даже не в состоянии было идти в больницу. Теперь имею представление, что такое *холера*. Сегодня чувствую ужасную слабость. Совсем расклеилась я в последнее время. <...>

Всё время думаю о тебе — где ты, как сильно вы отстаёте. Мучусь, что могу огорчить тебя письмом, где так экспансивно отвечаю тебе на слова, что мы здесь не понимаем вас [*там*]. Пусть это касается других, но не меня, Ёжик. <...> Ведь призыв врачей сейчас какая-то тоскливая комедия: много врачей-женщин получили призывные листы, и все сидят здесь, а мужчин почему-то и совсем берегут от призыва. Из морозовцев, по-видимому, никто не пойдёт.

Все там разболелись: у Марии Ив. нефритис, у Лидии Викт. — appendicitis, у Екат.Вл. — paraneфритис и все три лежат. Работают из старых только Над.Ив. и Ив.Мих, да двое совсем новых. Я пока всё в амбулатории.

Лазарет закрылся совсем. Очевидно, он и открывался только для того, чтобы испортить мне существование: Николай Иванович пока в отпуску, но Ник.Ник. обещал ему место в амбулатории. Очевидно, для него нарочно создаёт такое, так как ведь свободных вакансий нет.

Вчера был у меня Александр Акимович, подробно спрашивал о тебе, только я с трудом ему могла рассказать о тебе: чувствую, что голос срывается, и в глазах стоят слёзы...

30 июля 1917 г.

Я сегодня еду на трамвае и удивлённо рассматриваю гуляющую публику или негодую на толпу, чающую попасть в синематограф. Душа моя не принимает ничего подобного.

Так же как ты, имею неприязненное чувство по отношению сидящих здесь товарищей...

Я сегодня в больнице встретила с Сергеем Ивановичем Преображенским. Он был в Румынии, заболел там пневмонией и эвакуирован сюда. По выздоровлении он подал рапорт о переводе сюда, но вот прошло 2 месяца, а ответа ему ещё нет. «А пока я не получу ответа, я никуда не поеду». Долго говорили относительно [обмена] врачей. Причину такой медлительности он видит отчасти в тыловых товарищах, не спешащих и страдающих так же, как все, отсутствием национального долга, отчасти — в общей разрухе. Он был на Петроградском съезде в качестве делегата и рассказывает, что два первых дня прошло буквально в ожесточённой словесной схватке между тыловиками и фронтовыми товарищами... Лично он не без некоторой тяжести идёт в Морозовскую больницу. Ему неприятно встречаться с товарищами.

Давно ни слышу, ни духу от Васи. Ведь он был в Тисменице [близ Ивано-Франковска]; где-то он?

Витюшка — близ Риги. Предлагали ему поехать поучиться в Академии, но он не захотел сейчас оставить фронт, так как хорошие [у него] отношения с солдатами.

Получила вчера письмо от Лени. Она очень беспокоится, как мы живём, так как приезжающие из Москвы рассказывают им ужасы. Мама пишет, что она с удовольствием бы приютила нас с Ириночкой.

Ириночка моя загорела, хорошо стоит на ножках, но ещё не сидит. Стала ужасная проказница. <...> «Русские Ведомости» тебе завтра выпишу. Сегодня ездила на частную практику по просьбе Ник.Ник. Вильяма. Чувствую себя лучше.

31 июля 1917 г.

Получила три письма от тебя. Ты пишешь, что ты теперь злой. Это вполне понятно. Я бы тоже как ты реагировала на письмо Эдит. И я несколько не сомневаюсь, что это пройдёт, как только ты очутишься у себя дома.

Удивляет меня в тебе, Ёжик, вера в русский народ, удивляет меня твоё поразительно хорошее отношение к нему. Ни одним словом жалобы не обмолвился ты на солдат; ведь я не думаю, чтобы они у вас были другие. Ведь мы здесь порой изрыгаем целый поток злобы на товарищей. Ведь только нужно послушать Бориса Абрамовича, с какой ему свойственной презрительностью относится он к нижним служащим и к солдатам.

Очень рада. Ёжик, что ты считаешь тоже Ленина честным человеком. Твоя ясность взглядов и отсутствие даже тени предвзятости в ту или другую сторону меня удивляет и трогает. Побольше бы людей с такими взглядами, и мы вышли бы из какой угодно разрухи.

В Морозовской больнице новость: директор уезжает из своей квартиры на частную, а там будут помещаться заразные ассистенты и фельдшерицы. Причи-

ны: желание дать отдых семье и поставить её вне каких-либо могущих быть эксцессов. Возвращался он сегодня со мною и разговорился совсем по-хорошему: говорил, что хотел совсем бросить службу, да сейчас не время. Говорил о том, что он совсем не может видеть того, что делается сейчас в больнице, и, съезжая на частную квартиру, он хоть после 2 часов будет отдыхать. Квартиру он искал почти полгода и нашёл только благодаря большому знакомству в доме Карзинкина в Столешниковом переулке. Вот так, мой милый!

Во вторник думаем переезжать. На перевозку и кое-какие покупки вроде кровати и шкафа Иринке придётся истратить почти все сбережения. Ну, будь что будет! Лишь бы ты осенью возвратился.

На днях высылаю посылку: почтовую бумагу и несколько шоколадок.

1 августа 1917 г.

Ириночка растёт, но зубов ещё нет, что меня уже несколько беспокоит. Как-никак, а рахитик всё-таки есть. Удивительно на тебя похожа: суровый твой взгляд, прелестная улыбка, изменяющая всё лицо, сияющие лучистые глазки, белые волосы с большими лысинками наперед и нависшие брови. Моего, говорят, ничего нет, можно усумниться, что она — моя дочь. Очень любит, когда ей поют. С удовольствием будет слушать твой свист.

«Русские Ведомости» я тебе выписала на следующие два месяца. Неужели и к этому времени ты не вернёшься в Москву? С ужасом все ждём предстоящей зимы. Выписываю из Вичуги лампу-молнию, чтоб хоть немножко ею нагреть комнату, где будет помещаться Иринка.

Только бы ты был здесь, тогда бы как-нибудь прожили.

8 августа 1917 г.

Пишу тебе после ужасающего дня и из чужой квартиры, где нас приютили добрые люди.

Дело было так: в воскресенье я позвонила на новую квартиру, что приеду 8-го, — ответили согласием. Сегодня с утра в больницу не пошла, стала заниматься уборкой. Было невозможно тяжело, так как мы с Христиной Ивановной были только вдвоём. Ириночка, чувствуя общую разруху, капризничала. Наконец вещи уложили в фургон и поехали. Я решила покормить Иринку и бежать принимать вещи. Вид у меня был смущённый, расстроенный. Она смотрит на меня и плачет, да плачет прямо с визгом, и грудь не желает брать. Возьмёт Христина Ивановна на руки — успокоится, на меня посмотрит — сразу заплачет. Бились мы, бились с ней, так грудь и не желает брать.

Совсем голодная, расстроенная побежала я на квартиру. И что же ты думаешь? — там хозяйка заболела рожей, а известить меня не смогла, так как не знала моего адреса. Везти Ириночку к рожистой больной невозможно. Взяла я кое-какие вещи и поехала назад. Хорошо ещё, что Ириночка осталась на дворе старом. Сейчас нас приютили соседи по двору, а вещи все остались там.

Приезжаю домой, и опять та же история — дочь не желает признавать и груди не берёт. Ну, ты посмотри, какая интеллигентная девочка: вид мамы не нравится, и есть она не желает. Можешь представить моё самочувствие, Ёжа. Мне иной раз казалось, что я больше ни минуты не могу прожить: волнуюсь за

тебя, за девочку и, наконец, вся эта перевозка стоит громадных денег, и я скоро останусь без копейки. Нет больше сил! Когда всему этому конец?

А с девочкой я так и не смогла сладить весь вечер. У Христины Ивановны покойна, а как взглянет на меня, начинает плакать и грудь не берёт. Окружающие говорят, что у меня был ужасный вид. А её слёзы совсем меня измучили. <...>

А в народе опять какая-то вакханалия, нет и проблеска сознательности. Начинаю ненавидеть народ русский и думаю, что хуже его нет на белом свете. Сегодня были хорошие возчики, содравшие с меня 20 рублей «на чай». Противно ещё и воровство. Постирала прачка — исчезли серебряные ложки. Не денег жаль мне. Уж очень противно всё это...

14 августа 1917 г.

Сегодня получила письмо, где ты пишешь, что Сергей Михайлович [Щастный] надеется устроить тебя в Москву. Я боюсь слишком верить в это, но уж и одна маленькая надежда осветила ярким лучом радости последние тяжёлые дни. В первый раз сегодня <...> я почувствовала радость, надежду, жажду жизни.

Ты пишешь, что тебя мало интересует, сколько ты будешь получать жалованья. Конечно, милый, ведь я-то в состоянии буду работать. Вот только что, на днях Михаил Алексеевич Скворцов предложил мне работать у Кедровского. Я согласилась на это после окончания работы в больнице.

16 августа 1917 г.

Когда-то ты писал о том, что ты — бывший человек в медицине, а я себя считаю вообще бывшим человеком. Давно уж я не испытала ни свежести мысли, ни бодрости духа, ни радости работы. В голове — пустота, в теле — тяжесть Заботы о хлебе стоят на первом месте. <...>

Живу всё ещё на бивуаках, и неизвестно, когда поедем на новую квартиру! Дама всё болеет, болеет... Адрес её такой: Плющиха, 7-й Ростовский пер., дом 12, кв. 27, но у меня нет ещё уверенности, что меня не выставят из квартиры совсем.

Временами чувствуешь апатию, а временами душа болит с такой интенсивностью, что хочется кричать и биться о стенку.

19 августа 1917 г.

В Румынии — прорыв; где ты сейчас, что с тобой?

Мы живём всё ещё не дома, тяжело устаю, ничего не могу сделать, совсем теряю всякую бодрость, когда бываю на Плющихе. Там люди — эгоисты, и не идут на уступки.

Забежал на днях Сергей Николаевич Розанов; он в качестве делегата от фронта приехал, на Поместный собор¹. Ругает отчаянно всех тыловых врачей. Надеется теперь надолго остаться в Москве.

¹ 15 августа 1917 г. в Москве торжественно открылся Собор Российской православной церкви, восстановивший, в частности, патриаршество в России. Среди более 500 членов Собора был врач от армии Румынского фронта С.Н. Розанов.

Понемногу все морозовцы перебираются в Москву, только ты, [Никифор Николаевич] Блажко и Молодёнков всё ещё сидите на фронте; те хоть чаще бывают в отпуску, чем ты.

Получила сегодня письмо от Васи. Слава Богу, цел и невредим, только устал ужасно в непрерывном отступлении. Тоже мечтает о смене... Витя ничего не пишет.

Третий день работаю в терапевтическом отделении на правах ординатора. Хорошо. Только я стала никуда не годный врач, домашние заботы не дают покоя. <...>

Была сегодня Екатерина Ивановна. Ириночку нашла загоревшей и здоровенькой. Тоже признаёт большое сходство с тобой. А Сергей Николаевич так прямо назвал её Фридрихом Оскаровичем.

21 августа 1917 г.

Когда же всему этому конец?..

Рига почти сдана...[*Рига сдана немцам 21 августа*]. Кроме скорби гражданской, ещё тяжесть от потери связи с родными. Я сама не думала, что такой болью отзовется отрезанность от них... Сознание, что есть человек как мать, всегда готовый помочь и понять, давало бодрость. Только сегодня я получила от неё письмо, где она пишет, что о сдаче Риги никто не думает. Она отвечает на карточку Иринки, которая доставила ей большую радость. «Она такая хорошенькая и толстенькая, и так похожа на папу»... <...> А обо мне пишет, что я ей такая милая дочь стала, которая всегда думает, чем бы её порадовать.

Бедный Витюшка, что с ним? Может быть, уже нет его в живых. Ведь нет сил больше переносить весь этот ужас. Вся вконец измученная, притихшая от непосильного страдания, я живу только ради Иринки. Ей я нужна. Я жду тебя всё с большим нетерпением. <...> Жду тебя для совместного страдания. <...>

Вот видишь, самое главное не написала; недостаток хлеба на Юго-Западном фронте не даёт мне покоя...

Относительно дальнейшей моей работы в смысле усиления финансов очень безнадежно, так как сейчас всё культурное рушится; скоро начнётся интеллигентская безработица. Вот и то думаю, не поступить ли мне в швейцары. Вчера только был сбор в пользу их. Я одна только отдала 5 рублей, а всего здесь 70 квартир; смущает только их квартира.

Ты веришь в будущее России, благо тебе, а я нет и нет. Демократическое совещание ещё раз убедило меня в этом¹. Мы — рабы, хамы и только. Духа в нас нет.

Нет, лучше не говорить...

Относительно квартирных денег. Была я недавно опять в Крутицких казармах, говорила с полковником, приносила необходимые справки, что ты служил до войны в Морозовской больнице и что призван по Москве. Он признал моё ходатайство правильным и дал распоряжение выдать мне аттестат. Ждала целых 4 часа; смотрю, выдали всего 60 рублей. Опять иду к полковнику извиняюсь, что

¹ Государственное совещание под председательством А.Ф. Керенского проходило 12—15 августа 1917 г. (ст.ст.) в Москве. Участвовало около 2500 делегатов.

опять его беспокою. Он отвечает, что со мной приятно разговаривать, так как я очень покойна, и находит, что я опять права, так как мне выдали как жене младшего офицера, а не врача. Но всё же прежде, чем мне выдать [другой аттестат], решил снестись со своим начальством, так как остался неудовлетворённым бумагой от корпусного врача и попросил меня подождать месяца два. Всё это напутал офицер, дававший раньше, до подполковника, распоряжения.

Вообще прихожу к тому заключению, что за себя получать приятнее, чем за мужа. Не сердись, Ёжик, ведь всё равно меня не исправишь. Вот когда ты приедешь, соберём семейный совет с участием Вилли о дальнейшей судьбе, тогда я обязуюсь во всём подчиняться ему, а пока я всё-таки предоставлена самой себе и должна всё решать единолично.

Относительно наших. Аня застряла в Костроме, о дальнейших планах не знаю. С Соней и Лизой вижу редко. Последняя чуть-чуть не сделалась недавно жертвой случайной пули у себя во дворе, на ней оказалась прострелянной юбка в двух местах, и пальто.

Ну, пока, надо идти в лабораторию.

Девочка превосходно поехала гулять. Вчера я их проводила на Девичье Поле, они гуляли, пока я была в лаборатории, а потом опять захватила их.

С Христиной Ивановной вполне удовлетворительные отношения, хотя я частенько возмущаюсь её непрактичностью и транжирством. Очевидно, судьба нашего дома такова.

28 августа 1917 г.

Не нахожу слов и выражений, чтоб передать всё, что волнует. <...> Не могла ещё переварить взятие Риги и потерю связи со своими, как сейчас налетело ещё более ужасное событие¹. Чем всё это кончится? Ясно, кажется, одно: война скоро кончится, мы заключим сепаратный мир. Война доведена «до победного конца»... Боже! Как невыразимо тяжело жить!..

Переселились, наконец, на новую квартиру. Не совсем-то она мне по душе: солнца нет, холодно, но — ничего не поделаешь. Как-то Ириночка перенесёт эту зиму?

Всё ещё кормлю её грудью, беру молоко только на кашу. Не знаю, как будут обстоять дела дальше, ведь наступает здесь форменный голод, и хлеба нам не хватает.

Только ты к нам скорее вернулся. Мы совсем близко живём к Брянскому вокзалу. Повторю ещё раз на всякий случай адрес: 7-й Ростовский пер., д. 12, кв. 27.

Твоя Шура. От Вити нет известий.

31 августа 1917 г.

Опять... не писала. Не могу. Как в тисках каких и мысль, и душа. <...> Одно могу сказать: засыпаю и просыпаюсь с одной мыслью — чем кормить Христину Ивановну и прислугу (она существует несколько дней), и как свести концы с концами.

¹ Начало «Корниловского мятежа».

С 15 сентября начинаю работать в Кедровской лаборатории и на курсах. Ну, заработаю 300 рублей, 300 рублей твои, и всё-таки этого мало. Квартира ведь только 200 рублей. <...>

Слушай, мой милый Ёжик, если тебе невозможно перевестись в Москву, устройся где-нибудь в тылу на юге. Я пошлю туда к тебе Ириночку и Христину Ивановну. Девочке будет тепло и хорошо с тобой, а я буду здесь работать вовсю, жить в комнате, а все деньги отсылать вам, чтобы вы ни в чём не страдали. Ну не всё ли равно, насколько меня хватит, лишь бы девочке устоять в эти тяжёлые годы. Впрочем, я не знаю, стоит ли и её так упорно ставить жизненный путь. Что впереди?

15 сентября 1917 г.

Мой дорогой Ёжик! Давно не писала тебе, не могла... Самочувствие таково, что если бы не было Иринки, то я кончила бы самоубийством. Она, наша милая девочка, единственная радость и утешение. В её улыбке, в её беззаботном прыганье я находила в эти дни необходимую для жизни бодрость. Что с нами будет, если ты ещё долго не вернёшься к нам?

Какие у меня основания? Но я тебя жду каждый день. Последней неприятностью, убившей меня окончательно, была неудача с лабораторией. <...> В последнее время количество анализов так упало, что приглашение нового сотрудника оказалось излишним, и я оказалась за бортом. Теперь я всего имею только около 125 рублей в месяц. Как жить, не знаю, тем более что надо принимать во внимание требовательность прислуги и широкий размах Христины Ивановны. Сколько энергии нужно, чтобы постоянно им напоминать об экономии электричества и газа, не говоря уж обо всём прочем.

И найти сейчас работу крайне трудно, в Морозовской же больнице я сегодня кончила. Жду тебя, чтобы окончательно выяснить вопрос об отъезде моём из Москвы в провинцию. Спасибо, меня сегодня ободрил Вилли, предлагая свою помощь. Конечно, я всячески буду стараться ею не пользоваться, но уже сознание, что я могу в критическую минуту обратиться к нему, даёт утешение.

Вообще он был сегодня очень мил. Иринкой остался очень доволен и так нежно прощался с ней, что я прямо была умилена. Я ему, в свою очередь, поручила Иринку, если с нами что-то случится, с тем, чтобы по окончании войны он её перевёз к бабушке. Он, конечно, охотно согласился. Вообще, наши отношения после каждой встречи крепнут.

Взгляд упал на Витину карточку, и опять всё заняло, заняло. Ведь уж очень славный мальчик¹...

От тебя за то время я получила несколько писем. Относительно своих Вилли просил тебе передать, что он имеет сведения из Риги от 1 часа дня 21 августа, что всё там [было] благополучно.

Посылка тебе послана. В ней сухари, пряники, шоколад и бумага.

¹ Виктор, младший брат А.И., застрелился в дни захвата немцами Риги. Письмо с сообщением об этом в подборке отсутствует.

21 сентября 1917 г.

Я так виновата перед тобой, что мало и редко пишу, но право же, милый, совсем не могла. Теперь только пришла в состояние политического равнодушия и махнула на всё рукой, — погибать, так погибать, без голов мы, всё-таки, Ёжа, надо в этом сознаться. Ведь, право, стыдно читать о Демократическом совещании¹. Так же стала равнодушна к своему финансовому кризису; месяца три как-нибудь пробьюсь, а потом плюну на всё и уйду на первое попавшееся место.

В последних письмах ты спрашивал, как живём, чем питаемся и т. д. Постараюсь ответить тебе по возможности полно, но не знаю, смогу ли это.

15 сентября кончила занятия в Морозовской больнице и сейчас пока хожу только в бактериологическую лабораторию на [Высших женских] курсах, где начнутся занятия послезавтра. Следовало бы подготовиться к урокам гигиены в Петропавловской женской гимназии, куда меня ввёл Николай Николаевич Вильям, но пока что ум мой туго воспринимает умные книги. Может быть, сейчас поможет равнодушие. Первый урок там я даю после 1-го октября. В смысле материальном я там получу гроши — 130 рублей в год, — беру только из-за интереса. Занята там я два часа в неделю. Почти каждый день придётся забегать в лабораторию на курсы, чтоб подготовиться материал к занятиям.

С 1 октября опять думаю ходить в Морозовскую больницу, в хирургическое отделение. Выбираю опять эту больницу, а не клинику только потому, что всё равно прислугу приходится посылать туда каждое утро за молоком Ириночке и себе. Занимаясь там, я сохраню её [прислуги] время для другой работы.

Относительно питания Ириночки пока обстоит благополучно: она утром получает грудь, в 11 часов кашку, в 3 часа — опять грудь, в 5 часов — печёное яблочко, в 7 часов — молоко и в 11 часов — снова грудь. Раньше получала по совету Екатерины Ивановны вместо молока муку Нестле, но теперь пришлось отказаться, так как фунт стоит 12 рублей, и его хватает на неделю. Одно яблоко стоит теперь 30—35 копеек. Манной крупы для Ириночки благодаря товарищам и Оле хватит на несколько месяцев.

Чем питаемся мы? Если иметь много денег, то можно питаться совсем недурно, но вся беда в том, что постоянно приходится урезывать себя. Мяса можно достать: телятину по 2 р.70 коп. за фунт; есть рыба — по 3 р.70 коп. за фунт, даже на вокзалах продают крупу пшеничную за 1 руб. фунт. Умные люди говорят, что за деньги с чёрного хода всё можно достать, но, само собой разумеется, эти способы добывать и самые продукты — не для меня. Что я позволяю себе, — собственно, для Христины Ивановны и прислуги — это кофе с молоком утром. Молоко, как я уже тебе писала, беру из Морозовской больницы, отдельно для Иринки и для себя. Обедаем, что найдём; чаще всего суп из зелени: моркови, репы, свёклы с приправой молоком. На второе — каша из перловой крупы (есть немножко) или картофель (его можно найти не всегда по 35 коп. за фунт). До-

¹ Всероссийское демократическое совещание в противовес Московскому (более левое) проводилось в Петрограде 14—22 сентября. Участвовало более 1500 делегатов. Попытка создания однородного демократического руководства взамен коалиционного провалилась из-за большой пестроты мнений.

станем по карточкам макароны или мяса, тогда совсем хорошо. Масла коровьего нет, подправляем всё хлопковым (1 руб.80 коп. за фунт). На ужин делаем салат из овощей, которые варились в супе, и селёдку (70—80 коп. штука). Теперь, как видишь, ещё можно жить, но что будет дальше, не знаю.

Ириночку долго не отниму от груди (боюсь каждую минуту остаться без молока). Сама я физически стала немножко крепче, очевидно, сиденье дома и тупое равнодушие ко всему действуют в этом смысле хорошо.

Ириночка растёт, стала только бледнее, может быть, оттого, что сейчас кашляет и чихает. Особенно горько мне отказывать ей; отказывать не столько из-за средств, сколько из-за «нет»: целые два дня металась по городу — хотела купить ей тёплые чулочки и башмачки, так и не нашла. Придётся как-нибудь «творить» самим. Так же творю ей и кровать, которая обойдётся в 40—50 рублей, а купить готовую — 200—300 р. Горюю очень, что не из чего ей сшить бельё. С твоего согласия хочу употребить твои егерские штаны, чтоб сшить ей тёплые панталончики.

Девчонка она славная и занятная, только до сего времени без зубов. Немилосердно таскает меня за волосы, стаскивает пенсне и скачет, скачет с упоением. Сидеть может, но упорно не желает. Разговаривает не много, но иногда отчётливо выговаривает «па-па», но не «ма-ма». Ты можешь быть удовлетворённым, слово «папа» чаще встречается в нашем доме, чем «мама». Ждём тебя, чтобы окончательно решить дальнейшую нашу судьбу.

27 сентября 1917 г.

[Письмо посвящено развитию, играм Иринки и «жду тебя»].

Если бы ты, Ёжик, знал, какое удовольствие испытываешь, когда она треплет лицо своими маленькими ручками или ротиком пробует твои щёки. Вне её нет у меня радости. Вот и теперь, по окончании работы в Морозовской больнице, когда я больше времени провожу с ней, чувствую, что я отдыхаю, стала значительно поспокойнее и понемногу приобретаю снова интерес к работе и книжкам.

А вообще-то, Ёжик, трудно сейчас заниматься, масса энергии уходит на добывание хлеба в широком смысле слова. Пока ещё сыты, думаю, что и дальше можно что-то будет достать, если только будут деньги. Записалась ещё в кооперативную лавочку при курсах; там сегодня взяла 2 фунта горчичного масла.

Неужели ещё возможна будет зимняя кампания. Боже, какой ужас! Получила письмо от Васи, он переведен в Одессу. Когда же ты...

2 октября 1917 г.

Безразличие прошло, и жизнь опять стала несносна.

Ночь сегодня была прямо кошмарна: переезжала на новую квартиру, видела несколько раз Витюшку, то — мёртвого, сильно разложившегося, то — сильно страдающего и просящего пить. Такова ночь, а днём допекают мелкие житейские неприятности: то узнаёшь, что квартира сдана с больше, чем наполовину израсходованным электричеством, и нам сейчас целый месяц приходится сидеть с керосином; то Христина Ивановна по рассеянности распаяла газовую колонку в ванне, и ремонт её обойдётся в 50 рублей. Всё это мелочи, но когда карман пуст

и всячески изворачиваешься, чтоб свести концы с концами, тогда всё это приобретает важное значение.

Я прямо с ужасом думаю о будущем. Ты должен приехать, иначе у меня не хватит сил бороться за эту проклятую жизнь.

Служители на курсах получают 100 руб. в месяц, а мы, преподаватели, 80 рублей. А ведь работаем теперь много. Сегодня, например, с 9½ часов утра до 8 часов вечера с перерывом только на обед.

Мир, какой угодно ценою, только бы мир. Я иной раз с ужасом замечаю, что и я начинаю поддаваться злобе, злобе, правда, бессильной, но, тем не менее, такой же отвратительной в источнике, как и та, которая ведёт к насилию. И не хочется мне видеть никого из знакомых только потому, что им легче, лучше жить.

Кончаю письмо. Нет слов, чтобы выразить, как тяжело на душе, как я одинока, как ты далёк от всех моих переживаний. Ириночка, спаси меня от отчаяния.

В один из ближайших дней октября 1917 года в Москве появился демобилизованный Фридрих Оскарлович. Впереди, после небольшого перерыва, была его служба в Красной Армии начальником большого подвижного госпиталя во время Гражданской войны и жестоких эпидемий...

СОДЕРЖАНИЕ

О Фридрихе Краузе и его письмах (<i>Л. Булгакова</i>)	3
1914 год.....	7
1915 год.....	76
1916 год.....	174
1917 год.....	187
Из писем Александры Ивановны Краузе (Доброхотовой) 1917 года.....	280

ФРИДРИХ КРАЗЕ

ПИСЬМА С ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

Ответственный редактор *Л.А. Булгакова*

Выпускающий редактор *М.В. Беглецова*

Корректор *Н.В. Соболева*

Оригинал-макет *Л.А. Философова*

Дизайн обложки *И.А. Тимофеев*

Подписано в печать 10.10.2013. Формат 70х100¹/₁₆

Бумага офсетная. Печать офсетная

Усл.-печ. л. 23

Тираж 2000 экз. Заказ № 3596

Издательство «Нестор-История»

197110 СПб., Петрозаводская ул., д. 7

Тел. (812)235-15-86

e-mail: nestor_historia@list.ru

www.nestorbook.ru

Отпечатано в типографии «Нестор-История»

198095 СПб., ул. Розенштейна, д. 21

Тел. (812)622-01-23